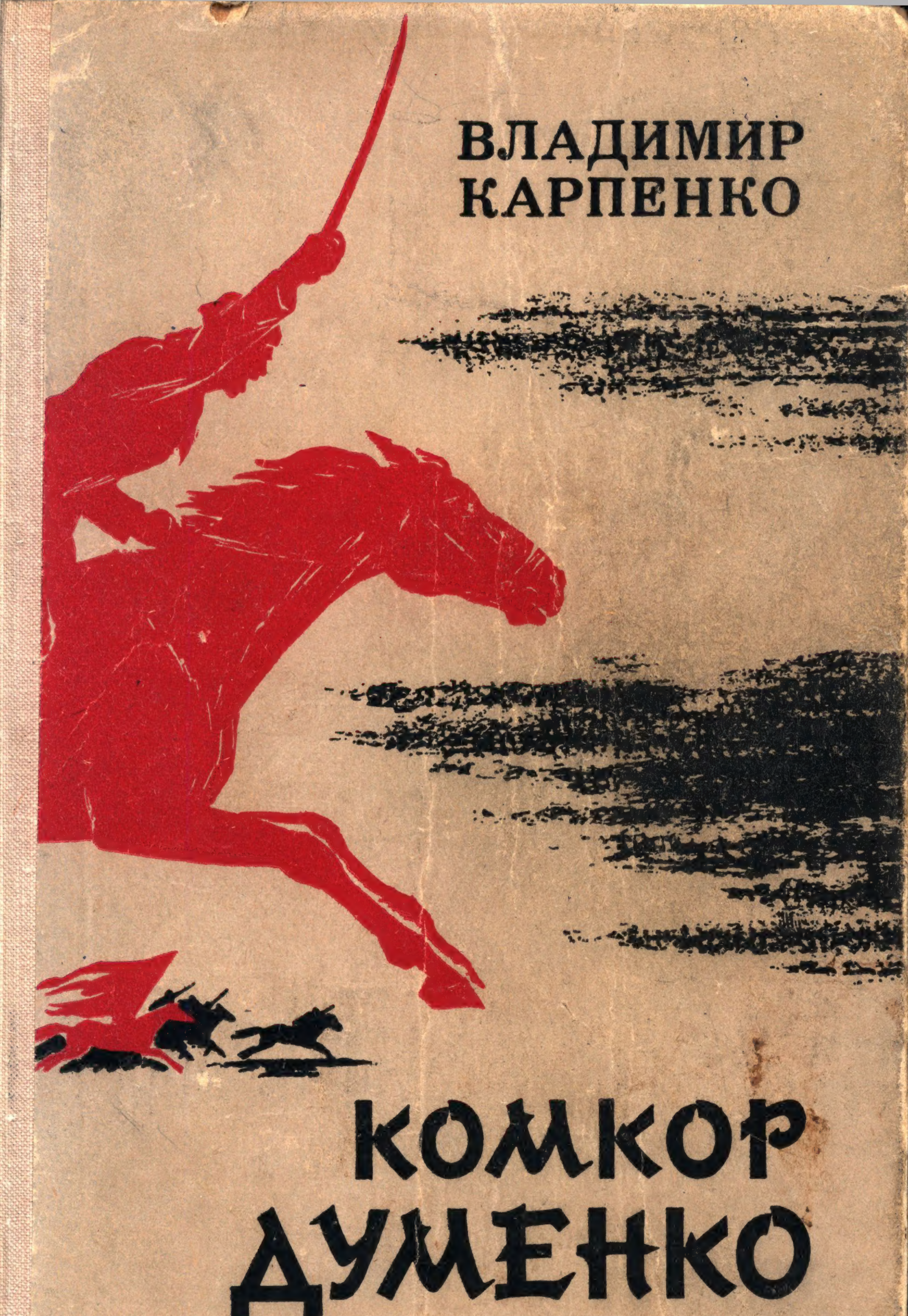
ВЛАДИМИР
КАРПЕНКО
КОМКОР
ДУМЕНКО

Светлой памяти моих родителей,
матери — Ивановой Анастасии Власьевны,
отца — Карпенко Василия Николаевича,
посвящаю.

Автор

ВЛАДИМИР КАРПЕНКО

КОМКОР ДУМЕНКО

ПРИВОЛЖСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
САРАТОВ 1976

Р2
К26

Карпенко В.
К26 **Комкор Думенко.** Саратов, Приволж. кн. изд., 1976.
352 с. с ил.

Роман «Комкор Думенко» является продолжением первой книги — «Тучи идут на ветер». В нем автор рассказывает о дальнейшем боевом пути Думенко, о создании им второго Конного корпуса и о блестящих победах над белоказачьими генералами. На основе документальных и архивных материалов автор воссоздает подробную картину неправого троцкистского суда над штабом Конного корпуса и комкором Б. Думенко.

Р2

70302
31-76

Глава первая

1

Мокрая тряпка обожгла ноздри, щеки. Едучий полынный запах забил дыхание.

— Считайте...

Понял, велят ему. Силком продохнул:

— Раз... два... три, четыре...

Такое ощущение, будто он в порожней бочке: собственный голос не расходится, гудит, давит в ушные перепонки.

— ... двенадцать, тринадцать...

Глазам предстала степь, горячая, полыхающая далекими кострами...

— Почему замолчали?

— Забыл дальше...

— Сначала считайте.

Голос сверху. Девичий. Живой, окающий. Совсем близко, потянись губами — достанешь...

— Один... два... пять... восемь...

Костры гасли, остывали бугры. Стремительно падало ночное небо.

Темень, душная могильная теснота. Комом встал в горле крик... «Живого зарывают... в могилу». Страх, обида и жажда жизни слились воедино. Жить... Жить! Рванулся...

Закатное солнце ударило в глаза. Заслонился рукой. Жмурясь, шало окидывал просторную комнату. Тесным кружком — люди в белом. Ближний, в марлевой повязке на лице, с поднятыми руками в окровавленных перчатках, сердито двигал серыми пучками бровей...

Разбудили его утром. Кто-то, шлепая по щекам, настойчиво звал: «Думенко, Думенко, Думенко...» Пытался вспомнить, где он, что с ним. Полуденное солнце над зеленым раздольем... Конники... По всей степи! Глазом не окинешь. Сбившись в тугую стенку, пятятся оскаленные кони... Диво! Сроду не видал...

— Вы уже не спите, Думенко... Открывайте глаза.

Маслак? Голос вроде похож. А почему открывать глаза? Я вижу... Медленно сходил кровавый туман. У изголовья — человек в белом. В годах, крупная голова, до темени голая... Лицо тяжелое, будто из речного камня-ракушечника.

— Да, да, доктор я. Профессор Спасокукоцкий. Вы в Саратове, в госпитальной хирургической клинике университета. Пулевое ранение... Сразу ставлю условие... Хотите жить — помогите мне.

Борис заворочался, силясь вытащить из-под простыни руки. Связан, что ли? Выпростал одну, левую.

— Не шевелитесь.

Пронизал кашель. Отдышался — на табуретке вместо доктора Ася. Глаза набрякшие, мокрые. Хотел улыбнуться, но губы — такое ощущение — будто суровыми нитками зашили. Ворохнул веками: живой, мол, чего квасишься?

Ася так и поняла. Закивала согласно, сморкаясь в платок. Вымученно вглядывалась в почужавшее, с выпирающими скулами и носом родное лицо.

С этого часа она не покидала надолго. Через руки ее, слабые, тонкие, проходили порошки, капли, чашки с бульоном, посуда для нужды. По утрам, помогая санитаркам, заволжским девкам, провожала в операционную. Порог не переступала: боялась сердитых бровей доктора. Напряженно ловила ухом приглушенные отдельные слова за дверью. Произносил их он, доктор, орудуя блестящими спицами, похожими на вязальные. Знала, теми спицами выкачивают из груди Бориса черную кровь. Ночами, ближе к свету, она булькает в нем, как варево в кипящем казане; подкатывает к горлу, душит, обрывая тяжкий сон.

На пороге первым появлялся доктор. Пряча карие молодые глаза под выгоревшими бровями, проходил молчком. Не заговаривал, не замечал. Нынче приостановился. Протирая марлей натруженные красные пальцы, усмешливо кивнул:

— Сиделка...

Теплом обдало лицо. Прикусив губы, чтобы не зареветь, не по-

спешила, как всегда, за носилками. Расхотелось идти в палату: боялась выдать свою радость. Остыв уже на воле, в тачанке, поняла, что не эта боязнь гнала ее из госпиталя. Не хотела показаться в дурном виде: в солдатской ношеной рубахе, с неопрятным узлом волос. С того черного часа, как тачанка мягко подкатила к вокзалу в Ремонтной, она забыла о себе...

Мишка заметил в ней перемену. Озадаченный, попробовал выведать:

— Нонче как оно там у нас... Не на поправку, а?

Ася не отозвалась.

Отвернувшись, тернул Мишка украдкой рукавом под носом.

Кони круто свернули и вкатили в расхлябанные дощатые ворота. Не удержалась Ася: ойкнув, повалилась на спину кучера, обхватила за шею. Смеясь, спрыгнула у крыльца.

Давно Мишка не слыхал ее смеха.

2

Полдня Ася, как очумелая, металась по дому. Посреди горницы вытрясла на пол узлы. У трюмо перемерила всю свою девичью справу — юбки, блузки, платья. Отшвыривала все: просторное, болталось мешком, не держалось в поясе. Ушивать надо.

Хозяева, саратовские мясники, диву давались: рехнулась комиссарша. Прислонившись к дверному косяку, наблюдала и золовка.

— Ты, Настасия, ровно на танцульки сбираешься.

Ася огрызнулась:

— На свиданку.

Увидала в зеркале ее нахмуренное лицо, смягчилась:

— Боре вроде полегчало...

Всласть намылась Ася. Корыто просторное, луженое, как у нее дома, в Борисоглебске. Котел воды бухнула. Освеженная, с пышным узлом цыганских волос, оделась в облюбованное платье — темно-зеленого шелка с широким овальным воротом.

В госпиталь вернулась она на заходе солнца. Нарочно отказалась от тачанки. Думала, уймется сердце за дорогу. Нет. Подымаясь по лестнице, сдавливала ладонью колотившуюся грудь. Не чуяла под собой ног. Задержалась в дверном проеме, переводя дыхание. Кровать его увидела сразу. С левой руки, у стены, расписанной голубыми масляными узорами. За резной деревянной спинкой, на тумбочке — живые розы. «Сестра в палисаднике настригла...»

— Легка на помине, Борис Макеевич...

Не обернулась на чужой улыбчивый голос. Усаживаясь на табуретку, ругала себя: «Вырядилась.., И вправду будто на танцульки...» Теребила на коленях узелок в белом полушалке, боясь повернуть голову.

— Пелагея тут чего-то навязала... Поклон велела. И Мишка. А утром забегали хуторские ваши... Гвоздецкие. Двое, не то трое братьев. Допытывались все, когда тебе на волю...

Свернул Борис ворох из подушек. Умостившись на локте, потянул узелок.

— Эх, закуска-а! Александр Ильич? Малости одной не хватает...

— Недогадливая, оказывается, она у тебя.

Ася сидела как на жаровне. Подступила даже обида: смеется, нет бы поддержать перед чужим. Ужель не видит, для кого наряжалась, прихорашивалась?

Скрипя сеткой, Егоров свесил на пол босые ноги.

— Ты куда, Александр Ильич?

— Разомнусь. Сергей Иванович прописал вечерний моцион.

Потупился Борис.

— Через две недели и ты встанешь с койки...— сказала Ася, прислушиваясь к удаляющимся шагам.— Доктор обещал.

— Банили нонче... Пуд грязи сошло. Видишь, в палату какую перевезли? Хоть на людей гляжу... А то как бирюк... Один.

Глаза их встретились.

— Платье не видал на тебе...— Пересовывая на подушке локоть, он вспомнил:— Значит, Гвоздецкие наведывались... Из средних, кажись, Андрей погиб... А наши, Колпаковы, не отзывались? Живые?

— Девчата тут. А Дуня при Григории, в дивизии. У него в штабе и Марк.

С улицы донеслось конское ржание. Борис встрепенулся:

— Панорама?!

— Забыл уж и голос... Мишка повел ее до Волги купать.

Ася высунулась в открытое окно.

— Кого-то в бричке подвезли... Раненого. Сам похромал... А тебя... Какой там бричкой!.. На простынях от вокзала самого несли. Лю-ю-ду-у на улицах! Не протолкнешься. Ты мертвец мертвецом — кровью весь чисто истек.

Борис брезгливо скривился.

— Нашла об чем вспоминать...

Крадучись, подошла Ася сзади, обхватила его ладонями. Колючий, вроде терновника, только на словах, в записках ласковый. Поцеловала стриженую голову, жесткие маленькие уши, брови.

— Мука ты моя...

Обомлев, Борис терся лицом о прохладный шелк. До рези в груди вдыхал дурманящий запах, исходивший от нее.

Ася присела. Нарочно отвернулась, лишь бы не глядеть, как он украдкой утирает окровавленную ладонь. Собирала раскатившиеся по складкам белого покрывала вареные яйца, сдобные кныши.

В палату неслышно вошла сестра.

— Это еще что?! Лежать, лежать. Иначе выставлю такую посиделку за дверь.

Пристыженная, Ася прижимала к груди раздерганный узелок.

3

Нынче Борис впервые поставил на пол ноги. На утреннем обходе профессор самолично убрал лишние бинты с груди и плеча, выпустив на волю правую руку. Заставил шевелить побелевшими и будто усохшими пальцами.

— Не только наган — плеть не поднять,— Борис потерянно озирался.

Профессор сдвинул бровищи.

— Забудьте, любезный, надолго о нагане. Подумали бы, чем будете дышать...

Багровые пятна пошли по худой мускулистой шее Думенко. Дотерпел, покуда тот увел из палаты белую девчачью свиту, мрачно усмехнулся:

— Никакому, значит, черту не нужен буду... По чистой спишут.

— Левая есть... Шашку держать,— подбодрил Егоров, усаживаясь на его кровать.— Врангель все равно за нами. Долг платежом красен.

— Добро тебе говорить, Александр Ильич... Через пару-тройку недель будешь опять в Царицыне.

— В Царицыне ли?

Командарм зашлепал тапочками от кровати к кровати. Придавливал ладонью светлый вихорок на макушке. В голосе уже не было прежней бодрости.

— Деникин не на шутку расшагался...

Егоров вынул из-под подушки затасканную—одни лохмотья— карту, расстелил на столе.

Нетвердо ступал Борис: за месяц лежки пластом отвык ходить. Каждый шаг причинял боль. Облокотился на спинку стула, дышал, как старик. В глазах — цветная пороша. Проморгав, осведомился:

— Как тут нашим можется?

— Это и я бы хотел знать... Одно определенно: Кавказская армия Врангеля сковала наши стрелковые дивизии. Вот где беда. Ты только глянь, Борис Макеевич,— Егоров двинул здоровой рукой, разглаживая карту, на северо-запад от Царицына по поворинской железнодорожной ветке.— 8-я и 9-я откатились... Разрыв. Сотня верст! Мятежные казаки с Хопра, Медведицы неминуемо хлынут в эту прореху. В спину 10-й...

Заныла рана. Гладил Борис под рубашкой забинтованный бок, превозмогая боль, силился распутать клубок чернильных стрелок кругом Царицына. Искал свою — конников.

— Напутлял ты тут, ой-е-е... Черт рога обломает.

— Тебе, степняку, сподручнее на буграх ориентироваться, а я — штабист...

Отодвинул локоть, уступая место. Борис тяжело навалился. Устраивая на карте правую непослушную руку, поинтересовался:

— Мои где тут?

Ткнул Егоров пальцем.

— Корпус Буденного сосредоточен в районе хуторов Вертячий и Песковатка. Вот на фланге армии. Видно, Клюев думает использовать его всерьез. С правого плеча нанести удар во фланг Врангелю.

Обожгла обида. С саднящей тоской ощутил Борис свою ненужность, никчемность. «Корпус Буденного...» Как вроде и не было Думенко... Самому Егорову проще: пришел в 10-ю на готовое. Воротится туда, нет ли, заботы мало. А ему, Борису? По уздечке, по лошади, по бойцу собирал 4-ю дивизию...

Подкатил кашель. Зеленая метель запорошила глаза. С помощью крепкой руки командарма добрался до кровати.

Подтыкая под голову и бока подушки, Егоров с состраданием оглядывал мертвенно-бледное, без кровинки лицо. Загар от степного нещадного солнца, казалось, сохранившийся еще с ребячьих лет, сошел за какой-то месяц, будто соскоблили стеклом.

Егоров подосадовал на себя — вытащился с картой. Спасокукоцкий, переводя Думенко из изолятора в палату, категорически запретил делиться с ним тяжелыми вестями. Сворачивая карту, боялся шуршать. Резко обернулся на спешный топот по коридору.

В дверях — адъютант. Не видал его еще таким. Взъерошенный, как мокрый воробей, фуражка под мышкой, ворот расстегнут. Вылавливал что-то за пазухой, не моргая побелевшими глазами. Знаком руки Егоров успел удержать сорвавшееся было с мальчишеских губ слово. Выставил адъютанта из палаты, прикрыв спиной дверь. Безголосо выдохнул:

— Царицын?

— Позапрошлой еще ночью...— сказал адъютант, протягивая розовую телеграфную ленту.— Штаб переместился в Золотое. По Волге. Клюев вот сам передал...

Давно свыкся с мыслью: Царицын неминуемо падет. Ждал этой вести с часу на час. Последние дни весь извелся. Загонял адъютанта: держал дни и ночи на вокзале в аппаратной. Пришла весть — гусиной кожей покрылись выбритые щеки. Пропускал меж пальцев бумажную полоску, шевелил губами, но смысл, заключенный в точки и тире, до сознания не доходил. Как там армия? Отходит без паники или, бросив все, бежит сломя голову? Сомнение взяло за самого Клюева. Доброй совести человек, знающий штабист, но... С такой махиной, как армия, совладать — не его характер нужен. Да еще в такой час...

Ткнул адъютанту ленту.

— Ни шагу из аппаратной... Запроси у штарма подробности. Где и в каком состоянии дивизии?

Вернулся в палату. Неслышно ступал парусиновыми тапочками по крашеному полу. Карту раскинул на кровати.

Не услыхал — почувствовал за спиной Думенко.

Ядовито мерцали в синих провалах глаза у конника.

— Не ховайся, Егоров.

— Лежать тебе...

— Считаю предательством... сдачу Царицына. Спросить нужно кое с кого... Виноватого — к стенке.

Егоров еще не определил так четко своего отношения к случившемуся. Из сообщений Клюева, армия готовилась к оборонительным боям, не помышляла даже о сдаче города. Опыта, сил у 10-й достаточно, чтобы защищаться и от Врангеля. Превосходство барона в кавалерии с лихвой покрывалось пехотой, артиллерией и бронепоездами. От Краснова трижды отбивался город, выстоял бы и от кубанцев...

Вороша коротко остриженные волосы, напряженно всматривался в запыленную листву шумевшего за окном тополя.

Борис покосился: чего увидал он там? Напомнил о себе:

— Гм, полчаса, как ты вслух планируешь, Александр Ильич... Да адъютант твой весть доставил... Напрасно дверями загораживался.

Виноватая усмешка тронула туго сцепленные губы командарма. Кивал согласно, но слова совсем не вязались к делу:

— Видит бог, самые страсти уже не в Царицыне...

Вот ответ. Неожиданный. Не столько для других, сколько для себя. Нет, он не оправдывает Реввоенсовет, но и винить не может. Зная людей, в чьих руках оставил армию, город, есть основания для тревоги. Представлял, там сейчас полный разброд. Каждый дует в свою дуду. Сомов еще так-сяк, но Ефремов... гонору, спеси! А Клюев не осмелится пристукнуть кулаком.

Тылом ладони провел по карте, будто утюгом.

— Деникин вырвался на оперативный простор. За Доном, в Донбассе, на Украине... Вот он куда нацелился — Харьков, Белгород, Курск, Орел... Самый короткий путь к нашему горлу. Лучшие части хлынули на север — корниловская, марковская, алексеевская, дроздовская... Вся Добровольческая! А остальные армии? Вот они. Подпирают ей плечи, держат за локти. Кавказская — Врангеля, Донская — Сидорина; войска генерала Драгомирова на Киевщине... Махину такую остановить не просто.

Влажная краснота проступила на скулах. Немигающий взгляд конника заставил вернуться к тому недосказанному, о чем бы он все-таки хотел умолчать:

— Виновника отыскать нетрудно, Думенко... Один он. Командарм. Но, скажу, не все обстоятельства подвластны ему... Взгляни. Царицын, как сам видишь, остался на отшибе... Колчак, мож-

но сказать, сброшен со счетов: Деникину он вовсе не нужен. И руку он ему за Волгу не протянет. Власть, как и слава,— штука такая, делить ее мало находится охотников.

— Царицын при чем тут?

— Мы не знаем, чем руководствовался Реввоенсовет, сдавая город. Да и этот разрыв с 9-й... Непременно тут будут с Хопра и Медведицы казаки-повстанцы. Врангель с фронта, повстанцы с тыла... Каково? — усмехнулся болезненно.— Наше дело с тобой... ждать вестей.

Глава вторая

1

Предрассветный холодок врывался в окно. Шелковая кремовая штора, завиваясь, щекотала оголенную шею, цеплялась за ухо, кошлатила ус. Генерал не уклонялся; подслеповато щуря затекшие веки, вдыхал знобкий, пропитанный полынью степной воздух, испытывая блаженство после сна в душном салоне. Расстегнул ворот нательной батистовой сорочки; в голубых бриджах и шлепанцах появиться в коридоре не посмел — влез в лаковые сапоги.

Вагон мягко покачивался, отзываясь на стыках. Ритмичный перестук колес вошел в кочевой быт генерала, вжился за долгие годы и стал привычен, мало того, необходим. Казалось, он разрушает сидячий образ жизни, создает иллюзию движения тела. Зато несомненно движение душевное. В дороге легче дышится, легче думается.

Сзади накинули халат. Конечно, дядька. Верный человек, приставленный еще покойной матушкой в ту зеленую пору, когда на острых ребячьих плечах воссияла первая крохотная звездочка. Оплыли, погрузнели плечи, и звезд порядком прибавилось на погонах, а дядька таким и остался ворчуном, сменив лишь прежнюю окраску некогда бурой роскошной бороды на сивую, с табачными опалинами.

— Антон, скоко разов тебе напоминать... Утреник самый, пронижет наскрозь, и зачнешь стонать, хвататься за кадык. Отступи малость.

— Береженого и бог бережет,— сторонясь, благодушествовал генерал.— Дела-а... Сам видишь.

— Вижу.— Хмурясь, дядька с натугой приподнял за ременные петли раму.— Шел бы зоревать. Вона, по всему поезду храп. Караульные и те по тамбурам носом клюют.

— Молодые, что им... Спится.

Появился дядька и исчез тенью. Не слышно и не видно человека; имя-отчество забывает, не помнит цвета глаз — знает руки. Узловатые, ногтястые пальцы, удивительно чуткие и ловкие; порою казалось, что они его собственные, постоянно с ним: раска-

тывают карты, застегивают мундир, надевают шинель, позванивают серебряной ложкой в стакане... Пока рядом, не замечает; отлучись тот на малое время — беда. Толпа адъютантов не заменит одного. А по правде, недолюбливает генерал чужой посторонней помощи в виде мелкой опеки, тем и прослыл у приближенных простолюдином, демократом.

Уловив за спиной щелчок дверного замка, генерал опять опустил раму. Высунувшись, хватал ртом встречную полынную струю; звонкое радостное возбуждение, так некстати прерванное, вновь наполнило до краев. Вернулись и вспугнутые мысли; острее, резче ощутил на душе груз, какой возложил всевышний именно на него, генерала Деникина. Ни много ни мало — главнокомандующий вооруженными силами юга России! Знал, адъютанты, штабные, среди высшего офицерства называют его «царь Антон»; делал вид, будто о том не ведает. Не обольщается, не тешит себя, хотя слова те будоражат, перехватывают дыхание, заставляют действовать, напрягать волю и силы. С мыслями о власти справлялся; они не терзают воображения, не нагоняют ночами кошмаров. К тому же их всегда можно утаить. Опасность с этой стороны не угрожает. Как быть с тем, что неподвластно ему, доступно окружающим? Дела! Известны они всему миру. Уже не прикроешь ладонью на десятиверстке, как то было год назад. Весь юг отхвачен у большевиков, от Кавказских гор до Днепра. Тут, в Приманычье, начиналось...

Дотронулся машинально до халата. Пенсне постоянно в нагрудном кармане мундира. Побоялся оставлять окна: дядька в любой миг может отказать в этакой благодати. Слабые глаза смутно различали в синих утренних сумерках придорожную лесопосадку; раскаленным клинком отсекала макушки мелькавших телеграфных столбов малиновая полоска зари. Да, да, здесь зализывал он с добровольцами раны прошлой весной, унеся ноги из-под Екатеринодара, в этих местах. Мечетинскую проехали, скоро станция Торговая...

Поезд главнокомандующего отбыл из Ростова в полночь. Попасть в Царицын с руки через Морозовскую. В последний час распорядился выйти на Владикавказскую ветку. Крюк, правда, немалый. Смена маршрута охрану не удивила: всегда не мешает спутать карты злоумышленникам. Самим-то Деникиным двигали иные мотивы. Наведается, глянет. Подвернется ли еще подобная оказия? Не так уж и мало связано с этими степями: сотни могил побратимов-добровольцев, с кем месил еще кубанскую грязь, трясся в крестьянских телегах. Среди них — холмик генерала Маркова. Ни к кому во всей белой дружине не питал такой привязанности. Волевой, тверд в слове, храбр до самозабвения; редко кого может сравнить с ним из нынешнего высшего состава. Внешний лоск, великосветские манеры, немало и личной храбрости, но слишком недостает душевной прямоты, преданности,

чем покойный генерал наделен был с лихвой. Но главная причина, почему избрал кружной путь, кроется в другом: хотелось дольше побыть одному. Вырвался, что называется, налегке, прихватив лишь оперативников; всю работу ставки замкнул на начальнике штаба, генерале Романовском.

Назревают великие события. Всей душой Деникин ощущал их приближение. Казачьи армии, с неимоверным усилием взятые им в свое подчинение, стремительно наступают, не отстают от «кровной», Добровольческой. Всю весну зрел стратегический план освобождения Москвы. Выношено, выстрадано. Сколько бессонных ночей осталось позади! Вот едет в отбитый третьего дня Царицын, в Кавказскую армию, к барону Врангелю, отдаст войскам «московскую» директиву.

Под ногами привычный стук, в лицо бьет живительный ветер, остужая тяжелую от забот голову. Подумать бы о деталях, тех незаметных глазу мелочах, чисто военных, из которых, по сути, и складывается любая операция. Нет, сворачивают мысли куда-то вбок, уводят с просторной, набитой дороги. В штабной толчее, при свидетелях, оказывается, справляться легче с ними; сию минуту никто не мешает, один на один с сонной предутренней степью за окном мчавшегося вагона. Теперь, когда армии его вышли на последний рубеж, когда дни большевиков сочтены, сдерживаться труднее. Для того и сменил маршрут — впереди день! — выделит важное для себя, в чем-то твердо определится, от чего-то откажется. Самому себе может сейчас сказать, что побудило его признать верховную власть Колчака.

Лично они мало знакомы. По службе не сталкивались; боевыми заслугами в прошлом адмирал выделялся. Немного может сказать о нем теперешнем, кроме того, что известно офицерскому собранию,— удачлив, вхож в высший свет, учен, сочинительствует. Молодые офицеры с ума сходят от романса «Гори, гори, моя звезда»; якобы слова те сочинены Колчаком. Проникает романс, выдавливает непрошеную слезу. Но к делу то не относится. Не по нутру ему, Деникину, газетная трескотня, шумиха, поднятая вокруг имени верховного,— до небес вознесли. Хвалят, в самой что ни на есть беспардонной форме; все газеты, не только свои, русские, но и союзников — в странах Европы, в Америке. Признает сам силу прессы, но как использует ее Колчак... Человек низшего звания и тот оценивается трудом своим, как говорят, красен делами. А тут — помилуйте! — правитель. Даже нынче, когда Колчак уходит от Волги побитой собакой, поджав хвост, газеты взахлеб продолжают расписывать его «полководческий дар», «великое провидение». Вон, ворох, доставленные вечером адъютантами перед отправкой; все страницы пестрят заголовками один другого постыднее. Нечистое видится ему в такой печатной кампании. Последнее время свое имя не стало сходить. Пробовал прицыкнуть: пишите о войсках, о победах!

Уважение к адмиралу мало-помалу пропало у Деникина. Вслух о том не говорил, ни с кем из близких не делился; напротив, чуя обстановку, поддерживал для приличия его авторитет, словом ли, жестом, а то и молчанием. Официальное признание им верховной власти Колчака всколыхнуло весь белый мир, изгнанный из насиженных мест и ютившийся по окраинам России. Появилась надежда. Ошеломляюще подействовало и на войска. Особенно на офицерские полки, именные. Рядовые офицеры, цвет и сила русской армии, поголовно ратуют за всякое слияние, лишь бы свергнуть Советы; высшие командиры также дружно поддержали, оглашая в печати благосклонность к «практическому шагу» — объединению с уральскими войсками. Позже всех, через какое-то время, отозвался Врангель. Слова подобающие, как и у всех генералов, но не от чистой совести. Приперт барон к стенке — слишком наглядно было бы умолчать или высказаться как-то иначе.

Наедине с собой Деникин не может винить Врангеля в неискренности, в подозрительном недоверии к себе, как не в силах избавиться и от гаденького чувства самообличения. Да, не от души исходило «признание» Колчака. Мало кто догадывается, что к тому приложили руку союзники (Врангель знает достоверно), и наверняка никому не ведомо, что все-таки побудило его, главнокомандующего вооруженными силами Юга России, совершить тот «решительный шаг». Шага такового он не сделал бы, не будь одного обстоятельства. По трезвому разумению, по наитию, по каким-то неуловимым признакам он, военный человек, сумел предугадать ту наивысшую точку в весенней наступательной кампании сибирского фронта, после которой начнется неминуемый спад. Предугадал и умело использовал. Свои войска, сосредоточенные тут, в Приманычье, подогреваемые победоносным шествием верховного правителя, обрадованные объединением, в яростном порыве встретили у Ростова и Новочеркасска накатывающийся вал большевистских армий — 10-ю и 9-ю. Когда оттеснил уже за реку Маныч знаменитую красную конницу вахмистра Думенко, давнего противника, пришло ожидаемое известие: наступление Колчака захлебнулось.

Бегство уральских войск в этот час мало кого уже занимает и всерьез тревожит. Упоенные головокружительными победами, офицеры-добровольцы уверовали и в свои силы. Но ему, Деникину, нельзя поддаваться хмельному угару юных поручиков и седых полковников, голова должна быть ясной. Пока судьба благоволит. Подчиняться, собственно, уже некому. Не на земле решалось — на небе. Так угодно всевышнему. Его, Деникина, вины в том нет, никто не посмеет упрекнуть. Тяжкая пора у Колчака пала на рождественские празднества: потерял Уральск и Оренбург; Западная армия генерала Ханжина застряла где-то в уральских проходах восточнее Уфы, без малого семь-

сот верст от Волги, Сибирская не в лучшем положении. Именно в то время протянул руку отчаявшемуся верховному: установил постоянную связь с его ставкой. Сначала через Баку, потом через Петровск на Гурьев посылал деньги, орудия, ружья, патроны, броневики, обмундирование. Словом, все, чем делились союзники. Греха таить не будет, закрывал глаза на проделки своих снабженцев: не додавали даже обговоренного. Отдышавшись, адмирал Колчак в конце февраля сумел-таки двинуть свои армии в новый поход. В середине апреля он был у самой Волги...

Тряхнуло на стрелке. По забывчивости потянулся к нагрудным карманам. Пенсне само очутилось в руке. Диво, дядька не укорял, молчком снял халат. Явственнее открылся глазам мир. Мелькнуло высокое серое сооружение — водокачка. В поредевшем рассвете белеют неподалеку саманные хаты, связанные меж собой плетнями. В палисадниках — пыльные акации, кусты сирени. Знакомы старые, обломанные ветрами и молниями тополя, узнал и бурое, приземистое здание вокзала из жженого кирпича. На безлюдный перрон вывернулись трое военных: видно, комендант, предупрежденный; заспешили к головному вагону. Дежурный, в красной фуражке, оказался против окна. К нему легко соскочил кто-то из охраны, чеченец.

— Станция Торговая,— отозвался равнодушно путеец.

— Выжу. Город, спррашиваю.

— Село. Воронцово-Николаевское.

Покоробило Деникина. С год как особым указом село это переименовал в город Марков, в память покойного генерала. Не приживается имя. С досадой отстранил дядьку, продевшего уже руку в мундир. Подумывал размяться, покуда оперативники переговаривались по прямому проводу с Таганрогом — ставкой. Расхотелось.

Вести с фронтов, как и ожидал, блестящие. Романовского не велел будить: свяжется днем с какой-нибудь промежуточной станции. Едва загудели под ногами рельсы, закрылся в ванной комнате. Вчера в Ростове отказался от услуг титулованного парикмахера, доставленного кем-то из адъютантов. Пожалел, придется обойтись походным прапорщиком-шифровальщиком.

Никогда генерал не тратил столько времени у зеркала. Истово тер зубной щеткой. Оскаляясь, разглядывал десны, крупные желтые зубы, будто удостоверялся, надолго ли хватит. Не доверяя стеклам пенсне, пальцами опробывал кожу на висках, щеки, подбородок. Сердце подернулось холодком. Вспомнил холеное женственно-белое лицо Романовского; шевельнулось что-то похожее на зависть: лета у них примерно одинаковы. Когда успел состариться? Сорок седьмой только... Обрюзг, заплыл, шея набрякла складками. С опаской рыхлил пятерней серый, выцветший хохолок: оскудели и без того редкие волосы. Не торопил, как обычно, парикмахера; сидел в кресле смирно, покорно, отдав-

шись ему на милость. Повертев летнюю гимнастерку, потребовал от дядьки парадный мундир.

В салон-ресторане нынче малолюдно. За просторным столом под свежей льняной скатертью старший адъютант, князь Лобанов-Ростовский, оперативные работники, полковник Киселев с двумя помощниками и начальник охраны, горец, князь Шемахов. По старшинству, по положению, молчание нарушал полковник, худой, бритый наголо, в паре из английского сукна, цвета хаки; он делился подробностями, полученными из ставки. Деникин, кивая, плохо слушал, тщетно пытаясь перенести себя мысленно к окну. Легкое крымское вино, выпитое «за Царицын», приятно вызванивало в висках. Наконец ощутил он простор на душе, без шумной компании мелких чинов из военных миссий союзников, осаждавших его с самого рождества, от Екатеринодара. Вызволил близкий человек, генерал-квартирмейстер Плющевский-Плющик, отторгнув ораву от поезда вчера в Ростове и взяв на себя.

За окнами кругами убегала степь. На исходе июнь, а нещадное южное солнце дотла выпалило траву на открытых местах, по косогорам; плешивые бугры застыли огромными волнами, сгущаясь к кромке неба, как и вода, от нежной бирюзы в теплую синь. Старший адъютант, желая избавить главнокомандующего от никчемного разговора, деликатно отвлек внимание.

— Господа, не правда ли, унылая картина? Ни деревца! Как здесь обитают люди?

— Представьте себе, князь, живут,— сощурился насмешливо полковник Киселев, недолюбливавший молодого напыщенного аристократа.— Среди нас... коренной степняк. Может принять за обиду. Пожалуйста, штабс-ротмистр Королев, Павел Сергеевич. Конезаводчик. Все утро проезжаем по его владениям. Отменнейшие табуны на Маныче. Шли на царский двор, в лейб-гвардию.

Определенно знал о конезаводчиках Королевых. Успокоив пальцем нервный тик в веке, Деникин опять посадил пенсне на переносицу. Исподволь оглядел штабс-ротмистра. Одутловатое, с нездоровой желтизной, ранними отеками под глазами лицо незнакомо, не встречались ранее. Орудуя ножом, силился восстановить, с какой стати слыхал о нем. Здесь, в двуречье Маныча и Сала, зарождалась теперешняя конница красных; доподлинно известно всем, что тому невольно способствовали сальские конные заводы. Нет, имя штабс-ротмистра Королева упоминалось по другому поводу. Вроде недавно. Кем? Где?

— В каком состоянии, господин Королев, вы нашли племенное хозяйство после большевиков? — спросил он, намеренно обходя воинское звание.

— В плачевном, ваше высокопревосходительство. Ремонтных косяков совсем нет. Из маточного поголовья кое-что сохранилось. Не более десятой доли против довоенного.

— Покойник Думенко попользовался государственным добром. Все сальские конные заводы были к его услугам,— выказал осведомленность Киселев.— Две конные дивизии сформировал. Корпус!

— Думенко жив,— возразил адъютант, уловив остро отраженный свет в пенсне генерала.— Ранены они вместе с полковником Егоровым, командармом 10-й. В одном из конных сражений. Такие, по крайней мере, у нас сведения.

— Сведения ваши, князь, недостоверны. Думенко сняли из седла наповал. А сражение-то было тут, на Салу, 25 мая. Скоро станция Зимовники, за нею Гашуны, потом сальский мост... Выше несколько по реке. Князь Шемахов лично принимал участие в том сражении, в корпусе Улагая.

Горец согласно наклонил голову. Деникин невольно залюбовался его пышной, обжигающе черной копной волос, смуглым твердым лицом; юношескую пору подчеркивает голубая богатая черкеска с малиновыми отворотами и башлыком, серебряным набором газырей. Сидит князь изваянием, окаменел, почти не дотрагивается до еды. Знал, из полка его отозвали на днях; как видно, не освоился еще на новом месте. О Киселеве подумал неодобрительно. Не в меру разговорчив. Для оперативного работника обилие слов — роскошь непозволительная.

— Вы, есаул, ешьте... Разговоров наших не переслушаете,— подбодрил он начальника охраны. Не желая, чтобы полковник принял это на свой счет, тут же обратился к конезаводчику: — Кто же у вас на хозяйстве? Отец?

— Скончался еще до германской. Есть человек, управляющий. Правда, дряхлый совсем...

— А семья?

— Одинокий я, ваше высокопревосходительство. Сестра в Париже. С мужем и детьми успела прошлой осенью из Петрограда...

— Так, так...— Генерал, промокнув губы салфеткой, отодвинулся с креслом.— Есть резон подать вам рапорт. Дела, сами видите, у нас...

Полковник Киселев не замедлил вмешаться.

— Любезный Павел Сергеевич, теперь и без вас управимся. Ой, как нужна ваша лошадь разоренной России!

В глазах Королева метнулась мольба. Ломая белые пухлые пальцы, смущенно потупясь, он глухо выговорил:

— Долг велит мне быть в армии, ваше высокопревосходительство.

— Не настаиваю, господин Королев. Коль долг... Похвально с вашей стороны.

Проходя к себе в вагон, Деникин решил нынче же отправить распоряжение о внеочередном производстве штабс-ротмистра. Засиделся он в нижних чинах. Его недогляд, главнокомандую-

щего. Сделает внушение Романовскому: не знает кадры, пропускает таких людей. Кстати! Вспомнил ведь... Именно от Романовского слышал о Королеве. На днях. Да, да, да... Разговор с глазу на глаз. Не случайно штабс-ротмистр у него в поезде. Сойдет он в Царицыне. В штабе Врангеля будет представлять ставку по координации совместных действий Кавказской армии с Донской. Помимо гласной должности Королев наделен и тайными полномочиями...

В салоне, усевшись тяжело на диван, генерал незряче уставился в яркий персидский ковер на полу. Не отправит в Таганрог никакого распоряжения; штабс-ротмистром распоряжаются другие. Ему не след вмешиваться в дела особой службы. Начальник штаба мог бы и не вводить его в подобные секреты. Хотя как сказать... Работу контрразведки передоверять другим опасно. Приятного мало копаться в требухе, зато спокойнее за свой собственный завтрашний день. Довольный, нашел некое оправдание своим мыслям, полностью вернулся в состояние благодушия, не покидавшее его надолго последние дни.

2

В Царицын прибыли к полуночи. Нарочно подгадывал Деникин такую пору. Не претят ему вовсе пышные встречи, нет; торжеств он уже успел вкусить на Кубани, в Ростове и Новочеркасске. Не прочь на виду огромного стечения народа принять хлеб-соль и в Царицыне, отстоять в Никольском соборе благодарственное молебствие; церковное великолепие очищает ему душу от земных тягот, пролитой крови, возвышает и направляет на новые ратные дела. Удерживало другое. Будь генералы Май-Маевский или Сидорин, но Врангель... Боже избавь.

Совсем избежать церемонии не удалось. Перрон, хотя и поздний час, битком. Командование Кавказской армией, местное духовенство и светские власти; юнкера, сцепившись руками, осаждали истеричную разодетую публику. Заметно выделялась сухопарая высокая фигура барона в белой черкеске.

Оставить свой поезд и переселиться в приготовленный особняк главнокомандующий отказался. Само собой отпал и банкет; хозяева даже не заикнулись, что с полудня ломятся столы в лучшем ресторане. Расстались тут же, на вокзале. Врангель, отдавая честь, больше укорял, нежели сожалел:

— Ждали вас, ваше высокопревосходительство, чуть-чуть пораньше... Весь Царицын собрался. Скорбященская площадь была полным-полна.

— На мосту задержались, Петр Николаевич. Через Сал.

— А что с мостом? Восстановлен, все честь честью. Движение бесперебойное.

— Кубанские части пропускали. Подкрепление вам. Да эшелон с танками угодил. Романовский сумел-таки вырвать у Добровольческой армии еще партию в вашу пользу.

— Душевное спасибо, Антон Иванович.

На смуглом впалощеком лице барона с неподвижными глазами не отразилось душевности; в неярком свете фонарей совсем пропали тонкие губы.

Деникин долго не мог улечься в постель. Зажав под мышками кисти рук, вышагивал по ковру: подводил итоги. Встречей остался доволен: без притворных восклицаний, чинно, в меру любезно. Днем бы, на миру, труднее скрыть свое ликование. А повод к злословию Врангель и без того изыщет; за спиной он распространяет всякого рода слухи среди ближних о работниках главного штаба да и о нем лично, «царе Антоне». Особенно дает знать давнее нерасположение, если не открытая ненависть, Врангеля к генералу Романовскому. Терпит, не пресекает — не выносит сор из избы. Но терпение может и лопнуть: ступит барон за дозволенное. Покуда нет в руках нитей к явному сговору; их надлежит еще выяснить. С этой целью, собственно, и прибыл штабс-ротмистр Королев...

А мостом поддел-таки. Всю весну, в разгар наступления на Царицын, Врангель изводил ставку, выматывал душу. Подкреплений, подкреплений, дополнительных средств для починки железной дороги! У взорванного сальского моста дошло до угроз: доколе, мол, не получу всего, что требуется, не двинусь вперед ни на один шаг, несмотря на все приказания. Унимали непомерную гордыню чем могли. С крупнейшего сражения на реке Салу, у хутора Плетнева, где выбыло из строя высшее командование 10-й армии красных, Егоров и Думенко, барон совсем распоясался: обвинял начальника штаба во всех грехах, вплоть до преступных действий. В ущерб другим армиям, гнали по Владикавказской ветке бронепоезда, танки, новенькие, в промасленной упаковке, авиационные аппараты. Помимо кубанских частей на днях из Ростова была переброшена 7-я дивизия — переформированная бригада Тимановского, прибывшая из Румынии после эвакуации французов из Одессы. До сих пор все еще подходят эшелоны.

Не получалось у них с Врангелем взаимности. Трения едва не со дня гибели Корнилова. Барон открыто претендовал на освободившееся место главного. Можно бы под благовидным предлогом совсем избавиться от него — не поймут офицеры. Армия дорожит каждым солдатом, а тут покидает строй генерал, молодой, полный сил, с боевым опытом, щедро обсыпанный еще царскими милостями. Пришлось кривить душой: выдвинул на высокую ступень военной иерархии. В январе Врангель с Добровольческой армией занял Северный Кавказ; ослепленный успехом, славой, он носился с идеей движения основными силами на Царицын и просил доверить ему волжское направление. Ставка

наметила главный удар через Харьков на Орел; Добровольческую армию перебросили в Донбасс. Командовал ею до мая генерал Юзефович, замещая слегшего в ту пору Врангеля. Он, Деникин, смалодушничал сызнова: уговорил-таки барона, в минуту потери им душевного равновесия, остаться на посту командующего, предоставив, по его желанию, царицынский фронт, который тот продолжал считать победным. Выздоровев, Врангель вступил в руководство Кавказской армией; вернулся к нему, возглавив штаб, Юзефович. Добровольческую принял генерал Май-Маевский.

Ко времени взятия Царицына блестящие победы на курском и киевском направлениях и общая обстановка на театре войны выявила ошибочность идеи Врангеля. Теперь в глазах тайных и явных приспешников барона волжское направление утратило первостепенное значение. План ставки оказался наиболее победным; возрос и укрепился авторитет главного штаба, а это значит — и его, главнокомандующего. Ни тени сомнения, что завтрашнюю директиву, которая лежит у него в сейфе пока в единственном экземпляре, воспримут войска на «ура». Не вызывал опасения и Врангель; посрамленный стратег из кожи вылезет, а задачу, поставленную Кавказской армии, выполнит. Во всяком случае, он с такой уверенностью ехал в Царицын. Ан нет, недооценил Врангеля; тот и не помышлял опускать покорно голову. Напротив, зная в общих чертах давно созревший, детально разработанный ставкой стратегический план похода на Москву, выдвинул встречную и д е ю. Опять вбивает клин. Записку вчера отправил в Таганрог спецкурьером на аэроплане. Подписали с Юзефовичем. У него — копия; сунули на перроне старшему адъютанту. При беглом огляде, возмущенный, увидал ту же давнюю идею, точнее, продолжение ее, завершающую стадию. Не упоминая о царицынском направлении как г л а в н о м, предлагает образовать конную массу, изъяв из Кавказской армии три с половиной дивизии, под его, Врангеля, руководством и двинуть по кратчайшему пути на Москву — Воронеж, Курск. Все та же спесь, необузданная гордыня, больное, уязвленное самолюбие, тщеславие; барон и в мыслях не допускает, что лавры победы могут украсить чело другого. Авантюризм как на ладони. Ослабить, обескровить Кавказскую армию! А у большевиков под Царицыном лучшие части, стрелковые дивизии и далеко не добитая конница; под боком, за Волгой, тоже войска красных, которые гонят в этот час адмирала Колчака в сибирские дебри.

Поостыв, Деникин нашел в записке и трезвую мысль. Конечно, отдал должное Юзефовичу. Проницательный штабист. Двинуть кулак в двенадцать-пятнадцать тысяч сабель на Воронеж — Курск... Это дело! Постоял у карты, прикидывая. Идея генералов подсказывала иное опытному глазу. Не Курск, только не Курск. Сводить там лезвия стрел — с армейским корпусом Кутепова —

не следует. Незачем и огород городить. Вот куда надо смотреть. От Воронежа на север... Козлов! Тылы большевиков. Прорвать фронт на стыке 8-й и 9-й армий красных... Шаром покати. Нет сколько-нибудь серьезных препятствий для крепкого конного кулака. Оперативный простор. Такой рейд по тылам противника принесет пользу большую Добровольческой армии. Подумают с Романовским. Но поручить не Врангелю. Нет, нет. Закусит удила и вовсе. Может, генералу Юзефовичу?.. Спать, спать. Не будет ломать голову нынче. Надо выспаться к утру, освежиться...

Врангель с Юзефовичем явились чуть свет. Деникин успел принять ванну, побриться. Недолго выбирал между парадным мундиром и будничным; облачился в расхожую гимнастерку с полевыми погонами, без крестов. Пусть не подумают, что ожидал. Яснее ясного, им бы хотелось изменить что-то, пока директива еще не объявлена.

— Вижу, царицынцы не залеживаются в пуховиках...

— Кто рано встает, Антон Иванович, тому бог дает,— Юзефович поддержал игривый тон главнокомандующего. Усаживаясь в глубокое кожаное кресло, он взглядом привлекал своего напарника подключаться к разговору, так удачно начатому.

Не внял Врангель знакам. Еще от двери салона он увидал свою записку, лежавшую в развороченном виде на столе, поверх карт. Это и придало ему напористости.

— Надеюсь, ваше высокопревосходительство, вы ознакомились с нашими предложениями.

— Да, прочел. Внимательно прочел. Жду разговора со ставкой. Каково будет мнение начальника штаба? Уж он-то получил вчера пакет, коль вы изволили отправить его аэропланом.

— Мнение генерала Романовского мне уже известно. Хочу слышать ваше...

— Связывались с Таганрогом?

— М-да...

Кроме Лукомского навряд ли еще с кем Врангель переговаривался. Всем известно, начальник военного управления — человек близкий и дружественно расположенный к барону. Да и поделиться только с Лукомским мог начальник штаба. По виду Врангеля не трудно догадаться, какова реакция на записку в Таганроге.

— И все же... что Романовский?

— Как и всегда, ваше высокопревосходительство... Не видит «здравого смысла» в моих предложениях.

— К чему такая предубежденность, Петр Николаевич? Романовский не мог вам так ответить.

— Еще бы... Он делится с другими.

Уязвленный тоном барона, Деникин сумел взять себя в руки; не менял и благодушного выражения распаренного квасцовыми компрессами лица.

— Не знаю, не знаю... Здравого смысла в вашей записке более чем достаточно. Ударить конной группой в полтора десятка тысяч сабель кратчайшим путем на Москву, Воронеж — Курск, это, если хотите... Кулак! Крепкое подспорье главному направлению, корпусу Кутепова.

У Врангеля водянистые выпуклые глаза, явно унаследованные от своих предков, давно обрусевших немцев; дрогнул жесткий взгляд, уходил куда-то мимо. Силился Деникин не обернуться; там, в простенке, карта, утыканная бело-красными флажками. Нет, не на нее глядит барон: занят собой. Что-то похожее на неловкость шевельнулось в душе Деникина; поправил пенсне, откашлялся в кулак — другой голос, другой человек.

— Извольте выслушать, господа, мое мнение...— потянулся, взял записку.— О присутствии здравого смысла в ней я уже сказал. Но есть и другая сторона... Авантюризм.

Начальник штаба армии, обескураженный резким оборотом, попробовал молвить слово. Деникин выставил ладонь: дотерпите, генерал.

— Брать-то эти три с половиной конные дивизии вы намерены не где-нибудь, а у Кавказской. И что последует? Такое ослабление армии угрожает потерей Царицына. Раз. Большевики не замедлят вторично выйти в тыл Ростову. Два. Прошу, господа, возразить мне.

Осмелился все-таки Юзефович.

— Антон Иванович, стратегическое значение Царицына вне сомнения. Как для нас, так и для красных. Кстати, у большевиков здесь войска устойчивы, закалены в годичной обороне.

В пальцах главнокомандующего — нетерпение. Уловив одобрительный кивок Врангеля, Юзефович продолжал:

— Ослаблять Кавказскую армию мы не собирались. Помимо кубанской есть и у других конница. На нашем участке действует, вам известно, донской корпус. Ввести в ударную группу и его. Сюда, под Царицын, собрать пластунские части. Не пожалеть, может быть, и резерва. Сядем в глубокую оборону. Позиции для этого выгодные. Бронепоезда, артиллерия. Кольцевая железная дорога ведь вокруг города. Учтем опыт 10-й армии красных.

— Похвально, похвально. Вы не чураетесь опыта противника. Разумеется, обороняться тоже надо уметь.

Деникин поспешно поднялся, несколько невпопад для своего положения и тучнеющего тела. Увидав в руке записку, откинул ее на стол, как нечто ненужное. Обследуя узоры ковра под ногами, укоризненно качал головой.

— Слышать оборонческие настроения кубанцев и донцов куда ни шло. А вы, боевые генералы русской армии... Нет, нет, господа! Я прибыл в Царицын совсем с иной целью.

Генералы ни с чем оставили салон.

3

Деникин подступил к самому обрыву. Ощутил слабую прохладу от реки. Думал, в соборе задохнется; куда уж, на воле — одуряющий зной. Но дышать есть чем. Перестало течь за ворот; платок в руке, скомканный в мокрую тряпицу, высох в момент. Широкое колено Волги отсюда казалось огромной чашей с расплавленным свинцом. На той стороне синели у воды тополя.

Не красоты заволжских далей привлекли внимание генерала. Да и не различал он, что там за синей стеной прибрежных деревьев, лес, голые бугры? Вылез из машины освежиться, собрать воедино размягченные в соборной теснотище мысли. Из головы не выходят ранние визитеры. Не уверен, что Врангель на том успокоится, не преподнесет еще какую пилюлю. Не наедине, как утром,— на генералитете. Юзефович проговорился: виды имеют на донскую конницу, переданную им во временное оперативное подчинение. Мучительно искал встречный ход. Склонен был даже вернуть донцов по принадлежности — командующий Донской армии генерал Сидорин свечку поставит во здравие. Не поймут кавказцы, разведет руками и начальник главного штаба; именно Романовский попортил себе немало крови, покуда переводил первый донской корпус сюда, на волжское направление. Удерживало еще одно обстоятельство: Врангель незамедлительно потребует возвращения кубанского корпуса Шкуро, ныне успешно действующего в Северной Таврии. Нет, не соломоново решение.

И все же осенило. Не где-нибудь — в соборе. Всевышний ниспослал: печется, направляет. Конницу Мамонтова перебросит на левобережье. Не даст Врангелю распорядиться ею по-своему. Веска и боевая задача: очистить от большевиков нижнее плесо Волги и связаться с уральскими войсками. Трезво рассудить, задача непосильна трем тысячам сабель. Врангель, задетый отказом, трезво оценить в короткое время обстановки не успеет, вернее, отмахнется; ему важны идеи только свои собственные. На Юзефовича можно прицыкнуть. Одна надежда на Мамонтова: мудрый казак, боевой, сломя голову рисковать не станет. На худой конец, подскажет через полковника Киселева, как действовать — не зарываться, ограничиться глубокой разведкой. Три сотни верст гнаться за отступающим Колчаком, сквозь вражеские порядки — ума на то мало надобно. Зато сам жест! Союзники воздадут должное, а свои хвосты подожмут. Первому заткнет глотку тому же Врангелю; не будет нашептывать окружающим: мол, бросил в беде верховного, не протянул вовремя руку...

— Ваше высокопревосходительство... — князь Лобанов-Ростовский протягивал массивные карманные часы с откинутыми золотыми крышками.

Да, генералы ждут. Он готов. Во всяком случае, недостающее звено им найдено...

Совещание не вылилось в долгие разговоры, как хотелось того хозяину. Открывая, Врангель попробовал призвать своих штабистов и командиров принять активное участие в обсуждении. Багровея, Деникин промокал носовым платком вдруг взопревшую шею. Это уже слишком! В социал-демократа играет, рядится в красные одежки. Дешевый авторитет. Ишь, войсковой круг. Даже казачьи генералы, на кого барон рассчитывает — Мамонтов, Говорущенко, Топорков, Покровский, Улагай,— и те головы опустили. Что ж, отхлещет прилюдно, как мальчишку; видит бог, не желал этого.

— Господа, я поддерживаю Петра Николаевича,— начал Деникин, не подымаясь с кресла и старательно протирая пенсне.— Давайте обсудим... с удовольствием уделяю несколько минут, прежде чем приступить к главному, что привело меня в Царицын. Суток еще нет, как я здесь. Ворох жалоб... Да, да, господа, грабежи, мародерство, пьянка... Боюсь, доблестная Кавказская армия скоро растеряет свои боевые качества. А впереди долгий путь... до окончательной победы.

В гнетущем молчании он обернулся к барону, сидевшему по правую руку.

— Надо было подбодрить кубанцев,— Врангель машинально ощупывал обеими руками серебряные газыри; взгляд уводил, лишь бы не встречаться со своими генералами.— Но я в последний момент принял надлежащие меры...

Пощечина прозвучала. Пожалел Деникин, что не высказал с глазу на глаз, как намеревался. Не повышая голоса, изъяв иронические нотки, он обрисовал вкратце общую обстановку на фронтах, коснулся главной идеи директивы. Как ни избегал красивых, высоких слов, картина получалась радужной. На сей час у Советской власти отторгнуты плодороднейшие области — Кубань, Ставрополье, Дон, левобережье Украины. Большевики лишены хлеба, огромного количества военных припасов, неисчерпаемых источников пополнения армии. Истощенный многими мобилизациями Северный Кавказ уже не мог питать надлежаще и их самих. Дон и Украина с лихвой покроют нехватку. За последний месяц войска под трехцветными знаменами увеличились втрое.

Отдаваемая ныне директива в стратегическом отношении предусматривает нанесение главного удара в кратчайших к центру направлениях — курском и воронежском; с запада прикрываются движением по Днепру и к Десне. В психологическом — она ставит перед известной частью колеблющегося казачества вопрос ребром о выходе за пределы казачьих областей. В сознании солдат и офицеров она должна будить стремление к конечной, заветной цели — Москва. Москву возвести в символ. Пусть все мечтают идти на Москву, живут той надеждой.

— Имея конечной целью захват сердца России — Москвы, приказываю...— голос Деникина построжал.— Генералу Вранге-

лю выйти на фронт Саратов — Ртищево — Балашов, сменить на этих направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее — Нижний Новгород, Владимир, Москву. Теперь же... Все вам, Петр Николаевич. Направить отряд для связи с уральской армией и для очищения нижнего плеса Волги.

Полковник Киселев вскинул бритую, маленькую голову. Последний пункт в проекте не значится. Едва заметным кивком Деникин дал понять ему, что он не ослышался.

Недомолвкой главнокомандующего с начальником оперативного отдела Ставки воспользовался Юзефович.

— Антон Иванович, каким частям конкретно предписано директивой действовать за Волгой? Как я понимаю, задача отнюдь не из легких...

— Верно, генерал, сложная, ответственная задача. Кроме нас, Западной армии Колчака помочь некому. Желательно переправить части надежные, высокодоблестные. Лично я склонен к донцам... Думаю, генерал Мамонтов оправдает доверие.

Все обратили взоры в дальний угол. Мамонтов с достоинством поднялся; коснувшись роскошных седеющих усов, густо прокашлялся.

— За честь почту, ваше высокопревосходительство. А по правде, мои казаки давно уже тешат надежду тряхнуть матушку-белокаменную.

Восторгов кубанцы не проявили по поводу бодрой готовности донского казака. Хмыкнул один Врангель, красноречиво переглядываясь со своим начальником штаба. Желая унять неловкость, Деникин знаками усадил Мамонтова; глядел милостиво, а думал о том, что казаков, донцов ли, кубанцев, с их пустыми арбами, бричками, многоверстными змеями извивающимися за своими полками, на пушечный выстрел не пустит до Москвы. Недобрую память оставил по себе атаман Краснов: он вернул стародавние порядки во всевеликое войско, «всевеселое», как издеваются офицеры-добровольцы. Не идея, не знамя движут казачьими частями — нажива. Грабежи, грабежи, грабежи... Страшный бич, проказа! Вся армия заражена той болезнью, снизу доверху. Оторопь берет за Добровольческую. Генерал Май-Маевский по-своему отблагодарил войска после взятия Харькова: широким жестом «подарил» добровольческому полку, ворвавшемуся первым в город, поезд с каменным углем. Потом оправдывался: «Виноват! Но такое радостное настроение охватило...» Врангель на сутки отдал Царицын на разграбление.

Из донских военачальников, приближенных некогда атаманом Красновым, он, Деникин, отличал больше всех все-таки Мамонтова. Не за храбрость, военное умение и боевую удачу: располагал казачий генерал складом души. Своенравен, прямодушен; известно его неприязненное отношение к немцам, «союзни-

кам», перед которыми Краснов выстилал ковровые дорожки. Кстати, и сбежал вместе с ними, немцами, в Берлин, окончательно предав белое дело, Россию. Нынче Деникин ощутил к Мамонтову холодок. В соборе еще, при встрече. А сейчас понял причину... В отличие ото всех присутствующих, облаченных в парадную форму, Мамонтов в летней защитной гимнастерке, видавшей виды; на карманной накладке болтается единственный солдатский крестик. Знает, наград у него предостаточно. Гимнастерка и крест ввели в смущение: сам грешит покрасоваться иной раз «под солдата». Однако утвердился в мысли: не Юзефовича, а Мамонтова двинет в большевистские тылы — на Козлов.

Выждав, пока все не оторвались от своих планшетов и карт, Деникин продолжал:

— Генералу Сидорину правым крылом, до подхода войск генерала Врангеля, продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин — Балашов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях... Воронеж, Козлов, Рязань и Новый Оскол, Елец, Кашира.

— Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав — Брянск.

Больших усилий стоило Деникину не повернуть головы в сторону Врангеля; пальцы, длинные, костлявые, теребили нервно угол карты. Не трудно догадаться о состоянии барона. Зависть гложет: не ему первому быть в Москве. Лавры достанутся Май-Маевскому, которого считает выскочкой, неврастеником и пьяницей. А вдруг подаст Врангель рапорт? Нет, нет, сейчас нежелательно его отчислять, были бы у Кавказской армии неудачи...

Оповестив боевую задачу группе войск генерала Добровольского, которой надлежит выйти на Днепр от Александровска до устья, имея в виду в дальнейшем занятие Херсона, Николаева и Одессы (во взаимодействии с Черноморским флотом), Деникин торжественно объявил:

— Судьба России — в ваших руках. А решится она... в Москве. С богом, господа.

Глава третья

1

Валом повалили слухи. Распускали их по городу страх и скрытая контра. 10-я армия красных развалилась. Озверелые деникинцы предают все живое огню и шашке, ровняют приволжские села с землей. Особо лютуют старики с Хопра и Медведицы — в укор сыновьям, измаравшим казачью честь в прошлогодних боях под Царицыном.

Живее пошло у Бориса на поправку. Тягостное чувство своей никчемности сменилось буйством, жаждой выпутаться из бинтов, из каменной клетки — палаты. В сердцах поубавил подушек из-под боков. Кидая их к порогу, крестил матюком:

— ... вашу мать... как буржуя обложили! Башка трещит от этой пуховой благости.

Облюбовал одну, с кружевной прошвой на наволочке. Взбив кулаками, ткнул в изголовье стояком. Окрыленный успехом, победно озирался: от чего бы еще освободиться? Ага, розы! На тумбочке, в банке, обернутой цветной рогожкой... Тоже буржуйская роскошь. Придерживая исподники, ступил босиком, но, переняв насмешливый взгляд Егорова, не осмелился выказать своей дури. Зато отыгрался на повязке. Оголившись, с наслаждением разматывал пропотевшие бинты с плеча. Катая желваки на заросших щеках, силком проталкивал сквозь сцепленные зубы слова:

— Запеленали... вроде малого... Ишь! Погодите...

Даже у старшей, Вали, палатной грозы, язык не повернулся. Кривила припухлые губы, готовая расплакаться, принимала в руки пожелтевшие витки бинта.

К вечеру того же дня обзавелся своими картами: Мишка принес полевую сумку под полою халата. Не заглядывал теперь через плечо Егорова. Сбивая в комки простыни, размалевывал линиями и кружочками десятиверстки. Конников выделял жирнее: слюнявил чернильный огрызок карандаша.

На быках тащили вести из штаба. Куцые писульки на имя Егорова за подписью Клюева, то Сомова были не чем иным, как любезной отпиской. Успокаивали, желали скорого выздоровления.

— Темнят... — лютовал Борис. — Удрал штарм из города... Бросил армию на произвол. Что оставалось дивизиям? Драпать тоже... Бронепоезда даже, сволочи, не повзрывали... Будто не нам брать его обратно, Царицын. Кровью харкать будем, вспомнишь мое слово, Александр Ильич...

Егоров, хмурясь, молчком мял в пальцах папиросу. Не возражал; крепче прикипал взглядом к карте.

К железной ограде университетской клиники чаще стали подворачивать брички. Редкий, правда, приезжий, утянутый с ног до головы грязными повязками, подымался по ступенькам своим ходом — больше втаскивали на носилках. Но Мишка все-таки успевал у ограды еще, если не от самого, то от возницы, дознаваться о важном: какой дивизии, из каких мест?

Свои, конники, попадались редко. Пехота, пехота... Одних тут же закликал Борис, к другим тащился сам в палаты. А от иных днями ждал, пока шевельнут вздутыми, искусанными губами. Суток трое уже, как доставили политкома одного из полков 39-й дивизии Гришки Колпака. Наконец открыл комиссар ясные сиреневые глаза. Узнав, кто у его кровати, торчком поставил белые брови.

— Рожки да ножки остались от 39-й... А все по милости вашей конницы... знаменитой...

Мучила, видать, рана в стянутой бинтами груди; он тужился, боясь выказать боль. Выдавали худые мосластые пальцы, норовившие все пролезть под марлевую корку.

Слова его задели Бориса.

— Договаривай уж, комиссар, коль начал...

— Бросила нас конница... Стояла меж 32-й и нашей, 39-й. Самовластно снялась и пропала. Беляки воспользовались, подошли вплотную и забросали бомбами... Крошева наделали.

— Какая... кавалерия?

— Жлоба... Его кавбригада... 2 июля. За Тишанкой...

Высказал политком обиду, размяк.

— Там-то и секанули меня... Из башки даже все высыпалось.

— Бежал, значит?

— Побежишь... когда кубанцы с шашками...

Не потеплел у Бориса взгляд, но губы погнулись усмешкой. Для этого вислоухого, желторотого шпака нет уже 39-й: изрублены, расстреляны, разбежались в панике... А дивизия воюет. Вчера Гришка Колпаков поклон пересказал. Не новостью был и позорный случай под Тишанкой... Улеглась медвежья болезнь и у Жлобы: бригада его, как и вся войсковая конница армии, отбивается клинком успешно. На прощание пошлепал политкома по острому колену.

— Ну, ну, комиссар... набирайся живее того, что в Царицыне просыпал... Возьму в корпус до себе.

Недели две еще Борис метался по палате в исподнем. Никто его пока не тревожил. Конники не забывали, давние друзья: записки, поклоны, посылки доставляли. Каждодневно с чем-нибудь приходили Ася либо Мишка. Егорову выдали обмундирование, оружие. Днями пропадал в городе, являлся только спать. Пропахший уличной пылью, потом, устало валился в одежде поверх байкового одеяла, подолгу молчал. Не тревожил его Борис, ждал, что сообщит сам. Нынче пришел он в полночь.

— Не спишь, Борис Макеевич? — кряхтел, стаскивая тесные сапоги, откашливался.— Засиделись с Клюевым. Армия все пятится. На последнем вздохе. Буденного замотали. Позарез нужен еще один конный корпус...

До света Борис не сомкнул глаз. Прислушиваясь к неровному дыханию командарма, извертелся в душной кровати. Неспроста заговорил... К чему клонил? Понимать как предложение? Додумка обрадовала и огорчила. Сформировать новый корпус... Легко сказать. Правда, в 10-й имеется войсковая конница — бригады, полки при каждой стрелковой дивизии. В тылах, при Ремонтной комиссии, скопилась не одна сотня трофейных лошадей. Посадить в седла добровольцев из пленных казаков, провести дополнительную мобилизацию в заволжских селах от Саратова до Камыши-

на. Свести разрозненные части — полдела. Лемех и шашку отковывают из куска железа, размягченного в горне. Не приложи искусную руку — железо останется бесформенным куском. Сдавить, спрессовать рыхлую массу бойцов, вселить в нее боевой дух, бесстрашие, закалить в огне и воде. Как 4-я кавдивизия... Преград она не ведает. Не будь ее, теперешнее отступление армии из Царицына наверняка выглядело бы иначе...

Поймал себя на том, что на 4-ю глядит со стороны, издали, как чужой. Не испытывал уже того остро сосущего чувства оторванности от нее, душевная боль утихла, но явно не прошла. Казалось, слилась она воедино с болью тела. Шевельнись резко, поверни голову — напоминает. И вместе с болью тела глохнет, остывает. Отломанную от хлебины краюху не прилепишь. «Корпус Буденного...» Впервые услыхал эти слова от командарма. Вздыбилась гордыня разъяренным конем, запененная, с оскалом... Хватило духа смирить ее, гордыню, осадить. Нет самого — осталась дивизия. Его рук дело. Полтора года ковал...

Вытащил правую руку из-под простыни. Сжимал в кулак. Непослушная, без силы, будто из ваты. Одна видимость, что рука. Растирал левой отекшую кожу от плеча до пальцев, сдерживая злые слезы. Нет, отвоевался он... Спишут по чистой: безрукий, с одним легким... Куда от армии? К земле-матушке... Но и ей, как армии, нужны здоровые.

Забылся уже при белом дне, под одуряющий гомон воробьев за открытым окном. Успел даже повидать и сон... Хутор Казачий. Хата своя... Махора у гарнушки... Встав на колени, дует, распаливает кизяки. Муська подставляет ему подол голубенького горошком платьица с ржавыми гвоздями... Он будто не отец — парубок. Вколачивая в вербовый стояк гвоздь, нетерпеливо поглядывает на закатное солнце, коснувшееся уже макушек краянских садов. В спешке не совладает с гвоздем: гнется, черт, молотком не попадает. Ему бежать за сады — Нюрка Филатова заждалась в буркунах... А тут эти воробьи на Никодимовом тополе. Разоряются, спасу нет. В ушах больно...

2

Покидал Борис чистую палату, уютный университетский дворик, затененный тополями и кленами. Провожать высыпало все белохалатное население клиники. В распахнутых окнах торчали свежеостриженные головы. Вскидывали оголенные руки, трясли кулаками: конник, не подгадь...

Щурился от режущего полуденного зноя, дергал головой, просовывая пальцы за ворот френча. Не душил — щекотно тревожил отвыкшую на воле шею. Два месяца в исподнем, расхристанный. Отвыкнешь.

У ворот ждала тачанка. Держась за подкрылок, он медлил.

Поглядывал все на тропку от клиники: не покажется ли профессор? Правда, они с ним простились в кабинете. Неловкое получилось прощание: накричал на чаловека, приложился кулаком к столу. Из-за проклятой бумажки все...

— Не угодна-с такая... Пишите сами. Но подписи моей не будет,— заявил профессор.

Пробовал пойти на уговоры, разжалобить:

— Сергей Иванович... понимаете, до штарма на пушечный выстрел не пустят с таким документом. Полный калека!

— А кто... вы? Боюсь, и месяц в загородной даче не очень поправит ваши дела.

Расправлял Борис скомканную четвертушку плотного листа бумаги, заполненную ломким профессорским почерком. Уняв обиду, прочел уже осмысленнее:

Госпитальная
Хирургическая клиника
Саратовского университета

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Выдано командующему левой группой 10-й армии Думенко в том, что он после полученного им 25 мая 1919 года огнестрельного слепого ранения правого легкого находился по 28 июля на излечении в Саратовской госпитальной хирургической клинике, где подвергался многократным операциям (14 пункций грудной полости и удаления снаряда). Пуля, вошедшая сзади ниже угла лопатки, прошла через легкое, перебив 7 и 8 ребра, и засела в мягких тканях сосковой области. Кровоизлияние в плевральную полость, заполнившее ее почти всю, приобрело в конце гноевидный характер и частью отхаркивалось через дыхательные пути. Легкое спалось ровно, и правая половина грудной клетки запала.

В настоящее время легкое расправилось наполовину, дыхание начинает восстанавливаться, отделение через бронхи продолжается, иногда с кровянистым характером.

Имеется явно выраженное малокровие. Для расправления легкого требуется еще полгода. Для полной трудоспособности — не менее 2-х лет.

Профессор *С. Спасокукоцкий.*

На ходу заталкивал удостоверение в нагрудный накладной карман нового френча. Только на лестнице вспомнил, что не пожал профессору руку, не сказал тех добрых слов, какие скопились за долгие бессонные ночи в палате. А надо бы: человек этот на глазах вершил чудо.

Уселся в тачанку. Отвешивая поклон нянюшкам, сестрам, косил глазом: нет, пустая тропка...

— В штарм,— толкнул Мишку в спину.

3

Летние дни сошли. Зорями, утренней и вечерней, делалось прохладно. Росы выстилались по никлому высохшему бурьяну. Воздух будто крутел; белесый, с запахом пыли, набрякал речной чистотой, свежестью. Менялось и небо. Вылинявшие за лето краски восстанавливали свои первозданные цвета.

До света вскакивал Борис. Смалу въелась привычка. Можно бы и поваляться в буржуйских пуховиках. Не валялось. Сходил с крыльца, ворочая в плечах согнутыми руками, до боли в легких набирал в себя стылый воздух. С остервенением чистил Панораму. Правая рука — плохая помощница. Кидал скребок в бричку, отворачивался от синих липучих глаз ординарца. Сердито напоминал:

— Дело за собой не знаешь...

Опрометью бежал Мишка в дом, вертался тут же. Подавая моток ремней с шашкой и кобурой, успокаивал:

— Разработается еще, гляди...

Борис хмыкал: без сопливых, мол, знаю. Заметив на веранде Григория Колпакова, совал под мышку узел с оружием, уходил в лес. Тоже будет глядеть жалостливо: не мордуй, мол, понапрасну себя, горбатого к стенке не приставишь. Забивался в самую глушь, рубил молодняк до изнеможения, гимнастерка прилипала к мокрым лопаткам. Левая входила в силу споро; с правой беда: не слушалась, силы как у малого. Шашку не доверял: тяжела, неподъемна. Натаскивал сперва на безобидном. Кидал комья земли, сучки, метя в стволы деревьев. Как мальчишка радовался, когда попадал. А недавно приноровился стрелять из нагана. За спину откидывало руку. Боль дурацкая в плече; первые дни даже не рисковал на повторный выстрел.

Нежданно ворвалась обида. Нанес ее Клюев, командарм. С неделю назад, в последнюю поездку в штарм, он задержал его дольше обычного, сообщил с глазу на глаз:

— Как известно, главный удар по Деникину намечается у нас. Для этого нужен еще один конный корпус...

Остатки крови отлили от бледных щек Бориса: догадался, куда гнет командарм. Значит, Егоров тогда, в палате, не случайно обмолвился, а не предложил: уже знал, не ему осуществлять благое дело. В 10-ю он не вернулся; поехал в Брянск, в 14-ю.

— У меня есть корпус,— загорячился он.— Мой. Два года почти...

Клюев взял его за локоть.

— Послушай сперва... Одному корпусу не справиться с той задачей, какая ложится на Особую группу Шорина в связи с предстоящими наступательными операциями. Сколько конных корпусов у Деникина против нас, а? Шкуро, Мамонтов, Коновалов, Топорков... Улагай, Покровский... Не перечтешь.

— Плевал... Я бил их, не считая. Буду бить и впредь.

Борис резко встал, намереваясь уйти.

— Дай договорить, Борис Макеевич... — Поправлял Клюев очки, сердито шевелил густющими бровями. — Кавалерия твоя отменная, рубится достойно... Советская власть неоднократно тебя отмечала за нее. Сознаюсь, на корпус твой замахнулись уже... Не Шорин — там, свыше. Боюсь, заберут его от нас. Даже Каменев не сможет отстоять. Рванется еще Мамонтов по нашим тылам, вроде недавнего рейда, где-нибудь в районе 8-й, 13-й армий... Прощай, корпус. С чем ты, инспектор кавалерии, останешься?

— С плетью,— мрачно усмехнулся Борис.

— То-то. Шорин приказал самым срочным порядком формировать новый конный корпус. Именно тебе, Борис Макеевич.

— Сам Шорин пускай и формирует.

С тем Борис и укатил из штаба. Всю неделю злится, по каждому пустяку набрасывается то на ординарца, то на жену, то на брата, Григория Колпакова, отъедавшего тощие бока после тифа здесь, на загородной даче. Потому и бежал с глаз долой в лес, устало валился в бурьян. Вглядывался в небесную глубь: все искал в причудливых узорах облаков вздыбленного коня на меловой придонской круче. Сколько лет прошло, а не выветрялось из памяти то давнее диво... Свершилась ребячья мечта: есть у него и кони, и боевые клинки. Небо успокаивало, остужало разгоряченную голову.

День ото дня к нему возвращалась вместе с физической силой и былая уверенность. Утром нынче прибегал коннонарочный: вызывали в штарм. Быть к двум часам. За завтраком Григорий, видя волнение брата, счел нужным вмешаться:

— Ты не ломай там дурака... Громадное дело тебе Республика доверяет: еще один сформировать конный корпус. А рубать — другим уж... Куда тебе?

— Не нуждаюсь в плакальщиках.

После завтрака Ася собралась в город, на базар. Помогая Мишке запрячь лошадей в тачанку, предупредил:

— Не долго, гляди, там... В штаб мне.

В лес ушел без оружия. Бродил у буерака, обламывая ветки цепкого боярышника. Доверие, оказываемое командованием, льстило его самолюбию, но жалко было и со своей конницей расставаться. «Сформировать новый корпус? Это, брат...— спорил он мысленно с Григорием.— С кургана не сформируешь — в осатанелой скачке, рубке. И не дни — нужны долгие месяцы. Хватит ли сил? Как ни бодрись, а рука-то одна, одно легкое. Не нарубать, не надышаться...» Вкрадывалось сомнение. Из чего формировать? Из войсковой конницы... Бригада Фомы Текучева в 37-й дивизии, у морозовцев, 38-й, бригады Михаила Лысенко. Кто еще кроме Жлобы с отдельной бригадой?..

Загодя начал Борис сборы. Помогали всем домом. Покуда брился, плескался у колодца из ведра, жена Григория, Дуня, девчата, сестры двоюродные, выгладили новый френч, галифе, подшили свежий подворотничок. До сияния натер суконкой сапоги, шпоры; на веранде перед оконным стеклом вместо зеркала прикинул на себе все шашки: именную, трофейную, от кавказского князя, работы дамасских мастеров, отделанную чернью по серебру. Выбор пал на казачью, свою верную, боевую: притерлась к плечу, сжилась с боком да и в бою не подводила. Отвинтил от старой гимнастерки орден. Девчата налетели, толкаясь, мигом прикрепили к накладке кармана. Расправляя мятую ленту, Дуня с восхищением окидывала его с ног до головы.

— Ну, братушка, хоть под венец...

Общее веселье захватило и Бориса. Но, глянув на часы, посмурнел. Пора бы уже Асе вернуться. Тиская махор темляка, матерился: дался ей базар в этот день. Верхи не хотелось. Навязывался Григорий в сопровождающие — отмахнулся:

— Куда уж! На лавке качает вон...

«Едут, едут»,—донеслись девичьи голоса. Бегом, придерживая шашку, пересек двор. В воротах кинулся на оскаленных мокрых лошадей. Хрипел, заикаясь и синея от натуги:

— ... твою мать... Слазь! На тачанке — по базарам! На бричке вон... Барыня! Корчит из себя генеральшу...

До самого города не снимал кнута с мокрых спин лошадей. Обдуло ветром — остыл, одумался. Ткнул оробевшему Мишке вожжи и кнут, отвалился на спинку заднего сиденья.

Глава четвертая

1

В Кремле заседали члены ЦК.

По случайному совпадению это был тот самый июльский день, когда генерал Деникин в знойном Царицыне провозглашал поход на Москву. Грозные события на юге потребовали немедленного решения неотложных вопросов, связанных с обороной страны, укреплением армии и снабжения войск.

Вошел Владимир Ильич через боковую дверь, прямо из своего кабинета. Усаживаясь на крайний стул, отметил, что члены ЦК давно так дружно не собирались, кое-кто прибыл даже с дальних фронтов. Склонился к блокноту, но Стасова, раскладывая рядом свои бумаги, жестом указала на председательское место. Неписаное правило среди секретарей ЦК: припал черед — будь добр. Кивком поблагодарив ее за напоминание, пересел.

В зале ощутим сквознячок. В приоткрытые окна вместе с дивным светом, исходившим от небесной голубизны, вливался све-

жий ветерок; в липах гомонили воробьи. Все это мимолетно коснулось сознания Владимира Ильича, пока он подносил к глазам повестку. Заговорил сидя, не отрывая хмурого взгляда от чернильного гранитного прибора; чувствуя, как спазма сжимает горло, он то и дело откашливался, прикрываясь ладонью.

— Товарищи... для Республики настал грозный час... На этот раз опасность надвигается с юга. В руках Деникина, как вы знаете, на сегодня уже весь Донбасс, Крым, Северная Таврия, часть Украины... Пали Харьков, Белгород; позавчера 10-я армия оставила Царицын. Угроза нависла над Саратовом, Воронежем, Курском, Киевом, Николаевом, Одессой. Южный фронт не держит, войска бегут, теряют боевой дух, морально разлагаются. Не хватает резервов, подготовка их слабая. Не на высоте и командование...

Он извлек из жилетного кармана массивные серебряные часы с цепочкой, поглаживая большим пальцем, косил на стрелки. Знак этот был известен всем присутствующим: долго говорить сам нынче не намерен, не позволит и другим такой роскоши. Так и есть, осветив в нескольких словах обстановку на фронтах, объявил повестку.

— Видите, товарищи, дел скопилось множество. Все они ждут нашего незамедлительного решения. Прошу предложения по первому вопросу.

С облегчением почувствовал, кстати оказалось председательство: послушает других, взвесит, уловит какие-то детали, моменты, не вполне еще у самого созревшие. Из девятнадцати вопросов, пожалуй, один давался ему с таким трудом — о Ставке. Утром уже, после мучительных раздумий, собственноручно вписал его первым в порядок дня. Перевод Полевого штаба РВСР из Серпухова в Москву особых возражений, наверное, не вызовет, зато смена главного командования всколыхнет страсти. Заранее предполагал, как распределятся силы.

Не замедлил подать голос Восточный фронт. Как и ожидал Владимир Ильич, поднялся Гусев. Локоть к локтю с ним — Смилга, тоже член РВС Востфронта; непременно поддержит. Оба они вернулись этой ночью из Симбирска — штаба фронта. Побывали и у него в кабинете до заседания; делились успехами на востоке, высказывали тревогу, просили помощи. Не умолчат работники и Западного фронта — Данишевский и Сталин. Не терпится Данишевскому — по глазам его видит. Молодой латыш, с семнадцатилетним дореволюционным партстажем, издавна вызывает в нем симпатию: белокур, приятен лицом, малословен, с железными нервами. В эмиграции еще запомнился; до сих пор зовет его не иначе, как Герман — партийная кличка. В Москву Данишевский прибыл из Латвии; дня два назад выступал он на Политбюро с докладом о положении на Западном фронте, критиковал главное командование; критика та была направлена

против Троцкого, бестактно, пренебрежительно высказавшегося о «латвийском фронте». Данишевский в третий раз перебрасывается на Восточный фронт: теперь назначен членом РВС 2-й армии. Ему есть что добавить к словам Гусева и Смилги.

Давно ловит себя Владимир Ильич на том, что ожидает выступления Сталина с каким-то чувством, похожим на тревогу. Тревожащее чувство он испытывает и сейчас. Слишком категоричен Сталин, резок, до грубости; такие черты в характере ответственного партийного работника опасны, и они могут выродиться в более страшное явление — нетерпимость. А нынешний момент Сталин не упустит. Сидит грузно, особняком, за спинами, мирно уложив на колени тяжелые кисти рук; ничем не выдает своего отношения к происходящему, как всегда, тревожно-спокоен, весь в себе. Не в пример Гусеву, не постесняется выражений покрепче в адрес главного командования; кстати, он уже высказался в недавнем письме к нему, Ленину: обвиняет Ставку, утверждая, что военные специалисты, засевшие в Полевом штабе, работают на белых. Куда дальше уж этих слов! Действовать в таком духе — брать на подозрение всех «бывших»,— не с кем будет строить регулярную армию.

А кто поддержит Троцкого? Склянский? Навряд ли. Этот прежде взвесит ситуацию. Уловил Владимир Ильич острый отсвет пенсне Троцкого. Насуплен, как осенняя ночь, упрямо гнет книзу голову, скрестив худые руки; чувствуется, удерживает себя силой, чтобы не взорваться. Гусев убедительно доказывает несостоятельность работников Полевого штаба; каждое его слово Троцкий воспринимает как удар по себе.

Мысли у Гусева стоящие. Владимир Ильич сосредоточил взгляд на чистом листке блокнота; часы отложил к чернильному прибору: давал понять выступающему, что временем не ограничивает.

В самом деле, объем операций перерос способности главного командования; с его стороны продолжается мелочное вмешательство в оперативные дела, неизбежное в восемнадцатом, но ставшее вредным теперь, в девятнадцатом. Красная Армия уже выдвинула новых стратегов; их опыт надо использовать в штабе главного командования, где в основном собрались люди старого уклада, не бывавшие непосредственно на фронтах гражданской войны. Никакие они не контрреволюционеры, ни тайные, ни явные, как это считают некоторые. Засиделись «старички», обросли мхом. Склонившись над блокнотом, Владимир Ильич быстро написал: «Т. Гусев! Кого конкретно можете назвать?» Знал, о ком пойдет речь. Пусть услышат все, пусть обсуждают, выдвигают новые имена.

Вопрос о главкоме у Владимира Ильича зреет с весны. В мае, стронув с волжских берегов полчища Колчака, красные войска погнали их хоженой дорогой обратно к Уралу. Неудачи на Юж-

ном фронте вынудили главкома Вацетиса приостановить наступление на реке Белой и заняться переброской воинских частей на юг. РВС Восточного фронта приказ тот опротестовал. В этом конфликте он, Ленин, поддержал командование фронтом. Доводы Вацетиса, казалось, веские: Колчак-де уже не так опасен, как это было в апреле, а успехи Деникина создали серьезную угрозу Донбассу. Анализ политической и военно-стратегической обстановки на всех фронтах убедил Владимира Ильича, что Колчак остается по-прежнему опасным противником: у него огромные пространства для отступления, достаточно людских резервов, богатый хлебом тыл. При помощи Антанты, а тем более успешного продвижения Деникина, он мог в короткий срок восстановить свои разбитые части и свести к нулю первоначальный успех Восточного фронта. Дал указание: не только не прекращать дальнейшего наступления против Колчака, а всемерно усиливать его.

Майский конфликт на Восточном фронте — не что иное, как противоречие между старым и новым пониманием содержания и целей войны. Главком Вацетис оказался не в состоянии правильно организовать борьбу с Колчаком. Для него, опытного военного, гражданская война ничем не отличается от мировой или той же русско-японской. Война и война. Он видит лишь один путь к победе — путь узковоенного решения возникающих в ходе вооруженной борьбы задач. Он явно недопонимает зависимости и взаимосвязи в условиях классовой, гражданской войны между социально-политическим содержанием и методами ведения ее. Главком не учел опыта Красной Армии в борьбе против интервентов и белогвардейцев. Дважды за минувший год представители старой военной науки оказывались беспомощными перед сложившимся положением: летом восемнадцатого, когда чехи захватили Среднюю Волгу, и вот недавно, в апреле, когда Западная армия генерала Ханжина подступала к Волге. А есть ли гарантия, что того не случится в третий раз? Деникин, несомненно, опаснее Колчака...

— Назову конкретно, Владимир Ильич,— Гусев, повертев записку, сунул ее в нагрудный карман защитного френча.— Назову. Каменев, Сергей Сергеевич, командующий фронтом, и Лебедев, начальник штаба. Большевики Восточного фронта выдвигают этих людей и полностью оказывают им доверие. Они успешно развернули грандиозное наступление на Колчака. Недалек тот день, когда адмирал будет полностью ликвидирован.

— Большой оптимист вы, Гусев,— мрачно усмехнулся Троцкий, туже сплетая руки на груди.

— Имеете слово, товарищ Троцкий? — обратился к нему Ленин.

— Нет!

Встряхнув копной волос, он все же резко поднялся.

— Я категорически против смены главного командования! Категорически. Выступление Гусева слишком эмоционально. Побывав на Востфронте, он заразился определенно... э-э, периферией.

— Вы, Лев Давидович, не реже других посещаете фронты...

Реплика возымела действие на Троцкого. Нервно сдернув пенсне, он беспомощно моргал припухлыми веками; хотел ответить, но, оценив для себя обстановку, вяло опустился на стул. Прикушенная губа выдавала задетое самолюбие. Реплика насмешливая, даже злая, и не будь она воспринята кое-кем с таким откровенным торжеством, Владимир Ильич не пожалел бы о ней. Не стоило ему сразу открываться. Откровенного обсуждения, что важно, теперь может не быть. Все палки полетят в одного. Пожалуйста, просит слова Смилга; за ним тянет белую руку Герман. Камня на камне не оставят от штаба РВСР.

Что, Сталин не собирается выступать? Не поддался общему возбуждению, трубку даже не вынул, не тискает ее, как всегда делает, если его одолевает нетерпение. Знак добрый. Тогда пусть Смилга, он помягче, податливее. Правда, водится и за ним грех: чересчур увлекается громкими фразами, парит в облаках. Как и Вацетис, Смилга латыш; обстоятельство это надо использовать...

Нет, Сталин думал выступать. Ночью, в поезде, выезжая из Петрограда, он прикинул к докладу о своих петроградских делах пару нелестных слов о Ставке. Теперь, слушая Гусева и Смилгу, так ловко укладывающих в гроб главное командование, отказался от прежних намерений. Пожалел, у него нет такого человека, кого бы он мог назвать на должность главкома. Не знает и комфронта Каменева, ничего о нем не может добавить.

Не это все-таки удержало Сталина. Необычным показалось ему нынче поведение Ильича: поначалу слушал Гусева рассеянно, что-то отвлекало, потом в прищуренных глазах появился интерес. Не понять, сам он за смену главкома? Знал ли о Каменеве как претенденте? Гусев, выходя с таким предложением, не мог не поставить его загодя в известность.

Сталин понял, скорее почувствовал нечто важное для себя. Ему не следует выступать. Ставку добьют и без его помощи. Скрытый ход мыслей Ильича он разгадал; конечно, Ленин за смену главкома. Сама постановка вопроса говорит о том, красноречива записка Гусеву, и особенно его реплика Троцкому. Ленин добивается мирного исхода, полного единодушия членов ЦК. А своим выступлением он, Сталин, лишь раскалит страсти.

Утратив интерес к судьбе Вацетиса как уже решенной, Сталин неожиданно для самого себя вернулся к своим ночным бдениям. В спальном вагоне, ворочаясь на пружинном матраце, меж тревожных раздумий об оставленном Петрограде, о тех недоделках, крупных и малых, связанных с ликвидацией контрреволюционного мятежа, к каким не успел приложить руку, нет-нет да и

забегал мыслями сюда, в Кремль: какова там обстановка? как Ильич?

Издавна дают о себе знать эти вопросы, стоит только ему надолго отлучиться из Москвы. Помнит, весной восемнадцатого впервые почувствовал, как неимоверно трудно бывает Ильичу, какой груз взвалил он себе на плечи. Трудности те, как ни странно, создает окружение, соратники, вот эти люди; иные не понимают его, не хотят этого делать. В критические часы мира или войны с немцами доходило до абсурда: Ильич оставался в изоляции. Один! Только сила воли, огромное самообладание его спасли дело революции. Жизнь Советской власти висела на волоске. Сломил непокорных, колеблющихся убедил.

Год прошел, этой весной, на съезде — то же самое. Вроде бы и обстановка не та, не одинок Ильич, но легче ему не стало. Тон задавали военные, сколотив на скорую руку так называемую «военную оппозицию»; вразрез главной линии партии — о необходимости использования военспецов и введения единоначалия в армии — они выдвигали свой принцип: коллегиальное руководство. Он, Сталин, сознаться, разделял точку зрения «военной оппозиции», сказать больше, и сейчас за пересмотр отношений к старым специалистам, и не только военным, вообще к буржуазным кадрам. Правда, он не пошел против решения ЦК — не выступал открыто на стороне оппозиционеров, не поддержал их и на голосовании. Нагляделся тогда на Ильича; трижды говорил он, с трибуны, на закрытом заседании военной секции,— убеждал, доказывал, требовал подчинения большинству. Оппозиционеры не вняли его убеждениям — склонились перед большинством.

Нынче, увидав Ильича, Сталина охватило щемящее чувство. Поразил утомленный вид, серый болезненный цвет лица, проступившие мешки под глазами. Неужели тяжелые вести с фронтов так его угнетают? Навряд ли. Страстный и бесстрашный боец, с холодной головой и пламенным сердцем, Ильич не уклоняется от битв. Нет. За многие годы повидал его в жесточайших схватках с идейными противниками всех рангов и мастей; совсем недавно еще схватывался и с некоторыми из присутствующих. Тем же Троцким. Человек из чужого лагеря, побежденного; попал к ним, большевикам, не по доброй воле: деваться некуда. Полностью ему и Ильич не доверяет — использует ради общего дела все его организаторские способности, неуемную энергию, напор.

Раньше предполагал, а теперь видит Сталин, что причина «непонятного» поведения Ильича кроется во взаимоотношениях с ними, членами ЦК. Почти все они, на кого ни глянь, люди военные, наделены огромной властью, привыкли повелевать, приказывать. Ильич же не имеет никакой военной власти, он равный среди равных; удел его — разъяснять, убеждать, доказывать, добиваться единогласия этих двух десятков человек.

Мысль такая поразила Сталина. Он почувствовал, именно здесь скрыто неравенство между ними. В самом деле, Ильич ни кому из них не может приказать; в то время как они, и он в том числе, Сталин, уже вкусили власти сполна: там, на фронте, порою достаточно одного их слова, чтобы решить участь человека или привести в действие многотысячные массы вооруженных людей. Причем без особых на то усилий, без обсуждения. Здесь же тратится огромное количество слов, времени и нервов только на убеждения, на уговоры. Вся эта совещательная атмосфера давит Ильича, угнетает, не дает проявить тех ярких в нем бойцовских качеств. Он буквально сгорает; крайняя физическая усталость наложила свой тяжелый отпечаток не только на его лицо, но и на жесты, на голос, сказалась даже в манере ведения заседания... А можно ли на месте Ильича приказывать, повелевать? До таких мыслей он, Сталин, еще никогда не доходил...

Разговор вокруг первого вопроса грозил затянуться. После Смилги вскинулся сразу лес рук; пришлось уступить настойчивому взгляду Германа. Затем выступили Стасова и Дзержинский; вслед за Гусевым и Смилгой они высказывались за смену главного командования, за введение в штаб РВСР новых революционных методов работы.

Слово для предложения взял Розенфельд-Каменев; не то посоветовал он, не то спросил:

— Мнений два... Не лучше ли передать решение этого вопроса Совету Обороны...

— Речь о главкоме,— недовольно поморщился Ленин.— Полномочно решать только ЦК. Для того мы здесь и собрались. Пусть подумают хорошенько товарищи, взвесят... Завтра вернемся к этому вопросу. Напоминаю, повестка у нас обширнейшая. Не увлекаться. Предложения и еще раз — предложения. Время у вас было выработать свою точку зрения по главнейшим, принципиальнейшим позициям.

— Владимир Ильич, могу я воспользоваться вашими рекомендациями?

Поднялся председатель ВЦИК, Калинин. Среди защитных френчей и строгих костюмов он выгодно выделялся старорусским одеянием: выбеленного холста косоворотка, расшитая веселым крестом по вороту, широким рукавом и подолу, суконные шаровары, заправленные в яловые сапоги, плетеный шелковый поясок. Усмешливо поглядывая сквозь толстые стекла очков, он заговорил своим мягким окающим голосом:

— Помимо смены главкома вопрос этот имеет еще одну грань, не менее важную в настоящий момент,— о месте пребывания Ставки. Предлагаю перевести Полевой штаб из Серпухова в Москву. Думаю, не понадобится долго разъяснять членам ЦК тому мотивы. Штаб главного командования есть мозг Красной

Армии. Это бесспорно. А место мозга даже детям известно... Словом, нахождение этого органа в Москве облегчит не только осуществление контроля над ним со стороны ЦК, но и прямое руководство им.

— Я поддерживаю Михаила Ивановича,— кивал одобрительно Дзержинский.— Предлагаю ставить на голосование.

Руки подняли все.

Не далее как позавчера на заседании Совета Обороны разговор о том был. Троцкий яростно настаивал не срывать штаб РВСР из Серпухова, мотивируя тем, что в Москве-де слишком много желающих покопаться в «мозге» Красной Армии. Безуспешно пытались переубедить его Дзержинский и Калинин. Сейчас всероссийский староста решил поставить этот вопрос перед ЦК.

Владимир Ильич объявил следующий вопрос — о создании единого центра. Предполагается укрепление центрального военного аппарата. Выждав долгую паузу, чтобы остыли у иных не в меру горячие головы, он доложил, что Политбюро, Совнарком и Совет Обороны признали ныне действующий аппарат Реввоенсовета Республики громоздким, неповоротливым, к тому же успевшим обюрократиться. Да, это он может повторить не единожды. Из пятнадцати членов РВСР добрая половина — мифические личности, а попросту — мертвые души. Для оперативной и гибкой работы от имени Политбюро и правительства Владимир Ильич предложил сократить теперешний состав Реввоенсовета до одной трети. Возражений никто не высказал; в решение записали: «Создать РВСР из 6 фактически работающих, Троцкого, Склянского, Гусева, Смилги, Рыкова и главкома. Всех прежних освободить».

В число «прежних» попал и Сталин. Сам он догадывался о намечающихся изменениях, не раз высказывался за перестройку центрального военного аппарата; в подтверждение того самовольно вывел себя из состава РВСР. Правда, заявления его ЦК не рассматривал, официально отставку не давал. Теперь кольнула обида: получалось, освободили за бездеятельность. Оцени этак другой кто, не Ленин, прошло бы безболезненно. За новый состав РВСР Сталин подымал руку без особых потуг. Понимал Ильича; будь и сам на его месте, остановился бы на них. Насколько прочна и долговременна рабочая, деловая связь этой шестерки, предугадать трудно, но в сложившийся момент она вполне приемлема. Троцкому, председателю РВСР, смогут противостоять, в крайнем случае уравновесить, Гусев, Смилга и главком, а таковым непременно будет Каменев. Заместитель председателя, Склянский, человек непонятный для Сталина, безголосый и вроде бы бесплотный, сумеет в нужную минуту сбалансировать, не наступив на мозоли ни тем, ни этому. Поглядывая сбоку на лицо Склянского, чистое, ухоженное, с редкой пушистой раститель-

ностью вокруг безмятежного рта, Сталин с усмешкой представил его стоявшим на цыпочках с раскинутыми руками...

Как ни поторапливал Владимир Ильич излишне разговорчивых, к заветному часу — двенадцати — поставил жирные птички лишь против шести вопросов. Давно потухла за зубчатыми стенами сиреневая заря, в липах, под окнами, угомонились воробьи; после второго перерыва, чтобы не включать ради экономии люстры, он пригласил членов ЦК к себе в кабинет. Надолго ввязли в снабженческие дебри. Все в один голос высказались, что снабжение армии ведется из рук вон плохо; занимаются им самые разные ведомства; спросить не с кого. Малый Совет Обороны, осуществляющий контроль над заготовителями и поставщиками, беспросветно утонул в бюрократических бумажках. Записали категорично: «Немедленно объединить всю организацию снабжения армии. Техническое проведение поручить одному лицу (Рыкову), который получает диктаторские полномочия в области снабжения армии. Малый Совет Обороны в связи с объединением снабжения армии упраздняется».

Последующие три вопроса — о мобилизации коммунистов, партработников, правах и обязанностях комиссаров в армии. Признали необходимым закрыть на время учреждения, не связанные с обороной, сократить работников в комиссариатах и отделах; высвободившихся членов партии направить в армию на политическую работу; провести персональный отбор коммунистов для замещения должностей военкомов и политкомов на фронте и в тылу.

2

На другой день на заседание не явился Троцкий. На запрос, в чем дело, он ответил, что чувствует себя нездоровым и прийти не может. Звонила Елена Дмитриевна Стасова; выслушав ее, Владимир Ильич едва приметно усмехнулся и прошел к телефону.

— Вас ждут... О главкоме должны решить сегодня. Да-а? Ну что ж... Если вы серьезно больны, то ЦК может собраться у вас.

Ответ на том конце провода, по-видимому, был краток. Вернувшись к столу, Владимир Ильич как ни в чем не бывало продолжал прерванную беседу с секретарем МК Загорским.

Четверть часа спустя в дверях показался Троцкий. Бледные запавшие щеки, мрачный взгляд поверх пенсне, острые движения худых локтей. Причина его «болезни» известна только одному человеку в зале. Рано утром Владимир Ильич звонил в гостиницу «Националь», на квартиру Троцкому; обговаривая совместное выступление на завтрашнем соединенном заседании ВЦИКа, Моссовета и Всероссийского Совета профсоюзов, дал понять ему, что склонен к смещению Вацетиса и именно Каменева надо на-

значать на ответственный пост: тот-де научился бить противника и вполне показал свою преданность Советской власти.

Едва объявил Владимир Ильич вчерашний нерешенный вопрос, как поднялся Троцкий. Заговорил напористо, яростно жестикулируя: он продумал, он взвесил и будет настаивать на сохранении прежнего главного командования. Оттягивая козлиный клок на подбородке, пригрозил:

— Произойдет смена, я ухожу... Оставлю пост.

Отвечает ему, Ленину, на утренний разговор. Очередная поза? В пылу Троцкий способен на самый безрассудный поступок. Как уже случалось прошлой осенью на свияжском участке фронта, под Казанью. Очевидцы рассказывали: распалив до неистовства речью вооруженную толпу красноармейцев, он повел ее на наступающие цепи белочехов. Мог бы и лечь под вражескими штыками — на миру, как говорят, и смерть красна. Для рядового политработника такой поступок считался бы героизмом, для наркома — банальной, дешевой позой. Покрасоваться с наганом над головой на глазах у разъяренной массы, зная наперед, что тебе не дадут ступить и десятка шагов в сторону противника, не красит человека вообще, тем паче облеченного высокой властью. Силой водворили его в бронепоезд; выведенный уже из опасной зоны, Троцкий продолжал все разыгрывать благородное негодование: рвался спрыгнуть на ходу с подножки. За свияжскую «вылазку», какая принесла больше вреда, нежели пользы, ему крепко влетело на партсъезде, в марте.

Что-то подобное повторяется и сейчас. Снедаемый болезненным самолюбием, Троцкий не в силах отказаться от высказанного вслух своего мнения. Видно же, его не судьба Вацетиса беспокоит — гложет собственное «я». Может оставить и пост — приведет в исполнение свою угрозу. Победителем хлопнет дверью на виду у членов ЦК, продемонстрирует непреклонность. Зная Троцкого, Ленин понимает, что расчет его строится на более тонких вещах, скрыт куда глубже; внешняя бравада — всего-навсего пыль в глаза. Троцкий все взвесил; он уверен, что правительство принять от него отставку в этот час не в состоянии. Именно на то рассчитывает.

По напряженным лицам Владимир Ильич видит: ждут, что он скажет? Еще бы, не главкома сменить или передвинуть командующего фронтом. Нарком! Нет, нет, одернуть, устыдить. Поднявшись, перелистывал блокнот; ничего в нем не искал — подбирал как можно безобиднее выражения.

— Оставить пост, товарищ Троцкий, вы сможете... Время терпит. Завтра — будет поздно. Враг у Курска... Генерал Деникин вчера в захваченном Царицыне объявил поход на Москву. Сведения самые что ни на есть достоверные, их получил товарищ Дзержинский. Враг наступает стремительно. Армии Южного фронта могут оказаться в скором времени перед катастрофой.

Даже скорее, чем вы думаете. Простите, отвлекаемся на вещи недостойные нас... Вернемся к насущному вопросу — о главкоме. Решать нужно немедленно. Я разделяю мнение большевиков Восточного фронта, высказанное вчера товарищами, и предлагаю назначить главкомом командвоста Каменева. Товарищу Вацетису дать почетное военное назначение с приличным окладом. Назначение утвердить на Политбюро.

— Упустили о начальнике штаба,— напомнил Гусев.

— Главкому работать с начальником штаба,— пожал плечами Ленин.— Согласовать потом с Каменевым. Лично я не против Лебедева.

Страсти на том улеглись. Подымал руку и Троцкий; после голосования он тут же заявил, что нынче ночью уезжает на юг. Заявление его приняли к сведению; никто по этому поводу не выступал. Дзержинский внес предложение направить в Серпухов специальную комиссию ЦК для ознакомления с положением в штабе РВСР и смены главкома.

Особых трений до конца заседания больше не возникало. Одобрили доклад Сталина о проделанной им работе в Петрограде. С созданием РВС 7-й армии полномочия, данные Сталину Советом Обороны, отпадают; ЦК выразил полное удовлетворение его деятельностью и назначил членом РВС Западного фронта. Рекомендовали командующих фронтами: Восточного — Фрунзе, Южного — Егорьева, Западного — Гиттиса.

Наутро в Серпухов отбыла особая комиссия. С умыслом посылал Владимир Ильич Данишевского: не наломали бы там дров. С Вацетисом земляки они, знают друг друга, найдут общий язык. Перед отъездом приглашал его к себе; дал ряд советов, как действовать.

— Герман, надеюсь, вы понимаете свою роль в комиссии... Заслуги Вацетиса большие перед Республикой. В самые тяжкие часы мы оказывали ему доверие. Оправдывал с честью. Хотя бы по ликвидации внутренней контрреволюции, левоэсеровского мятежа прошлым летом... Словом, выскажете ему все нынешние обстоятельства. Речь не об утрате к нему доверия. Нет и еще раз — нет. Об устарелых методах борьбы. Так и объясните.

— Владимир Ильич, меня тревожит другое... Поведение Троцкого. Вы же его знаете...— Данишевский упрямо сдвинул светлые брови.

— У вас решение Цека.

— Каменеву будет трудно работать.

По обострившемуся взгляду Ильича Данишевский понял, что о Троцком затеял некстати. Да, Ленин его знает. И лишний раз напоминать о том не совсем тактично. Около года назад, осенью, в этом же кабинете уже заходил меж ними разговор о Троцком и его роли на фронте. Данишевский передавал общее недоволь-

ство фронтовых политработников партизанскими наскоками поезда Троцкого на боевые участки. Недовольство высказывало и командование; при проездах того на фронте создавалось двоевластие, путались действия, планы: о своих распоряжениях Троцкий не ставил в известность ни командование, ни РВС. Положение под Казанью в те дни было угрожающим. Троцкий нервничал и делал глупости. Его вмешательство вносило дезорганизацию в руководство операциями, нервировало командование и политкомов. Приходилось даже выделять специальные части, чтобы защитить или выручить его поезд. Он, Данишевский, просил отозвать Троцкого из-под Свияжска.

Помнит, выслушав, Владимир Ильич после долгого молчания сказал:

— Троцкому нельзя вполне доверять. Что он может сделать завтра — не скажешь. Надо внимательно за ним смотреть. Не будем его пока отзывать. Вернетесь, узнаете, посмотрите и подробно сообщите. Тогда решим.

Слова эти на Данишевского подействовали сильно. Он был смущен такой оценкой.

Кое-что из виденного в Кремле за двое последних суток было Данишевскому понятно теперь. Троцкий не терпит никакой критики, его не имеющее предела самолюбие не допускает никаких замечаний и требует слепого согласия со всем, о чем говорит, что делает. Почему стоит он за Вацетиса? В рот заглядывает тот ему, исполняет каждую прихоть, каприз. Об Каменева споткнется, как уже было однажды; в мае, перед самым наступлением на Колчака, Троцкий отстранил самовластно того от должности командующего фронтом. Восстановил Ленин. У Каменева есть свое мнение; умеет его обосновать, как военспец, и отстоять. Троцкий это понимает, иначе бы не встал на дыбы.

Нынче опять осадил Троцкого Владимир Ильич. Без грозных слов, как умеет делать только он, не задевая слишком самолюбия. Заметно, Троцкий сам чувствует, что за внешней поддержкой его скрывается настороженное внимание, политическое недоверие к нему со стороны Ленина. Знает и об умении Ленина расставлять людей, использовать их именно там, где они могут принести наибольшую пользу, использовать в интересах партии и революции каждого по способностям и характеру, и даже тех, кому не совсем политически доверяет. К таким людям Владимир Ильич особенно пристально присматривается, всегда настороже.

— Вам, Герман, не следует поддаваться своей тревоге,— посоветовал Владимир Ильич.— Да, Каменеву нелегко будет. Поможем. Поддержим. Потому ускорьте, пожалуйста, перевод штаба главкома в Москву. Для этого вы и едете в Серпухов. А что касается чьих-то личных расчетов, все это выкиньте из головы. Есть дела поважнее. Желаю успеха.

3

Воспользовавшись отсутствием домашних, Владимир Ильич засиделся в рабочем кабинете. Приводил в порядок ворох записок. Сказалась последняя неделя; силясь отогнать усталость, думал о Волге, радовался за Надю: отдохнет, окрепнет. Наверно, пароход отчалил уже от Нижнего. Выехала она с бригадой ответработников на пароходе-пропагандисте «Красная звезда»; намерены спуститься до Самары и подняться по Каме — выступят перед красноармейцами, населением, только что освобожденным от Колчака.

Явственно представил волжский простор. Это навело на мысль: «А не дурно бы прокатиться с ними и Горькому. Совсем расклеится в своем Питере...» Тут же вспомнил, что на письмо его не ответил. Получил вчера.

Развернул синий листок. От Троцкого. В воспаленном мозгу — угловатые, нервные жесты бледных рук, острый блеск пенсне, резкий жестяной голос... Верен себе Троцкий: угадывает, когда бить. Знает, отставку ЦК не примет. Особенно в этот час. Обиделся, вишь... Власть над ним установили, контроль. Да, да, руководство и контроль! Над всем! И в первую голову — военным ведомством.

Вчера на соединенном заседании ВЦИКа, Московского Совета, Всероссийского Совета профсоюзов и представителей фабрично-заводских комитетов Троцкий должен был выступать. Не соизволил: опять сказался больным. Хоть записку прислал. Пришлось самому по ходу доклада о ближайших задачах Советской власти касаться и военного положения в стране. Заболеть не хитро. Но не в болезни тут дело — в чванстве, в барском пренебрежении к мнению товарищей, в раздутой мании величия. Два с половиной миллиона вооруженных граждан в подчинении! Вскружилась голова. Такое чревато опасностями: вождизм вконец может его одолеть...

Задребезжал аппарат.

— А-а, Феликс Эдмундович! Что-нибудь новое из Питера? Выловили главных заговорщиков на Красной Горке? Ах, во-он... Вернулись из Серпухова! Данишевского — ко мне. Вагон его там же, на Виндавском вокзале? Что вы, поздно... Пошлите машину. Да, Феликс Эдмундович, прибудет Каменев из Симбирска, дайте знать. Тотчас сообщите. Ждут завтра к вечеру? Ладно.

Положил трубку на рожки — опять звонок. На этот раз сестра.

— Маняша?.. Так, бумаженции всякие перебираю. Отдыхаю, можно сказать. Надюше письмо черканул... Ухожу, ухожу. Сию минуту будет Герман. И — точка. Ложусь.

С чем вернулись? Какова обстановка в Ставке? Полагался на Данишевского, и все же сосало под сердцем. С главкомом Ва-

цетисом оставляет должность и начальник штаба, Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич. Специального постановления о нем не выносили. В этом кроется неумолимая логика. Наступал момент, когда он, Ленин, готов был поддержать Бонч-Бруевича на пост главкома. Давал себе отчет, что им руководили в то время личные мотивы — глубокое уважение к брату его, Владимиру Дмитриевичу, ближайшему человеку, соратнику. Не простил бы себе мимолетного благодушия.

Слишком разно прожили братья сознательную жизнь. Это — четверть века! С юного возраста дороги их разошлись. Свели события. Младший, Владимир, отдавал все для свершения пролетарской революции. Старший, Михаил, усердно служил царю, получал чины, награды; без сомнения, делал все, чтобы сохранить монархию. Не имей такого брата, неизвестно, как бы сложилась его судьба, царского генерала...

Заслышав по коридору шаги, Владимир Ильич поспешил к двери. Крепко тряс руку, пристально всматриваясь в глаза вошедшего. Данишевский, смущенный такой встречей, неловко топтался, безжалостно комкал выгоревшую защитную фуражку.

— Как там? Что Вацетис?

— У меня с собой записка, Владимир Ильич.

— С запиской ознакомлюсь. А сейчас коротенько... Самое основное. Так как воспринял Вацетис?

— Обошлось без трений. Он уже знал.

— Знал? Ну да, конечно... Постарались сообщить. А каково заключение комиссии?

— Настаиваем на срочной смене главного командования. И отстранении ряда ответственных штабных работников. Штаб не заслуживает политического доверия.

— Не категорично? — Владимир Ильич, прищурившись, склонил голову набок.

— Во всяком случае, доверять больше нельзя ведение крупных операций при колоссально развернувшихся фронтах. Во главе вооруженных сил Республики надо ставить людей, доказавших умение ориентироваться в гражданской войне, кто уже применяет новую тактику непосредственно на поле боя.

— Что ж... Завтра на Политбюро доложите. А теперь отдыхать. Из десятидневного вашего отпуска я отнял три дня. Не обессудьте, Герман.

Углубился было в записку. Доняла звонками сестра. Ушел на квартиру, лег с облегченным чувством. Начал засыпать. Вдруг обожгло: не терпит время! Провести бы заседание ЦК несколько раньше... Когда наметился явный перевес над Колчаком, а на юге Деникин еще не имел такого успеха. Теперь времени для выполнения решений в обрез. Ускорить бы, подтолкнуть... А что, обратиться ко всем гражданам Республики? Разъяснить правду о Деникине. Сорвать маску с ярого монархиста и белогвардейца,

агента мирового империализма. Что несет он на штыках трудовому народу? Кто прячется за его генеральской спиной? Да, да, написать открытое письмо. Призвать рабочих и крестьян напрячь все силы, отразить нашествие...

Мысль эта еще больше взбудоражила. Ощутил знакомую ломоту в висках. Предупреждая приступ головной боли, достал из тумбочки порошок, запил из стакана. Понял, сон исчез напрочь. Не уснет. Сесть за стол — дать разгуляться боли. Нет, болеть сейчас равносильно преступлению. Лучше выскочить в деревню, освежиться, там и обдумать...

Не дождавшись рассвета, позвонил коменданту Кремля:

— Павел Дмитриевич, разбудил... Извините. Пожалуйста, Гиля. На дачу, на часок-другой...

Восход солнца встретил Владимир Ильич в лесу. Нарочно слез у пруда. Шофера попросил, чтобы мальковские парни — охрана — не беспокоились и не мешали.

— Так и передайте, Степан Казимирович. Никуда я не денусь. Торчат пеньками у каждого куста... Право, неловко. Одному хочется побыть, абсолютно одному. Утро-то, утро! У пруда поброжу...

Покидать Кремль на день-два в неделю вошло уже Владимиру Ильичу в привычку. Бывало, пренебрегал настояниями врачей, но прошлогоднее покушение выбило из рук все доводы. Поездки складывались людные: кроме домашних сопровождали и друзья. Верховодила за городом сестра, Маняша. Старалась отвлечь; ей усердно помогали все. Выходило, что ему больше всех подворачивались дела — таскал сушняк для костра, собирал грибы, ягоды. Забывался на короткое время — гасло напряжение. Ценил заботу близких; именно забота их и оставляла ощущение неловкости. Одна Надя понимала в нем то чувство, но втянутая в общий сговор, крепилась, старалась не обнаружить себя, что давалось ей с трудом. В минуты беспричинного, казалось бы, смеха она сдавливала незаметно для других локоть или поглаживала колено, как бы говоря: терпи. В ответ на откровение он накрывал широкой ладонью ее прохладные пальцы...

Ветерок остужал лицо. Щурясь на полыхавшие в зареве сосны за прудом, Владимир Ильич ощущал, как утихает в висках шум. Вдыхал глубоко; сосновый настой пьянил, расслаблял тело. Прилег на влажный песок, разбросал руки; так у себя в Симбирске, гимназистом, он валялся на берегу Свияги. Прохладная синь с раскиданными облаками, подпаленными снизу, до боли усилили воспоминания...

Шевельнулись кусты. Подумал, кто-то из охраны. Резко поднялся. Собака! Сивая, с черными латками. Чья-то крестьянская, из деревни. Поманил свистом. Недоверчиво склонив лопоухую голову, она нырнула в кусты.

— Ишь, нелюдимая...

Огляделся: никого поблизости? Подумают: вслух, мол, начал человек разговаривать сам с собой. Шел, повеселевший, у самой воды. Возле раздвоенной сосны, у обрывчика, свернул на знакомую тропку. Силком удерживал желание вынуть из пиджака блокнот. Что не давалось в тяжком полусне, явственно вставало перед глазами...

И опять, как ночью, взяла тревога за Горького. Вытащить его из Питера. Засиделся, закис. Дал окрутить себя всякой сволочи кадетского толка. А не уговорить ли в самом деле его сесть на пароход? Обоюдная польза — для дела и для самого. Воздухом своим, волжским, подышит. Каюту уж выкроят. Надя будет весьма рада такому компаньону.

После завтрака написал телеграмму: «Дорогой Алексей Максимыч! Ей-ей, вы, видимо, засиделись в Питере. Нехорошо на одном месте. Устаешь и надоедает. Согласитесь прокатиться, а? Мы это устроим. Ваш Ленин». Вручая шоферу, сказал:

— В Петроград.

Выпроводив автомобиль, сел за письменный стол.

...Вошла сестра. С порога навалилась с упреками:

— Володя, как изволишь понимать? Достаточно отвернуться, как ты... Сказал, на час-два, «освежиться». Мне передали. Я-то обрадовалась — отдыхаешь. Не обедал ведь еще! А на дворе вечер...

— Вечер? Не может быть...

Владимир Ильич обнял ее, усадил на свой стул. Шляпу, стряхнув об колено, накинул на олений рог.

— Ты только послушай, Маняша!

— Погоди, Володя. Как ты себя чувствуешь?

— Превосходно.

— А бумажки от порошков?..

— Э, ерунда! Ночь душная, не спалось... Так в чем основная задача момента, а? — сгреб со стола исписанные листы.— Все коммунисты, все сочувствующие им, все честные рабочие и крестьяне и все советские работники должны подтянуться по-военному... Именно, подтянуться! Советская Республика должна быть единым военным лагерем. Все учреждения, работу их, перестроить по-военному, приспособить к войне.

Расправились брови на усталом лице Марии Ильиничны, успокаивался тревожный блеск темных глаз. Не смягчалась лишь упрямо сведенная линия губ. Неисправим брат; не перестает удивлять своей отрешенностью ото всего, что касается его лично. Заботливый, внимательный к другим, безжалостно равнодушен к самому себе. С мальчишек, помнит, такой.

Редкие меж ними, братом и сестрой, отношения. Зачастую дети, выйдя из-под родительского крова, теряют близость, привязанность; у каждого возникает своя личная жизнь. По-иному складывалось у них. Младшая, она потянулась к нему за по-

мощью. Вместе им легче было сохранять тот симбирский домашний уют, привычки, обычаи большой дружной семьи. Беспокойная, полная тревог жизнь революционеров еще больше сближала. Пришел час, когда возле брата появилось удивительно милое, сероглазое, с толстой пепельной косой до пояса создание — Надя; даже это обстоятельство ничего не могло изменить. Брат постоянно нуждался в догляде; ей казалось, что он был беспомощен, как ребенок.

Не перебивала Мария Ильинична — давала возможность ему выговориться. Непременно надо выслушать. И это входило в ее обязанность. Мысли знакомые, о коллегиальности... Коллегиальность необходима для решения государственных дел, но раздувание, извращение ее ведет к волоките, к безответственности.

Всякое превращение учреждений в говорильни — величайшее зло. Кончать с тем злом, кончать как можно скорее. Руководство должно быть поручено одному товарищу, твердому, решительному, умелому, пользующемуся наибольшим доверием. Должна быть установлена л и ч н а я ответственность за то или иное дело. Безответственность, прикрываемая ссылками на коллегиальность,— опаснейшее зло. Она грозит всему. А в военном деле ведет к катастрофе, хаосу, панике, многовластию, поражению.

Нещадно скрипели полы бревенчатого старого дома. Мария Ильинична исподволь искала скрипучую половицу.

— И заново вопрос о военспецах! — Владимир Ильич сокрушенно качал головой.— Заговор на Красной Горке имел целью сдать Петроград Юденичу. Нет сомнения... Неудачи на юге усилят попытки контрреволюционеров свернуть шею Советской власти. Так же несомненно, военспецы дадут в ближайшее время повышенный процент изменников. Но будет непоправимой ошибкой возбуждать из-за этого вопрос о перемене основ нашей военной политики. Нам изменяют и будут изменять сотни военспецов, мы будем их вылавливать и расстреливать. Именно так! Но у нас работают тысячи, десятки тысяч военспецов, без них мы не могли бы создать Красную Армию. А из чего она выросла, армия? Из партизанщины. И сумела уже одержать блестящие победы на востоке, над Колчаком. Не так ли? Партизанщина, ее пережитки причинили и нашей армии и украинской неизмеримо больше бедствий, чем все измены военспецов.

Слышно, к крыльцу подкатил автомобиль. Владимир Ильич выглянул в окно. Думал, что из Кремля; нет, Гиль.

— Ты со Степаном Казимировичем приехала?

— Да. Он оставался у пруда купаться.

— Не помешало бы окунуться... Эх, на Волгу! А кстати, Маняша, вспомнил я нынче нашу Свиягу...— Владимир Ильич мечтательно зажмурился, но вдруг протестующе вскинул руку.— Нет и нет! Не будем отвлекаться... Так о чем это мы? Вот! Иные партийные работники берут неверный тон по отношению к воен-

спецам. Пожалуйста, Сталин... Очень много сделал по организации обороны Петрограда. И делает еще! А к спецам вот... непримирим! Критикует по каждому пустячному поводу. Это же черт знает что! Такая критика военспецов уже становится помехой в их использовании. Исправляла партия и будет исправлять эти ошибки. Главное средство в исправлении? Усиление политработы в армии. Надо улучшать состав комиссаров, повышать их уровень. Осуществлять на деле то, чего требует партийная программа. Всесторонний контроль за военспецами! А критиковать их со стороны, исправлять дело налетом — вещь слишком легкая и потому безнадежная и вредная. Отсюда вывод: все, кто сознает свою политическую ответственность, пусть идут в ряды и в шеренги, красноармейцами или командирами, политработниками или комиссарами. Пусть работает каждый. Любой член партии найдет себе место по своим способностям. Военному делу надо учиться. И серьезно учиться. Личная инициатива, личная энергия тут многое должны еще сделать.

— Это будет статья?

— Не знаю. Поставлю на обсуждение в Политбюро. Скорее комментарий к решениям заседания или письмо Цека. Как решат... Заголовок подойдет: «Все на борьбу с Деникиным!»? Ты как газетчик...

— Подойдет. Нам, в «Правду»? — Мария Ильинична потянулась к рукописи.

— Обедать, обедать, Маняша. Читать потом. Да и не к чему глаза портить. После машинки уж...

4

С переводом Полевого штаба Республики из Серпухова в Москву Владимир Ильич еще больше отдался оперативным делам. Меж совещаниями, заседаниями Политбюро ЦК, СНК и Совета Обороны он часами склонялся над военными картами. Получая сводки от главкома, постоянно, в любое время суток, держал телефонно-телеграфную связь с прифронтовыми губкомами и штабами фронтов.

Не одну неделю ломает голову: куда направить главный удар? Военные разделились: часть поддерживает проект бывшего главкома, другие стоят за план Каменева. Вацетис предлагал главный удар нанести на Донбасс, через Харьков; левому крылу — Особой группе, 9-й и 10-й армиям — отводилась роль вспомогательная: наступать в двуречье Волги и Дона, отрезая белых от Кубани.

Смело, но очень рискованно. 14-я, 13-я и 8-я армии, на чью долю выпадало нанесение главного удара, сами еще отступали, ошеломленные, полуразбитые. Их нужно задержать, дать передышку, восстановить утраченный боевой дух, перегруппировать,

усилить резервом. В наступательный разгар Добровольческой армии генерала Май-Маевского это будет трудно. Своих резервов у фронта нет, подбросить с Восточного не успеют.

Вариант Каменева иной. Главный удар — в стык Донской и Кавказской армий, через Донскую область на Новочеркасск — Ростов; вспомогательный — на центральном участке, из района Лисок — Короча на Харьков — Купянск.

Уже далеко за полночь, а Владимир Ильич так и не покидал свой рабочий кабинет. Пока в «будке» — коммутаторе — налаживали телефонистки связь с Киевом, исчеркал не одну десятиверстку. Царицын, Воронеж, Курск меньше занимали — тревожили Киев, Одесса. Все теснее красным кружочкам; синие обступают со всех сторон — панская Польша и Петлюра с запада, с юго-востока деникинцы. В клещи берут...

Коварный замысел Антанты обозначается ежечасно. Не случайно Деникин приостановил наступление под Воронежем и Курском. На Волге не удалось ему сомкнуться с Колчаком. Устояла и Астрахань. Конница генералов Мамонтова и Говорущенко, переправившись у Черного Яра и Камышина на левый берег Волги, устремилась было на соединение с уральским белоказачеством. Дорогу ей преградили. Деникин жаждет на Украине сомкнуться с Петлюрой и белополяками. Не принять срочные меры — беде быть великой. Не удержать Украину — значит, отдать Антанте на растерзание и Венгерскую Советскую Республику. А Бела Кун ждет помощи...

Владимир Ильич гневно ткнул карандаш в стакан. Главный удар определен. Наступать! Наступать немедля. Момент ведь... Деникин сам подставил затылок: повернул часть Добровольческой армии на Украину. Что заставило его? Под Воронежем у нас вчетверо больше войск! На Волге, у Камышина, основные силы Южного фронта... Наступление назначено на 1 августа... Нынче 10-е! Безответственность такая уже граничит с преступлением.

Опять склонился над картой, разглядывая район Царицына. Вот он, удар... Кратчайшим путем по центрам казачества — Дону и Кубани. Казачество дает Деникину серьезную силу. Да и армии, Кавказская и Донская, менее устойчивы... План Каменева сию минуту наиболее отвечает политическим задачам борьбы и стратегической обстановке на юге. Странно, этого всего не видит командование Южфронта...

Нахмурившись, зажал в кулак бородку. Странность ли? Командюж Егорьев считает неправильным оперативный план Каменева, а потому успеха в наступлении на Донскую область-де не видит. Троцкий с начала июля не появляется в Москве. Раскатывает в своем поезде на юге, по Украине. Самоустранился, по сути, от руководства РВСР; демонстративно не признает ни нового главкома, ни его стратегического плана по разгрому Деникина,

принятого ЦК. А отсюда — колебания, неуверенность в успехе предстоящей операции у командования фронтом.

А ведь было поручено секретарю ЦК Стасовой разыскать кочующего Троцкого и передать об опасности каких бы то ни было колебаний в твердом проведении раз принятого плана. Политбюро вполне признает оперативный авторитет главкома. Было решено разъяснить это всем ответственным работникам. На Южный фронт отбыли в качестве членов РВС в добавление к прежним Смилга, Лашевич и Серебряков.

Троцкий отозвался из Киева. На запрос о положении на Украине, о состоянии «тамошних» войск и способности их к сопротивлению Деникину он ответил, что авторитетное совещание постановило отвести войска на новую линию и сдать противнику Черноморское побережье с Одессой и Николаевом...

Три ночи Владимир Ильич не отходил от провода. Телеграфировал в Киев: Одессу, Николаев не сдавать! А сегодня вечером оттуда пришло известие, что угроза нависла и над самим Киевом. Посовещавшись с секретарями, он тотчас направил телеграмму, в которой просил Политбюро Цека сообщить всем ответственным работникам директиву Цека: обороняться до последней возможности, отстаивая Одессу и Киев. При этом просил подчеркнуть, что это вопрос о судьбе всей революции.

Теперь ждал ответа. Вся надежда на Южный фронт. Только успешное контрнаступление может помочь Украине, а вместе с нею и Венгрии. Оглянулся на скрип двери. По лицу телеграфистки понял недоброе.

— Киев? — спросил тревожно.

— Воронеж...

Быстро пропустил сквозь пальцы шуршащую ленту. Конница генерала Мамонтова прорвала фронт 8-й армии в районе Новохоперска и, выйдя в тыл, движется на Тамбов...

Глава пятая

1

В штарме переполох. Оперативные работники, писари, комендантская охрана бегают по комнатам, что-то таскают, будто перед отступлением. Борис, удивленный, ухватил за руку конопатого с облезлым носом красноармейца, встряхнул:

— Белые?

— Троцкий! — таращил тот зеленые глаза.— Митинг вон на вокзальной площади... Зараз явится!

В одну, другую дверь заглянул.

— Думенко!

Знаменский, член Реввоенсовета, назначенный недавно вместо Сомова. Вошел к нему в кабинет.

— Ну как, земляк? Топаешь?

Борис, не отвечая, пожал его худую длиннопалую ладонь.

— У нас гость.

— Это заметно...

— Клюев просил встретить тебя. Садись. Царская, угощайся.

Пододвинул блюдце с махоркой; сам умостился на подлокотник просторного кожаного кресла.

Молчком Борис положил свой портсигар рядом с блюдцем: спасибо, мол, свой имею, лучше перейдем к разговору. Напялил по привычке аловерхую папаху на колено, смотрел выжидающе.

Знаменский понимающе усмехнулся. Синие воспаленные веки опустились, погасив неестественно блестевшие зрачки.

— Я в курсе ваших дел с Клюевым. Сформировать конный корпус — дело такое... Понятен и твой отказ. Но больше некому, Борис Макеевич.

Обойдя стол, он подсел на свободный стул.

— В районе Качалинской и Котлубани белые создали маневренную группу из трех кубанских конных корпусов и пехотной дивизии. Они преградили нам дорогу к Царицыну. Месячный рейд генерала Мамонтова по нашим тылам съел все армейские резервы. Сейчас мамонтовская конница возвращается к линии фронта. Главком все же распорядился бросить наперерез ей конный корпус. А тут этот Миронов. Слыхал?

На лбу у Бориса пролегла поперек складка.

— Устьмедвединец?

— Ну, он... Формировал в Саранске конный корпус из пленных казаков... Увел людей без приказа, почти без оружия... Объявили вне закона. А Буденный столкнулся с ним где-то на Медведице. Вот и возится теперь... Разоружает, конвоирует...

— Достойная работа для боевой конницы.

— Мятеж, говорят, поднял.

— Мятеж? Против кого? Не Миронов ли сам развалил надвое весь Дон? Что не успел сделать Подтелков, ему то удалось... Иначе бы у Сидорина теперь было гораздо больше полков.

— Черт его знает!.. Разберутся там без нас.

Разговор явно не понравился Знаменскому. Хмурясь, скрутил цигарку. Окутываясь дымом, кашляя надрывно, ворочал худой жилистой шеей в просторном вороте френча.

— Тебя вызвал Шорин,— отдышавшись, сообщил он.— Вот-вот они должны быть вместе с Троцким. Митинг что-то затягивается. Думаю, разговор пойдет об этом же... Без сильной конницы нам не одолеть южную контрреволюцию.

— Хоть на втором году войны это поняли. Помнится, в Царицыне о кавалерии Троцкий был другого мнения.

Знаменский развел руками: меняются, мол, времена.

«Вот-вот» растянулось часа на полтора. Посылали вестового — идет все митинг. Знаменский успел поведать о положении на фронте. К сегодняшнему дню инициатива полностью перешла

в руки Деникина. Августовское контрнаступление обеих ударных групп Южфронта (западного — Селивачева и их, восточного — Шорина) пошло насмарку. Селивачев откатился на рубежи, с каких начинал месяц назад. 8-я армия зацепилась по линии Павловск — Старый Оскол; 13-я, принявшая на себя основной удар корпуса генерала Кутепова, прижалась спиной к реке Сейму — едва удерживает фронт от Старого Оскола до предместий Курска; 14-я армия Егорова извивается по Сейму через Чернигов вплоть до Киева. Группе Шорина, 9-й и 10-й, удалось отбиться от донцов Сидорина и кубанцев Врангеля. Не отошла на исходные позиции, но и наступление приостановила. Затаилась у околицы Царицына, по Дону вверх, в устьях Медведицы и Хопра...

Знаменский бесцельно двигал по столу пресс-бювар, обтянутый зеленым сафьяном.

— Потому Реввоенсовет Республики и забеспокоился... Шорину никак нельзя выпускать из рук инициативу. Мы будем наносить главный удар. В стык Донской и Кубанской армиям. И сделать это надо как можно скорее. Добровольческая армия генерала Май-Маевского с каждым днем усиливает нажим в направлении Курск — Орел — Тула... Москва.

Борис спросил сипло:

— Какие части войсковой конницы Реввоенсовет наметил сводить в корпус?

— Ты инспектор кавалерии... Кому, как не тебе, знать лучше. Вноси предложения. Комната твоя пуста. Иди поразмысли.

Борис рад уединиться. Поразмыслить, в самом деле, было над чем. Положение на фронте тревожнее, чем думал. Даже стыдно перед самим собой: в такой час торгуется, ломается.

Скрипнула дверь. Поднял глаза: Троцкий! В потертой кожанке, кожаной фуражке со звездой. Еще острее против прежнего обозначились скулы. Впалые щеки, вислый тяжелый нос не принимали загара. Усмешка приветливая: забыл, видать, давнюю обиду. Заговорил — нет, помнит.

— Признаться, вычеркнул я тебя, Думенко, из своего списка. Да, да... Трижды в один день получал печальную весть. Все как сговорились: «Погиб». Не скрою, Красная Армия и Республика понесли бы большую утрату. Почему-то я тогда вспомнил Царицын, станцию Абганерово...

Он возбужденно ходил мимо стола, от двери к окну, комкая за спиной фуражку. На приглашение сесть не отозвался. Пылающий взгляд за толстыми стеклами пенсне.

— Для Республики пробил последний час: двенадцатый! Мы — либо нас. Ничейного быть не может. Судьба решается сию минуту именно здесь, между Волгой и Доном. Веруй я в бога, сказал бы, что он сохранил для этого часа тебя, Думенко. Всю Республику посадим на коня... Веди! Пролетарий, на коня! Вот, бросим клич... И завтра... сто тысяч сядут в седло! И тогда ни-

какая сила не остановит нас на революционном пути. Сметем! Помешает солнце — закроем солнце!

Мурашки пошли по спине у Бориса. Исподлобья, не мигая, следил за тщедушным, корявым телом, затянутым в потертый хром. Оно неистово источало каждым швом, складкой огромную словесную силу. Сердцем принимал ее, силу ту, но ум, холодный, как земля в глуби, крестьянский, расчетливый, верящий не в слово — дело, остужал, осаживал. Стиснул здоровой рукой подлокотник кресла. «Не высказал тысячной толпе на площади... сейчас договаривает...» — подумал, тая усмешку в уголках рта.

— Товарищ Троцкий, сто тысяч... это слова. Дайте мне десять тысяч лошадей и седел. Кликну добровольцев. От Саратова до Царицына и по Дону... Через месяц будет новый конный корпус.

Неловко топтался Троцкий, ощупывал слабыми пальцами резную спинку стула, не решаясь сесть. Мешала фуражка — озирался: куда деть? Напялил на спутанную копну жестких вьющихся волос. Умолкнув, сник, ссутулился, будто усох вдруг.

— Да, да... Нужен конный корпус... Новый. Лошадей и седел... не смогу. Получите деньги... Дам шестьдесят тысяч латышей.

— Мне нужны конники, а не стрелки.

— Пиши! Воззвание. Клич... «На коня, пролетарий!» Опубликуем в газетах.

Этой же ночью командарм Клюев приказом № 1102/ОП войскам 10-й армии поручил Думенко формировать Сводный конный корпус: «Обстановка на Южном фронте,— гласил приказ,— потребовала в последнее время перегруппировки наших сил, в частности с фронта нашей армии снимается временно конный корпус тов. Буденного, смелыми и решительными действиями много способствовавший нашим победам над противником...

Поэтому для дальнейшего наступления и разгрома противника приказываю, временно сведя для этого кавбригаду Жлобы (2 полка) и кавбригады 37-й и 38-й дивизий (по 2 полка в каждой), сформировать Сводный конный корпус. Командиром корпуса назначаю тов. Думенко, лихого бойца и любимого вождя Красной Армии, своими победами не раз украсившего страницы боевых действий на фронте нашей армии. Уверен, что кавчасти, сведенные в новый корпус под командованием тов. Думенко, лихим и стремительным ударом не только разобьют все замыслы противника, но и отбросят его далеко за Красный Царицын...»

2

В Камышине Борис задержался на одну ночь. В полевом штарме неожиданно столкнулся со Знаменским: автомобиль Реввоенсовета армии обогнал тачанку. Связавшись тут же по телефону с 37-й стрелковой дивизией, вызвал начдива Григория

Шевкопляса, хотел сообщить о своем приезде. Хриплый чужой голос что-то бубнил, пропадал в треске.

— Григорий Кириллович? Это я, Думенко!.. Да погоди! — Борис сердито бросил трубку.— Тьфу, черт! Пьяный он, что ли?

Оставшись наедине, Знаменский пожаловался:

— Бывает с Шевкоплясом, к сожалению... Последнее время особенно. Рапорты, рапорты от политкомов. Вот явился разобраться... По-видимому, будем снимать с должности.

— Как так? Один из лучших начдивов в армии! Выпить любит, это верно. Но не настолько... Два года создавал дивизию. Доброволец, орденоносец... Встряхнуть как следует за душу.

— Встряхивали... Не помогает. Кстати, здесь его начальник штаба...

— Крутей?

— Да. Вот с ним и о кавбригаде, и о Шевкоплясе можешь поговорить. Сейчас он у начоперода, в соседнем доме.

Послали вестового. Федор прибежал тут же. Обнялись как самые близкие. Последний раз видались в Великокняжеской, весной — освобождали станицу.

— Я уже собрался назад, в Качалино. Через десять минут бы вестовой не застал.

Все тот же желтый волнистый чуб, сбитый на правый висок, синие глаза. Неизменная коричневая куртка, кожаная, промасленная, нараспашку.

— Вместе и двинем,— предложил Борис.— Ты на автомобиле?

— На мотоцикле. Помнишь, в Гнилоаксайской?.. Твой подарок. Память о генерале Виноградове... Тарахтит до сей поры.

Выспрашивал Борис за ужином. Мигнул Асе. Та вынула из своих тайников бутылку, раздобытую из-под полы у саратовских торгашей. Налил две стопки; свою перевернул кверху дном.

— Шевкопляса хотел угостить... Не довезу. Слух имею, запил он.

— Неладно у него складывается,— свесил Федор голову,— с политотделом. До Реввоенсовета дошло. Знаменский еще поддерживает, спекся бы давно. Даже пустяковую неудачу на фронте заливает... Лишь бы глоток — удержу нет. Неделю будет кваситься, куролесить. Устал наш Григорий Кириллович...

— Не рановато ли списываете?

Федор ответил не прямо:

— Вот и эти дни... Получили приказ... кавбригаду передать в твое распоряжение. Запил. Плачет. Другой раз кавалерии лишаемся: в прошлом году тебя забрали с бригадой, сейчас ты забираешь...

— Плачет, гм...

— Честное слово. Как дите малое. Зато Фома Текучев с наштабригом Дроновым подурели от радости. А бригада сама что делает! Глянул бы...

Переняв засветившийся взгляд жены, Борис насупился. Еще ему не хватало блестеть, как целковому свежей чеканки. Слава хоть и не сумка и не таскать ее за плечами, но оказалась она все-таки ношей тяжелой. Вроде привык, сжился, как с женой. Похвальные слова приказов, ликования войск, где бы он ни появлялся, уже меньше трогали, нежели подобные откровения близких. Откусывая заусеницу, заговорил хрипло:

— Шевкопляса заберу до себе... На пешую бригаду. Троцкий дает латышей. Поглядим тогда, умеет он воевать...

— Всем дивизиям Троцкий обещает. А лучше бы снабжение упорядочил. Вместо красивых слов патронов бы, снарядов... белья... Вша заела... Тифы косят... Пока тепло, а холода?

Повлажнели вдруг у него глаза. Странно дергая плечом, рылся в карманах.

— На Ильин день сховал и я свою Агнесу... Сыпняк. Вот тут, в Камышине... Днем забегал, могилку поправил. Просила все батюшку. А где его взять?

Защемило у Бориса под ложечкой. В глазах встала весенняя манычская степь... И черный всадник, гонявшийся за синими тенями от пасхально-нарядных облаков... Положил тяжелую руку на юношески острое плечо Федора: крепись, парень.

3

На станцию Качалино Борис прибыл к вечеру. На паровозе, один. Спрыгнул, огляделся — не встречают. Федор, видать, не дотарахтел на генеральском драндулете до штаба; наверно, тащат его где-нибудь по придонским буграм на возу быками.

Спросил у пробегавшего железнодорожника о местонахождении конного штаба. Тот зло огрызнулся:

— Черт их тут поймет... конные они али пешие! Все вон на карачках... Сам разберись.

Пошел на гомон. За серым дощатым боком пакгауза в тупике — толпа военных. Конники — с шашками. Как зеленые мухи падаль, облепили цистерну. Запускают на поясах котелки, чайники, ведра. Носят к бричкам, сливают. Тут же пьют на бегу. Кто-то уже затягивает песню...

Задрожало все внутри. Мародеры... Сволочи... Правая рука стиснула кобуру; не осилят пальцы новую неразболтанную кнопку. Потянулась левая, здоровая. Хищными глазами водил: с кого начать? Вот он, топает с полным чайником... Гимнастерка новенькая, распояской — ремень волочится за чайником от дужки, путается в заплетающихся ногах. Сапоги тоже добрые, хромовые... Да и весь он обличием — не рядовой. Перегородил дорогу.

— Какой... части?

Выпиралась острая голая челюсть на буром лице. Закатное солнце запалило подурневшие от бешенства глаза, распятые недобро ноздри. Дыхнул спиртом:

— Ты!.. Я таких... золотопогонников... к с-сте-енке-е... У-у, контра... с дороги!

Оставляли пальцы лакированную крышку кобуры. Сглотнул обжигающий ком. Все решил вид конника — тощая шея, ребячий светлый хохолок на вытянутой к затылку голове. Летошний кочеток — голос еще не переломился. Знакомый зуд ощутил в правой ладони. Плеть не таскает. Жаль... Чувство сожаления вдруг сменила злая радость: есть наказание! Сейчас увидит, как будут прилегать перья на загривке кочетка. Даже усмешку не удержал:

— Думенко я...

Другого наказания не придумаешь. Парень, приседая, втягивая голову в плечи, отпрянул. Долбанулся об рельсу, упал на спину. На карачках уполз под вагон. Чайник, расплескиваясь, покатился по шпалам; красной змеей извивался кожаный ремень.

С ликующим ревом подступила толпа. Размахивая котелками, баклагами, шапками, орали здравицу «нашему гирою». Кто-то угадал — был с ним весной на Маныче, под Великокняжеской. Тяжелым взглядом обводил посинелые от натуги лица, волосатые, голощекие. Будто знакомец: долговязый белобровый казак. Поманил. Рев угас: размещались по местам бараньи шапки, картузы. Долговязый, придавленный вдруг навалившейся тишиной, ссутулился, зыркнул боязливо серыми навыкате глазами: братцы, за что? Выгородил его бородач, кряжистый, кривоногий, в английских желтых ботинках. Косолапо ступнул, отвешивая поклон.

— Рады твоему выздоровлению, Борис Макеев... Прослуханы и вота... Ждем. Комбриг наш, Фома Текучев, надысь ишо молву пустил. А по такому случаю беляки нам и цистерню эту вделили... Милости просимо...

— Кто тут из командиров?

Едва удавалось сохранить в голосе повеление. Отлегло уже с души. Не будет рубать с плеча — тряхнет с глазу на глаз комбрига Фому Текучева. Выпустил, черт, повода... Подбирать, затягивать короче, иначе занесет. Вот она, вольница степная, все та же, с какой начинал два года назад. Мало изменилась...

Туда-сюда крутнулся бородач в желтых ботинках, звякая драгунскими шпорами, утянутыми шпагатом. Махнул кому-то.

— Эггей, Митрон, ты взводный... Протолкайся на простор!

Из толпы — обветренный молодой голос:

— Постарше имеются...

Покатился смех.

Скреб смущенно бородач в волосатом затылке, а узкие глаза цепко ощупывали из-под пыльных навесов бровей. Не раскусит настроение начальства — вяжет словеса, путает:

— Да этот чайничок... на путях... с ремешком... Вроде бы из нашенских... А там спробуй угадай...

Отплатил и ему «добром» белобровый долговязый казак:

— Не крути хвостом, как лисовин, Козьма... Валяй напрямки.

Борис взглянул в мохнатую переносицу бородача.

— Станешь на караул у цистерны. Смена явится, отыщешь меня и лично доложишь...

Клинком вошел в тугую, неподатливую толпу. Разворотил. Дрожа голосом, едва слышно произнес:

— По своим эскадронам...

Направился к ближней бричке.

4

Часовой у ворот штаба, лопоухий, стриженный наголо парень, долго плямкал обветренными, потрескавшимися губами — изучал мандат. Старательность, с какой он выполнял свой долг, удержала Бориса от окрика. Принимая назад бумагу, удивился равнодушному выражению его лица. Явно задетый, спросил:

— И давно... службу ломаешь?

— Ломаем,— ответил он с достоинством, поправляя на плече винтовочный ремень. Помолчав, сообщил: — А в штабу ни лялечки...

Во всем теле Борис вдруг ощутил усталость. Присел на лавочку под акацией, вытянул гудевшие ноги. Закурил. Угостил и часового. Тот сделал одолжение: опустился рядом. Выкурив полпапиросы, дорогой, пахучей, смягчился:

— Не дюже давно... Всего два дни. На службе, говорю. Чутка прошла скрозь по Дону: Думенко кавалерию скликает... Половина хутора на своих конях явилась. Вот с часу на час должон прибуть сам. Командир Текучев зараз укатил на станцию со всем штабом устречать... А вы, гляжу, не нашенский... Небось с пехотного штабу? Так не... шпоры вона, шашка. Тоже кавалерия...

Окидывая его латаные казачьи шаровары, истоптанные чирики и крупные кисти рук, Борис спросил:

— Батька есть?

— Сгинул на давней еще, японской. Братан старшой хозаинувал...

— Тоже воюет? Братан.

— Ну да... У белых.

— А ты... чего до красных?

Будто напоказ, выставил парень на латаные колени мозолистые ладони.

— Дуже учиться хочу...

Борис стиснул коленями шашку. Угнувшись, пыхтел дымом.

— Разобьем к зиме контру... И учись тогда. Человеком станешь на своей земле.

Из переулка бешено вырвалась тройка. На бегу выпрыгнул из тачанки светлоусый краснолицый человек в офицерском кителе и казачьих голубых шароварах со споротыми лампасами. Часовой, вскочив, испуганно таращил кошачьи глаза.

— Командир!..

Борис не встал. Фома Текучев стащил пропыленную папаху — вытирал мокрый лоб; приветствовал ли, клонил повинную голову? Наверно, все вместе.

— Не поимей чего, Борис Макеевич... Дали маху, виноваты! От Шевкопляса все вестей поджидали... Черта рытого! Случайно прослыхали... С путей прибег вестовой наш, как рак ошпаренный... Ну, сорвались. Там порядок... Честь честью...

— Порядок, гм...

— Ну, недоглядел... Винюсь. Сымай голову!

— Лишняя?

Шевельнул Фома покатыми сильными плечами: тебе, мол, доверено знать.

Пропал давешний запал. Вместо желания встряхнуть хорошенько он поймал себя на том, что любуется отточенной, как клинок, вахмистрской выправкой казака. В весенних боях на Маныче и на Салу отличил его от других командиров. Несмотря на разницу в летах, Фома напоминал ему Гришку Маслака. Та же разумная ярость в рубке, отвага и отменный удар. Пожалуй, нравом податлив, глаже. Зато выпирает в нем жила казачья: строй знает, умеет подчиняться. Армия на таких и держится.

Тогда же он, Борис, приглядывался к ладному комбригу — прочил в начальники 6-й кавдивизии; обговорил с командармом. В летние тяжкие бои, уже без них с Егоровым, Клюев назначение отменил ввиду его болезни. Так Фома и задержался у Шевкопляса, в 37-й. За короткое время сколотил кавбригаду.

Из тачанки выпрыгнули еще четверо. Отряхиваясь, неуверенно подходили к своему комбригу; думали, крепко попал в переплет. Нет. Комкор встал с лавочки. По бледному лицу и походке видать, до смерти утомился. Обрадованный, Фома крепко тряс его руку. Молчком, взглядом монгольских глаз выказывал радость по случаю встречи.

— Командиров бы представил...

Фома присвистнул — спохватился.

— Дронов, начальник штаба... Родионов, Золотарев, Ипатов... Полковники мои.

— Политкома разве нет в бригаде?

— Как? Такой прыщ... ух! На квартире зараз... Отчет стряпает в политотдел. К утру во как нужно.

— Он что... на бумажках у вас больше?

Дронов пренебрежительно выпятил губу.

— А чего ему и делать? Грамотей.

За политкома никто не вступился. Что ж, не стоит подбрасывать бурьяну в огонь. Перевел разговор на другое:

— Товарищ Дронов, немедленно отправьте приказание командирам бригад Жлобе и Лысенко... Я жду их завтра к 11 утра. Штаб корпуса временно разместится вместе с вами. Возможно, этой ночью уже начнут съезжаться и мои штабные. Нас с комбригом ищите у Шевкопляса. Да, товарищ Дронов, смените часового у цистерны со спиртом.

От тачанки Борис отказался: хотел побыть наедине с Текучевым. Просто побыть. Человек этот близок ему, приятен; теперешняя встреча убедила, что тот от души рад его приезду, доволен и тем, что бригада вошла в состав корпуса.

Фома и не скрывал того:

— Давно, Борис Макеевич, надо сводить бы наши бригады. Колотимся в одиночку. А толку? Как жуки на ниточке: лишнего шагу не ступи. Шевкопляса вот охраняем. Так же и Михайло Лысенко в 38-й... Одинаково. Жлоба вроде на отделе, сам себе ответчик. Да и то сказать... Затыкают им всякие дырки по линии заместо квача. А чтобы рубануть... Чем? Тут нужон кулак, о-ей! Сойдемся вот — другой козырь. Двинем.

Поглядывал сбоку на комкора. Не надоел своей болтовней? В сумерках лица не разобрать, но слушает. Снизив голос, с усмешкой добавил:

— Казаки ни слухом ни духом не ведают... Считают, с Думенко покончили они. Я дознаюсь все у пленных, исподтишка. Во, будет! Под самым носом, вроде из земли... Корпус!

Со вчерашнего разговора в Камышине с Федором Крутеем и Знаменским не покидает Бориса саднящее чувство за Шевкопляса. Сгоряча ляпнул, что возьмет его к себе. А на деле — возьмет, нет ли? — это еще должно решиться. Собственная тревога за предстоящую завтра встречу с подчиненными комбригами отступила перед ощущением беды, сгустившейся над опальной головой боевого товарища. Заговорил, лишь бы не оставаться один на один со своими тяжелыми думами:

— Времени на формирование у нас нету. Неделя, от силы, две. Прибывающих добровольцев, пленных даже... своди в третий полк. Получишь и дезертиров. Сотни две их скопилось в саратовской тюрьме. Будут воевать.

— А как быть с пехтурой? Отбою нема. Просются. Особо молодые. А теперь и вовсе... Прослыхали...

— Не брать из дивизий. Клюеву слово дал.

Охрана пропустила беспрепятственно. Комбриг — свой человек в штабе дивизии. На вопрос Бориса, где начдив, караульные замялись.

— Знаю... — шепнул Фома.

Подошли к летней кухне. На стук откликнулся сиплый голос:

— Отчиняй... Ногой садани!

Паркий вонючий дух спер дыхание. Откашливаясь, Борис силился в сумерках различить, куда это черт занес Шевкопляса на ночлег. Нет ему места в доме, при штабе?

— Ты, Фома... Засвети лампу, на столе вот... Серники кончились, а кричать неохота... Кого это приволок с собой?

— Угадай.

— По кашлю — из чужих будто... Кто?

Борис не отозвался. Стоял у порога, заталкивая под мышку папаху, ждал, пока в лампе выровняется огонь.

— Посторонись, ну?!

Не выдержал пытки Шевкопляс. Оттолкнул локтем Фому, напряженно вглядываясь, нехотя отрывал тяжелый зад от постели. Защемило у Бориса сердце: да, не начдив уже Григорий. Грязная выгоревшая солдатская рубаха неряшливо подоткнута в шаровары. Оплыло, обрюзгло лицо. Вроде и не было в нем тех четких, хотя и мягких линий, когда он, загораясь, выступал с боевой тачанки перед войсками. Бедовый хохолок вылинял, оскуднел, засаленным лоскутком прилип к неровному черепу. От недавних былых времен разве что остались вислые, на запорожский манер, рыжие усы. И как-то вызывающе, до обидного лишне красовался на банте орден.

— Бориска... сатана...

Не услыхал голоса — догадался по шевелению усов да блеснувшей слезе. Обхватил бабью вздрагивающую спину. Похлопывая, укорял:

— Ну, ну... солдат, раскис. В здравии видимся. Ужель этого мало по нонешним временам, а? Повоюем еще! Нас, партизан, красных террористов, голой рукой не возьмешь...

Хозяин, пряча мокрые глаза, метнулся по своим хоромам. Все бутылки перетряс по углам, на полках, за печкой, под топчаном. Сливал остатки в одну.

— Дожился наш начдив,— подзадоривал Фома, потирая руки. — Угостить старых друзьяков нечем.

— За конниками поспеешь... — поддел Григорий, малость опамятовавшись. — Слыхал, цистерну спирту заседлали... Нет бы вделить.

Зарделись монгольские глаза у комбрига — пронюхал черт!

— Не лень и сбегать, коль ближе у тебя нема...

Борис осадил Фому взглядом. Взял бутылку из рук хозяина, примирительно сказал:

— Спрыснуть встречу хватит. Давай посуду, Фома.

Ради компании пригубил и сам. Шевкопляс, утирая рукавом усы, пожалел:

— Не силуйся... Какой питок с тебя зараз. Поберегись уж.— Вскинул норовисто голову, навалился на стол: — Подковал ты меня, Борис Макеевич, так подковал... На все четыре! Без кавалерии дивизии не жить. Это уж звестно. Вот он тут сидит,

Фома... Скажи! На нем и держимся. Э-ха!.. Ну кто я такой? Маленький человечек. Воша. Раздавить ногтем. А ты? Ду-уме-енко! Это, бра-ат... Пожелал — и вся конница... пред тобой.

Борис насупился.

— Перестань, Григорий... Я, может, дела все бросил, поздороваться до тебе пришел...

Сник Шевкопляс. Накручивая на палец рыжий ус, скорбно качал тяжелой головой.

5

Приехали свои, из Камышина. Только Борис разместил их, сели за стол — Мишка принес новость:

— Начальник штаба! У Дронова остановился, в штабной.

— Я его дольше жду... Садись.

Поглядывал на Мишку, смачно дробившего зубами луковицу с салом, а самого распирало нетерпение. Кто он? Желторотый прапорщик? Генерал? Не удержался, спросил:

— Молодой? Старый?

— Так себе...

— Из офицеров?

Мишка вытер пальцы о волосы, важно пробасил:

— Знамо...

Сперва прыснула Пелагея, за нею рассыпалась звонким смехом Ася. Засмеялся и Борис. Содрогаясь плечами, крутил бритой головой.

— Ну, Мишка, покудова воротишься на свой Маныч, чистым кацапом поделаешься. Язык свой забудешь. Хохлушки наши под плетнями и не поймут, что к чему ты вяжешь...

Устраиваясь возле зеркала с мыльницей и помазком, простодушно высказал свои давние думки:

— На тыловой штаб еще пойдет и в годах. Не промахнуться бы нам с тобой, Мишка, в начальнике оперативного отдела. Офицерика ладного бы заполучить. Молодого, знающего не только штабную работу, но чтоб при случае мог и клинок выдернуть из ножен.

Соскоблив мыло со щек, обернулся:

— Гляжу, парень, и тебе надо в надлежащий вид себя привести. Патлы отрастил — плавни манычские. Эскадрон вшей схоавется. Кликни вон Чалова, он враз ножницами обкарнает. А шаровары?! Ох, Мишка... Вгонишь ты меня в страму...

Ася внесла за плечи отутюженный френч. Помогая застегнуть пуговицы, обтянутые таким же сукном, украдкой от домашних прижалась. Засматривала снизу наскучавшими глазами. Отводя взгляд, Борис хрипло уронил:

— Нонче дома буду...

По тесовым ступенькам взбегал легко. Освеженные бритвой щеки бодрили. Новый суконный френч, галифе, начищенные сапоги с офицерскими шпорами, казачья шашка, орден — все в этот миг было с ним в полном согласии. С этим чувством он и переступил порог просторной штабной комнаты. Удивило многолюдье. Еще не оставив дверной ручки, быстрым взглядом успел окинуть присутствующих. Текучевцы все. Сам комбриг, привалившись к стене, сосредоточенно курил, Дронов писал что-то за столом с его слов. Из-за плеча наштабрига торчал рыжий вихорок... Ага, вчерашний знакомец... с чайником спирта. Бригадный военком... Пискарев, кажись? Косоротит ребячье лицо, блуждает глазами — есть, наверное, совесть... Комбриг-морозовец уже прибыл, Михаил Лысенко. Этого хорошо знает. Жлобы вроде нету... Давно видал, но память сохранила белявое вислоносое лицо с маленьким ртом... Кто же из них начальник штаба корпуса? Не на ком взгляд задержать... Вскочили вразнобой. Одергивают полы, оружие. Поздоровался. Разрешил сесть; направился было к пустовавшему табурету.

— Имею честь...

Перед ним — сухопарый, скуластый, с приглаженной набок желтой челкой; холодком дунуло от взгляда светлых впалых глаз и бесцветного голоса.

— Качалов, начальник штаба Конно-Сводного корпуса...

Копался в потайных карманах ношеного офицерского мундира, стянутого накрест ремнями. Подал наконец бумагу.

— Офицер? — спросил Борис.

— Как вам сказать?

— Как есть.

— Капитан... По-старому, конечно...

Задел ядовитый прищур Фомы Текучева. Чертов казак, насмехается и над неудалым по виду начальником штаба, и над его, комкора, неопределенностью к нему.

— Не вижу Жлобу.

За своего начальника штаба отозвался Текучев:

— Что-то задержало... Лысенко вон подоспел, хоть и дале дорога. Покурим покудова.

— На перекуры было время.

Борис прошел к столу. Уперся кулаками — совещание началось. Объявил приказ Реввоенсовета армии о формировании конкорпуса; тут же зачитал написанный ночью приказ № 1 от 19 сентября 1919 года. Оторвался от записной книжки.

— На нынешний день состояние бригад, — с Лысенко перевел быстрый взгляд на Текучева, — по моим сведениям, неудовлетворительное. Количество, имею в виду. Потому приказываю... наштакору довести людской состав бригад до штатного расписания. Комбригам с сего числа вплотную заняться формированием третьих полков.

3 Заказ № 371

Сел, желая послушать начальников штабов бригад. В дверях — Мишка. Звал рукой. По испуганным глазам почуял недоброе. Пожалуй, не осмелился бы он ткнуть сюда носа.

Вышли на веранду.

— Чалый там... Прибег, плачет... Панорама... Сап все-таки ветеринар признал. Пристрелили...

Не удержали в коленях ноги. Ощупывая поясницу, присел на ступеньку, стащил папаху. Глядел и не видел, как в ворота вкатил фаэтон с откинутым кожаным верхом.

Мокрая пара дончаков, поводя пахами, встала у крыльца. Спрыгнувший наземь человек в расстегнутой кожанке и низко насунутой на брови кубанке, отряхивая галифе, кивнул:

— Не угадуешь, Думенко?

Борис спустился с веранды. Нечетко простукал медный наконечник шашки по дощатым порожкам. Заложив руку за спину, глядел мимо вислоносого лица кубанца.

— Другой раз, комбриг... являться ко мне на совещания вовремя...

Неморгающе провожал Жлоба узко сведенными холодными глазами согнутую спину комкора. Закушенный ребячий рот под выгоревшими красноватыми усиками пропал на побледневшем лице.

Гибель Панорамы пришибла Бориса. Будто казачья шашка прошлась тупиком по темени. Смутно помнит, как вскочил в тачанку, как гнал разъяренную тройку по станичным улицам. Куда править — не спрашивал. Встречный пойменный ветер выдул из глаз туман. Перемахнув вброд протоку, не сел, а упал на кучерскую лавку.

— Зарыли... где?

Мишка потянул из рук его вожжи. Разворачивая на месте тачанку, ткнул кнутовищем в другой конец станицы.

— Во-она, ветряк...

С тоской оглядел Борис станичные огороды, сады, сбегавшие по красноярью вниз; кошлатые вербы, расселившиеся по-цыгански у воды, отдаленно напоминали Хомутец. Слезы навернулись, нечем дышать. Выпрыгнул из тачанки.

Брел по щиколотку в песке, собирая коленями репьи. Вербы, напоминавшие Хомутец, лошадиное ржание отчетливо вызвали в памяти давнее... Хватаясь за пахучие кусты чернобыла, поднялся на яр. Манила полынная степь. Так бы и шел, куда глаза глядят. Ветер остужал пылавшее лицо. Могильной ямой вдруг разверзся перед ним буерак. Сделал еще шаг... Устало присел, свесив с обрыва ноги. «Сажени две, а то и три... Нарвись вот так лавой... Не каждая лошадь одолеет. Панорама бы взяла...»

Степной наметанный глаз различил на самой хребтине бугра пятнышко: птица, зверек? До щелок сузил веки. Взвилось, обдав синий край неба белым... На том месте вырос рыжий куст

курая. «Лиса за стрепетом охотится... Ишь, прокуда...» Простодушная улыбка смягчила окаменелое лицо.

Нет, степь не пустынна, живет своей извечной жизнью. Не пусто и у Бориса на душе. Горе — личное, крохотное — одурманило его на какое-то малое время, сжало в кулак сердце. И тут же отпустило. Сколько он уже оставил за собой таких холмиков по Сальской степи. Не лошади — люди! Други-конники, близкие...

Тачанку нашел у протоки. Кони, отмахиваясь хвостами, из торб жевали овес; Мишка, развалившись в холодке под вербой, задавал храпака. Учуял шаги — вскочил, шало повел раскосыми от сна глазами.

— Дрыхнешь, ночи мало,— укорил Борис, усаживаясь на заднее сиденье.— Отвык в тылу... Погоди, с этого часа и ночей для спанья не будет выпадать.

— Ой, спужался! — Мишка невозмутимо расправлял вожжи.

Покачиваясь на рессорах, Борис оглаживал раненой рукой ножны шашки. Мысли, упругие, горячие, толчками, как кровь в висках, били в нем. С именем Панорамы связано все: первый взмах клинка, первый наганный выстрел, первая капля крови, вражьей и своей, первые возгласы партизанской вольницы, признавшей его своим «богом». Их жизни как бы слились воедино, стянулись в тугой калмыцкий узел. Чужие издали, в бинокли, по ней — лысой, светло-рыжей, белоногой — угадывали его; свои вблизи по нему — в сатиновой черной рубашке и аловерхой папахе, заломленной на правое ухо,— узнавали ее. Полтора года изо дня в день кидались в сечу, не щадя себя, вверяя друг другу. Слава, ветром пронесшаяся по Сальским степям, пришла одна им на двоих. Под тот глинистый холмик у ветряка Панорама унесла с собой многое, что ему, Борису, уже не нужно нынче, что отслужило: ребячество, безрассудную лихость, даже плеть — недобрую память вольницы, партизанщины. Пожалуй, гибель — это ее последняя услуга. Теперь он не казачинский парень, хуторской верховод, не царский вахмистр с нагайкой, не вожак партизан-лихачей и даже не прославленный начдив...

Дернул Мишку за полу.

— Не гони.

Не хотелось возвращаться в штаб раздерганным, несобранным. Ночные раздумья над картой и ворохом разведдонесений о противнике, стоявшем перед корпусом, подсказали ему кое-какие задумки для выполнения боевой задачи. Пока в тачанке, нужно успеть отобрать главное, чтобы продиктовать уже в готовом виде начальнику штаба. Офицеру этому дать сразу понять: он, комкор, властен не только на позиции, над войсками, но и дела штабные, оперативные по плечу и небезразличны ему.

Не может восстановить в памяти лицо начальника штаба. Хоть убей! Расплывчатое желтое пятно, как блин... Зато жи-

во увидел фаэтон с откинутым верхом, мокрых лошадей и человека в расхристанной кожанке и выгоревшей кубанке, низко надвинутой на глаза. Жлоба, комбриг... Слов, сказанных взаимно, не помнит, но полынный осадок от них явственно ощутил. Не вчерашний ли разговор у Шевкопляса о нем, Жлобе, причиной? Нелестно отзываются о кубанце не только Текучев с Шевкоплясом, но и в штарме, в политуправлении. Своеволен, заносчив, настырно гнет свое. Знаменский даже высказывал мнение не вводить в состав корпуса его бригаду. Благоволит ему только Ефремов, начпоарма... Может, личное — слухи? Судить о человеке по слухам... Беда. Покажет совместная работа...

Не толкал Мишку в спину, как обычно, чтобы чертом влететь в ворота, напротив, велел до шага сбавить бег лошадей. И остался доволен: все штабисты оказались на веранде. Фома, не скрывая под усами усмешку, спустился с крыльца. Свистнув, махнул в сторону конюшни.

Озноб охватил Бориса. Чалов под уздцы подводил рослого темно-гнедого дончака. Не отрывая глаз, ощупью искал подножку тачанки. Чем-то напомнил гнедой ему Корнета — подарок Пашки Королева Агнессе. Чалов тогда еще сорвался с него. Отмастка вроде погорячее, а стати те же...

Опередив конюха, Фома подвел коня сам. Похлопывая по шее, протягивал волосяной чембур:

— Не откажись, Борис Макеевич. Бывают на свете и получше, знаем. Но коник... от бога, как сказывают. Вся Горская бригада, словом, тебе... Бураном кличут.

Чембур Борис не взял, одолел и соблазн: хотел было тут же опробовать под седлом. По лицу Чалова понял: казак подарок ценит. Пожал руку комбригу.

— Спасибо.

— Из спасиба шубу не скроишь.

На веранде сдержанно засмеялись.

6

Только поздним вечером остались одни с Качаловым. Давно пропало у Бориса желание, с каким ехал от буерака,— дать понять ему свое отношение к штабной черной работе. Устало шевеля тяжелыми веками, мирно слушал глухой безликий голос, сонным взглядом окидывая одутловатое, без морщин и характерных складок лицо, мягкие пальцы с аккуратно подстриженными ногтями. День даром он не провел. Рассуждения о работе не существующих пока отделов штакора — самые общие и никчемные. Зато успел въедливо докопаться до цифр. В крохотный, обтянутый коричневой кожей блокнот побригадно вписаны нужные сведения: командиры, люди, лошади, орудия, пулеметы, винтов-

ки, сабли. Живой состав разбит на три колонки: по штату, по списку, налицо. Особо выделены недостающие до штатного расписания люди и лошади.

Отметил Борис его аккуратность, но вслух похвалу не высказал. Ждал главного: как думает он воевать? Не дождавшись, перебил:

— Товарищ Качалов, вы знакомы с директивой командарма одиннадцать-тринадцать?

— Чернышев, начальник штарма, вводил в курс дела...

Ладонь комкора, вяло лежавшая на столе, расправилась, напряглась. Не прихлопнул — без шума, с силой надавил на портсигар.

— В директиве той — одна из ближайших боевых задач корпусу... Взять Царицын. Для выполнения ее я нахожу крайне необходимым усилить корпус артиллерией и несколькими бронеавтомобилями. В районе Котлубань — Пашинский непрерывно курсируют два бронепоезда противника, а по Большаку ходят броневики. Кроме того, тут, в Рассошинской, Андриянов по-старому, белые имеют авиабазу. Кавалерии придется столкнуться с мощной технической силой. Для борьбы с ней необходимо иметь также техническую силу.

— Разумеется...

— Я спрашиваю... где взять ее?

Качалов неопределенно повел плечом. Расстегивая ворот, Борис продолжал:

— И я не знаю... Изложите все это в записке командарму. Добавьте... Выполнение приказа возможно лишь при условии решительного наступления справа пехоты 39-й дивизии для занятия пункта Набатов, дабы обеспечить движение кавчастей на Карповку.

Не успел докурить папиросу, Качалов протянул записку. Пробежав взглядом, расписался.

— Передадите через товарища Знаменского. Он завтра отъезжает... Кстати, вестей из Камышина не поступало?

— Звонили из политотдела армии. Выслали литературу, газеты.

— А снаряды?

— Ничего не сообщили. Прибыл начальник оперативного отдела, Абрамов.

— Не Захаром звать?

— Нет...— Качалов полистал блокнот.— Михаил Никифорович. В прошлом штабс-капитан... 26 лет.

Откинулся Борис на спинку стула.

— Думал, сослуживец... Земляк. Мы того Зорькой звали. В 37-й теперешней начинали. На Маныче. Тоже штабист. Слух имел, погиб... А этого... устроили?

— Дронов повез.
— С женой?
— Приехал один...

Разговор оживился. Склонив тесно головы, утюжили локтями мятую, обтрепанную десятиверстку. Размалевав чернильным карандашом карту, свели свои соображения в боевой приказ.

Качалов довольно щурил потемневшие при ламповом свете глаза; пододвинув чернильницу, тщательно протирал клочком бумаги перо.

— Обозначьте вторым. Первый был. Не оперативный, правда.

Старательно выводил Качалов буквы, одна к другой, округлые, как зерна пшеницы-кубанки. Облокотившись на стол, Борис, любуясь, неотрывно следил за кончиком пера, диктовал.

ПРИКАЗ
войскам Конно-Сводного корпуса № 2/ОП
19 сентября 1919 г.

Качалинская *Карта 10 верст в дюйме.*

Противник перед фронтом армии пассивен и тщательно наблюдает переправы на Дону. На правом фланге наших частей действуем совместно с частями 38-й дивизии, которой приказано во что бы то ни стало удерживать свои позиции по линии реки Сакарки от Трех-Островянская до Араканцев включительно.

Слева частями 28-й дивизии приказано не позднее вечера 20 сентября сбить противника и выйти на линию Араканцев исключительно, Варламов — высота 471 — Пичуга.

Нашему корпусу приказано принять энергичное участие в обеспечении операции 28-й дивизии, правого ее фланга, иметь резерв и вести энергичную разведку на фронте Песковатская — разъезд Конный, для чего приказываю:

1. Комбригу-1 тов. Жлобе иметь два полка в резерве ст. Качалинская, а одним полком вести усиленную и энергичную разведку на фронте Песковатская — разъезд Конный.

2. Комбригу-2 тов. Текучеву расположить бригаду в резерве станица Качалинская.

3. Комбригу-3 тов. Лысенко с переходом частей 28-й дивизии в наступление принять энергичное участие в обеспечении операции 28-й дивизии с правого фланга. По выходе пехотных частей на указанную им линию и установлении прочной связи кавбригаде отойти в район Фастов — Заховаев.

4. Получение приказа и отданные распоряжения донести.

Комкор *Думенко.*
Наштакор *В. Качалов.*

Переписав приказ, тут же отправили в бригады Жлобы и Лысенко. После первых петухов Борис добрался до крыльца своей квартиры.

7

Не познала Ася бабьей радости в первом замужестве. Глупой девчонкой шла под венец за своего дородного хозяина больше из чувства благодарности; приютили некогда чужие люди ее, безродную, вскормили, вспоили. Да и скоротечным оно оказалось, замужество, вроде сновидения. Ошеломило, запало в память венчание; в остальном не почуяла перемен. Как и раньше, с робостью угождала мужу за столом, взбивала на ночь пуховики. Ощущения, что делает для «хозяина», так и не успела утратить.

Ураганом, в одночасье, разворотило прежнюю жизнь. Среди ночи как-то ввалились вооруженные люди. Ели, пили, плясали до одури под гармошку; криком закатывался граммофон. А с восходом снялись стаей перелетных птиц. Прощаясь, один из плясунов, кудлатый парень, посмеялся:

— Что, синеглазая... бросай к ядреной матери караулить буржуйское добро. Догоним твоих хозяев, на штык да над костерком... Ладно корчиться будут... А?! Айда!

Кинула в бричку узел — девичьи свои справы; из «хозяйского» добра позарилась на граммофон...

Кружил шалый ветер, швырял Асю, как щепку, всю весну. К лету очутилась она на Волге, в Царицыне. Выветрился хмельной дурман из головы, начала оглядываться, осмысливать, сравнивать. Сутолочный, бестолковый город; по рассказам «хозяина», представляла его чинным, богатым и богомольным. Понимала, «революция» взбаламутила, похоже, как и ее самое. В упор глянула на людей. Тогда же, кажись, впервые увидала со стороны и себя. Не лишняя она в гудящем людском водовороте; напротив, иным была нужна, возле нее хотели быть. Внимание порою даже утомляло. Еще больше утомляла неопределенность: от нее ничего не требовали, не обязывали, не давали никакой работы. Значилась машинисткой при штабе, а машинку ту и в глаза не видала. Зато не испытывала недостатка в ухажерах. Славные, добрые люди, молодые и в годах. Одних она выделяла, взглядом ли, словом; по другим вздыхала тайком. Позови такой — пошла бы без оглядки. Но никто не звал; все жили суматошно, беззаботно, одним днем. Люди вертелись вокруг, как на карусели. Вчера был — нынче нет человека. Задевало и ее, Асю: не остывал еще ожог от поцелуя на шее, оставленный рассветным часом, а к вечеру горькая весть: «Убит».

Свершилось осенью, после покрова. Не увивался он возле нее наравне с другими, ночами не торчал за запертой дверью. Явил-

ся, взял за руку. Не на час, не на ночь понадобилась. Потеряла голову — зазвенела схваченная первыми морозами степь, потекли ростепельные запахи...

Покуда вызревало светлое чувство, душа обросла черным страхом. Боялась. Боялась за него. Знала уже горечь утрат. Казачьей шашкой висел тот страх над головой. Года не живут, а мерять время душевными муками — в полжизни не вместишь. Не обманывали предчувствия. Беды наваливались и в одиночку и скопом — тифы, раны. Больше находилась при нем в посиделках, у изголовья, нежели в объятиях. Вырывала у смерти; отхаживала, ставила на ноги. И едва отпадала нужда в посторонней поддержке, сама опоясывала его оружием, подводила коня. Оцепенело провожала повлажневшим взглядом, пока не гас алый верх папахи...

И снова — ожидания. Ожидания и страх. Кидалась к окну на каждый лошадиный топот, на перещелк ступиц. Худые вестники сворачивали в соседские дворы; вести валили густо, черно, колесной мазью. Получала записки и она, от самого, от живого. Доставлял Мишка. Скучает, сохнет, не может есть без нее. Пропадал подолгу. А возвращался — силком втаскивал через порог ноги. Возилась, как с малым. Обмывала, обстирывала; сама справлялась и с жесткой щетиной на битой тифами голове. Не всегда выкраивала время для себя: случалось, из объятий его отнимали телефонные звонки или вестовые с клочками бумаг.

Тряслась в бричке по ископыченному бездорожью, повторяя след в след вилючий путь конников. Суточный пробег и отделяет от него. Картина жуткая для глаза: не успевают похоронные команды закапывать трупы. Ни тряска, ни кровавое зрелище не останавливали; жила одной надеждой — увидать его невредимым...

Сроду такого с Асей не делалось. Месяц, проведенный вместе на даче под Саратовом, она не отдаст за нынешнюю ночь. Сутки не спрыгивала с брички, все толкала кучера в спину — живее. Что гнало? Хотелось видеть. Изболелась душа. Внезапный отъезд из опостылевшей дачи поначалу обрадовал ее; видала, в дороге он облюднел: разгладилась хмурая складка меж бровями, помягчал взгляд, добрее стал на слово. А сердцем чуяла, почужал, отдалился: думами жил где-то далеко, в войсках. В Камышине вовсе кинул. Укатил один: догоняй, мол. Понимала, теперь ему не до нее. Нависли заботы; не на готовое едет. Тревожилась: хватит ли у него здоровья, сил?

А в глубине, на самом исподке сердца, отзывалось какое-то не изведанное дотоле ощущение тоски, смутного томления. Не предчувствие беды. Нет, нет. Ладони не оставляли надолго теплой пазухи: оглаживали под накинутой мужниной шинелью груди, живот. Попеременно приходило настроение — хотелось пла-

кать, то петь. Увидала мужа — сперло дыхание. Так бы вошла в него вся, вся. День белый, люди кругом. Мишки меньше стеснялась, нежели золовки. У порога, провожая, ткнулась губами в выбритый подбородок. Обещал на ночь не пропадать.

Весь день, у корыта, сторожила взглядом небосклон. Ближе к вечеру — терпение оставляло. Казалось, солнце, набрякшее краснотою от натуги, уперлось лбом в меловые задонские бугры. Не проваливается, хоть криком кричи.

Намытая, перемлевшая в ожидании, упала в свежую белую постель. Не совсем и разделась; думала, вскочит на скрип порожек вперед золовки, подаст ужин. Вроде и глаз не смыкала. Вскинулась — сидит на кровати, курит. Выпутываясь из-под одеяла, сокрушалась:

— Господи, прослышала... И как я так? Вечеря, поди, совсем остыла. Пусти одеяло... Ног не вытащу...

— Лежи. Поел уж... Пелагея сбирала на стол.

— Ой, заснула?! Дорога дьяволова... Да и день у корыта торчала.

Навалилась сзади, силясь опрокинуть его навзничь. Жаринка от цигарки метнулась в темноте, упав, покатилась по полу.

— Да погоди... Сапоги дай снять...

— Не дам.

— Игрища среди ночи устроила... Дом весь побудим.

— И побудим... Ладно!

— Шалопутная... — накрыл ее одеялом, вдавил в перину. — Так-то надежнее. Побрыкайся там...

— Борька, пусти... Кому велю?

Унял их скрип чуланной двери. Оба подумали одно: «Из штаба...» Борис даже пригреб босой ногой снятый сапог. По кашлю догадался: хозяин, старый казак. До скотины, наверно, выходил.

Присмиревшая, Ася отсунулась к стенке, уступая место боя. Под одеялом уже со стоном сдавила его шею. Репьем прилипла всем горячим телом. Мурча сердито, как кошка, покусывала твердые губы, жадно, подолгу целовала...

Утомленная, успокоенная, лежала Ася пластом, раскидав на подушках гудевшие в плечах руки. Терпкая истома разлилась по всему телу, притупив желания ее и чувства. Ни двигаться, ни говорить не хотелось, лень даже накинуть ногой сбитое одеяло.

Борис потянулся к комоду — за папиросами. Закурив, остался сидеть. У него свои заботы; растирая взопревшую грудь, высказывал их вполголоса, заботы. Краем уха ловила слова его Ася: прислушивалась больше к самой себе. Такого ощущения после близости она еще не испытывала. Не разумом, сердцем поняла: с л у ч и л о с ь. Варом обдало. Загибала пальцы. Да, по срокам, какие нашептывали посмышленнее в таких делах бабы,

указывая, как на опасные, самые они и есть, те дни. Скосила глаза: слабый свет от папиросы обозначал резкий профиль мужа. Поделиться своей догадкой? Стыдно. Да и чего попусту. Может, ничего и нет. Подождет сроков...

Тяжелая пятерня его легла на живот. Сквозь ткань рубашки ощутила Ася щекочущую прохладу. Поеживалась, а сбросить не хочется.

— Лоскотно.

— Не слушаешь, говорю о чем... Расстанемся мы скоро.

— Чой-то?

— Приказ издам. Всех баб — вон! Хвостом не тащились бы за корпусом. Воинские части небось, а не цыганский табор. Не всех, конечно... Значутся какие при командах, лазарете, те останутся. Всех прочих — духу не будет.

— А я как же?..

— О том и речь. Говорю, а она своими думками занята. Первая ты покинешь корпус. Пример подашь. Тем самым руки мои развяжешь. А я тряхну уж потом... Иначе тут, вижу, нельзя. Бабья невпроворот. Все тащат при обозах. Куда ни шло, беженцы, при отступлении... А зараз?! Наступать с таким хвостом... Ого! На десятки верст возов за каждым полком. Рубать либо назад оглядываться, — ощутил, как напряглась она вся. Дрогнул голос: — В Камышине обоснуешься. Писать буду...

Свернувшись калачиком, Ася умостила голову ему на колени; молчком обцеловала шершавую ладонь, отдававшую землей и ременной сбруей. Не упрашивала, не умоляла; понимала, он жертвует ею, и жертва та нужна. Ласка жены смутила Бориса. Ловил в темноте губами пахучие завитки волос, виновато нашептывал:

— Да и не скоро то... Дня три-четыре еще пробудешь. Разве мало! Царицын возьму, опять свидимся. А в Ростове уж навовсе покончим поход свой... Тогда поживем!

У ворот оборвался конский топот. Это из штаба...

8

С утра комкор делал осмотр двум бригадам — 1-й Партизанской, Дмитрия Жлобы, и 2-й Горской, Фомы Текучева; 3-я Донская, Михаила Лысенко, стояла на позиции у хутора Заховаева. Объезжал лазареты, хозчасти, обозы; побывал на бронепоездах; проверял орудийные расчеты, пулеметные команды. Слов не тратил. Взглядом показывал комбригам на неполадки. Задерживался в каждом эскадроне. В полдень приказал свести бригады на выгон, построить у протоки под вербами. Опасался вражеских аэропланов; на случай велел пушкарям и пулеметчикам быть готовыми их встретить.

Сам к протоке ускакал загодя. Хотелось побыть один на один с Бураном. Чалов все-таки вчера опробовал его — не нахвалится. Бег в самом деле отменный; канавы, изгороди берет играючи. Остановил на взгорке. Вытанцовывал, пенил удила, норовил ухватить зубами за колено. Дал повод. Не укусил — сдавил легонько, обслюнявив сукно. Всхрапывает, мотает головой: просит ласки. Избалован: ходил под седлом какого-то генерала. Почесал за ухом. Прислушиваясь к сигналу трубачей, засек время: как долго будут сборы? Сзади кто-то подскакал.

— Мишка?

— М-да...

Оглянулся: начальник оперативного отдела, Абрамов.

— Думал, ординарец... Тоже Михаил.

Видались они утром, до смотра. Успели и обмолвиться. Внешне Абрамов пришелся по сердцу. Не в пример Качалову, высок, строен, узкие плечи, прямые длинные ноги придавали ему благородную осанку. Сперва так и подумал: «Их благородие». Ошибся. Из самарских мужиков. Учительскую семинарию окончил — народный учитель. На германской успел в двадцать три-четыре года нахватать чинов и наград — штабс-капитан, все ордена, вплоть до Владимира 4-й степени, и медаль. Головой все, умом. Еще не слушал его у десятиверстки, но чуял, именно такого человека хотелось под правую руку.

Спрыгнул наземь. Доглядел, как начоперод, морщась, оставляет седло, усмешливо спросил:

— Камни в подушке?

— Ранение...

Абрамов снял фуражку, подставляя ветерку лицо; рыхлил пятерней влажную темно-каштановую копну волос.

— Говорил еще Клюеву... Какой из меня кавалерист? Пехотинец прирожденный. Да и ранение на таком месте... Не усидишь долго в седле.

Пропала у комкора усмешка.

— Откуда... в 10-ю?

— На Восточном фронте был. Семья в Камышине... Хотелось поближе к ней...

— Дети?

— Сын. — Щурясь, он окинул каким-то странным взором мечущиеся верхушки верб, облачка.— Не нагляделся еще... Надоели кровь, смерть... Не верится даже, годны ли мы к более высокому назначению...

Шевельнулось у Бориса свое, наболевшее. Подкатывало и у него что-то похожее. Пекло, душило ночами; одолевали думки, желания: «Найти Муську, воспринять на руки обещанного Асей сына...» А крови — хватит... Сошел дурман: насытился мщением по горло. Когда-то самолично добавил к названию Крестьянского социалистического полка «карательный»; сам же выбро-

сил это слово из приказов, начиная со сводной кавдивизии. И в бою, ослепленный яростью, уже не рубил первопопавшую голову — выбирал. Такое началось еще на Салу со слухов от пленных: Думенко, мол, в бою страшен офицерам, а простого казака его шашка обходит. Удивился; потом стал ловить себя на том, что не на всякого, правда, налегает душа...

— Мне тоже до дурноты надоели и кровь, и смерть... Охота за живое дело взяться. А не время...

Подскакал Жлоба на тонконогом поджаром кабардинце. Не успел доложить о построении бригады, рядом с ним встал Фома Текучев. Кивком принял Борис доклады: правая рука без помощи еще не дотягивалась к папахе. Сел в седло, пришпорил волновавшегося дончака.

Войска встретили с ликованием. Из конца в конец прошел Буран крупной рысью весь строй; пылко косил глазом на черную метель шапок, напуганный могучим людским ревом. Не привык к подобным встречам. А Панорама, бывало, любила...

Выбрал место повыше, посередине — на стыке бригад. Не останавливал взмахом руки. Унялись сами.

— Бойцы и командиры!

От волнения и натуги перехватило горло. Сбавил голос:

— Ваши бригады вошли в состав вновь формирующегося Конно-Сводного корпуса. Познакомившись, я нашел... части крепко спаяны революционным духом, видна в ваших рядах революционная дисциплина, каждый боец проникнут сознанием революционного долга и полной уверенностью в победу над заклятым врагом революции.

Шенкелями заставил угомониться дончака, разгребавшего копытом песок.

— Видел бронепоезда на нашем участке и вынес самое отрадное впечатление. Настроение комсостава и красноармейцев отличное. Почти все имеют боевой опыт. Особенно отмечаю за расторопность и уменье бойцов дальнобойного орудия. По первому знаку командира они быстро заняли свои места и умело, не теряясь, выполняли команду.

Привстав на стременах, повысил голос:

— Я наде-еюсь... недалек тот час... мы дружным совместным напором окончательно уничтожим деникинские банды. Навсегда положим конец этим хищникам трудящегося народа, какие стремятся отнять дорогие завоевания революции.

С выгона возвращались вместе с Абрамовым. Першило в горле, пекло в правой половине груди. Откашливаясь, ощутил на губах солоноватый вкус крови. Украдкой промокнул губы, спрятал платок. Ждал, что скажет свежий человек о виденном, слышанном...

Обогнули огороды, сады, въехали в тесный проулок. Абрамов молчал. Подталкивая коленями рыжую кобылицу, закусывал гу-

бы, искал удобное место на седельной подушке. Бориса все больше разбирали обида и удивление вместе: другие захлебывались бы от восторга, в глаза высказывали восхищение конницей, тем, как его встречают... Этот учитель помалкивает. В лице даже похожего нет на восторг или восхищение.

У самого штаба Борис не выдержал. Но высказал не то, что обидело:

— Тачанку себе приспособь... В самом деле. Да и полевой штаб мой должен иметь колеса.

Ослабил повод — Буран ворвался в открытые ворота.

Глава шестая

1

Особая группа войск Южного фронта в августовском контрнаступлении отодвинула Донскую и Кавказскую армии Деникина от Новохоперска до Павловска на Дону и от Саратова до Царицына на Волге.

Дорогу преградил Дон. 9-я армия укрепилась по левому берегу; от устья Мадведицы до Пичуги на Волге заняла 10-я. Конно-Сводный корпус встал в самом центре, против Древнего вала, сменив 37-ю дивизию Григория Шевкопляса. Штакор и штабриги 1-й и 2-й обосновались в Качалинской; штаб 3-й Донской бригады Михаила Лысенко сдвинулся юго-восточнее, в хутор Заховаев, на речке Сакарке.

В полосе 10-й армии установилось затишье. Белые из-за Дона наблюдают переправы, сосредоточивая свежие конные полки на участке правобережных станиц Клецкая — Сиротинская. О готовящемся наступлении их узнали от перебежчика, казака из хутора Верхне-Паншинского. Переплыл ночью реку против Островянской; тут же в прибрежных ивняках он налетел на сторожевые секреты текучевцев. Отправили перебежчика на станцию Арчеда, в полевой штаб армии. А к утру — приказ: сорвать наступление белых. 32-й и 39-й дивизиям переправиться через Дон и прочно врыться в меловые горы правого берега. Конно-Сводному корпусу стремительным ударом овладеть районом железнодорожной станции Котлубань.

Приказ Клюева нагнал Бориса в 3-й бригаде, в хуторе Заховаев. Доставил из Качалинской Ямковой, его особый порученец. К приказу тому приложена Качаловым и оперативная разработка войскам корпуса. Раз прочел, два.

— Вместе сочиняли?

Ямковой, одергивая гимнастерку, силился не отвести взгляд от немигающих глаз комкора.

— Командарм поставил ясную задачу корпусу... Наступать! А тут? «Энергичная разведка», «зоркое наблюдение»... Возьми эту бумажку, до ветру сходишь.

Копаясь в полевой сумке, предупредил:

— Не отлучайся очень-то надолго, через полчаса ускачешь обратно.

Пожалел, нет под рукой начальника оперативного отдела: в самый раз бы усадил его за карту. Для проверки. Качалов высказал свою беспомощность: не смог самостоятельно, с учетом действий всех частей армии, поставить бригадам боевую задачу. К тому же преступная нерасторопность: восемь часов мусолил. К вечеру уже дело. А стемнеет — бригады должны выйти... Пригляделся сейчас и к Ямковому. Позавчера ночью, утверждая его в должности для особых поручений при комкоре, полностью доверился бумажкам — рекомендациям штаба армии. Давний партиец, в марте 18-го в Крыму организовал партизанский отряд, в Камышин доставил три миллиона казенных денег, в корпус попал с какой-то ответственной должности. Явно тяжеловат он для порученца, хоть и лет немного. Да и военной струнки не видится. Разве помощником к Лебедеву, начальнику снабжения корпуса? Подойдет: честный, хозяйственный. А лучше при тыловом штабе у Качалова, комендантом.

Оставив нелегкие думы, Борис углубился в десятиверстку. Захват района Котлубани — не только срыв готовящегося наступления белых... Верный ключ к Царицыну. Из Котлубани на Гумрак двинуть бронепоезда, вывести на кольцевую дорогу Гумрак — Воропоново. Вот где использовать их пушки... Кликнул порученца в хату,

— Вот, скачи!

Подобревшими глазами провожал каждое его движение. Дождался, покуда лист бумаги не нашел надежного места меж поднарядом и голенищем ветхого сапога, покачал головой:

— До рантов истоптал... Выбей моим словом у Лебедева пару покрепче. Глядеть дурно.

Ямковой разогнул спину; в напряженных от натуги глазах — хитринка:

— Сапоги у меня есть... С умыслом обулся: никакая сатана не позарится на эти.

Выдумку Борис не одобрил:

— Мне тогда, выходит, не только сапоги... всему в цыганские гуни выряжаться. Все карманы забиты: печати, шифры... Нет уж, конник должен быть... Любо-дорого глядеть. Ступай.

Вдруг остановил:

— Иван Митрофанович, кстати... Принимай штаб, тыловой. Комендантом. Дело тебе, думаю, больше с руки: хозяйственник ты по опыту. А на эту должность подберите с Качаловым из вновь прибывающих. Из офицеров можно.

— Воля ваша...

Не понять, обидело Ямкового такое скоротечное решение, нет ли.

2

В полночь 3-я Донская бригада приступила к выполнению приказа. Штабриг и тылы остались в Заховаевом. У ветряка, на бугре, полки разделились. 2-й кавполк Четверикова взял правее, к речке Сакарке; низовым проселком по ивняку через час нешибкой рыси они войдут уже в хутор Араканцев. До восхода успеют изготовиться к атаке. На Варламов по бугровой дороге направился 1-й полк Харютина. Повел его сам комбриг, Михаил Лысенко.

С ними и полештакор. За хутором, проводив Четверикова, Борис из седла пересел в тачанку к Абрамову. Умащиваясь, спросил:

— Задремал?

— Пробую... Ухабы, гляди, выкинет.

Ветер пробирается в рукава, за ворот френча. Боль обручем стягивает грудь. Отругал еще Мишку: совал в тачанку старую шинель. Теперь бы пригодилась. Ежась, засунул руки в карманы галифе, в тепло.

— Собачий ветер... Не замерз?

— Терпимо. Подо мной брезент... Укутаетесь?

— Куревом обогреюсь.

Тачанка выкатила на набитый шлях. Тряска оборвалась; весело защелкали копыта, перекликаясь со ступицами. Куда-то вбок свернул тесный гул сотен копыт. Налег Борис на пулемет.

— Вижу, с оглядкой ты вживаешься в корпус. Что не по нраву?

Абрамов придержал руку с папиросой у рта, заметно выпрямил спину. Воспользовавшись затишьем — тачанка сбавила бег, — сказал:

— Тяжело работать...

— Это не ответ.

— Мне, говорю, тяжело. Не только бойцы, иные из командиров смотрят хуже, чем на контру...

— А ты как хотел? Новый человек. Из царских офицеров... Бегут ведь за Дон из вашего брата. А доверие — его заслужить надо.

Прочно свернулось в тачанке молчание. Опять не получился разговор...

В Варламов въехали на рассвете. Хуторок крохотный; базами, огородами лепился к ерику, заросшему ивняком и камышом. Укрылись в зарослях.

До полудня Борис терпеливо ждал вестей от Жлобы и Текучева. Самолично выспрашивал наблюдателей, высматривавших из зарослей за казаками в хуторах Грачевском, Грачи. Потом охватила тревога — хватался за часы, щурился на солнце. Наконец отозвался Фома Текучев. Все по-писаному: один полк в Вертя-

чем, сам с бригадой в хуторах Паншинских. Охрану выдвинул к самой воде, к Дону, удерживает переправы и броды по левому берегу.

— Ага, Фома оседлал Вертячий, — довольно потер бритый череп. — Значит, Жлоба побывал уже в Гниловских хуторах... Теперь жмет на Котлубанский, Гумрак. Что ж, Михаил Никифорович, двинем и мы... Пора.

Абрамов с удивлением поглядывал на комкора. Бледное утомленное лицо вдруг ожило, посветлело; даже правая рука, висевшая больше без дела, забеспокоилась: помогала облачаться в оружие.

— Пулеметчика тебе подсадить? — спросил Борис, открывая ногой дверь из хаты.

— Управлюсь как-нибудь сам.

— Гляди...

В садочке, за сараем, столкнулся с комбригом. Спешил тот с чем-то тревожным. Запыхался, утирал фуражкой взмокревшую шею.

— Стрельба там, на путях!.. В сторону Котлубани... Из орудиев... Бронепоезда.

— С каких пор комбриг Лысенко стал бояться орудийного гула?

Лысенко, пятясь, затоптался в бурьяне, явно чего-то не договаривая.

— Казаки в Грачах всполошились...

— Ну?!

— Схватили живьем одного дозорного нашего... на Сакарке...

Голову вобрал в плечи Борис; приседал, будто перед прыжком. Лицо исказилось.

— Не только бригаду... эскадрон не доверю!..

Полк подняли без тревоги. Комбриг спешно повел его вдоль ерика, под вербами, на хутор Грачевский, видневшийся без бинокля по склону. Комкор, прихватив свой резервный эскадрон, метнулся бродом на тот берег. Успел крикнуть Абрамову:

— За полком!

Замешкался Семен у барок — полк пропал.

— Гони!..

Дергая за штанину ординарца, Абрамов силился хоть что-нибудь увидеть за головами коней. Трясло, подбрасывало, кидало с борта на пулемет. Езда такая обозлила. Выхватил вожжи; обрывая удилами губы пристяжной, во весь карьер вынес из падины на бугор. Набитый проселок уперся в узкую гребельку; за ериком он пропадает тут же в крайнем проулке хуторка, за плетнями... «Грачевский самый... Белые!» — обожгла мысль.

Кони, вытягиваясь в нитку, с маху проскочили гребельку. Знакомый до жути свист холодком обдал спину. Припал к пуле-

мету, выпуская длинную очередь в вербы — оттуда палили...

Осатанело вылетели к ветряку. Семен, тараща выбеленные глаза, натянул вожжи.

— Кадеты!

У мельницы — конники. Кучковались возле деревянной лестницы; сверху на крылечке — трое не то четверо. Водят биноклями.

— Думенко! Не видишь?

У самого отлегло. Оставив пулеметную рукоять, устало свалился на сиденье.

Сошел комкор по шаткой, скрипучей лестнице; с нижней ступени опалил белозубой усмешкой:

— Проглядел, начоперод...

Ему подвели коня. Копался в седле — достал из подсумка белую тряпку. Насухо протирая долы клинка, успокаивал:

— Не горюй. Нонче еще разрядишь ленту...

— Уже разрядил.— Абрамов, сдерживая возбуждение, потряс порожним концом брезентовой ленты, вдетой в пулемет.

— Где это?

— Вот в Грачевском... на гребельке...

Хмурясь, комкор поднял к глазам бинокль.

— Там наша пехота... Из 28-й дивизии. Вон сам и начдив, на ветряке... Азин.

Абрамов потерянно повел подбородком, выставляя ладони.

— Обстреляли...

Вестовые сдержанно засмеялись.

Спустился и Лысенко. Улыбается; не отказался от папиросы из портсигара Думенко. Обоюдные добрые взгляды, будто между ними ничего не произошло час назад.

До заката солнца довелось встретиться не только с казачьей конницей, но и пластунами. Полк из корпуса генерала Топоркова, зажатый в клещи под хутором Грачевским, изрублен; часть подняла руки, а малая доля растеклась по балкам. Беглецы и нагнали страху на другой свой полк, стоявший повыше на речке Сакарке, в хуторе Грачи. Спешно, не принимая боя, кубанцы укрылись за Древним валом, под охрану пластунов и пушек.

Не остывший от рубки комкор тут же у мельницы высказывал свой план дальнейшего наступления на станцию Котлубань. В карту-десятиверстку, развернутую на подкрылке тачанки, не засматривал: знал эти места еще по прежним боям до последней кочки.

— Ставлю задачу, — быстро глянул на Лысенко. — Используя панику конницы, изрубить пластунов в окопах по Древнему валу. Не задерживаясь, охватом устремиться навстречу Жлобе. Харютин со своим полком врывается на станцию Котлубань... Ты, комбриг, перерезаешь железное полотно... На переезде, против Грачей.

Откашлявшись, высказал тревогу:

— Опасаюсь бронепоездов... Могут подоспеть от разъезда Конного.

Древний вал, со рвом и высокой насыпью, возведенный еще по указу Петра меж Волгой и Доном — от Царицына до Паншина, надежно укрывал южнорусские владения от набегов калмыков, крымских и кубанских татар. Теперь ров наполовину засыпался, зарос терновником; в хребтину вала уютно врылись пластуны и пушки. Конница укрылась внизу в зарослях.

Вал встретил картечью и пулями. Захлебнулась атака у забурьяневших склонов. Перестроил Борис эскадроны тут же на виду. Со второго захода прорвал огненную стену. Без папахи, растрепанный, метался на взмыленном Кочубее по самому верху; первым перемахнул ощетиненный штыками ров. Сбитая ранее в Грачевском и вовсе потрясенная кровавым зрелищем на валу конница белых ошалело кинулась вдоль железнодорожной насыпи в сторону города...

Тревога Бориса сбылась: в Котлубани преградили путь бронепоезда.

После боя Абрамов оторопело оглядывал Думенко. Пугало и удивляло его хладнокровие. Несдержанный, не терпящий, казалось, малейшей своей неудачи, промаха — смирно, устало сидит в седле. Спокойно воспринял худую весть и от Жлобы. (Не сумела и 1-я бригада прорваться с той стороны к Котлубани. Ураганный огонь бронепоездов сметает эскадроны. Сам Жлоба слег в жару.) Только и выговорил:

— Подоспели все-таки...

Слова комкора Абрамов расценил правильно. Одобрил вслух:

— Нет смысла кидаться с голой шашкой на броню...

3

До света Чалов истопил хозяйскую баню. Напарился Борис. Кутая грудь в женин пуховый платок, примостился у окна с папкой донесений за последние двое суток.

Баня полюбилась с Саратова, когда поправлялся он на загородной даче. В первый же день, вырвавшись от неумолимого доктора, Борис попал в руки Чалова.

— Порошки ихние в нужник, — заявил конюх во всеуслышание. — Степь, она с коих веков кормит человека и сберегает от хворобы. Человек что-о... Всякая тварь ведает, от какой болести чего примать, траву то есть. Кашель кровавый травой остановим враз. И руке силу былую воротим. Отвар — всему привада. И ишо баня... Парок, сухменный, каленый, что воздух полуденный на буграх... Сласть.

Порошки Борис не выкинул; горькие, дурманящие отвары трав пил от случая к случаю, когда ночевал дома, зато к бане,

венику пристрастился. Размягчало в груди комом сбитую боль, освежало голову — думалось легче.

Выпил и сейчас голубоватую, без вкуса, но с полынным запахом жижу. Проглотил, отплюнулся.

— Добро бы, самогонку напоминало... А то так... Пойло.

Пелагея, закупоривая бутылку, осуждающе поглядела.

— Бога молить надо... Не Чалов, ты давно бы уж кровью сошел.

Не отрываясь от бумаг, он согласно кивал.

— И я про то... Вот назначу его главным лекарем в корпусе.

Привалился к прохладной стенке бритым распаренным затылком; жаловался кому-то — не сестре, хотя, кроме нее, в комнате никого не было:

— Недостает врачей. Раненых собралось в Качалине... И среди пленных вот... Все бумаги перерыл. Кого тут только нету. Легче архиерея, генерала откопать, нежели врача.

— А Камышин чего же? Обещали...

Брови у Бориса недовольно сдвинулись.

— Обещанного три года ждут.

Ворочал разрозненные случайные листы из тетрадей, конторских и церковных записных книг, измаранных больше каракулями,— показания пленных. Иные выкладывал из папки на стол.

Копался в дерьме этом не от сладкой жизни. Реввоенсовет, подписывая приказ о формировании корпуса, стелил мягко. Изо всех посулов разве что шли деньги. Хоть седла да лошадей приобретают заготовители. А люди... Беда. Каждый бой вырывает из строя бойцов. Каких! Самый цвет, рубак. Холода не за бугром — болезни еще навалятся... А чем затыкать дыры? Всякой вот такой сволочью... Тряс тетрадный листок, заполненный ровным почерком.

— Во, Сухоруков Николай Петров... Возьми его, сына Петра, за пятиалтынный. Бывший красноармеец 33-й стрелковой дивизии. В плен попал летом под Лисками. 8-я армия, выходит? Ну да. Служил телеграфистом при штабе генерала Топоркова. Ишь, при деле был, на должности. Писал бы уж хоть: «Перебежал». А то опять: «Попал в плен». А я ему: «Не изволите-с, Николай Петрович, кое время у меня послужить... Тоже чистая должность, тоже при штабе корпуса...» Тьфу, сволочь! Да по нем давно шашка наскучала. Ведь вскинет же снова руки, ежели маломальски... Смиряя гнев, отложил листок на стол: и такими специалистами, как телеграфист, швыряться не может.

— Приехал кто до нас!.. Глянь, братушка.

У порога, рядом с сестрой — военный. Высокий, плечистый; серая генеральская папаха едва не касалась потолка. По смущенной улыбке, неловко отставленным в локтях рукам, еще чему-то, страшно знакомому в бровастом, усатом лице, признал двоюродного брата, Марка Колпакова. Не виделись с мая — случайно

сталкивались в полевом штабе армии на станции Двойной. Наведывался Марк как-то к Григорию и девчатам в загородную дачу, но сам он, Борис, в тот час пропадал в городе: обивал пороги армейских тылов, вытрясая из снабженцев грузы для корпуса. Так что повидаться не довелось.

Отшвырнул платок. Пелагея не успела подать френч. В исподней свежей рубахе, галифе и сапогах шагнул навстречу, обнял. Отступая, тернул рукавом губы.

— Усы кохаишь! Як дядька Гришка... Тарас Бульба.

— Поклон вам всем от него... И от девчат.

— Спасибо. Григорий уже в дивизии?

— Вчера прибыл...

Вошла со двора Ася. Поцеловала родича в щеку, не мешая мужскому разговору, удалилась на кухню помогать золовке собирать гостю на стол.

Застегиваясь, Борис расспрашивал:

— Каким ветром занесло? Не в Камышин правишься?

— Не...

— Чего топчешься? Стаскивай ремни, садись к столу. Может, в баню? Мишка враз окатит. Горячая. Я только что напарился. Чалов хворобу все выгоняет...

Оружие Марк повесил на гвоздь; уселся, ощупывая гудевшие от долгой тряски в седле колени.

— Баня у нас самих вчера состоялась. Я же навовсе из дивизии.

— Это еще куда?

— До тебя...

Недоверчиво сужались у Бориса глаза.

— И как же это братка отпустил?

— Хо! Какое у него право держать? Войскам читали воззвание о создании кавчастей. А тут слухи о твоем корпусе... Все наши, манычские, в один голос... Гришка их утихомирил. Десятка два, правда, я привел... На конях.

— Я в корпус не принимаю таких... Приказ. Из стрелковых дивизий не брать. Мало того, под конвоем доставлять обратно в часть. А желающих, знаю, ого!..

Запустил Марк пальцы в нагрудный карман, суетливо шарил; скулы побагровели.

— Все честь честью... Братка и бумагу подписал. Думаешь, дезертиры? Вот, читай...

Отвел Борис руку его с бумажкой.

— Наштакору предъявишь. Ты в какой должности состоял?

Марк отмахнулся.

— При штабе... Комендантом.

— Коменданты есть. Помощников у моих штабистов нету. Ни в тыловом, ни в полевом штабе. Но туда нужно из офицеров... Стой! Будешь при мне... Порученец.

— Ну, братушка... Да и неловко бы вроде в вестовые. В строй лучше.

— Дурак. Какой же вестовой! У меня вестовых... полэскадрона. Для особых поручений при комкоре. Смыслишь? Не вестовой, а командир. Оперативный работник. Связь держать со штабом армии, с соседями.

На громкий голос мужа вошла Ася. Картина мирная. На лице гостя неловкая усмешка, но сидит развалясь. Борис одет, при оружии; без дерганья, без резких движений завязывает свои бумажки в папку.

— Уходишь?

— В штабе буду. Кормите тут гостя да спать... Глаза у него слипаются.

Все утро возился с пленными. До полтыщи согнали со всех бригад. Беглый малозначащий допрос вели Качалов и Абрамов. Сам сидел у окна, курил. Буравил взглядом, прицենивался, похоже как цыган на торгу к лошадям. По тому, как пленный отвечал на предложение служить красным, он решал его судьбу — оставить или отправить. Слабых на язык, изворотливых, трусов, терявших самообладание, человеческое достоинство, зрить не мог. Подавал Абрамову знак: «В шею».

С нетерпением ждал того телеграфиста, Сухорукова. Но Качалова не торопил, подойдет очередь.

В окно просунулась голова Мишки. Показывал руками — выкликал.

— Новость... Сидорка-Заяц в амбаре.

— С похмелья ты?

— Ей-богу! Чалый угадал.

Змеей шевельнулось в нем злое, холодящее. Искал встречи с самим Захаркой — вышло с его подручным. Есть что порасспросить и у Сидорки. Вгорячах приказал немедля ввести; покуда возился со створкой, остыл. Разговор пойдет свой, давний...

Вышел. Во дворе окликнул от амбара Мишку, шепнул:

— На квартиру... Без охраны, сам.

Ждал на крылечке. Куревом унимал нудную дрожь в середке. Не повернулся на скрип калитки — загляделся на сломанное колесо, валявшееся, наверно, не один год на соломенной крыше сарая. Шаги вот, у крылечка...

— Убей, Бориска, ей-бо, убей...

Сидорка на коленях. Мотал покаянно головой, сметая нечесаной серой куделей чуба сор и куриный помет. Новая, из английского сукна, рубаха просолилась на лопатках, шея обвита глубокой морщиной, похожей на ножевой порез. Под оттопыренным воротом на белой коже четко виднеются два шнурка — крест и гайтан. В гайтане — охранная молитва от пули, шашки либо щепоть манычской земли...

— Доразу, говорю, убей!..— требовал Сидорка, сокрушенно покачиваясь. — Нету силов глянуть тебе в глаза...

С полными ведрами на коромысле подошла сестра. Переняв ее осуждающий взгляд, Борис как-то поспешно заговорил, будто оправдываясь:

— Не угадуешь? Взгляни, взгляни хорошенько...

Сидорка встал с колен, показываясь.

Выпрямилась под тяжестью Пелагея. Меняясь в лице, глядела по-птичьи, округло. Слова не потратила: плюнула в распухшие от слез глаза хуторца. Повернулась сторожко, не задеть бы ведром, прошла к летней кухне.

В жар кинуло Бориса. Сестру он такой не видел. Вечно согнутая в работе спина, хмурая, униженная, задавленная девичьей бедой. Вдруг преобразилась. По сердцу резанули глаза ее, взгляд... А пошла!.. Будто нет пудовой тяжести на хрупких плечах.

Устало присел на перильце. Понуро разглядывая на Сидорке сапоги, вытертые на коленях краснолампасные шаровары, не ощущал желания дознаваться обо всех подробностях того давнего, отодвинутого уже временем. Да и зачем ворошить потухшее пепелище... Вошла некогда Махора в его жизнь нежеланной, тихая, бессловесная; за годы не задела в душе ни одной струны. Так же, не видя, ушла, но след оставила глубокий — дочку. О Махоре, черном последнем часе ее, нет уже смысла выспрашивать, теребить зарубцевавшуюся рану, а о Муське навряд ли знает что он...

Вяло махнул рукой — уведи. Как Мишка понял его знак — в амбар ли Сидорку, на выгон, к ветряку, — ему было все равно...

Глава седьмая

1

Пасхального праздника не ждал так Борис, как приказа о наступлении. Чем ни ближе тот час, тем делалось невмоготу. Глаза не видали черного июньского дня, знойного, пыльного, когда армия —эта же пехота и конные части — без боя оставила Царицын, постыдно бежала; вину и позор те он брал и на себя. И как бы Егоров ни доказывал необходимость сдачи города, душой постичь он не мог: слишком свято то место....

Оборона Царицына была не просто защитой дымящих за спиной заводских труб, тревожно гудевших пароходов, видных и без бинокля в ярко-синем изгибе волжского плеса; в Царицыне он защищал то, что оставил на Маныче. Потому взятие сейчас города — для него дело совести.

Топтал кованым копытом Буран красно-глинистые бугры

Древнего вала; подолгу Борис не отнимал от глаз бинокля. Угадывал трубы французского завода; от них едва видна в синей дымке Бекетовка. Еще правее на рыжий бугор взбиралась Владикавказская железная дорога; пропадала она далеко, где степь переходит в небо. Тингута, Абганерово, Жутово, Котельниково, Ремонтная, Гашун, Зимовники, Куберле, Великокняжеская... Места-то все какие! Дух захватывает. Ну, уже не найдется той силы, какая бы могла остановить его корпус до самого моря Азовского. Бешеный галоп коней оборвет только крутой берег — Таганьий Рог. Рухнет андреевский флаг — поставит Антон Деникин на своем походе крест...

Партизанцам и донцам не везло с комбригами. Вслед за Жлобой отправили в лазарет и Марущенко; пришлось заменить его Федотом Тучиным, командиром 1-го Кубанского полка. А вчера выбыл из строя Михаил Лысенко. Бригаду временно принял Георгий Трехсвояков.

Потемному Борис вернулся из 28-й дивизии в хутор Фастов. У Абрамова необычно людно. Смех доносился из открытых дверей куреня еще от ворот. Горенка битком. Веселил, как и всегда, ФомаТекучев. Сидел он на скрыне. Заметив комкора, вскочил, нашаривая позади папаху.

— Борис Макеевич, вот начопероду докладываю, — хитрые степные глаза его еще не остыли от смеха. — В Россошинской балке налетели на карету с золочеными спицами...

Борис, опускаясь на подсунутый кем-то табурет, хмуро взглянул в рыжевень бровей комбрига.

— Докладывай.

Успел Фома уже укрепить на светловолосой голове папаху; щелкнул каблуками, лихо выкинул ладонь.

— Задание выполнил, товарищ комкор! Пленным моя братва разжилась...

— Из золоченой кареты?

— Не... Там бабы.

От смеха забился в висячей лампе подсолнечный лепесток пламени. Громче всех смеялся Марк. Доволен Борис, что брат так скоро прижился в среде командиров: меньше будет тосковать по родной дивизии. Отпуская ремень, взглядом поторопил Текучева.

— Важная птица... Земляк твой... С Манычу.

«Захарка!» — крапивой обожгла догадка.

— Не тяни, Фома...

— Королевым назвался. Да и в бумагах...

Стухли желваки на серых обросших щеках. Пленный, в самом деле, стоящий... Глянул на Марка, спросил:

— Вечеряли?

— Мы уже...

Утолил голод — пропала охота разговаривать с бывшим хо-

зяином. То ли униженным не хотелось видеть его, то ли, напротив, показывать свое превосходство над ним, помещиком, конезаводчиком, некогда державшим в руках все Приманычье. Знает, превосходство, помимо воли его, само будет выпирать, лезть в глаза. Чего доброго, Пашка слюни распустит... Да и об Агнесе не хочется говорить, трепать ее имя: все-таки добрую память она оставила. Поддел локтем Абрамова.

— Сами допросите...

2

Ввели пленного. Абрамов, указывая на табурет, подставленный загодя, пригласил:

— Прошу.

Видать, без особых хлопот он достался текучевским разведчикам. Обычно у пленников вид жалкий, а этот на диво сохранился. Не только пуговицы, погоны на месте.

— Садитесь, господин майор.

— Мне сказали... ведут к Думенко...

Переняв его недоумевающий взгляд, Марк кивнул на Абрамова:

— Этот кто тебе?

Отечное бровастое лицо пленного смягчилось усмешкой. Не дожидаясь повторного приглашения, как-то просто опустился на табуретку, с достоинством устраивая дородное, не по годам располневшее тело. Взял из портсигара предложенную папиросу. Разминал ее в пухлых белых пальцах, рассматривая откровенно Абрамова.

— Вы офицер...

— Это дела не менять.

— Ошибаетесь. Говорить с человеком своего круга, дворянином...

— Не доставлю вам такого удовольствия... Не дворянин.

Недовольно сошлись девичьи брови у Абрамова. Подождал, пока Колпаков подточит карандаш, поднял глаза.

— Кто вы? В какой части служили?

Не обескуражил пленного такой оборот. Приосанился, тверже упер ноги в хромовых сапогах в пол. Изысканно сбивая пальцем с папиросы пепел, заговорил:

— Извините, господа... Думенко мне бы лично не задал первого вопроса. Начал бы сразу со второго, даже с третьего... К примеру, какими силами барон Врангель располагает у Царицына, на участке фронта 10-й Красной Армии. Вам я отвечу на первый... Майор Королев, Павел Сергеевич... Дворянин, конезаводчик. Имение и владения по Манычу, в нескольких верстах от Казачьего, родного хутора Думенко. Некогда Борис Думенко служил у нас иа заводе в табунщиках. Помню, покойный отец отли-

чал его как лучшего наездника... Несомненно, та служба помогла ему в эту войну... Коня он знал. Конница его теперешняя начинала на лошадях с моим тавром... Кстати, нас связывало с ним гораздо большее... Извольте, господа, я опущу это... Личное, душевное, так сказать... Не несет в себе военных секретов.

Подбодрило Королева явное замешательство старшего. На ершистого, сидевшего сбоку, над тетрадкой, не глядел.

— Вижу, плохи у большевиков дела... Не говорю уже под Орлом. Здесь, у Царицына.

— Второй вопрос?

Лицо конезаводчика с наплывшим мягко подбородком на стоячий краснокантный ворот мундира напряглось. Поискал взглядом, куда положить окурок.

Где-то была пепельница. Вспыхивая от неловкости, вспомнил Абрамов: ее, набитую окурками, вместе с грязной посудой унесла хозяйка. Колпаков не догадывается сходить, и подсказать неудобно. Нашелся. Захлопнул портсигар, пододвинул: извините, мол, вместо пепельницы.

Королев извинил любезным кивком. Скрестил туго короткие руки, откинув слегка голову.

— У вас, господа, мое предписание... Думаю, нет смысла не отвечать и на этот вопрос. Постоянное место службы — тыловой штаб Донской армии. Я один из адъютантов генерала Сидорина. Имя и должность этого генерала, наверно, не секрет для вас. Прикомандирован я к Кавказской армии барона Врангеля, в Царицын следовательно, с целью... Она тоже есть в бумагах... Координации действий наших армий. Как видите, поручение у меня весьма важное...

— Выходит, вы... для особых поручений при генерале Сидорине? — оживился Марк, меняя гнев на милость. Только сейчас он вдруг воочию увидал значительность своей должности. Подобрев глазами, навалился на край стола, по-мальчишески доверчиво потянулся. Уже не вызывал в нем злости ни отвислый подбородок, ни густющие черные брови, ни маленькое красное ухо.

— Не скрою, господа, вашей разведке чертовски повезло. Барон там, в Царицыне, снимет кое-кому голову... И напрасно. Во-первых, виноват в этой нелепости я сам... Оставил тайком охрану... Хотелось побыть без посторонних глаз... Мужчина я одинокий, сами понимаете... Во-вторых, со мной нет планшета. Пожалуй, он для вас был бы куда важнее, нежели я собственной персоной...

— У вас завидная память, господин майор...

Острая усмешка у Абрамова; она в прищуре, в уголках плотно сжатых губ.

Королев поник тяжелой, с белыми висками головой. На мя-

систом лбу, под глазами набрякли складки. Оглядел казачью горенку, плохо освещенную по углам; взгляд пустой, отрешенный, даже иконы не оживили его.

— К сожалению, господа... А хотелось бы многое выкинуть не только из головы, но и из сердца... Прошу прощения, это опять не к делу. О чем мы? Да, заменить собою планшет я не смогу... Зато скажу другое: нам известны замыслы Москвы. Главный стратегический удар нанести группой Шорина, то бишь 9-й и 10-й армиями. Здесь, у Царицына. Об этом вы могли догадаться по знаменитому рейду генерала Мамонтова... в районе Тамбова и Козлова. Цель рейда — сорвать ваше наступление. Она достигнута. Конный корпус Буденного, единственная ваша ударная сила, переброшен к Воронежу. И тотчас поползли слухи: «Корпус Думенко». Проникали они от вас. Несостоятельные те слухи, смею заверить. Спекуляция именем. В этом вы убедили меня только что... Думенко нет в живых. Давно, с весны. Как и нет у вас второго конного корпуса. В природе нет...

Абрамов успел толкнуть под столом колено Марка: помолчи.

— Увольте. Просто ничего не скажу... Надеюсь, точно так же поступили бы вы, окажись в моем положении. Не так ли, господа?

Взгляды их скрестились. Удержался Абрамов — не сморгнул, но где-то сдал голос:

— Не молчите... Сохраним вам жизнь.

— Гм, а вы уверены, что она мне нужна? Жизнь...

В глубине темных без блеска глаз было что-то такое, отчего у Абрамова сжалось сердце. Понял: человек этот не скажет главного. Жизнь ему, в самом деле, не дорога. Не бравада, не боязнь испачкать честь офицера, дворянина тому причина: есть в нем что-то более потаенное... Ясно, какая-то утрата, что вызвала душевный надлом, обессмыслила само его существование. Дважды спотыкался о «личное», «душевное». Без сомнения, Думенко как-то причастен к тому потаенному... Иначе почему он отказался вести допрос? С таким нетерпением ждет пленных...

Марк встал. Поправляя кобуру на кожаном широком ремне, благодушно сказал:

— Коль не хочет человек жить... заставить трудно.

Поднялся и Королев, считая допрос оконченным. На мудрое замечание парня с усиками не отозвался. Склонив голову, ощупывал карманы.

— Просьба к вам... деликатного свойства... Конвоиры взяли у меня портсигар, зажигалку, носовой платок и кое-что по мелочи... Без тех вещей я долго не смогу...

Марк, перехватив взгляд начоперода, резко потянул за скобу дверь.

3

На начало октября Юго-Восточный фронт планировал ударом в стык Кавказской и Донской армий белых продолжать наступление на Дон и Кубань. Мало кто знал, что войскам задача такая уже не по силам. Все стратегические резервы, переброшенные в августе с Восточного фронта, и свои скудные формирования ушли в бесплодную погоню за генералом Мамонтовым, разбойничавшим по нашим тылам. Туда же был перекинут и конный корпус Буденного.

9-я армия к тому времени прочно укрепилась по левобережью Дона, готовая к новым боям. Первый удар должна наносить 10-я армия, как наиболее устойчивая, с сильной конницей, на Царицын. Она походила на степного коршуна, расправившего крылья для взлета. Ждала сигнала.

За двое суток до наступления Конно-Сводный корпус был выведен в армейский резерв. На отдыхе Думенко объездил все бригады. Нагляделся всякого. Прошлой ночью в Качалинской нарвался на безобразную картину: красноармейцы жгут шпалы, вагоны. Прямо на путях. Едва не дошло до нагана — разогнал громил. Измазанный сажей, со свирепыми глазами тряс ошалевшего комбрига Трехсвоякова, хрипел:

— За каждую спаленную шпалу... ответишь мне лично.

А утром нынче на виду у него десятка два подвод налетели на казачьи гумна, как скворцы на вишенник. В момент растащили вороха пшеницы, успели покидать поверх необмолоченные снопы. Мародерами оказались агенты по закупкам из 2-й Горской. Отправив главного, тощего, одноглазого, под конвоем в штакор, галопом понесся к горцам. Фома Текучев не попался под горячую руку, его счастье. Побелевшему Дронову, наштабригу, только поглядел в глаза; душу отвел на политкоме Пискареве. Слов не высказал, но всем видом дал понять, что помнит встречу у цистерны со спиртом...

— Комиссар... редко вижу что-то на позиции. Не в тяжесть ли штабная работа?

Глядя на свои запыленные сапоги, ни к кому не обращаясь, Думенко с обидой в голосе уронил:

— Мародеры скоро под подушкой у вас шастать будут...

К обеду Борис добрался до тылового штаба, в хутор Собачий. Разбитый, злой. А тут погода: дождит. Раны ноют, спасу нет. Не успел перевести дух, начальник подступил с делами.

— Что тут?

— Донесение от коменданта поселка Фастово...

Страдальчески морщась, мял под расстегнутым френчем больную половину груди. Кивнул: валяй. Качалов, разглаживая ногтями бумажку, сообщил:

— Бесчинствуют и мародерствуют красноармейцы 2-го и 3-го

полков кавбригады из бывшей 37-й дивизии. Самолично изымают хлеб, скот у населения. Силой требуют транспорт...

Свесил Борис голову. Фастовский комендант и о малой толике не догадывается, что ведомо ему, комкору. Наперед знает: будет нещадно спрашивать, наказывать кого следует, а подобным жалобам дорогу не закажешь. Сама обстановка заставляет брать... Вытащил из нагрудного кармана огрызок чернильного карандаша, положил на донесении резолюцию: «Командиру бригады расследовать и виновных привлечь к ответственности».

— Отдайте письменное приказание Текучеву, — поднял глаза. — Лебедев на месте у нас?

— Утром вернулся из Камышина. С ним и новый сотрудник... На должность политкома штаба, Васильев.

— Военком с начальником политотдела не прибыли?

— Сведений не имею.

— На быках тащатся.

Задергался живчик в веке. Придавил пальцем. Скакал в штаб с твердым намерением дать разгон всем от малого до великого начальства. Политотдела еще надлежащего нет в корпусе; ему бы и впрячься в эту телегу... Знаменский все успокаивает, подбадривает: создадим политотдел, опирайся, мол, на него. Пока помощи никакой. А от пискаревых — помощь не велика. Ни на позиции, ни в тылах...

Пропало желание собирать штабистов, бригадных командиров. Рвать до хрипоты голос, стучать кулаком по столу — такое не приведет к доброму. Да и сил нет.

Отсыревшая махорка оставляла во рту привкус кизячного дыма. Сдавил тлевшую жаринку; окурок ткнул в карман.

— Владимир Яковлевич, распорядись...

Дрогнули у Качалова светлые редкие брови — комкор нечасто баловал его именем-отчеством. Что с ним нынче? Необычное равнодушие, с каким воспринял донесение из поселка Фастово, удивило меньше...

4

Нынче штабисты не гнулись до поздней ночи над бумагами, картами. Сдвинули столы; к закуске выставили на самом виду бутылки. Получалось вроде вечера знакомства. С утра съехались полевой и тыловой штабы; друг друга многие не знают. То и дело являются новые работники. Завтра идти в бой; естественно человеческое желание увидеть, чей локоть будет у тебя справа и слева... Прибыл кое-кто и из бригад.

Застрельщиком вечера оказался помощник начальника оперативного отдела Иван Блехерт. Дня три-четыре как в корпусе. Изо всей безусой, бритоголовой, на манер самого комкора, штабной братии он выделялся бородкой, усами, загнутыми кверху,

и пробором, делившим на шишкастом лбу челку на округлые неравные доли. Бородка темная, подстрижена коротко, со щек сбрита; выделяла она крепкую квадратную челюсть. Вид грозный, во всем виден царский офицер. Хромота, несвойственная, диковатая для военного, не роняла его выправки, достоинства. Дворянин, русский подданный из немцев; родился и рос в Варшаве, в семье военных — отец полковник, отчим генерал. До германской успел окончить Елизаветградское кавалерийское училище. В августе 1915 года в конной атаке пуля пробила правую стопу; хромал с тех пор, но службу оставил только в 17-м, летом, после второго ранения. Штабс-ротмистр, имел ордена включительно до Георгия с лавровой веткой от Временного правительства. Два последние года жил с женой и восьмилетним сыном в Москве, служил в городском Совете народного хозяйства. Мобилизован и как специалист прислан в кавалерию.

С первого знакомства лег он на душу Борису. Есть у него то, что так хотел видеть у своих командиров, — требовательность и знание военного дела. С появлением Блехерта в полевом штабе повеяло свежим ветерком. К нему как-то сразу потянулись... Удивил и покорил он отвагой, с какой бросился в первый же день с кучкой вестовых на вывернувшийся из балки разъезд белых. А ночью, перед сном, тешил россказнями из дворянских спален.

Борис почувствовал, какую-то долю своего внимания он отнял от Абрамова и перенес на Блехерта. Абрамов умный, рассудочный, умеет сдерживать слова и думки — скрытен, осторожен. Блехерт вывернулся наизнанку в момент. Начоперод слушает своего разговорчивого помощника, не одергивает, посмеивается вместе со всеми.

Напарился Борис в бане, побрил лицо, голову. Пелагея накормила домашним борщом со свининой. Самым отрадным все же была весточка из Камышина: Ася прислала с Лебедевым коробку папирос и записку. Соскучилась, извелась вся, со слезами молит взглянуть на него хоть одним глазком. Наслаждаясь пахучим дымом, силился представить ее заплаканные глаза...

Вбежал Марк. Топтался у порога, не решаясь что-то высказать. Откашливался нарочно.

— Чего мнешься?

— Просыхай, братушка, после бани да в штаб... Блехерт затеял вроде ужина... Управленцы все собрались, от бригад...

— Пьянка?!

— Какая пьянка... Скажешь. На такую ораву-то? Чи по глотку самогонки припадет. Обзнакомиться хоть бы...

С добрым чувством Борис переступал порог штаба. Правда, народу порядком. Уже за столами. Много света. Двадцатилинейной лампе-молнии под жестяным абажуром, свисавшей с потолка, помогали две малые, с комода. Забились в них огоньки от молодых здоровых глоток.

Фома, унимая крики, до хрипа надрывался:

— За непобедимого!.. Неустрашимого!.. Нашего отца и командира... Ура-а!

Тянулся через стол со стаканом, дышал горячо, бурно, ворочая шалыми глазами.

— Борис Макеевич... родной наш!.. Не сомневайся! Искрошим в душу... всю контру-у по Дону... До Кубани самой хватим! Веди! Указуй...

Хватил, стервец, где-то по дороге. Тут в самом деле с выпивкой не густо: пара бутылок, графин да чайник хозяйские. Может, для отводу глаз? А в чулане либо в кухне где стоит ведро. И отлучаются, гляди, поочередно «до ветру»...

Не обидел — чокнулся с комбригом. Доволен и за его тост. Глоток осилил. Улучил момент, наклонился к уху Блехерта:

— Иван Францевич, мужик в самую страду не пьет. Ни в посевную, ни в косовицу... В великие праздники да на поминках. Еще на свадьбах. Но и свадьбы у мужика в свободную пору.

Блехерт покорно склонил голову: понял, виноват. За него вступился Абрамов.

— Борис Макеевич, что на столе — все. Текучев со своими приехал уже на взводе.

Подтащился с табуретом Качалов.

— Из штарма звонили... Михайлов. Выехал начальник политотдела, Ананьин. Вчера утвердил РВС и военкома. Вслед и он прибудет.

— Кто такой?

— Хрустов... Нет, нет. Хруцкий.

Озабоченно сошлись у Бориса брови.

— Ананьин, этот из казаков вроде... А Хруцкий?

К их компании пробился Фома Текучев. Качнувшись, обхватил спину комкора.

— Обижаешь... Ей-господь. Мы за стоко верст гнали коней... Может, на одного тебя поглядеть... А ты со своими штабными тут отделился. Ужель не надоели? Выпьем... за Царицын!

— За Царицын... в самом Царицыне выпьем, — заметил Блехерт.

Исподлобья окинул его взглядом Фома. Промолчал. Подступил опять к комкору:

— Борис Макеевич, скажи, и откудова в тебе такое геройство, а? По всему Дону гул идет!

— Вы, казаки, с пеленок еще вколотили его...

Мучительно ворочал казак мозгами: хула или похвала? Но где-то задело:

— Прикажи... завтра буду гарцевать со своими казаками на Скорбященской площади! Где тебе вот этот орден привинчивали...

С трудом сдерживал Борис усмешку.

— Зараз ты готов не только в Царицыне — в Таганроге гарцевать.

Стоном покатился по горнице смех.

Не заметил Борис, как Абрамов отбился; стоит у окна за фикусом, гоняет в губах папиросу, как лошадь удила. Подошел, обхватил в поясе, встряхивая.

— Не вынай душу... Ей-богу, Михаил. Похоже, чужак ты. Всем весело... Другие за честь почитают служить в моей коннице. Отбою нет желающим, сам видишь. Ты — голова! Вот так, позарез нужен мне. Привыкнешь.

Не донес Абрамов спичку до папиросы. Крутил ее — огонек куснул за пальцы. Доброта, с какой заговорили с ним, вызвала чувство откровения:

— В пехоте больше порядка.

Ни один мускул не ослаб под гладкой бледной кожей на резком лице комкора. Выжидающе застыли оттопыренные ноздри горбатого сильного носа. Не мог уже Абрамов удержать того, что в нем скопилось, созрело, но высказаться раньше не смел — изза страха ли перед этим суровым, отгороженным ото всех легендами, человеком, или из-за уважения к нему.

— В коннице никто не желает подчиняться. Все — только командовать. Там, где нет подчинения младшего старшему, нет и четкого строя. А без военного строя — не армия.

— Анархия?

— Ну нет... Есть другое слово. Партизанщина.

Сдул Борис пепел. Раздумчиво, тонкой струйкой выпускал изо рта дым. Вот о чем он молчит... Конечно, лучше выговориться, нежели носить в себе камнем. Да, ему, интеллигенту, человеку, оторванному от земли, мечтателю, трудно в таком разгуле вольницы. Она его не признает. И не признает, если не помочь... Сдавил локоть.

— Партизанщина, говоришь... Вся Красная Армия началась из партизан. Срок-то... полтора года! Не выветрилось. В кавалерии, правда, сохранилось больше. В ней все не так, как в пехоте. Степной разгул, удаль, лихость... Горячая скачка, рубка... После боя конник видит след своей шашки... Гордится своим трудом. Даже кровавым. Возьми Фому... Храбрее его в корпусе мало кого сыщешь. Знает себе цену. И спробуй согнуть ему шею. А слово его? Насчет Скорбященской площади... Не пустой звон. Прикажи, будет завтра гарцевать. А скорей — ляжет где-нибудь в бурьянах...

— Вы. А прикажу я?

Не слова — тон насторожил. Желая проникнуть в его скрытый смысл, Борис выразил удивление — лишь бы выкроить время:

— Гм, приказы подписываем вместе.

— Не будь вашей подписи... меня бы с моими приказами

они... Этот же самый Текучев да и Тучин, даже Трехсвояков... Жлобы нет, тут бы и вовсе...

— Ну, бра-ат...

— Порядок в корпусе держится на страхе. Боятся вас. Это уже не дисциплина, революционная, сознательная...

Вот что таит в себе его тон. Именно это он не договорил тогда под Древним валом.

— Ты тоже... боишься?

Абрамов туже сплел на груди руки.

— Революция освободила человека от всего, что унижает его достоинство... Принцип ее: никакого насилия над человеческой личностью.

Шевельнулось злорадное.

— По ответу — боишься.

— Хотите знать, во мне больше уважения к вам... Но суть не в том. Войска вас боготворят... Подобного примера популярности командира среди красноармейцев ни на Северном, ни на Восточном фронтах я не встречал. Разговор о тех... кто непосредственно сталкивается с вами, связан по работе. Давите вы своим именем. А известно, страх не терпят в себе люди, ненавидят его, мучительно скрывают...

Настроение упало. Потерял Борис интерес к веселью. Вышел на веранду. Терся пылавшей щекой о скользкий стояк, вглядываясь в хлюпающую дождливую темень. Весь порядок в корпусе держится на страхе... Боятся его... Кто боится? Враг... В каждом бою видит озверелые, распятые страхом лица... Шарахаются казаки от его клинка... Это придает самому силу. В каждой жилке вот, под кожей, ощущал ее в себе. На ощупь. Но что боятся его люди, близко стоящие... Это он слышит впервые. Выходит, командиры, политкомы... приказы выполняют со страха. Не по долгу, значит. Гм, глазастый... В чем доглядел их страх перед ним? Да, спрашивает, наказывает... На то дана ему власть начальника. А к чему тут «люди не терпят в себе страха, ненавидят его, «скрывают»? Похоже, держишь в руках обрывок шифровки. Смысл остался на том клочке. Надо бы дослушать...

Недомолвка задела Бориса больше, нежели все высказанное в глаза. Выплюнул окурок со злостью. Под френч заполз сырой холод. Застегиваясь, прислушивался к голосам в курене. Кто-то вышел. Встал рядом у перил. По тому, как закрывали скрипучую дверь, ступали, догадался: «Он». Не дождем явился подышать. Чувствовал, от напряжения заломило челюсти... Что скажет?

— Борис Макеевич, отпустите меня... в распоряжение штаба армии. Ну, выгоньте...

Наверно, этого ожидал — ответил сразу, не задумываясь:

— Я ценю людей знающих... Ты работу знаешь свою.

Ощупью спустился по мокрым дощатым порожкам крыльца.

5

Долго в эту ночь Борис месил грязь у хуторских плетней, канав. Охрана требовала пароль. Не спит, бодрствует. Ввалился во двор мокрый, вывоженный в грязи, но с облегченной душой. Вытирая о бурьян сапоги, доглядел через улицу огонек в штабе. Не разошлись. Там ли еще Лебедев?

Войдя в курень, послал за ним Мишку. У порога стащил с себя мокрое, переоделся в сухое. Пелагея достала старую солдатскую рубаху, шаровары. Увидал в руках ее давние свои валенки.

— Ты... чего?

— Кашляешь, глаза на лоб лезут... Синеешь весь, как пуп. Вдевай ноги. Окоченели чисто... Оттого и кашель душит.

В словах только сопротивлялся сестре, а на деле покорно выполнял все ее прихоти. Так уж с девчонок она завела в хате старого Думенко: возле печи, возле стола — полновластная хозяйка.

— Пугало огородное... Нарядила. Бриля дырявого нету там в твоих узлах? Давай. Человек зараз войдет... Понимаешь? Как я буду спрашивать в таком виде?

— Не одежка красит человека... Батина еще поговорка, забыл?

— Тут забудешь в чертях... Не только поговорку... Дела-то! Успей просушить френч да галифе. Чую, этой ночью должно решиться. Душа колотится.

Пелагея подняла глаза. Крупные, темные, как дымящие кизячки. Ламповый свет подсинил их, сровнял и корявую кожу на щеках. Девка хоть куда. Но, видно, так и состарится без мужика. Нашла бы себе, как другие вон... Живут и без венца, не боятся божьей кары. Неловко ей и подсказать. Шутейно пробовал, давно еще, в Абганерово — обиделась, слезы брызнули. Подталкивал как-то Асю — тоже без успеха.

— Ты об чем, братушка?

Борис потянулся папиросой к лампе.

— Душа, спрашиваю, об чем бьется?

— А-а, — отогнал полевой сумкой дым. — Двигаем на Царицын. Может, и завтра...

Пелагея перекрестилась на образа.

— Дай-то бог...

— Только вырваться в наши степи... Достану Деникина! Попомнишь мое слово.

Отрешенно глядела сестра на огонек в лампе; согласно кивая, высказала свое, наболевшее:

— Чи живой батя?

Редко они говорили о своих — отце, мачехе, Муське. Но Борис знал, Пелагея каждую ночь тайком просит у божьей матери заступничества перед господом за них. Он давно считал себя безбожником, но суеверное ощущение чего-то таинственного, незем-

ного, внушенного отцом, церковью еще с детства, сохранилось. Оно и удерживало от посягательства на чувство сестры: веруешь — веруй. Ася, глядя на него, тоже не молилась, но крестик не снимала с шеи.

Хлопнула чуланная дверь. Пелагея торопливо собрала со стульев мокрую одежду.

— Входи, входи, — пригласил Борис. — К огоньку давай... Бери стул.

По темным пятнам на новом светло-зеленом френче с огромными накладными карманами догадался, что улицу Лебедев перебегал без шинели. Капли блестели в волосах, на побуревшей щеке.

Лебедев обеспокоенно завозился на стуле; не найдет пристанища длинным, острым в локтях рукам. На стол пробовал уложить, на колени. Какой был хмель — выветрился. Не доводилось вот так, с глазу на глаз, встречаться с комкором. Вызвал на квартиру, да с ужина, какой сорганизовали без его согласия...

— Редко видимся мы, товарищ Лебедев...

— Так еще и не служили, Борис Макеевич... Когда видеться?

— Не-ет, работаем уже давно... С тобой, во всяком случае. Еще в Саратове по армейским тылам бегали. Тогда, окромя бумажек, ничего у нас не было. Ни одного конника. Теперь есть люди... Много. Забот прибавилось. Кормить, одевать, обувать... Вооружать. А еще лошади... Уход требуют не меньший, чем сами бойцы.

— А как же, фураж чего один стоит.

Порылся Борис в полевой сумке.

— Заботы те легли на плечи командиру и начальнику снабжения корпуса, то есть, тебе и мне... Легла и ответственность.

Нашел нужную страницу в блокноте, пододвинул лампу.

— Ты был в Шишкином хуторе?

— Где же... В Камышине торчу безвылазно. Сами знаете.

— В Шишкине формируется кавалерийский полк. Калмыцкий. Не достает двух третей обмундирования. Нету соли, табаку, сахару, седел, потников, подков... Ветеринарная служба поставлена плохо, нехватка в медикаментах... Калмыки мародерствуют: отнимают у жителей одежу, растаскивают скирды...

Откинул сердито блокнот к сумке. Выпрямляя спину, прикрыл ладонью утомленные глаза. Долго молчал.

— Знаю, не торчишь без дела в Камышине и Саратове... Нонче, — дернул за брелок золотые часы, вынутые Пелагеей из френча. — Нет, уже вчера... Я издал приказ о грабежах, бесчинствах и мародерстве красноармейцев над мирным населением. Ты должен понимать, одни приказы, какие бы они ни были, от

кого ни исходили, беды этой не приостановят. Перестраивай работу...

Мазнул Лебедев ладонью по лбу.

— Все сделаю, Борис Макеевич... Приказывайте.

Борис поморщился. Не подумал — брякнул. А самого бьет трясучка, лоб мокрый... Вспомнился Абрамов: «Прав ведь... Боятся...» К горлу подступила обида.

— Месяц назад я отдал приказ о назначении твоем на должность начснакора... Мало? У нас большой снабженческий аппарат. Дай им ума, ладу, организуй работу. Закупки, заготовка... Налаживай транспорт. Тебе дано не только право начальника, но и деньги...

Тарабанил нервно по крышке портсигара. Раскрыл со звоном; угощая, вспомнил:

— Да, спасибо за передачу. Папиросы вот... Как она там? Видал? Допытывалась, скоро ли отменят приказ?

Заговорил Лебедев неспроста о том приказе: в Камышине и его жена. Хотел ему сказать: видишься, мол, часто со своей. А тут спробуй отлучись на сутки, двое. Вернулся к ранее прерванному разговору:

— Снабжение корпуса не налажено. Движения, можно сказать, еще не было. Стоим. А тронемся? За бригадами тебе со своими тылами не угнаться. Что будешь делать?

Шевельнулся кадык на жилистой шее начснакора.

— Борис Макеевич...

Выставил ладонь: заверений не требую, дело давай.

Резко распахнулась дверь. Блехерт. В руках синий телеграфный бланк.

— Шифровка...

— Когда?

— Сегодня, 10 октября.

Не читая, прикрыл тяжелой ладонью мятую бумажку. Сказал на прощание Лебедеву:

— Выводов покуда не делаю. Будешь наверстывать... на походе. Не получится — расстанемся. Не далее как в Царицыне.

Из валенок переобулся в сапоги. Накручивая портянки, выслушал короткий текст приказа. Глядел на Блехерта в недоумении.

— Как так? Задача ставится только нашему корпусу и левофланговым дивизиям. А что там, на Медведице, у 32-й?

— Марк Колпаков сейчас связался с 39-й... Вразумительного ничего не добился. Провода якобы у них с 32-й оборваны. Но слышат густую пушечную пальбу на Дону. Будто выше от Усть-Медведицкой, к Хопру...

— Выходит, 9-я опередила нас... Перешла в наступление. Так почему Клюев об том ни звука?

Штырек пряжки не давался пальцам. Не подпоясавшись, вырвал из рук Блехерта синий бланк, пробежал взглядом.

— А не напутал ли шифровальщик?

— Слово в слово.

— Тут даже не по овладению Царицына... Подступов! Вертячий, Котлубань... Идиотский приказ! Чернышев там все, наштарма, темноту напускает. Я что им?! Я должен знать не только, что делается у меня под носом... Спецы называются... Сволочи!

Крутнулся на каблуках. Застегнул ремень; поправляя оружие, сдержаннее выразил возмущение:

— Не с 39-й нужно было связываться... с Камышином. Черт знает что!

У двери, собравшись выходить, вдруг обернулся:

— Не пьяный?

Блехерт заметно выпрямился.

— Ровно столько, товарищ комкор... что могу выполнить любое задание.

Недоверчивая усмешка у комкора вышла блеклой, вымученной.

В штабе ждала иная весть. В наступление перешла, оказывается, не 9-я, а Донская армия генерала Сидорина.

Померкло праздничное чувство у Бориса, с каким жил последние дни.

Глава восьмая

1

Юго-Восточный фронт не выполнил замысла главкома. 9-я армия не сумела закрепить свой недавний августовский успех: не перегруппировалась, не подтянула тылы, не обеспечила переправы. Сорвала все Донская армия. Подбодренные победоносным шествием деникинцев к Москве в районе Орла и Брянска, белые казаки кинулись на Хопер.

Вместо предполагаемого наступления 9-я армия и правое крыло 10-й вынуждены обороняться. Командование фронтом от неожиданности растерялось: ни резервов, чем бы приостановить казачьи корпуса, ни ясного представления о силе противника.

Комфронта Шорин приказал Клюеву левой группой войск ударить по Кавказской армии Врангеля на линии хуторов Вертячий — Котлубань — Акатовка. 38-я, 37-я и 28-я стрелковые дивизии и Конно-Сводный корпус Думенко с рассветом 11 октября должны перейти в наступление и овладеть Царицыном. Главный удар наносит конкорпус на Карповку, Басаргино. 39-я из района станции Лог нацелилась на 1-й Донской корпус белых, теснивший вдоль левого берега Дона части 32-й дивизии.

32-я, обливаясь кровью, не сдерживала натиск. Стык между армиями — что больше всего страшило комфронта — лопнул. Конница генерала Голубинцева выходила в тылы 10-й...

К утру кое-как разъяснилась обстановка. К свету добились связи по прямому проводу со штабом армии. Трубку взял сонный Чернышев. Борис напустился на ночную шифровку, обозвав ее «поповой грамотой». Наштарма обиделся, но все же информацию (что делается у соседей) дал подробную. Клюева на месте не оказалось: выехал по вызову Шорина в Саратов. Подошел к аппарату член Реввоенсовета Михайлов, сообщил, что в корпус отбыла группа для обследования состояния частей.

Борис вспылил:

— На кой черт мне тут всякие обследователи! Вы присылайте работников. У меня некому работать! А соглядатаев и своих предостаточно.

— Политотдел у вас укомплектован по штату. Начальник политотдела корпуса должен уже быть на месте. Военком подъедет... В Саратове он. Ананьин прибыл?

— Да. Тут рядом...

— С опытом товарищ...

— Не разглядел еще.

Борис мрачно окидывал притихших штабистов. Задержал взгляд на человеке в кожаной тужурке, примостившемся на длинной лавке у окна. Свет от лампы доставал слабо до его лица; оно казалось безбровым, безгубым. Уши торчат на фоне оконного стекла, уже окрашенного блеклым рассветным заревом. Начальник политотдела корпуса Ананьин. Часа не прошло, как спрыгнул он с дрезины на переезде. Качалов, как всегда, что-то старательно выписывает из мятой бумажки в блокнотик. У другого окна виднеется богатая шевелюра Абрамова. Скрестив руки, понурился. Жалость шевельнулась к нему: не успокоил вечером, вживается ведь с трудом... Блехерт вот, под локтем. Успел уже побрить щеки, нафабрить усы; френч на нем влит, без морщин, будто из-под утюга. Не видать что-то Лебедева... Звал. За спиной, у двери, разместился на скрыне Фома со своим начштабом и политкомом. Штаб его вчера перебрался из Шишкина сюда, в Собачий. Тащился с обозами днем, на виду. И только сейчас выяснилось из донесения Дронова, что обозы были обстреляны аэропланами. Вечером, на гулянке, не знал о том...

— С приказом, значит, знакомы все...

Показал синий бланк.

— Поповой грамотой? — подал голос Фома, явно принявший услышанное за чистую монету.

Не повернул Борис головы. Взглядом осадил оскалившегося Марка — поддерживал вчерашний остаток веселья в комбриге.

Даже в спине комкора Фома почувствовал неладное. Вскочил, поправляя оружие.

— Товарищ Думенко, дозвольте сделать распоряжение...

— Это сделает начальник штаба.

Дронов, переняв обеспокоенный взгляд комбрига, на цыпочках исчез за дверью.

Красная от лампового света рука комкора легла на карту, голос зазвучал сурово:

— Внушите войскам... задача, возложенная на них, серьезная, удар должен быть коротким и сокрушительным. А цель действия... достигнута.

Кое-кто задвигался, считая совещание оконченным, но Борис поднял руку:

— Товарищ Качалов, огласите приказ 22.

Огонь в лампе оседал. Марк пробовал оживить фитилек. Качалов перебрался к окну; читая, близко держал лист у глаз.

В своем прежнем приказе комкор отдавал распоряжение, чтобы командиры бригад во время смены стрелковых частей на позиции соблюли все меры предосторожности; передвижение должно совершаться скрытно, с наступлением темноты. Несмотря на такое приказание, командир 2-й Горской бригады Текучев вел свои части днем; обозы его были обстреляны аэропланами противника. Так как неисполнение приказа начальника вообще, а в особенности в то время, когда Рабоче-Крестьянская Армия борется с исконным своим врагом — угнетателями рабочих и крестьян, считает недопустимым, и потому на первое время ограничивается объявлением в приказе по корпусу Текучеву строжайшего выговора. На будущее время будет принимать более строгие меры.

Фома Текучев облегченно выдохнул: слава, господи, разъяснилось. Первый ухватился за дверную ручку.

К столу протолкался Ананьин.

— Товарищ Думенко, как быть мне?

— Что, как быть? Вот начальник штаба... Оформляйтесь, знакомьтесь с работниками политотдела и... засучивайте рукава.

— Но... я хотел лично с вами... Хотя бы полдня. Разговору много. Наметить план политработы... организационные вопросы... Да мало ли что?

Сужались у комкора глаза: не понять — чего в них больше, насмешки или укора?

— Для разговоров, товарищ Ананьин, вам определен штатным расписанием целый аппарат. У меня — для боя! — три-четыре человека всего! Вот они. Условимся сразу... За разговорами своими не забывайте, что есть фронт.

Щелкнул пуговицами полевой сумки. Закидывая ремешок через голову, будто оправдывался:

— Сию минуту я отбываю в Партизанскую бригаду. Острая нужда будет — ищите меня там...

Тесно повалили за ним из комнаты.

2

Ананьин стоял у окна. Скреб колючим подбородком кожу ворота; видал сквозь заплаканное стекло, как бешено вырвалась со двора тачанка. В задке, облокотившись на пулемет, — двое. Папиросным огоньком за плетнем вспыхнул след чьей-то папахи.

Потерянно вышагивал меж разбросанных стульев и табуреток. Пригасил чадивший косячок в лампе. Такое ощущение, будто двинули по скуле; обиднее всего, что не только дать сдачу, подумать не мог об этом...

Вернулся Качалов. Оттирая красные уши, очищал ногами от стульев подступы к столу.

— Укатил... Холод собачий на дворе. Ветер восточный. Вы раздевайтесь, у нас тепло. Завтракать будем.

Сгреб развернутые карты на край стола. Копался в буфете, весело подмигивал:

— Пока кухня наша чадит, перехватим...

Подменили начальника штаба? Бессловесный, сонный сидел, двигал руками по указке комкора. Поди ты, ожил, улыбается. Ананьин кинул тужурку на сундук. Усаживался со злорадным чувством — не всем сладко, оказывается, тут.

Стол получился на славу. Холодная баранина, соленые огурцы в глиняной миске. Хлеб резал хозяин большими ломтями. Из-за сундука достал бутылку, встряхнул:

— Есть по глотку. С дороги... ух, пройдет.

Ананьин неуверенно пожал плечами, но не отказался. Опрокинул поспешно, посуду отставил от себя подальше. Очищая веками заслезившиеся глаза, с опаской косился на дверь. Расспросы повел издали: черт его знает, они перед ним в траву стелятся.

— Вот так и живете?

— Как?

— В пехоте вроде спокойнее...

— Имеете в виду разговор ваш? Считайте, вам повезло.

— Не понимаю...

— Он не подхватил вас с собой. Это значит, вы располагаете двумя-тремя сутками... Освоитесь, обживетесь со своими молодцами. Работу он спросит потом.

Отнял Ананьин ото рта кусок.

— Политотделы не подотчетны командирам. Существует писаное положение...

На одутловатом лице Качалова отразилось явное сожаление: не знаете, мол, Думенко.

Весь день пребывал начпокор в заботах. Человек восемь работников политотдела, съехавшиеся из разных мест и в разное время, жизнь при тыловом штабе корпуса вели нешибкую, заспанную. Где-то бушевала, по слухам, гроза, когда налетал с а м. Но она касалась только хозяйственников — снабженцев, загото-

вителей, санитаров, шорников, сапожников, коновалов... Сапог комкора не переступал порог, где обосновались политотдельцы. В бригадах еще никто из них не побывал; связь с политкомами частей не налажена. Литература, плакаты свалены в сенцах, даже не распакованы. Иные ходят с газетой по хатам, где живут новобранцы да казаки из пленных, согласившиеся воевать у Думенко.

Со всеми довелось поговорить. Безынициативные, ждут толчка. Заметное впечатление вынес от своего помощника. Разбитной, глазастый: прибыл недавно, а успел доглядеть многое и о многом составить собственное мнение. Сперва заинтриговала фамилия: Кондэ. А имя-отчество — Георгий Васильевич; по бумагам русский, уроженец Новгородской губернии. На мальчишеском лице как-то странно видеть жесткие, будто оловянные пуговицы, глаза. Слушая его не по годам степенную, рассудительную речь, думал, что лучшего помощника ему не надо.

— Людской состав корпуса состоит исключительно из казаков. Добровольцы Дона, Кубани и Ставрополья. В боевом отношении лучшего желать нельзя! Но политически подкованы плохо. Только-только стали возникать партячейки в бригадах.

— Как бойцы относятся к коммунистам? — перебил Ананьин.

— Я бы сказал... неприязненно.

— Почему?

— Невежество, недопонимание... Советскую власть считают своей, кровной. За нее, собственно, и воюют. Она дает им землю. Знают, не вернет и богатеев. Коммунисты — это что-то другое для них. Непонятные, мол, люди: земли им не надо, да и домашнего хозяйства тоже никакого...

Ананьин усмешливо покачал головой.

— Говорите это мне с такой тревогой на лице... Словно и сами разделяете их заблуждения.

Сплетал Кондэ пальцами жилистые длинные ладони в один кулак, глядел исподлобья.

— Напрасно смеетесь. Это гораздо серьезнее, чем вы думаете. «Неприязненно», пожалуй, не точно. Смягчил я. Враждебно. Вчера я подъехал в телеге с одним казаком. Завел разговор он о Миронове. Осуждает нас. Не признает его ареста. Воевал, мол, он за людей с мозолями, за Советскую власть... Коммунисты-де без креста за пазухой и с голой душой — ни себе, ни народу.

— Товарищ Кондэ... — начпокор подался костлявым телом. — Ваш возница — лазутчик, переодетый офицер! Нужно бы не распускать уши, а без суда и следствия... На месте.

— Нет, Павел Андреевич... Казак тот не лазутчик и не переодетый офицер. Сосед наш, за хозяйским плетнем хата его. Нищета. Семь, не то восемь босоногих, да и сам с пустым рукавом... Под Царицыном весной еще руку оставил. У нас воевал. Про-

паганда, ясно, вражеская. Но она находит благодатную почву в казачьей массе...

— К стенке таких!

— К сожалению, он выразитель настроения многих... А если учесть, весь корпус из этой казачьей бедноты? Но беда усугубляется и другим...— Кондэ развел руки.— Здесь политкомам приходится сталкиваться не только с непониманием красноармейцев, но с определенным враждебным настроением и комсостава. Это страшно отражается на политической работе. Бойцы, видя такое отношение командиров к политработникам, начинают смотреть на коммунистическую партию тоже враждебно.

— Конкретно кого-то имеете в виду?

— Пока нет...

— А как, по-вашему, сам Думенко?

Сходились у новгородца разлатые брови над глубокой переносицей.

— Я лично в глаза его еще не видел. Сталкивались другие... Человек в высшей степени нервный, самолюбивый... Ну, храбрости известной... А вот молодчики, какие окружают его, доверия явно не внушают. Офицерье. Не установлено еще, на чью руку работают. Вчера такую пьянку закатили, на весь хутор. Хромой там есть... Говорят, корниловец. Да возьмите начальника штаба Качалова... Капитан царской армии. Личность бесцветная, серая! За что держит его под крылышком Думенко? Попробуйте что-нибудь с ним решить... По любой мелочи к комкору отсылает.

Многие из сослуживцев-комиссаров завидовали Ананьину. Едет к самому Думенко! Всякие слухи о неуравновешенности, грубости конника блекли перед боевыми успехами его конницы. С этим именем у всех почти военных на юге было связано одно: где Думенко, там и победа. Грешен, ехал и он под таким хмельком. Отрезвляющим порывом ветра явилась нынешняя встеча с самим. Новгородец Кондэ и вовсе подкинул хворосту... Не о победах тут уж речь... Где взять силу, чтобы противодействовать, если еще не заговору, то контрреволюционным настроениям самой головки корпуса? После долгого молчания спросил:

— Что скажете о своих товарищах?

— Поработаем — увидим.

Ананьина ответ задел: мнения о себе он немалого. Виду не подал. Перелистал свои наброски по организации отдела, поделился:

— Вам, как моему помощнику, поручается корпусная газета. Человек вы грамотный, думающий. Шрифты, наборщика, печатную машину и бумагу... все это нужно еще искать.

— Думаю, мне больше подойдет инспекция.

Парень, оказывается, самоуверен до наглости. Стерпел, не одернул.

Поздней ночью закончился у Ананьина первый рабочий день. Завершал его в хуторском Совете — приглашал политком 2-й Горской бригады на спектакль. Пьеса балаганная, ничего не давала бойцам поучительного, революционного — зубоскальство одно. Зато сам политком Пискарев пришелся по сердцу. Годами не старше Кондэ; общее есть у них и в характере—напористость, категоричность в суждениях. Побывал уже в боях; заметна и политработа: организовал ячейки кое-где в эскадронах, командах, ведутся групбеседы, собрания,— какая ни на есть труппа, собранная из бойцов хозяйственной и санитарной частей.

— Пьес нет подходящих, — пожаловался он еще до начала представления. — Какие раскопаем в домах попов да учителей, те и ставим.

...Возвращались вместе. Квартира Пискарева на другом краю хутора, но он вызвался проводить Ананьина. От разговора о политработе в бригаде перешли к комсоставу. Как и Кондэ, этот тоже успел разглядеть многих не только в своей бригаде, но и в корпусе. Сталкивался лицом к лицу и с комкором.

— Вы сами нынче присутствовали... Строгий выговор схватил наш комбриг Текучев. Думаете, обиделся он? Матерился на улице для отвода глаз. Души в Думенке не чает. Кстати, храбрее и свирепее Текучева я в своей жизни не видал. Но он... контрреволюционер. Искренне ненавидит комиссаров, коммунистов.

— Так и заявляет вслух?

— Гм... Как-нибудь Текучева и Дронова я изучил: под одной крышей живем. Не наши они, опасны для революции. Такой же и Думенко. Попробуй попади ему на глаза... Одна шайка-лейка. Пьянствуют, поощряют грабежи, мародерство...

— Самому Думенко, слыхал, пить нельзя.

— Ерунда. Отбыл нынче в Партизанскую бригаду... Там его собутыльник, Голозубов. Военком бригады. Как-то нализались они с ним... Отдает ему все приказы на скрепу. Вы, товарищ Ананьин, приглядитесь к Голозубову: липнет он недаром к шайке той...

...Ворочаясь на жестком тюфяке, Ананьин с удовлетворением отметил, что день прошел не совсем зря. Политотдел в корпусе официально создан — распределены работники по подотделам. Выявил в общих чертах обстановку — она далеко не благополучная. Где корень зла, можно сказать, знает. Предстоит еще работка. Исчезло тревожное чувство одиночества, беспомощности, какое охватило его в штабе после встречи с Думенко; есть в корпусе силы, на которые можно положиться. Оказался бы военком Хруцкий еще с твердой рукой...

3

Трое суток Думенко рвался к Царицыну. Первый день провел в 3-й бригаде у Трехсвоякова (Партизанскую и Горскую дер-

жал под рукой, намереваясь с ними влететь через Гумрак, Городище в город). Сразу, как развиднелось, Фома пожаловался на бронепоезда, паливщие из Котлубани; просил подкинуть огоньку. Заслонил его бронеавтомашинами. К вечеру донцы вырубили кубанских пластунов под хутором Песковатским. И тут же, у балки Парфеновки, натолкнулись на скопища конницы — передовую дивизию 4-го корпуса генерала Топоркова. Сам повел дрогнувшую было бригаду. Навалился с фланга, поджимая к Вертячему — под удар 1-й Партизанской. Мокрая, черная, как деготь, ночь спасла остатки кубанцев...

Захватив Рассошинскую, все бригады корпуса вышли к заветному рубежу: Гумрак — Разгуляевка — Воропоново. Пересев со взмыленного Бурана на Кочубея, Борис выскочил на западные высоты у речки Карповки; дотемна окидывал в бинокль густо дымящиеся трубы французского оружейного завода. Запекшимися губами ловил волжский ветерок. Глубоко холодила тревога: знал, все прошлогодние окопы, рвы теперь забиты синеверхими кубанками. За ними — сплошняком пушки, бронепоезда. А где-то неподалеку, сбоку, глухой стенкой затаились кубанские конные корпуса генералов Покровского, Топоркова, Улагая. Давние всё знакомцы. Последний раз встречались в мае на Салу, у хутора Плетнева. Вышибли тогда из седла. Встал вот, как видите...

Вернулся в хутор Кузнецов, в полевой штаб, в сумерках. У него гость: Шевкопляс. Ужин прошел молчком. Григорий заметно скис; склонял соседа, Блехерта, на повторный — наполнить стаканы. Тот, зная нрав комкора, не рисковал.

Разговор меж ними завязался, когда все вышли.

— Навоевался я... Сдаю дивизию, — сообщил Шевкопляс.— Какому-то Дыбенко. Чуть не однофамильцу твоему. Из балтийских моряков...

— Знаю.

— Тебе ли не знать... Берешь даже к себе в корпус. Из жалости...

Борис недовольно поморщился.

— Затем и заехал?

Унимал Григорий дрожь частыми затяжками.

— Царицын вот возьму обратно... А то, ей-богу, совестно: оставлял-то я. По этим буграм сам бежал... Ух, как вспомню!.. Семен крепко тогда выручал. Исписали бы нас кубанские шашки.

Перегнувшись, положил доверительно руку Борису на колено.

— Сознайся, дюже жалкуешь по 4-й, а?

— Погляжу, как ты будешь жалковать по своей...

Ударил лежачего. Покуда придумывал, чем бы смягчить, Григорий опередил:

— Ты извиняй, Бориска... Не я — желчь во мне говорит. — Оглядел опустевшую горенку. — Ни строевая, ни партийная ра-

бота не сложились... Виноватого не шукаю. Сам того стою. Сознаюсь, завидую тебе... Дюже завидую. Высоко подняла тебя слава. Но, думка, чем чужим — нехай своему... Хотел и я ее, славу. Рвался ухватить. И возомнил было, когда нацепили и мне тоже орден... Тут же вслед за тобой... Ан нет! Славой, почетом не оделяют навроде орденами. Не выдаются они ничьими распоряжениями. Подвластны только людским массам. Люди их воздают достойному и сберегают сами...

Попробовал Борис отшутиться:

— Не поп я... Чего каешься?

Давно укатил Шевкопляс, а слова его теребили душу. Дивизию свою не только помнит — во сне видит. Ох, как бы она завтра пригодилась!

Вестовые и штабисты за стенкой, слышно, угомонились. Надо бы прилечь и самому. Стащил сапоги, потянулся задуть лампу. Вспомнил: зарей в Камышин отъезжает Дороня Носов. Дня три не писал! Пошвырялся — листка чистого нет. Хотел стучать в перегородку Абрамову. Может, спит? Заглянул — так и есть. Одетый, оружие под подушкой. Раздобыл бумагу в раздутой полевой сумке. Вышел на цыпочках. Живо писал:

«Здравствуй, дорогая Ася!

Шлю тебе мое наилучшее пожелание в жизни твоей. Ася, я жив, здоров, дела покудова хороши, скучно очень без тебя, такая скука, что и не знаю. Ася, смотри береги себя и все, что у тебя есть, т. е. ребенка. Милая Ася! Все же тебя скоро возьму, жить очень одному скверно, хотя и приказ. Но у меня здоровье очень скверное, ты мне только для нашей жизни и нужна, а больше мне ничего не нужно, окромя тебя. Ася, ты береги муку, потому что здесь нету, все кончено, почти голодовка, но у меня покудова кой-что есть. Обо мне не беспокойся, очень скучаю за тобою, до безумия. Дела очень скверные насчет Царицына. 3 раза понес неудачу, хотя и много кадетов вырубил, даже и прислугу на танках вырубил, но все без толку. Ася, как скучно и грустно живем вдвоем с товарищем Абрамовым. Ася, придется тебе жить одной, покудова возьму Царицын.

Спешу писать и выезжаю на фронт.

Жду от тебя письмишка.

Целую тебя крепко, крепко. Твой Борис».

Свернул. Размашисто двинул карандашом: «Анастасии Думенко». Тесовый покосившийся дом вдруг проснулся. Загудел, заскрипел от топота, хлопанья дверей. В горницу ввалились Трехсвояков, Тучин, Абрамов с Блехертом и Марк Колпаков. Предчувствуя неладное, напустился на комбригов:

— Вас-то кой черт носит по хутору? Через час побудка.

Трехсвояков виновато развел руками:

— Храпел я уж... Из Вертячего гонец с донесением...

Копаясь в подкладке ватной поддевки, Марк подступил к столу.

— А Тучина я поднял... На заставу его напоролся. Пароль не знал. Приказ вот...

Разворачивал Борис бумагу с опаской. По вытянувшимся, построжавшим лицам командиров догадался: знают содержимое. Что может быть? Самое страшное из штарма для него сейчас — повернуть коней от Царицына. Предчувствие не обмануло: первые же несколько слов именно об этом. С хрустом, как лист капусты, сжал в кулаке плотный лист бумаги. Веки набрякли от прилива крови, голос осел, едва слышно:

— Сволочи... сидят там за пятьсот верст и командуют... Повернуть бы не на Медведицу — на Саратов!..

Остывая, ник, как незрелый колос под обжигающим закаспийским ветром.

Сперва подсел к нему Блехерт, развернул карту; потом — Абрамов. Борис недовольно повел взглядом к порогу.

— Особого приглашения ждете?

Подождал, покуда все не уселись, кивнул Абрамову: говори.

— Приказ, товарищ Думенко, к вашему сожалению, выполнять надо... Чем ни быстрее приступим, тем лучше. Все обстоятельства за то. Даже взятие Царицына уже не переломит ход событий. На Южном фронте катастрофа... 14-я, 13-я и 8-я армии потеряли всякую боеспособность. Нынче пал Орел. Генерал Кутепов ускоренно движется к Туле. Не краше положение под Воронежем. Трещит и наш фронт, Юго-Восточный. 9-я докатилась до Новохоперска, оборонительные бои ведет по Хопру.

«Орел, Тула... Это конец? Как же?.. Ведь у Егорова... Три армии! Перебросили туда и конный корпус. Рубаки, каких не знал свет! Что там Семен?..» — силой раздирал Борис бумажный комочек — приказ. Отрываясь от дурных думок, вчитывался в прыгающие строчки.

— Самое страшное для нас сию минуту на Медведице. Вот, в стыке, — Абрамов ткнул карандашом в десятиверстку. — Донская армия с часу на час хлынет в разрыв между 32-й и 22-й дивизиями.

Борис навалился локтями на стол, сдавил ладонями уши: слушать пока никого не желает. Видит сине-красный клубочек стрелок, намотанный на черную змейку, — Хопер. Фронт 9-й. Пониже, юго-восточнее, в желтом пятачке — между Доном, Медведицей и речкой Арчедой — сейчас обливается кровью 32-я... Знает, дивизия слабая, а кавбригада при ней — одно название: есть ли с полтыщи сабель? Хлынут казачьи полки Сутулова, Голубинцева, Коновалова, Быкадорова в коридор, междуречье Хопра и Медведицы, хана будет не только 9-й... Выйдут они в тылы и им, 10-й. Уж тогда и кубанцы отыграются, особенно Топорков — за вырубленную вчера дивизию у Песковатки. А Улагай с Покров-

ским припомнят ему, Думенко, весну... Воронье! Ставил бы Деникин в Таганроге завтра свечки...

Борис еще взглянул в приказ. Корпусу предписывалось в два перехода к вечеру 15 октября сосредоточиться в районе хуторов Шляховский — Летовский — Головской, откуда с рассветом 16 октября разбить противника, теснившего 32-ю дивизию. Один кавполк бригады Текучева безотлагательно передать в распоряжение начдива-37.

— Гм, «безотлагательно». Любит начальство разбазаривать силу. Узнали бы, как ее собирать тут приходится...

Обратился к Трехсвоякову:

— Так что за донесение из Вертячего?

— Теперь уж и не знаю... На заходе солнца мои дозорные обнаружили движение крупных масс конницы за Доном. Из станицы Голубинской на хутор Лучинской.

Блехерт и Абрамов вслед за комкором ткнулись в карту.

— Кубанцы? Донцы? — спросил Борис.

— По одежде вроде кубанцы...

— А точно?

— Не могу сказать. И гонец ускакал. Лошадь ему сменили. Телефона нету, позвонить бы... Велел Харютину вывести полк на линию...

— Много слов, Трехсвояков!

Мягко, деликатно вмешался Абрамов:

— При сложившейся обстановке это дела не меняет. Я полагаю, кубанцы. Деникин, наверное, уж знает о положении нашей 32-й дивизии. И Врангеля подкрутит, чтобы тот всеми силами удерживал корпус Думенко у стен Царицына. На трое суток удастся — достаточно вполне. Судьба Юго-Восточного фронта решается сейчас здесь, в стыке.

Борис глянул на Блехерта: как, мол, ты думаешь?

— Барон Врангель может рискнуть... Кинет в прорыв, нам в тыл, один из конных корпусов, — Блехерт поддержал Абрамова. — Того же самого генерала Топоркова. Главные силы, без вчерашней дивизии. Вполне это они могут передвигаться за Доном из Голубинской...

Отлегло у Трехсвоякова: гроза прошла. Черт его знал, что потребуется, кто они, кубанцы или донцы? Оказывается, важно. Вишь, разговору! Спасибо Блехерту: напомнил о вчерашней дивизии... Его лихачи постарались.

Пока комбриги выкурили по цигарке, Абрамов изрисовал чернильным карандашом карту — пути перехода корпуса; на выручку 32-й дивизии направлялась Горская бригада. Марк Колпаков тут же написал под диктовку приказ.

— Шевкоплясу оставить лучший полк, — распорядился комкор. — Не новобранцев.

После ухода командиров, собираясь гасить лампу, Абрамов все же высказал сомнение:

— Борис Макеевич, а по силам ли Горской справиться с задачей? Чует мое сердце, там, на Медведице, у 32-й сейчас дела...

— Я лично поведу горцев.

Конно-Сводный корпус Думенко, с кровопролитными боями пробившийся на последний рубеж, вместо броска на Царицын, круто развернул напружиненные бригады и под покровом осенней ночи вышел на северо-запад за сотню верст, в район нижней Медведицы.

4

Военком Дьяченко, скрипя седлом, то и дело оборачивался назад, окидывал синевший под полуденным солнцем бугор. Пустынно, ни души. В сердце прокрадывается холодок: ну как не поспеют? С утра, считай, комиссар не зачехляет бинокль; не сводит его с песчаной излучины Дона, обросшей пожелтевшим уже ивняком. Оттуда с часу на час должна вывернуться казачья конница. На рассвете дозор натолкнулся в восьми-десяти верстах вверх по Дону на переправлявшуюся на левый берег конницу противника. Один из смельчаков, наскоро пристегнув урядницкие погоны, повертелся у самого парома, выглядел, выслушал: казаки из дивизии полковника Голубинцева. На глазок — тысячи две сабель. Пушек не перетаскивали, заметил пулеметы в бричках. Ведет сам Голубинцев.

Связались по телефону с Арчедой — полевым штабом армии. Командование обеспокоилось не на шутку. Белые вгоняют клин в самый стык с соседней армией, 9-й. Не вышибить его — беды не оберешься. Начальник полевого штаба армии Чернышев без подсказок на то пообещал срочно направить им в помощь одну из бригад корпуса Думенко. Помощь ей кстати, иначе гиблое дело. На две тысячи — четыре сотни с небольшим своих сабель... Вот они, за спиной, тоже извертелись в седлах, изнурились от ожидания; знают и о казаках Голубинцева, и о поспешающей к ним коннице Думенко. Вопрос, кто опередит? Под ложечкой стынет у комиссара при мысли, опоздай помощь даже на полчаса. По всем подсчетам, конники Думенко вот-вот должны показаться на том бугре.

Изредка военком поглядывал на хуторок, кособоко лепившийся к глинистому увалу; камышовые и жестяные крыши со скворешниками на длинных шестах уходили к самому Дону. На том краю, сразу от огородов, извиваются окопы; тянутся они жидкой цепочкой по полынному выгону, пропадая за изгибом реки. Своя пехота. Не ждал от нее помощи, сама бы выстояла; к тому же и защитить ее надо с тылу. Полковник Голубинцев уж наверняка выведал силу их кавбригады; сметет одним

заходом, а с пехотинцами потом разделаться ему будет пару пустяков...

— Товарищ военком... казаки! — с придыханием воскликнул ординарец.

Дьяченко крутнулся в седле, не отрывая от глаз бинокля.

— Не туда! Во-она, по бугру...

Поймав черную ленту конной походной колонны, переваливающей синий бугор, военком обессиленно опустил руки. Камень свалился с души. Выговаривал ординарцу, безусому белявому пареньку в кубанке и ватнике, накрест перетянутому ремнями, едва справляясь с ликованием в голосе:

— Какие же тебе, Петро, казаки... Думенко вовсе то! Казаки вон откуда должны... А это Думенко. На помощь нам идет.

— Так уж сам и Думенко?!

— Ну не сам... Кто-нибудь из комбригов. А ты чего уши развесил? Живо к начдиву!

Вскоре на пригорок вскочил всадник на великолепном высоком темно-гнедом коне. Не представился бы, все равно догадался. Не довелось раньше видеть Думенко. На вид лет тридцать знаменитому комкору, не больше; плечистый, крупное красивое лицо, слегка бледное, взгляд быстрый, серьезный. В седле сидит покойно, как будто в кресле. Невольно покосился на его правую руку; правда, висит безучастно, плетью: наслышан о его тяжелом ранении. Легенды ходят об этом человеке: рубит левой, а в правой руке наган. Если так, то с ранением ему еще подвезло...

Выслушивая доклад военкома, Думенко неторопливо расчехлял бинокль. Окидывал долго дальние заросли ивняка, песчаные барханы, испятнанные бурьяном и кустарником. Не оборачиваясь, заговорил хрипловатым голосом:

— Прошлой осенью еще сходились с Голубинцевым под Царицыном. Расчетливый казак. И смелый. Бывший командующий Денисов придерживал его в полковниках, а этот, Сидорин, представил на генерала. Поглядим, на что гож новоиспеченный казачий генерал...

Конница Думенко копилась в окраинных садах, не вытыкалась на видное. Дьяченко про себя отметил, что ни комкор, ни сопровождающие его на то распоряжений не отдавали. Дело обычное, казалось бы, маскировка, но комиссара удивила та согласованность, взаимное понимание комкора с комсоставом и конниками. Ни окриков, ни суеты, ни вообще слов. Всяк знает свое место, и в то же время чувствуется, что нити все в руках одного; командиры и ординарцы, а их десятка полтора, пылко следят за каждым движением комкора, готовы выполнить первое же его слово. Сам Думенко и не оглядывается, но наверняка видит, что делается у него за спиной; по каким-то признакам, известным только ему, он определяет, что вмешиваться пока нет нужды.

— А что с комбригом, комиссар? — спросил Думенко, доставая из кармана френча пачку асмоловских папирос.— Ранен?

— Тиф свалил. Вчера в лазарет отправили.

С 32-й стрелковой Борис знаком с весны. В апреле, на Маныче, она была сформирована, так же как и 6-я кавдивизия, из отступивших ставропольских повстанческих отрядов. В числе других пехотных дивизий, 37-й и 38-й, входила к нему в подчинение — левофланговую армейскую группу войск; помнит, стойко держалась в жестоких боях на Салу в мае месяце. Кавбригада при ней — войсковая конница — создавалась летом, покуда он валялся в лазарете, потому не знает ни командный состав, ни эскадроны. На взгляд, кони в хозяйских руках — в теле, хвосты и гривы подрезаны аккуратно, не безобразят вида, под присмотром копыта, лоснящиеся крупы говорят о том, что им ведом и скребок. А бойцы как бойцы, безусые и бородатые, одеты пестро, больше в трофейное, английское да казачье, точь-в-точь как и у него в корпусе. Только слишком уж маломощная бригада, меньше любого из его полков.

К военкомбригу Борис почувствовал расположение. Понимает комиссар, что ожидало их, не явись они вовремя, и не скрывает того. Удачно выбрал место. Сотням Голубинцева, прежде чем достичь хутора, не миновать эту песчаную низину, в барханах, заметах, неудобную для атаки. Версты две с половиной-три. При добром галопе взмокреет любая лошадь, не наберет нужного разгона. Десяток «максимов» в тачанках, выставленных на флангах, вполне достаточно для первой встречи. Не пренебрегал комиссар и клинком: готовился выдернуть из ножен в любой момент.

— Давно воюешь, комиссар?

— Недавно, товарищ Думенко, с июля.

— Срок немалый.

— Как воевать...

Разговор оборвался. На гребне бархана замаячили всадники. Человек шесть. Скачут наметом.

— Дозорные мои, — подсказал военком, переняв взгляд комкора. — Значит, жалуют и казаки. Разрешите, отдам команду пулеметным взводным?

— Пулеметчики пускай покуда помолчат. Подбодрим Голубинцева. Не проведал о нашем походе, он смело пойдет в атаку. Клинок твой не заржавел, комиссар?

Усмешка скупая у комкора и, кажись, безобидная. Помощники его, на полкрупа подступившие к коню-великану, заулыбались, обмениваясь взглядами. Не успел военком ответить на шутку. Справа от ивняка, куда пялился с раннего утра, зачернела желтая песчаная коса. Вот он, свежий казачий генерал! Разворачивается для атаки. Конечно, Голубинцев и духом не чует о бригаде из грозного корпуса. По выражению лица комкора

не трудно догадаться, что он доволен складывающейся обстановкой...

Казачья лава накатывалась со свистом, гиканьем. Передние всадники, взбивая за собой тучи песка, достигали уже ближних барханов. За эти несколько неимоверно напряженных минут Думенко не уронил ни слова; лицо ему будто выжали: и без того бледное, оно стало без кровинки, губы пропали совсем. Выждав момент, он короткой фразой привел в движение более полутора тысяч конников. Клинок вынимал правой, раненой рукой неловко, замедленно; левой подхватил его, стремительно опустил, едва не коснувшись напружиненного конского бедра. Так и не дождался военком для себя каких-то особых указаний, перенял подбадривающий кивок: с богом, мол, комиссар...

Белые доскакали до хутора и только тогда увидали еще одну колонну конницы. На всем скаку генерал Голубинцев осадил мышастого кабардинца. По донесениям лазутчиков он знал конную часть 32-й дивизии красных как свои пять пальцев, вплоть до команды обозников; генерал был уверен в налете, даже пулеметы на бричках и тачанках оставил у переправы. Без бинокля, беглого взгляда хватило, чтобы определить количество «чужих» всадников — за тысячу, полка два. По каменной посадке человека на пригорке в светло-серой, генеральского покроя шинели, черной аловерхой папахе, с характерным заломом, догадался, чья это конница. Рука невольно тянула повод, обрывая разгоряченному горцу оскаленную пасть. Лаву уже не остановить. В последний миг генерал отчетливо подумал: «Так вот почему помалкивали их пулеметы...»

Военком Дьяченко видал, как передний всадник заметался, заскакал на месте; его в момент скрыла лава. Заметно, кое-кто из казаков тоже начал натягивать повода, резко откидываясь в седлах. В этот же миг Думенко взмахнул блеснувшим на солнце клинком. Подчиняясь его знаку, обе бригады сорвались с места...

...Сеча была страшной. Сошлось более трех тысяч всадников с обеих сторон. Когда Дьяченко свалил на землю двух казаков и прошла первая горячка, правее, среди бушующего конско-людского моря он заметил, как носился в толпе на своем зверь-коне Думенко и косил направо и налево клинком казачьи головы. За ним оголтело перли конники, скопом бросались в проделанную его конем брешь. Одуревшие казаки, пятясь, силились развернуться, но искрящаяся сабельная метель безжалостно поглощала их стенку. Бой бушевал в основном там, возле комкора. И еще заметил военком, что его бойцы тоже подались туда, где горячее, дружнее схватка. Оглядываясь на горстку вестовых из комендантского взвода, державшихся за ним, он сам невольно начал сбивать своего коня к тому страшному, и в то же время захватывающему дух месту...

Расчетливый казачий генерал сумел-таки увести добрую по-

ловину своего воинства за Дон. Заслонившись пулеметами у парома, он первый пустил вплавь своего мышастого кабардинца.

Военком возвращался в хутор вместе с Думенко. Комкор, побывав у переправы, пересел с коня в трофейную казачью тачанку. Прихватил с собою и его.

— Обиделся, комиссар, насчет ржавой шашки-то, а? — напомнил он, уступая место рядом на заднем сиденье. — Пошутил я. А в бою видал тебя... Не из робкого десятка. И хлопцы твои ладные.

— Подсобили, Борис Макеевич... — Испытывая неловкость от похвалы, военком поспешил переменить разговор. — Не поспей вы вовремя, хана была бы и пехоте.

— Так уж и хана...

— А что?! Шел, хамлет, как на зайцев.

Дорога дурная, тачанку нещадно мотало, переваливало с боку на бок. Дьяченко, ухватившись за подкрылок, боялся зашибить больную руку комкора, все время сидел в напряжении. Песчаная коса после боя выглядела куда мрачнее, нежели сама сеча. Ископыченные барханы устелены трупами, как снопы лежат. Похоронным командам подвалила работка. Раненых, пленных и осиротевших лошадей успели уже собрать и отправить в расположение дивизии; бойцы сейчас орудуют лопатками. Песок не глина, дело подвигается заметно. К заходу исчезнут всякие следы. Ни крестов, ни могил. Не это ли сию минуту занимает комкора? Видать, что-то гнетет его, давит.

Из балочки выскочила группа всадников. В переднем — на лысом буланом жеребце — военком издали угадал думенковского комбрига Фому Текучева. Завзятый казачина, отчаянной храбрости; преуспела нынче и его шашка, не хуже комкоровой. Не в пример молчаливому, сосредоточенному в себе Думенко, этот из говорунов, весельчак, душа нараспашку. Видать, живет человек налегке во всем, бездумно, широко: шашкой играть ли ему над вражьей головой, пребывать с друзьями за бражным столом или обнимать... Кажись, есть и предмет для того. Да вот она, в его свите, белокурая, курносая, с дерзкими синими глазами. До боя военком видал ее в белой крестастой косынке, теперь на ней каракулевая шапочка, вместо шинели — короткая дубленая шубка с серой опушкой; голубые бриджи и хромовый сапог выставляют напоказ изящную, согнутую в колене ногу.

— Товарищ комкор, сотни четыре уложили голубинцев, не меньше! — не то докладывал, не то сообщал Текучев; распаренное скуластое лицо его сияло, как начищенный медный таз.— Более того пленных. А лошадей — на полк!

— Для реляции восторги свои оставь,— осадил его Думенко.— Срочно приведи бригаду в походный порядок. На Иловлинскую. Выступишь в ночь.

— Борис Макеевич... Вчерась оттудова. Они что там, в Арчеде?!

— Убавь спеси, Фома. Гибнет 38-я.

— Лучший полк оставил я Шевкоплясу! — опять взвился было комбриг.

— Заодно подсобишь там по соседству и своему полку,— смилостивился Думенко, перейдя на увещевательный тон.— Вести от Клюева. Обнаружен наш уход. Врангель не замедлил навалиться на пехоту под Царицыном. А Голубинцев, твой земляк, теперь постарается указать, куда нас перекинули.

— Я такого земляка... — отошел совсем Текучев, разворачивая жеребца вслед за тронувшей тачанкой.— А ушел ведь, стервец, на своем горце. Сам видал, щукой кинулся в Дон. И конь весь в хозяина: тоже навалял...

Дружный смех далеко отозвался в песчаных барханах, начавших терять в сиреневом мареве свои резкие очертания.

— Поступишь в распоряжение командарма,— продолжал Думенко.— Выправишь положение — бригаду обратно. Налегке ступай, тылы хвостом не тащи. Донесения отправляй ежесуточно, в штакор, Качалову.

— Борис Макеевич...— помялся Текучев, вынужденный говорить при лишних.— Конишек бы казачьих... Восстановить урон нонешний. Да и дорога дальняя, в Иловлинскую, заменить кому или что...

— Потери твои известны мне,— нахмурился Думенко, зная, к чему клонит комбриг.— С полсотни, не больше. Сам пересчитаю. Кликни добровольцев из голубинцев. Вместо погибших...

Проводив затуманенным взглядом конников, Думенко завел неожиданный разговор.

— Пригласил бы, комиссар, тебя в корпус... Подходишь ты мне. Не отказался бы?

— С бригадой?

— Какой там! Самого. А, пустое... Клюев, политотдел армии на дыбы встанут. Да и сам вижу, нельзя тебе из 32-й. Иссекут без конницы пехоту. Оставляю вам трофейных лошадей. Усиливайте бригаду.

— А кого сажать в седло? — спросил озабоченно военком, тронутый вниманием Думенко.— Может, тоже кликнуть... из пленных?

— Думаю, не стоит. Даже хвосты пообрезаете их лошадям по самую репицу, все одно махнут на тот берег. А у Текучева воевать будут. Во всех моих бригадах они есть. И не мало.

Полдня вместе, бок о бок, а кажется военкому, что знает этого человека давно. Восхищают могучая сила воли его, спокойная рассудительность. Бой показал, действительно Думенко легендарный вожак красной конницы. Сперва не разобрался, а сейчас видит, что ведет он себя с ним, военкомбригом, как с равным.

Не кичится победами, своим геройством, вдобавок не терпит того и со стороны других. Осадил заносчивого комбрига, Текучева. О пролитой только что крови ни слова, напротив, хмурится, отводит взгляд от трупов, попадавшихся вблизи дороги, будто стыдится дела своих рук. И по поводу пленных он ничего обидного не сказал. В корпусе они у него воюют. Еще бы! Деваться некуда, подавлены силой, в конце концов, авторитетом самого комкора. А возьми они голубинцев в бригаду, посади на коней... Что будет? Кто их удержит? Что их заставит воевать со своими станичниками? В первом же бою очутятся все за Доном.

Пошел бы он, Дьяченко, и в корпус к нему. Сам ли, с бригадой. Но это не больше не меньше — хмельная мечта. С месяц назад, когда было объявлено о формировании Конно-Сводного корпуса, ветром пронеслось по войсковой коннице 10-й армии — все рвались к Думенко. Полками, бригадами. Начальники стрелковых дивизий за головы хватались: кому охота лишаться своей кавалерии? Подавала голос и их бригада. Он, военкомбриг, подписал приказ, объявляющий всех дезертирами, кто самовольно покинет строй и уйдет в корпус. Тогда-то и наслушался о самом Думенко; даже ранение его, тяжелейшее, после которого он встал на ноги чудом, было возведено в легенду.

— Борис Макеевич, с чем связана переброска корпуса сюда, на Медведицу? — спросил Дьяченко, желая освободиться от засевшего в нем еще до боя вопроса. — Мы располагали сведениями, вроде конница ваша нацелена на Царицын. Ждали с часу на час наступления.

Лицо комкора болезненно скривилось.

— Гм, Царицын... Чего захотел. А впрочем, комиссар, я и сам хотел бы это достоверно знать.

— А не события под Орлом, Воронежем?..

— И то может... Связано, не без того. Но нам же самый раз бить на Царицын!

Военком наконец понял, что гнетет Думенко, и почему-то пожалел о своем расспросе.

Глава девятая

1

Осень девятнадцатого — самая драматическая пора гражданской войны. Никогда Республика Советов не была в такой опасности. Три белые армии рвались с юга: Добровольческая, Донская и Кавказская. Тараном по кратчайшему пути — Харьков, Курск — на Москву надвигались отборные именные дивизии...

Деникин не торопился оставлять мыса Таганий Рог у теплого моря. Твердо веровал: вызволит попранную большевиками святую землю. Готовился пышнее въехать в стольный город.

Скрытая зависть к недавним успехам адмирала Колчака утихла: перевалил «правитель» за Урал. До трескучих морозов хотелось бы завершить этот поход: рождественские праздники отгулять не под грохот пушек, а под малиновый перезвон колоколов белокаменной...

Развязка приближалась.

2

Москва, настороженная, угрюмая. Ночами, глухими, беспросветными, хлестал дождь с ветром; сквозь тяжелые пологи туч силком пробивался еще теплый день. Не радовал его свет.

Армии Южного фронта отходили. Не бежали — отступали с боями. Но это поражение. И как всякое поражение, оно крушило, ломало боевой дух в войсках. А тут еще в военном руководстве не все находят общий язык, не «срабатываются». Пришло письмо от Смилги. Сообщает о тяжелом положении на юге. Причину неудач видит в неумении командования Южного фронта управлять войсками. «Теперешний состав Реввоенсовета неработоспособен,— заключает он.— Взаимное непонимание настолько сильно, что думать о том, что можно будет «сработаться», не приходится».

Шорин выдохся у Царицына. Селивачева и вовсе не найдут... С войсками! Могло быть, и сбежал. А тут — Мамонтов... Больше месяца разбойничает по тылам. Части, высылаемые против него, боятся вылезать из вагонов. Это прямо позор. Троцкий все так же вразрез с ЦК гнет свою линию. На днях Политбюро повторно отклонило его домогательства — пересмотреть утвержденный основной стратегический план. Пришлось отменить приказ Троцкого, распорядившегося оставить Астрахань в целях «выравнивания» фронта. Киров опротестовал, обратился за поддержкой. «Довыравнивался» он и на Украине... Мало, валит с больной головы на здоровую. Успокаивает! Втирает очки. Неделями не показывается сам: держит в Москве главного своего «успокоителя», Склянского.

Нынче лопнуло у Владимира Ильича терпение. Сопоставляя отчет Склянского со сводками фронтов, он с гневом взялся за перо. Писал Гусеву, члену РВС Республики: «т. Гусев! Вникая в письмо Склянского (о положении дел 15/IX) и в итоги по сводкам, я убеждаюсь, что наш РВСР работает плохо.

Успокаивать и успокаивать, это — плохая тактика. Выходит «игра в спокойствие».

А на деле у нас застой — почти развал.

На сибирском фронте поставили какую-то сволочь Ольдерогге и бабу Позерна и «успокоились». Прямо позор! А нас начали бить! Мы сделаем за это ответственным РВСР, если не будут приняты энергичные меры. Выпускать из рук победу — позор.

С Мамонтовым застой. Видимо, опоздание за опозданием. Опоздали войска, шедшие с севера на Воронеж. Опоздали с перекидкой 21 дивизии на юг. Опоздали с автопулеметами. Опоздали с связью. Один ли Главком ездил в Орел или с Вами,— дела не сделали. Связи с Селивачевым не установили, надзора за ним не установили, вопреки давнему и прямому требованию Цека.

В итоге и с Мамонтовым застой и у Селивачева застой (вместо обещанных ребячьими рисуночками «побед» со дня в день — помните, эти рисуночки Вы мне показывали? И я сказал: о противнике забыли!!).

Если Селивачев сбежит или его начдивы изменят, виноват будет РВСР, ибо он спал и успокаивал, а дела не делал. Надо лучших, энергичнейших комиссаров послать на юг, а не сонных тетерь.

С формированием тоже опаздываем. Пропускаем осень — а Деникин утроит силы, получит и танки и пр. и пр. Так нельзя. Надо сонный темп работы переделать в живой.

Ответьте мне (через Лидию Александровну Фотиеву).

16/IX. Ленин.

Видимо, наш РВСР «командует», не интересуясь или не умея следить за исполнением. Если это общий наш грех, то в военном деле это прямо гибель».

...Обедал плохо. С трудом скрывал от домашних дурное настроение. Мучительно подыскивал предлог не остаться на послеобеденный отдых. Подсказала, сама того не подозревая, сестра, Маша. Встав из-за стола, вдруг вспомнила:

— Осень на дворе, товарищи мои милые!

На пол вытрясла из портфеля ворох желтых тополиных листьев. Вот кстати! Прогуляется у кремлевской стены.

Поблагодарив за манный суп, вышел.

3

Лифт не работал. Владимир Ильич сошел по лестнице. В полутемном коридоре с кем-то столкнулся.

— Извините, будьте добры.— Вглядевшись, угадал: — Иосиф Виссарионович!.. Здравствуйте. Ждем, ждем. Как там питерцы поживают? А что, Горького не встречали? Он должен был побывать на этих днях у Зиновьева...

— Вы куда-то спускались...

— Нет, нет. У нас целых полчаса! С месяц не виделись... Или больше?

— Прогулкой не следует жертвовать, Ильич.

— Ерунда, знаете... Сестра принесла желтые листья... Убедиться хотел.

— Составлю компанию.

Во дворе, оглянувшись на часового, Владимир Ильич с тревогой спросил у Сталина:

— Паршивы дела наши в Питере?

— Мало радостного... С часу на час Юденич перейдет в наступление. Однако питерские большевики свой город сдавать не думают. Некуда фронт «выравнивать»: окопы за Нарвской заставой.

Миновав заваленную бревнами Соборную площадь, вошли в сквер. Окидывая взглядом пожелтевшие деревья, Владимир Ильич сообщил:

— Политбюро отзывает вас с Западного фронта.

Сталин держал спичку над трубкой, пока огонек не куснул пальцы. Из дыма обронил:

— Я считаю... мое место в данный момент в Питере.

Спустились к стене. Солнце еще не село, но под косогором уже знобкие сумерки.

— Судьба Петрограда, Иосиф Виссарионович, с югом ни в какое сравнение... Момент угрожающий. Угроза нарастает с каждым часом. Да, да. Республика подобного не переживала... Может наступить катастрофа. Развал в войсках, полная растерянность среди командования. За какие-то считанные дни второй прорыв на центральном участке! У Курска... Крайне подозрительно поведение Селивачева, его начдивов...

Владимир Ильич хотел было поделиться сокровенным, тем, что, собственно, заставило отозвать его из Питера, но раздумал. Мысль перебросить Сталина на юг возникла, когда выявилась полнейшая неработоспособность теперешнего Реввоенсовета Южного фронта. До дюжины говорунов, вместе с Троцким, один другого хлеще; все командуют, распоряжаются, а войска бегут... Нет, нет, разогнать бесхребетную компанию. В первую голову — командующего фронтом Егорьева. Намечалась и замена: Селивачев. Но где он, Селивачев?! Надо приглядеться к Егорову. С боевым опытом, год как в партии, юг исколесил не меньше Сталина — в трех армиях перебывал, в 9-й, 10-й, а после ранения принял 14-ю. Главком Каменев, правда, пожимает плечами: некому, мол, передать 14-ю. Это не причина.

Есть в том немалая доля риска. Егоров — из царских заслуженных высших офицеров. Отношение Сталина к военспецам известно. После контрреволюционного мятежа в Питере он входил в ЦК с предложением обсудить вопрос о военспецах. «Весь вопрос теперь в том,— писал Сталин,— чтобы Цека нашел в себе мужество сделать соответствующие выводы».

И все-таки надо рисковать. Военные знания, боевой опыт одного и преданность, железная хватка, даже упрямство, другого, слившись воедино, еще смогли бы поправить дела Южного фронта. Сюда и должно пойти усилие его, Ленина,— объединить, заставить силой «сработаться» этих двух людей. Препоны будут,

хотя бы со стороны того же Троцкого. Сталкивать их нежелательно: свеж еще в памяти прошлогодний конфликт в Царицыне. Год не встречаются. Обойдутся один без другого и впредь. Надо заставить Троцкого как следует вникнуть в дела Западного фронта — поедет в Питер. А каково реальное положение Восточного фронта? Как бы ожидаемая победа над Колчаком не обернулась срамом. Прецедент есть: Деникина весной тоже били, а осенью он уже у Курска... Бьют ведь нас на Востоке!

Владимир Ильич приостановился, озабоченно спросил:

— Иосиф Виссарионович, вместо Егорьева кого вы могли бы назвать, а? Егоров как, по-вашему?

— Подумать надо.

— Конечно, конечно,— несколько разочарованно согласился Владимир Ильич.— Решит Цека. Через недельку, от силы полторы. Подумайте.

Уже когда возвращались, на лестнице, Владимир Ильич спросил:

— А как супруга? Здорова ли?

— С вокзала я.

— Ну и ну... И все-таки, зайдем ко мне. Обещаю, Иосиф Виссарионович, мы вас долго не задержим. А Надежде Сергеевне передадите мои извинения и привет. Обязательно передайте.

Сталин, растирая шею под стоячим воротом выгоревшего френча, топтался неловко у двери, будто не осмеливался переступить порог.

4

Егоров стоял у аппарата, расставив ноги в заляпанных сапогах. Перебирал телеграфную ленту. Его вызывает главком. Глянул исподлобья на ожидавшего у двери адъютанта, раздумывая, на чем ехать. Много верст до Москвы. Железной дорогой поспел бы — паровоза свободного нет под руками. Используя темноту, перебрасывают на фронт, к Орлу, пополнения, прибывшие накануне из Вологды, из 6-й Особой армии Самойло. Остается свой задрипанный «форд», еще от царицынских времен.

— Что там, сверху?

Адъютант догадливо кивнул: пока порядок. Ему ли не знать тревогу командарма? Дождь для «форда» страшнее шестидюймовки.

Вскоре автомобиль, чмыхая и лихо стреляя выхлопной, петлял по ухабистым улочкам спящего Брянска. Захлебывались лаем спросонья собаки, но подворотен не оставляли.

Вырвались из города. Смолистый ветер влетал в разбитое боковое стекло. Зарываясь подбородком в шинель, Егоров вспомнил, что не брился последнюю неделю. И непонятно, в какой свя-

зи вдруг опять кольнуло в сердце то давнее, о чем он старался не вспоминать...

Полтора года назад полковник Александр Ильич Егоров сам протянул руку Советам. Сослуживцы-офицеры звали на юг, вслед за отбывающим генералом Корниловым. Иные уговаривали, грозили, взывали к совести, долгу и чести. Снял погоны, царскую кокарду, кресты. Ничего не осталось на душе, что связывало бы его с опрокинутым, разнесенным в щепы старым миром. Большевики, отвечая на пожатие, все-таки исподволь приглядывались, прощупывали, дознавались. Открывался как на духу. И все же одно утаил, не хватило сил сознаться. Давнее дело, быльем поросло. Но оно *было*. Никуда ты его не выкинешь, не зачеркнешь, не забудешь. В смутный 5-й год в Тифлисе он, двадцатидвухлетний подпоручик, вывел свою полуроту на Головную площадь к Александровскому парку, преградил дорогу демонстрации рабочих. Два боевых ордена красовались на мундире; получены награды за усердие в тот час, когда Россия по всему неоглядному кордону не произвела ни одного пушечного выстрела. Воевал с Германией в 132-м пехотном Бендерском полку. Прибавились царские награды, но он мог и в потемках ткнуть пальцем в те два, с притертыми оранжевыми лентами — пекли грудь где-то в глуби...

Полузабытое гнетущее состояние Егоров ощутил особенно сейчас. Отозвалось оно не случайно. Знает, куда и зачем едет: его прочат в командующие фронтом. Советская власть, партия большевиков оценили военные знания, умелое их применение на поле боя. Сперва доверили армию, теперь — фронт. Да какой фронт! Самое что ни на есть пекло. Разгромить сильнейшего генерала — Деникина. Это честь.

Автомобиль тряхнуло. Егоров, чертыхаясь, выпрямился, полез за портсигаром. Обдал дымом ребячий заросший затылок адъютанта, сидевшего рядом с шофером.

— Дождь?!

— Вырвались, Александр Ильич, из полосы. Видать, краем задела туча. Капли на стекле остались.

— Жми, Николай, на всю. Опоздать нам никак невозможно. А еще в парикмахерскую... Стыдоба, развели мы все щетину. Сразу определят наши дела на фронте: бегут такие-сякие, мол...

Светало. Алели макушки придорожных сосен. Сырой, знобкий туман кучковался по опушке, в падинах заваливал дорогу.

5

«Форд» вкатил в Кремль. Остановился у трехэтажного здания. В нетопленном коридоре перед белой дверью пожилой рабочий в защитном ватнике выставил искривленную, с обкуренными пальцами ладонь.

— Раздеваться не велено.

Егоров ожидал увидеть просторную залу — оказалась полутемная комната, по виду кабинет. Два тесно стоявшие окна пропускали мало света. Потому и горела лампа под зеленым стеклянным абажуром, похожая на гриб.

За столом — человек в накинутом на плечи пальто с шалевым каракулевым воротником. Угадал его по портретам: «Ленин!»

Владимир Ильич встал, протянул руку.

— Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Егоров. Проходите, пожалуйста.

Опять, как и в коридоре, Егоров ухватился за ремень, намереваясь снять шинель, Ленин, подвигая тяжелое кожаное кресло, бурно запротестовал:

— Ни в коем разе! Нет и нет. Холод собачий. Располагайтесь в шинели. Видите, я в пальто.

Развернул кресло и для себя. Уселся, подтыкая под бока пустые рукава.

— Зима на пороге... Топливо. Огромной важности проблема встала перед Республикой. Но главная проблема сейчас — Деникин...

Крупные белые кисти командарма, покоившиеся на подлокотниках, вывернулись вверх ладонями.

— В ворота Орла стучится...

— Да, да... Успехи Деникина громадны. Даже Колчаку в лучшие свои дни, не говоря уже о Юдениче и Миллере, не удавалось достичь такого...— Прошел к карте — в простенке меж окон.— Реввоенсовет представляет вас в качестве командующего Южным фронтом. Вы сами как?

— Фронт не армия, Владимир Ильич, не скрою: волнуюсь.

— Волнения ваши понятны. Однако у вас знания, опыт. Вам и карты в руки, как говорят. Кстати, Александр Ильич, ваше личное мнение, как военспеца, о стратегическом плане по разгрому Деникина, а?

По тому, как председатель Совета Обороны приготовился слушать, Егоров понял, зачем его вызвали. К ответу на этот вопрос он, можно сказать, готовился давно: было время подумать и в Саратове, и в Брянске. Тут, в Москве, в военном ведомстве крепче утвердился в своей точке зрения.

Ленин наклонился поближе, как бы подбадривая, взял у него фуражку, отложил на дальний край стола.

— Говорите все, что думаете.

— Боюсь, Владимир Ильич, нового я ничего не скажу. Вариантов стратегического плана по разгрому Деникина, как известно, два. По сути, они стороны одной монеты, орел и решка. Главный удар: Харьков, Донбасс, Ростов, а не Царицын. Августовское контрнаступление полностью подтвердило это. Спору нет, оно готовилось в спешке, когда все армии отступали, войска бы-

ли морально подавлены. Правда, тогда, в августе, наступал какой-то момент... Чтобы остановить Добровольческую армию у Харькова, нужно было удар нанести не в лоб, а во фланг. И удобнее всего именно Шорину.

— Все-таки в этом плане — удар на Царицын — было разумное.— Ленин пригреб костяным ножом с рабочего стола скатку десятиверсток, развернул одну, другую.— Главный удар намечалось нанести через Донскую область на Новочеркасск. Осуществляет его Особая группа Шорина. План этот наиболее отвечал политическим задачам борьбы и стратегической обстановке на юге. Потому Цека и одобрил его. Он усматривал необходимость нанести кратчайшим путем удар по центрам казачества. Далее, на левом крыле сосредоточены основные силы Южфронта. И их можно было усилить за счет Восточного. К тому же Донская и Кавказская армии белых менее устойчивы. И последнее, деникинцы лишались возможности выхода за Волгу и соединения с Колчаком. Как видите, Александр Ильич, сам по себе план не так уж и порочен. Осуществи его — разгром Деникина был бы неминуем. Но, увы... Причин много. Начиная с плохой работы РВС Республики до отвратительного выполнения приказов на местах. А тут еще прорыв Мамонтова...

Доводы эти Егоров слыхал час назад в Полевом штабе. Каменев отстаивает его и теперь. Бросилось в глаза, что Ленин говорит о нем в прошедшем времени.

— Однако что лично вы думаете о плане?

Мучительно захотелось курить; Егоров едва удерживал руку, чтобы не полезть в карман.

— То был август. Сейчас, считайте, октябрь... Изменилось многое на юге.

— И не в нашу пользу.

— Да. Мы лишились Украины. Теперь Добрармия не в районе Харькова — Белгорода, а под Орлом. Деникин сентябрьской директивой указал направление — Курск, Орел, Тула, Москва. Причем, заметьте, она отличается от июльской. Летом наступал всеми армиями, сейчас одной, Добровольческой. О том говорит и карта. Взгляните, клин уже четко определился. Острие составляют отборные части — армейский корпус генерала Кутепова, конные корпуса Юзефовича, Шкуро и Мамонтова. А во что упирается острие? В 13-ю армию, центр Южного фронта, в самую обескровленную, утомленную полугодичным отступлением. На флангах ее — 14-я и 8-я. И эти армии не лучше. Словом, я лично не вижу сегодня реальной силы на Южфронте, которая могла бы встать на пути Деникина к Москве.

Ленин, поглаживая лоб, наклонился к картам.

— Сила эта есть. Ума бы приложить.— Широкая кисть с вздутой сеткой вен легла на десятиверстку, прикрыв район Орла.— Нас бьют, а Реввоенсовет успокаивает, утешает...

По всему было видно, что Ленин высказал свою давнюю боль. Егоров осторожно прокашлялся, понимая всю доверительность слов Владимира Ильича, и сказал:

— Сейчас, в разгар активизации противника, главный удар на Дон цели не достигнет. В лучшем случае Шорин возьмет Царицын. Ставка нашего командования на слабость Донской и Кавказской армий сомнительна. Я знаю те армии. В феврале — марте мы покончили, казалось, с Донской... А на деле не с армией, а с атаманом Красновым. Через три месяца она вновь встала перед нами. Генерала Денисова сменил генерал Сидорин. Возрожденная армия еще крепче, многочисленнее.

— Почему?

— Товарищ Ленин... я военный — не политик. Скажу одно: казачество в верховьях Дона не случайно подняло восстание у нас в тылу и протянуло Деникину руку. Даже среднему казаку встали поперек горла наши порядки.

— Вы оговорились, Александр Ильич... Не о советских порядках идет речь, думаю, а о наших отдельных непорядках.

— Да, конечно... Где-то, к сожалению, мы не учли психологию казака, его образ жизни. И начали тут же вслед за фронтом рубить с плеча вековые его традиции. Без разбору. И вот плоды... Не только старики — молодые крепче сжали в руке шашку. Так что говорить о слабости, деморализации Донской и Кавказской армий не приходится. Они защищают свой баз, очаг... Стоят на границе своей области. Деникин учитывает это и дальше не двигает их. Единственное, чего он добивается от казаков,— взять Воронеж. И пока Добровольческая армия в силе, пока она есть, сломить дух донцов и кубанцев нелегко. Отсюда мое убеждение... Сперва разбить Май-Маевского. Не потеснить — уничтожить. А потому главный удар надлежит перенести с Царицына на Орел. Когда донцы и кубанцы потеряют своего вдохновителя, опору, они будут сговорчивее. А нам самим нужно кое-что пересмотреть в отношении к казачеству.

Отчетливо проступила усмешка на лице Ленина.

— Хитрите, Александр Ильич, вы не только военный... Чем скорее наши командиры станут политиками, тем быстрее окрепнет Красная Армия. И тем меньше прольется напрасно крови трудящихся. Кстати, вы знакомы со Сталиным?

— Нет.

— Да, да, вы попали в Царицын уже позже. Припоминаю... Так вот, товарищ Сталин направлен членом Реввоенсовета Южного фронта. Вам с ним бок о бок.

У порога встала седая женщина. Кутаясь в серый пуховый платок, накинутый на плечи, глядела с укором.

Егоров, поднявшись, поклонился в ответ на ее тихое приветствие. По тому, как Ленин виновато вобрал голову в ворот, понял, что он здесь слишком задержался.

— Надя... Это товарищ Егоров, новый командующий Южным фронтом, сама понимаешь...

В дверях — еще человек. По виду доктор: халат белеет внизу под застегнутым клетчатым пальто. Не в пример женщине, этот перешел в наступление:

— Владимир Ильич, возмутительно! Да, да. Я вынужден поставить у койки свою охрану. Вашей не верю, тут круговая порука. И потом... эти распоряжения! Они от вас исходят. Не топить... Покров на дворе!

— Не оправдываюсь, доктор. Ради бога, Надежду Константиновну не подозревайте... Виноват я кругом.

Хитро подмигивая, он взял за локоть Егорова.

— Александр Ильич, не обращайте внимания... Это у нас домашние неурядицы. Я рад нашему знакомству и вдвойне — разговору. Немедля принимайте фронт. Никогда еще враг не был так близко к жизненно важным центрам Республики, никогда. А со Сталиным, думаю, вы сработаетесь. Жду с фронта хороших вестей. На меня они действуют лучше, нежели микстура и аракчеевский режим докторов. Проверено.

Фуражку Егоров надел только в машине.

Глава десятая

1

В село Сергиевское добрались к рассвету. Автомобиль бросили на каком-то полустанке: в потемках влетели в вымоину. Благо, возле железной дороги; удалось с адъютантом на ходу вскочить на подножки товарняка. Едва не околели на ледяном ветру в шинелишках.

У штаба тоже задержка. Часовой, угрюмый дядя в романовской шубе, прочно утвердился в калитке.

— Хоть одна живая душа есть? — добивался Егоров, не попадая зуб на зуб.

— Кому тут быть? Чай, ночь. Да и начальства вовсе нема у нас...

— Мы и есть начальство. Читай, голова твоя...— выступил из-за плеча адъютант.— Напялил буржуйскую шубу... Тепло! Кто в доме, спрашиваю? Огонек в крайнем окне.

— Не напирай, христом-богом докладую. А в штабу какой-то нерусский. Курнуть не разживусь у вас, а?

Дрожа от стужи и злости, адъютант сыпанул из кожаного портабачника махры в высунутую ладонь. Газетку и спичку пожалел — хоть этим досадить зануде. Не проняло. Газетка у него нашлась своя; повернувшись к ветру, не спеша высекал искру из кремня. Адъютант, едва сдерживаясь, хотел уже выдернуть за-

жатую под мышкой винтовку, но часовой, откашливаясь дымом, смилостивился:

— Ступайте. Да не в дом, там замок. Во флигель, светится вон. Хоть в прихожку, отогреетесь малость. А то где его шукать, караульного? Гляди, у кухарки какой-нибудь зорюет. Дело нужное по молодости лет...

Посторонился, пропуская в калитку.

В просторной прихожке ветер выдул тепло, но и остатков хватило, чтобы всей иззябшей кожей ощутить человечье жилье. Адъютант тут же приткнулся к боку неостывшей русской печки.

Егоров снял шинель. Одергивая складки гимнастерки, направился к двери. На стук не отозвались. За столом, покрытым картой,— человек в защитном френче. Видать, спит давно: кривобокое пламя в лампе лизало черным языком стекло.

Человек поднял голову. Убирая со лба черные жесткие волосы, ломал резкие брови; нерусские глаза не сонные, с обжигающим прищуром. Егоров понял: Сталин.

— Так и угореть можно...— поправил фитиль, назвался: — Егоров.

— Я жду вас. Мотаюсь по армиям... Бежит фронт.

Не ожидая приглашения, Егоров сел напротив.

— Нас с вами на то и назначили... Остановить фронт. Остановим — спасибо скажут, нет — расстреляют.

У Сталина распрямились брови, опали худые плечи, потом неясно проступила под острыми усами усмешка.

— Чаем бы угостил... Сахар есть. Не докричусь кипятку. Ну и порядки оставил нам Егорьев. А может, спать? Вижу, не до чая вам...

— Пожалуй.

Одолевая сон и усталость, Егоров вглядывался в непроницаемое лицо Сталина.

На правах хозяина Сталин милостиво предложил единственный кожаный диван:

— Располагайтесь. Я такую роскошь не принимаю. Царизм приучил меня к общим нарам, к тюфяку.

— Благодарю, но как вы?..

— Я уже нэ усну... Да и работа есть, кое-что подсчитать и обобщить надо...

С наслаждением ощутил Егоров одеревеневшей спиной певучие пружины. Голову устроил на облезлом подлокотнике. Но сон пропал.

Поднося спичку к трубке, Сталин поймал на себе взгляд командующего.

— Не спится?

Пыхнул дымом. Проследил за желтым клубочком, окутавшим ламповое стекло, спросил:

— «Правду» читали за четвертое? Статью Ильича «Пример петроградских рабочих»? Определенно склоняется к Южному фронту. Большую долю мобилизованных партийцев Питера и Москвы направляет нам, а не Шорину.

Еще пыхнул трубкой.

— Жаловался Смилга... Ильич взгрел его по прямому проводу. Жульничает, мол, Шорин, приберегает Буденного для себя, не оказывает никакой помощи Южфронту. Отпустили конницу в наше распоряжение. Сейчас она где-то у Воронежа, в районе 8-й армии.

Черканул изгрызенным мундштуком трубки по карте, хмуро шевеля чуткими бровями.

— Вчера 8-я оставила Воронеж. Шкуро с Мамонтовым разбойничают. Думенко на них — хвосты поджали бы. А не поставить вопрос о корпусе Думенко, а?

Не улежал Егоров. Ощупывая вдруг занывшее раненое плечо, безнадежно покачал головой.

— С Думенко не выйдет. Буденного со слезами выпросили. Каменев на дыбы, ни в какую. Да и Шорина спешивать... Ему наносить главный удар.

— Вижу по статье Ильича... Наносить его не на Дону, а у Орла. И на этот предмет Думенко вот как нам нужен. Кстати, откуда он взялся? Я имел сведения, казаки начисто сняли его с седла. Весной, на Салу. Отрубили руку, легкое прострелили. И вдруг: «Корпус Думенко». Думал, воскрес и вернулся в свою конницу... Нет. Корпус у Буденного. Оказывается, успел уже сформировать другой. И будто по боевым качествам не уступает старому...

Удивился Егоров, будто другого человека видит, вроде строганком прошлись по смуглому лицу: подобрело, смягчилось. Сказал, проникаясь невольным уважением к собеседнику:

— Думенко и в самом деле воскрес. В одном бою ранены были с ним, в одной палате лежали. Рука не отрубленная, но толку из нее... Плетью висит. А легкого правого нет. Кровью кашляет. По чистой, собственно, списали. Устроил тарарам профессору...

— Это он умеет.

— Повалялся с месяц после госпиталя на загородной даче и в строй. Кому же формировать конницу? Вот и еще корпус.

— Да какой! На днях... На Хопре Донская армия стиснула Буденного... И вдруг — Думенко! Генерал Сидорин за голову ухватился: откуда у красных еще кавалерия?!

Голоса, топот заполнили флигель. В дверях встал усатый человек в расстегнутом полушубке и островерхом звездастом шлеме, по виду тоже грузин. Выбросив радостно руки, он заговорил по-грузински. Сталин не изменил позы, только трубку вынул изо рта. Отвечая на приветствия кивком, сказал по-русски:

— Знакомься с новым командующим фронтом.

Егоров догадался, кто этот усатый: в политуправлении Реввоенсовета Республики называли старых партийцев, направляемых на Южный фронт в качестве политических комиссаров, среди них значилась и грузинская фамилия.

— Орджоникидзе,— пожимая руку, назвался тот.— Товарищ командующий, принимайте пополнение. Целый эшелон! Питерцы, москвичи. Большевики! Все горят желанием умереть, но задержать у стен Москвы Деникина.

От доброй белозубой улыбки раздвинулись пушистые усы, уже тронутые сединой. Седина и в волосах, падавших из-под шлема на белый овчинный ворот.

Поглаживая мундштуком жесткие усы, Сталин возразил:

— Умереть, Серго, нэ хитрое дело. Ты живым останься. И выполни свой долг... Задержи.

На громкий разговор вошла женщина. В кожанке и тяжелых сапогах. Меховую ушанку держала под мышкой. Щурила близоруко из-за пенсне темные глаза; смуглое лицо худое, скуластое. Если бы не седина во вьющихся волосах, можно принять ее за подростка.

— Товарищ Землячка,— представил Орджоникидзе,— заведующий политотделом 13-й армии. Там и еще с нами... Янышев! Входи, знакомься.

— Считаю, товарищ командующий, политработниками займусь я сам,— сказал Сталин.

— Да, да. Кстати, утром должен подъехать начальник политотдела фронта Потемкин. Учтите, пожалуйста, и мое пожелание: не обделяйте строй. Всех годных — фронту. И еще к вам, товарищ Сталин. Тылы. Резервы и снабжение. А я — в войска. Начну с 14-й. Туда подходят части с Запфронта.

— Мне тоже в 14-ю! — обрадовался Орджоникидзе.— Назначен членом Реввоенсовета. Когда отбываете?

— Как можно скорее.

После завтрака командующий с политработниками отбыл навстречу отступающим армиям.

2

На рассвете выпал снег. Прибавил свежести и простору на земле. Простор ощущался и на душе. Вдыхал Егоров терпкий хвойный воздух. Шагал широко, вольно. Левую руку держал в кармане овчинной бекеши, покрытой английским сукном. Сталин чуть отставал. Длинные полы шинели путаются в сапогах, связывают.

Штаб фронта отодвинулся в Серпухов. Встретились на перроне случайно. Он, Егоров, вернулся из Брянска, Сталин — из Тулы. Того и другого отыскал срочно начальник политотдела По-

5 Заказ № 371

темкин: важная шифровка из Реввоенсовета Республики. На вокзале их никто не встречал. Сталин хотел звонить в штаб, но Егоров предложил пройтись, подышать снежным воздухом. Адъютанта спровадил, чтобы не мешал.

— Разогнал волокитчиков по всей железной дороге от Тулы до самой Москвы,— не столько докладывал, сколько сообщал Сталин.

«А может, все-таки, с достоинством докладывает? — спрашивал себя Егоров.— Может, зря даю волю настороженности? Может, не могу освободиться от предвзятости?»

А Сталин между тем продолжал:

— Составы пошли гуще. Продовольствие, обмундирование, оружие. Налаживал добрососедские отношения с Тулой. Там оказался наш царицынский, Межлаук. Обещал не спускать глаз с оружейных заводов, со снабженцев. Уже потекли вагоны с винтовками, патронами. Нынче-завтра должны быть площадки с пушками. Потребовал от Цека средств связи...

— Со связью беда.— Егоров сокрушенно покачал головой.— Командармы часами, а то и сутками ждут сведений от частей.

— Ильич отзовется. Я лично ему телеграфировал.

— Обещали подослать вслед за мной нового начальника штаба фронта...

— Нет, старый пока, Пневский. Мямлит, копошится. Разрисовывает карты, вписывает последнюю директиву главкома. А Потемкин дело знает. По проводам успел уже разобраться в делах политотделов 8-й и 13-й, насколько это было возможно.

Судя по словам Сталина, тыл ожил и без него, командующего. Именно это ловил он в тоне Сталина. «А может, чудится? — опять спросил себя Егоров, ощущая что-то, похожее на неловкость оттого, что никак не может одолеть чувство подозрительности к этому человеку.— Подожди, не торопись с выводами, мало ли что тебе о нем наговорили...»

Вытащив папиросу, Егоров потянулся к дымящейся трубке Сталина за огоньком. Сделал нарочно — спички в кармане,— лишь бы подступить ближе, заговорить проще, свойским тоном.

— Не удержали Орел, Иосиф Виссарионович... Армии истощились донельзя. Хорошо еще, успели отвести резервы из-под удара. Теперь это основная наша надежда... Ударная группа. Собрались и Сводная дивизия, и Эстонская стрелковая бригада Пальвадре, по два полка. А как вы считаете, кого утвердить командующим ударной группы?

Папироса погасла. Повернувшись на ветерок, попытался раскурить, втягивая обросшие щеки. Сталин поднес трубку. Дождавшись, когда папироса выхватила жаринку, ответил:

— Пальвадре.

Какое-то время шли рядом, молча, сосредоточенно курили. Неожиданно в прореху снеговых туч выглянуло полуденное солн-

це. Синим пожаром вспыхнули сады на взгорке в конце улицы, засыпанные снегом. Егоров, щурясь, глянул на яркое пятно в небе; ощущение простора обострилось. Нет, не случайно Ленин высказал пожелание сработаться: знает его деловые качества. Да и назначение членом РВС в самый тяжкий час на этот фронт говорит о многом. По всему, он спрашивать умеет. Пожалуй, главное в их работе, командующего и члена РВС, спрашивать.

Выбивая о ладонь из трубки горячий пепел, Сталин заговорил:

— Здесь никто ни у кого не спрашивал. Все держалось на авосе. Люди привыкли брать, что называется, за горло, а отдавать — пока не опорожнишь кобуру. И абсолютно не знают силу тихого слова.

Удивленно поползли вверх у Егорова светлые брови: проник в его думы?

— Нагрянул кто-то. Вроде вон тот автомобиль из военного ведомства... Или нет? — вслух посомневался Егоров, а про себя подумал: «Не Троцкий?»

Первым желанием его было увести Сталина от штаба, не дать возможности им встретиться. Пробившиеся ростки взаимоотношения меж ними могут засохнуть на корню. Зная Троцкого, Егоров явственно ощутил свою роль разогретого куска железа на наковальне. В военном деле Троцкий молотит сплеча, наобум, не признавая ничьих мнений. Правда, на себе Егоров пока не испытывал тех ударов. Лихорадочно придумывал предлог... Переняв напряженный взгляд Сталина, он понял свое бессильное и легкомысленное желание. Да, глупо предотвращать их встречу. А чего ради? Оба они люди ответственные перед партией; не сольют воедино своих усилий в этот грозный час — пусть пеняют на себя.

Егоров с каким-то оживлением, похожим на злорадство, мысленно потирая руки, подмигнул:

— Что ж, узнаем, с чем добрым пожаловали к нам из военного ведомства.

Сталин нахмурился, отводя взгляд, тихо сказал:

— До полуночи заседало Политбюро Цека. Опять стратегический план. Кажется, на этот раз Ильич свернул кое-кому рога...

Чего побаивался Егоров, того не произошло. Тревогу снял адъютант, поджидавший их у крыльца.

— Член РВСР Гусев,— ответил он на молчаливый вопрос.— Сообщение делает. Не ждали нас так скоро.

С облегченным чувством Егоров обметал у порога полынным веником сапоги. Знал он члена РВС: познакомились у главкома в эту поездку в Москву; Гусева несколько ранее назначили руководителем Московского укрепрайона. Конечно, он мог присутствовать вчера на заседании Политбюро. С чем прибыл? Вспомнилась и встреча; Гусев выступал. Не удалось тогда послушать его.

Уединились они с Троцким в соседней комнате. Подавленный вид его, затянувшееся молчание озадачили Егорова. Выглядел Троцкий не то что устало — подавленно. Всегда он на диво неказист. Костлявое лицо с козлиным клоком на подбородке преображалось только на трибуне; говорил обычно часами, страстно, с характерной жестикуляцией. Сейчас был угрюм, молчалив. Егоров — большой, полный сил, мужской красоты, с его безупречной военной выправкой — почувствовал неловкость перед ним, тщедушным, сутулым, с бледными узловатыми кистями рук.

— Гусев говорит дельные вещи,— заметил он, как бы предлагая Троцкому поторопиться, чтобы поскорее избавиться от такого непривычного внимания.

— Вы находите?

— Надеюсь услышать и ваше мнение о сложившейся обстановке на юге.

— Да? Вам серьезно надо знать мое мнение? Хотите, чтобы я закатил речь? А я вот пришел к выводу... речи мои уже мало кого трогают. Что речи?! Прямые указания игнорируются! А впрочем... говорунов у нас нынче собралось предостаточно. Успевай слушать, наговорят с три короба. Вот как это делает сейчас Гусев.

Егоров пощелкал портсигаром, пытаясь вникнуть в суть его раздражения.

— Хотелось бы трезво разобраться в неудачах Южного фронта.

Троцкий привычным жестом сдернул пенсне; лицо его вовсе потерялось. Продувая толстые стекла, вдруг резко сказал:

— У Южфронта достаточно, слишком достаточно нянек. Я не хочу быть в их числе.

Обескураженный, Егоров не знал, чем возразить. Тогда-то он и услышал от Троцкого: «Не подпускайте Сталина к оперативным вопросам. Его дело — снабжение, подвозка резервов. Начнет самовольничать, давайте сигнал».

Совещание проходило в зале. Собрались командармы, члены Реввоенсоветов, штабисты. Войдя, Егоров попросил прощения за опоздание. Сел рядом со Сталиным; им освободили места за длинным столом, покрытым голубым сукном.

— Итак, повторяю,— заговорил Гусев, подождав, покуда усядутся вновь прибывшие.— Решением Политбюро Цека Южный фронт объявляется главным фронтом Советской Республики. Меняется и направление главного удара... На Харьков.

Егоров вдруг всем телом ощутил усталость; откинувшись на спинку стула, он прикрыл лицо ладонью. Отчетливо вспомнилась ему встреча с Лениным в нетопленном кремлевском кабинете. Да, это решение уже тогда созрело в мыслях Владимира Ильича. Открыв глаза, он со смущением удивился: вместо Гусева — начальник штаба фронта. Говорит уже, водя указкой по карте. Не-

ужели заснул? Крепко потер лоб, затылок, разгоняя навалившуюся усталость...

Прислушиваясь к простуженному голосу начальника штаба фронта Пневского, сменившего у карты члена РВСР, Егоров краем глаза наблюдал за Сталиным. Морща смуглый лоб, тот сосредоточенно делал пометки в блокноте. Появилось слово «конница». Погодя поставил три жирных восклицательных знака. «Знает ахиллесову пяту...»

— Уточните, товарищ Пневский, соотношение конницы,— попросил Сталин.

— Примерно пятьдесят к двадцати, то есть более чем вдвое превосходство у противника. Но у нас есть возможность разрыв сократить...

— Какая? — нетерпеливо спросили из-за спины.

— Войсковая конница. Раз. Поступающие в тылы кавалерийское снаряжение, лошади. Два. Прибывают по мобилизации и кавалеристы, комсостав.

Егоров узнал голос Уборевича. Расстались они третьего дня в Хотынце, в сорока верстах от Орла; сдал ему 14-ю армию. Боевой, смекалистый; еще молод, но с опытом: командовал дивизией. И насел он не случайно. Из трех армий фронта 14-я задыхается без конницы. В переданной ему в подчинение ударной группе Мартусевича есть кавбригада червонных казаков Примакова. Настойчиво добивается, чтобы развернуть ее в дивизию...

В тот раз Егоров, тая усмешку, выдержал пылкий взгляд юного командарма. На виду горящего Орла отказал ему, сославшись на порожние тылы.

— Александр Ильич, я опять... Юзефович со своей конницей голову высунуть не дает из окопа. Тылы фронта, оказывается, не такие уж и порожние. Пехоту посажу в седло. Командиры кавалеристы обнаружились... Новое формирование можно влить, не выводя Примакова из огня.

«Что ж, пожалуй, он прав»,— решил для себя Егоров, готовясь сказать наконец и свое слово на оперативном совещании. Встал, сурово оглядывая обросшие лица командиров и комиссаров. Хотел сделать замечание, но ведь и сам неделю не вытаскивал бритвы из полевой сумки. Ощупал бурый колючий подбородок, усмехнулся:

— Гляжу, красавцы мы все с вами... Не знаю, боезадачу ставить или баню велеть затопить.

Орджоникидзе, блестя глазами, запустил пятерню в гривастый затылок.

— Не помешало бы!

Хмурые напряженные лица посветлели.

— Нынче к полуночи продвижение противника по всему фронту приостановлено. Знаете сами, ценою каких жертв... Вам понятна роль в том ударной группы. Без нее бы...

Егоров не договорил. Столкнувшись с неспокойным взглядом командарма Геккера, построжал лицом:

— 13-я обессилела... Не в лучшем состоянии и остальные армии. Но вы, товарищ Геккер, в первую очередь опустили руки сами. Потеряли управление дивизиями... Оборвалась связь и с ударной группой, приданной именно вашей армии. Это обстоятельство вынудило меня... вынудило Реввоенсовет фронта переподчинить ее командарму-14.

Заметил усмешку под жестким навесом усов Сталина: доволен, что он, командующий, вовремя поправился, прикрывшись именем Реввоенсовета? А ведь переподчинил он Четырнадцатой единоначально, так же как единолично назначил Орджоникидзе уполномоченным Реввоенсовета Южфронта при ударной группе. Связи нет, да и где было в таком угаре думать о мнении других членов Военного Совета...

— Падение Орла, отход 13-й армии на север не только осложнили положение ударной группы, но и обессмыслили ранее поставленную ей задачу — наступать на Фатеж и Малоархангельск. Поэтому с переподчинением было изменено и направление удара — через Кромы на станцию Куракино в сторону Еропкино. Прошлой ночью ударная группа захватила Кромы, разъединив 1-ю и 3-ю пехотные дивизии противника, вклинилась в тылы Корниловской дивизии, занявшей Орел. Передовые полки корниловцев в двадцати верстах севернее Орла вынуждены остановиться.

Одернув сзади складки гимнастерки, уперся кулаками в стол.

— Наступил решающий час. Командование белых сделает все, чтобы любой ценой уничтожить ударную группу. Легко угадать их замысел... Корниловская дивизия повернет большую часть штыков с севера, из Орла. С юга, из Дмитровска, двинется Дроздовская дивизия. План их начал уже осуществляться: лучшие офицерские батальоны корниловцев остервенело кидаются в атаку, силясь отбить Кромы. Удар падает на отдельную стрелковую бригаду Павлова.

Облизал обсохшие, побелевшие губы:

— Приказываю 13-й и 14-й, Геккеру и Уборевичу, связать на своих участках наступательные действия противника, приковать к себе побольше частей. Перегруппировавшись, перейти в наступление. 8-й армии,— нашел взглядом командарма Любимова,— использовать движение Конного корпуса Буденного на Воронеж. Приказываю разгромить конницу Шкуро и Мамонтова, сорвать их замысел — повторить августовский рейд по нашим тылам. Этим 8-я армия и Конкорпус помогут войскам, наносящим главный удар Деникину под Орлом. У нас было достаточно времени присмотреться к наступательной тактике генерала Кутепова... Не вижу большого греха кое-что позаимствовать у него. Главное — не располагать силы по линии, не распределять равномер-

но. Наносить удары с флангов, тыла. Маневрировать. Сосредоточивать кулаки на самых важных направлениях, бить по группировкам. Уничтожать и уничтожать офицерские части. Только маневром добьемся успеха в бою. А маневренность — у кавалерии. Ее использовать на полную мощность. Сосредоточивать в стыках частей, на флангах...

— Налетать по-думенковски,— вставил Сталин.

...На ночь Сталин и Егоров расположились в одной комнате. Стаскивая френч, Сталин качал головой:

— А баня нужна...

Улегшись, сообщил:

— Вчера прибыл наш бывший царицынец... Ворошилов.

— С назначением?

Сталин долго молчал. Наконец ответил:

— Нет. Думаю, на командную должность он нэ подойдет. А если к Буденному? Разворачивать Конкорпус в армию все равно...

— Можно и так. Вы знаете его.

Засыпая, Егоров со вздохом добавил:

— Толкового бы начальника штаба фронта... С этим нас куры загребут.

В темноте еще долго вспыхивала трубка Сталина, поскрипывала деревянная лавка, на которой он улегся на ночь.

Глава одиннадцатая

1

Конно-Сводный корпус Думенко, выдвинувшись к хуторам Шляховский — Летовский, с рассветом 16 октября перешел в наступление. Оставив позади себя свою обескровленную пехоту, 32-ю и 20-ю дивизии, смял передовые белоказачьи полки. Развивая успех, конники охватили весь клин меж Доном и Медведицей. На другой день командарм Клюев потребовал срочной помощи 38-й дивизии. В Иловлинскую комкор вернул бригаду Текучева.

Около пяти суток шла ожесточенная рубка; сшибались с белой конницей эскадронами, полками. Песчаная, топкая, изрытая буераками, заросшая ветляком местность не давала развернуть даже бригаду. Ощутимый урон наносили казачьи пластуны; умело используя местность, они поливали пулеметными очередями из буераков, зарослей.

И все-таки думенковцы сумели фланговыми ударами рассеять вражеских пластунов, свежие конные части генерала Голубинцева прогнали обратно за Дон; очистили всю излучину, захватив правобережные станицы Перекопскую, Клецкую и Усть-Медведицкую.

На станцию Липки, в свой тыловой штаб, Думенко прикатил в добром настроении. Победа, хоть и малая, подбодрила, а главное, весть приятная: отбит Орел и, по слухам, Воронеж. Гора с плеч. Егоров раскачался. И вовсе тепло на душе: под Воронежем его конники...

В штабной квартире, в казарме при станции, спросил нетерпеливо у начальника штаба:

— Чем порадуешь, Владимир Яковлевич? Правда, взяли Воронеж?

— Слыхал только, что Орел отбит,— ответил Качалов и схватился за папку.— Донесения воздушной разведки... Противник ведет переправу в Усть-Медведицкой и группирует силы в районе Новоалександровской. Главным образом конницу...

Не раздеваясь, Думенко присел на край лавки.

— Знаю. Был перебежчик. Дивизия генерала Сутулова брошена в Новоалександровскую. Что слышно от Текучева?

— Восстановил положение у Иловлинской. Но пока Горская бригада в распоряжении командарма.

— Так, так...

Пальцы Думенко нервно выстукивали по обтертым ножнам. Не по нутру ему сонная, тихая жизнь тылового штаба. Не знает, чем тут занимаются. Бывает редко, налетами. Там, на позиции, всякий человек на виду. А здесь, в отделах, сидят густо, ложкой не провернешь, будто капусты в добром борще. Все лучшие подворья позанимали. До дюжины служб, команд, управлений, отделов. Не успеваешь приказы подписывать — все сочиняют. Воевали бы так, как бумажки ворочают.

Качалов подал в вершок толщиной пачку разноцветных листков.

— Что такое?

— Жалобы.

Комкор взвесил на ладони.

— Послушай, Качалов... не будь еще я неделю, неужели все это копилось бы, а?

— Вам лично.

Долго не поддавался дрожащим пальцам портсигар.

— Есть особый отдел... Его обязанность. Уверен, в этом ворохе — порядочная доля попадает под ревтрибунал. Выявить мародеров, грабителей, сволочь всякую... И — к стенке. При народе. На таком решении суда я подпишусь.

Снял ремни с оружием, расстегнул шинель. Вытягивая отекшие после полуночной тряски в тачанке ноги, совсем мирно спросил:

— Значит, прибыл военком?

— Да. Приказы последние уже скреплял.

— Как он?

Качалов неопределенно пожал плечами. Доглядев усмешку

на лице Думенко, поспешил выгородить вновь прибывшего военкома:

— Собирался к вам все, на позицию.

— За четверо суток можно бы...

— Комиссия его задержала.

— Что за комиссия?

— Трое их. Возглавляет комендант штаба армии Перфильев.

— Помню, Михайлов сообщал еще в Собачьем. Что нужно ей в корпусе?

— Мне не докладывают. Начальник политотдела водится с ними, Ананьин.

На пороге встал Дороня Носов, комендант полевого штаба. С позавчерашнего дня он толкается по тылам, выбивает все, что можно выбить у снабженцев. Засовывая руку в потайной карман ватной защитной тужурки, он с опаской указал шельмоватыми глазами на Качалова.

Успел Думенко возненавидеть в коменданте эту черту: ничего не может высказать при третьем. Зашифровывает, изо всего делает тайну, норовит шепнуть на ухо. А сказанное — понюшки табаку не стоит.

— Что еще там?

Недовольно морщась, комкор с неохотой взял два голубых конверта. Распечатаны. Один адресован в штаб армии, другой — члену Реввоенсовета Михайлову.

— Почему... мне?

Дороня подступил, отгораживаясь спиной от Качалова, шепнул, делая страшные глаза.

— От Перфильева!..

Думенко поднес к глазам хрустящие листы, исписанные мелким ясным почерком. Доклад в армию, Клюеву, и личное письмо Михайлову. «Перфильев... Перфильев...» — молоточком стучало в висках. Да это же представитель той самой комиссии! Прочел доклад, медленно поднялся с лавки.

— Где... он, этот Перфильев?!

Дороня, отступая, несвязно бормотал:

— Видал... коней запрягали. На дворе у политотдельцев. С вечера еще собирался в 20-ю.

— Пойдем!

Политотдел размещался на плацу пристанционного поселка.

— Вот,— Носов показал на дом с резным просторным крыльцом.

Думенко рванул дверь. С черным подурневшим лицом, без папахи, в расхристанной шинели встал у порога. Задыхался: едва не бегом от вокзала. Испуганно подымались на ноги начпокор Ананьин, начальник партсекретариата Городецкий... Жлоба! Выздоровел уже? Чьими глазами комиссия та самая видит в корпусе «царящие беспорядки»? Даже в бригадах — за сотню

верст! — не побывав, нашла «вопиющие дела». Шагнул наугад, к ближнему, к кому-то из незнакомых.

— Застрелю, как собаку... Зарублю! — облапывал бока.— Сволочь, мерзавец!..

— В чем дело, товарищ Думенко?

— Перфильев?!

— Я Хруцкий... Военком корпуса.

Разъяренного комкора как-то вдруг остепенил болезненный вид военкома: худой, с костлявыми плечами, выпиравшими из старенькой солдатской рубахи; впалые щеки табачно-золистого цвета. Высказывал он увядшим голосом, как обиду:

— Ну, военком... С вашего позволения доклад писался... Какой же это... доклад? Грязная стряпня. Донос!

Подошел к нему Жлоба.

— Успокойся, Думенко. Политработники это дело разберут.

— Почему ты не в положенном месте? Не в лазарете?

— Позавчера еще доктор выписал. Рапорт уже подал. Являюсь в строй.

— Рапорта не видал.

— У Качалова. Оставлял на столе...

Бегали у Жлобы дымчатые глаза, прикрытые красными от бессонной ночи веками; заметно сходила усмешка с маленького рта, пальцы нервно трепали ременный махор темляка.

Думенко, хмурясь, отвел от него взгляд.

— В бригаде быть к утру. Главные силы в Клецко-Почтовской, штаб бригады в Игнатовом. Полки, артдивизион в наилучшем состоянии. Воюют, рубятся на славу. Бойцы и командиры, все. Но есть жалобы от жителей... Видно, имеются сучьи элементы. Грабят, мародерствуют. Принять надлежащие меры.— Добавил с горькой усмешкой: — Сам увидишь на месте... чего недоглядела комиссия. Перфильев преподобный...

Вышел из политотдела, не прикрыв за собой дверь.

2

Остывая, Думенко начинал сожалеть о своем визите в политотдел. Цепным кобелем ворвался! Здраво рассудить, у него, комкора, достаточно и иных средств для выяснения взаимоотношений со своими политработниками. Куда разумнее пригласить военкома с Ананьиным, выслушать их. Потом уже связаться с Реввоенсоветом; Знаменский да и тот же Михайлов — по его указке, наверно, промышляла комиссия — пожалуй, разобрались бы...

Сидели с Качаловым, сортировали жалобы. О грабежах откладывали отдельно.

— В особый отдел, Карташеву,— придавил их ладонью.— Остальную... военкому. Заготовьте приказ войскам о беспощадной каре за мародерство.

Вошел Хруцкий, осмотревшись, присел на сундук. Качалов обеспокоенно задвигался, пригласил:

— Владимир Николаевич, на диван вот...

Думенко понимал: явился военком побыть один на один. Видать, совещались, а то и переговаривались с Реввоенсоветом армии. Поборол желание отпустить Качалова, нарочно вернулся к решенному уже делу:

— Приказ продумаете вместе с военкомом корпуса.

Ждал, что скажет Хруцкий, но тот молча перебирал бумажки. Вызволил из напряженного состояния Качалов:

— Может, отдать переписчику?

— Сначала закончим оперативный приказ на завтра.— Думенко выдернул из полевой сумки карту; вечером расписывали ее втроем с Абрамовым и Блехертом.—Что нам известно? Противник ведет переправу в Усть-Медведицкой, накапливает силы и в Новоалександровской.

Хруцкий подсел к столу. Вытягивая из просторного ворота гимнастерки сухожилую шею, заглядывал в карту. Думенко подвинул ее поближе к нему.

— Для окончательной ликвидации противника приказываю... комбригу Жлобе. С рассветом 24 октября, не позже 4 часов... лихим ударом овладеть Новоалександровской, сбросить противника в Дон. По завершении операции бригаду расположить в районе Ольховской. Удерживать за собой и Новоалександровскую. Не давать казакам переправляться на левый берег Дона. Комбригу-три, товарищу Трехсвоякову, оставаться в резерве. Хутор Зимняцкий. Во время наступления 1-й Партизанской быть наготове. В случае... поддержать.

— А что Текучеву?

— Двигаться на Арчеду. Раненых и больных тоже туда.— Устало прикрыл ладонью лицо.— Вы свободны, Владимир Яковлевич.

Едва пропали за дверью шаги начальника штаба, заговорил Хруцкий:

— Знакомство наше, товарищ Думенко, можно сказать, состоялось. А теперь важно впрячься мне в общее дело.

— Уверены, сработаемся?

И опять, как в политотделе, Думенко охватила жалость от болезненного вида комиссара. Кроме чувства жалости, ничего не испытывал к нему.

— Андрей Александрович Знаменский поклон передавал,— продолжал Хруцкий, не обратив внимания на едкий вопрос.— Собирался со мной в корпус, не довелось... Хвороба скрутила.

— Тиф?

— Застарелая у него болезнь: печень... В Ростов рвется. Надежды большие возлагает на ваш корпус.

Думенко расстегнул верхнюю пуговицу, обтянутую сукном.

Неожиданный поворот в разговоре застал врасплох. Давно приметил: душевные, добрые слова выслушивать ему невмоготу. Горячим клубком подкатывают к горлу, душат до слез. С детства не балован: рос на кулаке да мате.

— Надежды у него благие, у Знаменского,— сказал Думенко, отведя затуманенный взгляд от военкома.— Сперва нужно попасть в Царицын. Потом — в Ростов. Хочу того и я и те великие тыщи народу, оторванные от своих хат, земли... Но смею заверить вас... так работать — нескоро попадем мы туда. Лично у меня... руки опускаются.

— Да, эти доклады в самом деле не от доброго сердца...

— Их писали в политотделе моего корпуса.

Хруцкий опустил глаза.

— Коменданта Перфильева интересовала только работа штаба корпуса. И согласитесь, в тылах много беспорядков. Хотя я разделяю ваше возмущение...

— Спасибо. Значит, не буду тратить много слов. В корпусе беспорядков гораздо больше! Да, да. Вот они, ворох жалоб. Стекаются тут, в штабе. На каждый день хватает... для приказов. Пиши! И я, командир корпуса, пишу. Извольте спросить, они помогают, приказы? Сами по себе? Дохлая бумажка. Кто должен доводить это до совести каждого бойца?

Густо дымя, Думенко прошелся по комнате. Потом долго стоял у окна, глядя на нахохленных воробьев, обсевших забор.

— Политотдела в корпусе пока нет. Есть начальник, несколько сотрудников и до двух десятков вестовых, кучеров. Полвзвода стоялых жеребцов. Ночами жрут самогонку да за бабами гоняются.— Он резко обернулся. — Я доносов в Реввоенсоветы не пишу. Но обещаю, придет время, сам кое с кого потребую. Все без исключения должны быть там, со мной. А за сто верст от пекла... Постыдно. Воевать надо. Всем. И тогда не будет разговоров у красноармейцев.

— Для того, товарищ Думенко, меня и назначили к вам.— Голос у Хруцкого без обиды. — И я уже пытался проникнуть в боевые дела корпуса. Начальник штаба вразумительно не мог ответить...

— Боевые дела корпуса — в бригадах, полках, эскадронах.

Собрались у Хруцкого морщины на переносице: намек принял на свой счет.

Комкор и военком засиделись над картой. Дважды порывался Качалов с какими-то бумажками; не решаясь перебивать, тихо закрывал дверь. С характеристики бригад, полков и их командиров Думенко перешел к положению на своем участке. Оказалось, Хруцкий слабо ориентируется по карте: шепчет вслух услышанный населенный пункт, водит пальцем.

— Я не шибко в этом деле, Борис Макеевич,— без смущения сознался он.— Так что подсказывайте все, как школьнику.

Осмелился войти Качалов.

— Телеграмма.

Абрамова вызывают в Камышин, в штаб армии, с докладом.

— С каким докладом? — опять освирепел Думенко.— О работе штаба корпуса? Так есть прямой начальник — Качалов. Тоже чей-то донос? Или Перфильев уже постарался? Так он еще не добрался до Камышина. Может, объяснишь?

Качалов пожал плечами.

— Абрамов знает?

— Да. Звонил из Арчеды. Обрадовался. Видать, ждал ее...

— Жда-ал?

Новость озадачила Думенко. Глядел в немигающие глаза Хруцкого, раздираемый неприятной догадкой: может, хотят совсем отозвать Абрамова? Но как он обойдется без толкового начальника оперативного отдела? Не каждого назначишь на эту должность. Приказал Качалову:

— Свяжись с Камышином. Узнай, в чем дело. Сам поедешь.

— Борис Макеевич, кровь.— Хруцкий подался через стол.— Изо рта... Губу, прикусил, наверно...

У Думенко зарделись скулы. Утер поспешно ладонью подбородок, никак не мог попасть в карман галифе: там скомканный, давно не стиранный носовой платок.

3

Партизанская бригада ворвалась в станицу Новоалександровскую на рассвете. Сотня пластунов, дремавшая в мелко отрытых окопчиках и в канавах огородов у восточной окраины станицы, подняла руки. Пока сгоняли к церкви пленных, солнце встало над бурыми, повитыми туманом буграми — правым берегом Дона.

Комкор и военком нашли Жлобу в кирпичном доме станичного управления. Комбриг по случаю победы щедрым жестом пригласил утомившееся с дороги начальство к столу. Бригаду он успел принять от Федота Тучина вечером; в станицу ворвался с передовым полком. Взбудораженный, рассказывал о бое.

Думенко остудил его пыл:

— Всходит солнце... Где-нибудь на Медведице, в ветляках, откроется дивизия Сутулова. Вот сшибешься с ним, опрокинешь — тогда скажешь «гоп».

— Не пугай, Думенко.

— Я не пугаю. Я приказываю быть наготове к бою.

Жлоба немедленно встал, вышел на улицу отдать нужные распоряжения. Хруцкий, указывая ему вслед, спросил:

— Борис Макеевич, в каких вы отношениях?

— Со Жлобой? Как всякий начальник с подчиненным.

— Давно знаете его?

— Со дня создания корпуса.

— Насколько мне известно, вы давно работаете вместе. Прошлой осенью он был в Царицыне.

— Да. Мы в одно время попали под Царицын. Он с Кубани, со Стальной дивизией. Вышло так, что расформировали ее. Так что Жлоба остался без войска. А конницу забрал я.

— А чем он проштрафился?

— Это вы узнайте у него самого... Официальных документов по тому делу я не имею.

Думенко сердито отодвинул опорожненную чашку. Поймав взгляд военкома, брошенный на дверь, предупредил:

— Не нравятся мне, товарищ Хруцкий, ваши расспросы. Плохо, ежели они исходят из особого отдела. Не доверяете моему комсоставу — ладу в корпусе не быть.

— Дело не в особом отделе, Борис Макеевич... Дело в самом Жлобе. Хочу понять не столько ваше отношение к нему, сколько его к вам... Вот в чем сложность.

— Жаловался?

— Вроде того.

Вбежал Жлоба с обнаженной шашкой в руках.

— Черным-черно! За станицей. Прет дивизия Сутулова...

— А я что говорил? — Думенко вскочил, опоясался оружием. — Ну что ж, комиссар, пойдем встретим...

...Бой затянулся. Сбитая белая конница кинулась на мост через Медведицу. Там уже хозяйничали жлобинские тачанки. Косяки пуль высекали прибрежные красноталы; снопами валились с лошадей очумевшие всадники. Иные кидались с обрывистого берега. Кто-то из смекалистых пулеметчиков, утвердившись на мосту, поверх перильцев выстилал смертоносное полотнище до самого колена реки. Федот Тучин, прорвавшись на мост, тряс клинком, орал:

— Своих покрошите... вашу мать!

Комкор столкнулся с Хруцким за садами. Туда уже съехались Жлоба, Тучин, Блехерт. Утирая папахой раскрасневшееся лицо, Думенко подмигнул:

— Вот и наш первый совместный бой, комиссар...

Прищурившись, поискал за рваными тучами солнце: который час?

— Ну, теперь, Жлоба, кажи «гоп». Твоя станица.

Комбриг весь лучился довольством от удачного боя, от скупой похвалы. Весело предложил:

— Пообедать бы на радостях!

— Обедать в Глазуновской. Двигайся по правому берегу. Блехерт, отправьте приказ Трехсвоякову. Пусть оставит полк в Ендовской, в помощь пехоте. Остальным выступить вслед за Партизанской. — Укрепляя папаху, Думенко добавил: — Мы с военкомом отбываем в Арчеду.

Станица Усть-Медведицкая на правом берегу. Передав переправу подоспевшим стрелковым частям, конники, не остывшие от боя, кинулись вверх по Медведице. Федот Тучин, следуя с передовыми эскадронами, у Скуришинской нарвался на густую цепь пластунов, наступающих с бугра. Вечерние сумерки мешали разглядеть в бинокль.

— По одежде спробуй отличи, сатану их мать,— ругался комполка, берясь за шашку.— Все зараз в одинаковом.

Развернулся в седле, натужно вздувая шею, подал команду:

— Ша-ашки во-о-он!

Придерживая заплясавшего коня, военком Голозубов сказал:

— Федот Савельич, поют никак?

Выставил ухо и Тучин, прося ладонью тишины у топтавшихся позади комэсков.

— Взаправду спивают, сучьи дети. Во контра моду взяла...

— Интернационал! — прокричал мальчишеский голос.

Вскоре выяснилось, что это бригада 22-й стрелковой дивизии соседней армии. Вел сам начдив Захаров.

Стык между 9-й и 10-й был скреплен.

Глава двенадцатая

1

Белоказаки с ожесточением наседали на 9-ю армию. Правый фланг не удержался на Хопре; оставив Новохоперск, откатывался к Балашову — штабу командарма Степина.

Командующий Юго-Восточным фронтом Шорин приказал Степину воспользоваться успехом соседа, Конно-Сводного корпуса, и попятный ход своих дивизий обратить в наступление. Круглосуточно Шорин и члены Реввоенсовета Смилга и Трифонов не покидали аппаратной. Тревожно гудели провода Саратов — Балашов, Саратов — Камышин: шифрованные приказы, распоряжения, открытая перебранка, ругань, угрозы. От штабных не то что утешительного — вразумительного не добьешься. Дивизии отступают, связи телефонной с ними нет...

К свету Шорин сорвал голос. От натуги кровь не успевала отливать от набрякших век; дергал вислый, порыжелый за лето ус, хрипел:

— Степин!.. Степин!.. Тьфу ты, черт бы тебя взял совсем! Пропал опять, Балашов! Балашов! Александр Карлович! Ты?! Наконец-то. Я требую во что бы то ни стало удержать район Борисоглебска! Не отдавать железнодорожный узел... Слышишь меня?! Поворино! Стоять насмерть... Это не Сте-е-пин? Боже ты праведный... Кто? Кто это? Белобородов? Белоярцев? Какой в чертях Белоярцев! Телефонист, але... Але! Вы что, мор выдушил всех, а?! Командарма мне! Немедленно!

В изнеможении ронял руки с трубкой на расставленные колени. Рядом у другого аппарата — Смилга. Ему повезло:

— Василий Иванович, Камышин! Клюева добудились.

— С Клюевым сам... Не могу. Шутка сказать, Буденного у него отняли, а ты еще и Думенко грозишься отнять. Свихнется Клюев, ей-богу.

Смилга стоял на своем:

— Я буду предлагать Клюеву бросить Думенко на Хопер!

Шорин поморщился.

— Да поймите вы... Думенке уготовано давно место. Бить на Ростов. От Царицына через Сальские степи. Закупорить ворота и не пускать Деникина на Кубань. Иначе что получается? Мочало! Начинай все сначала...

Нависла у Смилги упрямая складка на широкую переносицу. Глубоко посаженные глаза взялись белесой изморозью.

— Товарищ Шорин, в конце концов, я член Реввоенсовета Республики. Прошу не забываться...

Непонятно оглядел Шорин сухопарое вислоплечее тело комиссара.

— Напоминания, Ивар Тенисович, излишни... Но не излишне знать и вам истинное положение дел. Степин должен остановить противника своими силами. Задержать попятный ход, перегруппироваться и перейти в наступление вместе со всеми армиями обоих фронтов. Так мыслится и главкомом. Кидать на Хопер единственную нашу ударную силу — конницу Думенко — считаю непониманием с вашей стороны военного дела.

Смилга в сердцах дунул в трубку телефона.

— Ну вот, пока мы тут спорили... Клюев пропал. Але! Але! Ну и связь!

Шорин, поуспокоившись, перешел на увещевательный тон:

— Степину необходимо разумно использовать свою конницу. На правый фланг, в район Борисоглебска — Поворино, незамедлительно перебросить конницу Блинова. Совместно с резервными стрелковыми частями создать группировку. Перекрыть дорогу генералу Сидорину на Балашов. Для этого у Степина все есть... кроме собственной инициативы да ума. А связаться с ним немыслимо, днем с огнем черт не найдет. В полночь на минуту отозвался и пропал...

— Приказ Степину уже можно доставить аэропланом, светает,— сказал Трифонов, поддерживая комфронта. На его небритом усталом лице ожили глаза. — Василий Иванович, а что если отправиться к Степину? Реввоенсовет 9-й потерял управление дивизиями. В панике, гляди...

Шорин скользнул взглядом по посеревшим стеклам окон, удостоверился по массивным серебряным часам. Согласно встряхнул тяжелой вихрастой головой:

— Вот это уже разговор...

К полудню выяснилось: никакие приказы, никакие перегруппировки 9-й помочь не в силах. Имея превосходство в коннице и автобронемашинах, белоказаки кровавым клином вбились в серые, раздерганные косяки метавшихся по степи красноармейцев. Реввоенсовет пытался маневрировать частями, вносить разумный порядок в отступление, но ничего не помогало. Теперь сам Шорин навалился на Клюева: нужен Думенко! Тот выдвинул довод: формирование корпуса не окончено. Командарма дружно поддержали члены Реввоенсовета Знаменский и Михайлов. Камышин в эту перепалку втянул и станцию Арчеда. Думенко попер чертом:

— У Конкорпуса других дел нету... как нашивать латки соседям на голую задницу?! Помогли на Медведице, воюй дальше сам.

— Пойми, Думенко, бедовая голова...— вразумлял Шорин.

— Нашли затычку. В каждую дыру суете. У корпуса своя задача. Главком поставил: Царицын — Ростов!

— Армия гибнет...

Комкор сдался.

— В наступление перейду через двое суток, товарищ комфронта. Последние бои на Медведице изнурили лошадей и бойцов...

Шорин обессиленно привалился к стенке. Смилга едва не выхватил у него трубку. Не слушая, багровея, кричал:

— Бросьте, Думенко! Приказывает Реввоенсовет фронта. Нынче же перейти Конкорпусу в наступление! По Хопру! Вдоль железной дороги на Поворино... За неподчинение — выговор!

Долго не мог успокоиться Смилга. Вышагивая по вытертому ковру, досказывал, что не успел выкрикнуть в трубку:

— Самостийники царицынские! В прошлом году собрались там... Разогнали! Теперь эти... Клюев! Не командарм — тряпка! Взнуздать не может горлохвата, анархиста...

Откашливаясь дымом, Шорин неодобрительно усмехнулся:

— Думенко взнуздать? А зачем? В том и сила его...

Смилга остановился посреди комнаты; скрестив неспокойные руки, пытливо засматривал в глаза комфронта.

— Не слишком ли носитесь вы тут с ним...

— Он прав. Этот конный корпус тоже создавался не для затычек. Думенко знает про то не хуже нас с вами... И отстаивает. Не его вина, что кое-кто из командиров потерял голову. Назначение корпуса он видит в широком наступлении. И прошу, товарищ Смилга, избавьте меня от ваших намеков... Думенко я знаю как командира. Не менее известен он и Республике... А приказ он выполнит. Уверяю. Вслед за выговором будете еще слать ему благодарности.

Сердито прокашлявшись, Шорин положил крестьянские кисти рук на карту: давал понять, что разговор желает сменить.

2

Перевалив реку Медведицу, Конно-Сводный корпус вошел в район действия 9-й армии.

Как ни тяжело поступать наперекор своим желаниям, события и каждодневные заботы вскоре поглотили Думенко. Притупилась и личная обида — выговор. В конце концов воевать везде одинаково; дорог к Ростову — Новочеркасску много. Непременно через Царицын? Много дум он передумал об этом в ночные бдения у карт. Следя за наступательными действиями Егорова, Южфронта, рисовал в воображении предстоящую операцию разгрома Деникина. Два фронта! Семь армий сомкнулись локоть к локтю, готовые обрушиться на деникинцев. Одна 9-я вывалилась из общей стенки, будто звено плетня на базу, сваленное бураном. Белоказачьи полки верхнедонцев и хоперцев, отчаянные, хмельные от крови, не желая отдавать Советам ни аршина донской земли, дрались насмерть.

Именно его корпусу поручено помочь 9-й встать на ноги. Сперва думалось просто залатать дыру... Не-ет. Задача куда сложнее! Прикидывая глазом, выверяя линейкой, к удивлению, обнаружил: из Царицына на Ростов путь не самый короткий. Казалось, движением по Хопру он удаляется от заветной цели. Ничуть.

Под ночлег в Кумылге комкору и военкому отвели казачий курень по соседству со школой, где разместился полевой штаб. Думенко приказал Блехерту собрать комбригов с политкомами в курене. Не было сил тащиться через грязную улочку, да и неохота оставлять натопленную горницу с уютной лампадкой под образами. С помощью вестовых пожилая хозяйка приготовила ужин.

Заговорились до петухов. Жару подбрасывал, как и всегда, Фома Текучев. Из кожи лез, крыл высшее начальство: все еще не видел смысла в боях на Хопре. Из комбригов его поддерживает Трехсвояков. Жлоба помалкивает. Защищает приказ комфронта Хруцкий.

— Корпус наш в основном казачий, — доказывал Хруцкий.— Казачья беднота с Верхнего Дона, Хопра... И воюют они против своих же станичников — офицеров, атаманов, богатой верхушки. Это придает бойцам силу, распаляет ненависть. С какой злостью они кидаются в атаки! Вы поглядите...

— Мы-то видим каждый божий день, — Фома выставил зубы в ехидной усмешке, — нехай другие поглядят...

Думенко насупился. Фома целил в самого Хруцкого. Правда, не может военком сломя голову кидаться с шашкой, орать навстречу ветру во всю глотку. Болезнь сидит в нем, видать, издавна. В седле ли, в тачанке потрясется — всю ночь корчится. Хворь скрывает. Старается лечь особо, за перегородкой, а то в сосед-

ней хате. Ссылается на кашель, храп. Борис раскусил уловки комиссара, по деликатности не говорил ему об этом. Зато всячески, под любым предлогом оставлял его при Носове, коменданте, не таскал за собой по курганам.

Хруцкий сделал вид, что не понял намека Текучева, продолжал:

— Ненависть классовая! Насмерть сцепились лютые враги, извечные. Бедный, обездоленный, какой веками гнул горб, и кровопийца...

— До дела ближе, — не утерпел опять Фома.

Думенко испытывал неловкость перед военкомом и в то же время разделял настроение Текучева. Ему вдруг Фома живо напомнил Гришку Маслака: такой же насмешливый, прямой.

Хруцкий в споре не сдавался:

— Войска генерала Сидорина не из атаманов да офицеров. Большая доля — такая же беднота. Мобилизованная, согнанная под знамена белогвардейской плетью. Правда, офицерье им внушает, что они выше, знатнее мужика саратовского, пензенского, воронежского. На передний план выдвигает сословную рознь: мужик ступает вонючим лаптем на казачью землю, оскверняет безбожием Дон. А что получается, когда сталкиваются с нами? Вся генеральская пропаганда летит к чертовой матери.

Логика мысли комиссара невольно покоряла. Даже Фома присмирел, куда и девалась спесь рубаки, здорового казачины, перед человеком болезненным, в чем и душа держится, не умеющим шашку выдернуть из ножен. Собирались на крепком лбу мясистые складки: заставил военком думать.

Оставшись вдвоем с Думенко, Хруцкий затеял давно созревший меж ними разговор, по этому случаю остался ночевать вместе с комкором.

— Текучев прав. Военком — такой же боец, как и все. Я должен находиться рядом с тобой не только в полевом штабе... Но и там, впереди бригад. Замечаю, Борис Макеевич, ты всячески ограждаешь меня от боя. Знаю и причину. Да, тебе не такой нужен комиссар. Здоровье мое в самом деле того...

— Будет, Владимир Николаевич. Развидняться вот-вот начнет. Ложись.

Прихлебывая из хозяйской чашки остывший чай, военком вспомнил:

— Тебе знаком приказ Реввоенсовета фронта?

— Их до чертовой матери. Ежедневно шлют. Успевай отписываться о доставке.

— Приказ по политуправлению. Знаменский мне читал. Об усилении политработы в войсках.

— Не попадался вроде. — Всеми пружинами запела под комкором просторная кровать, железная, с никелевыми шарами на спинках. — Ты, Владимир Николаевич, подождешь штаб тут,

в Кумылге. Завтра он будет перебираться. Помоги, ради бога, Качалову. Тряхни его, ежели что... На сто верст хвост тащится!

Хруцкий, погасив лампу, шумно кутался в ватное одеяло.

— Политотдел готовится к проведению партийной недели. Трудность предвидим великую. Части в постоянном движении, в боях...

— Что за неделя такая?

— Агитация в частях, среди бойцов... Массовая запись в партию.

— Бойцов?

— Почему? И командиров. Кстати, ты тоже не имеешь до сих пор партбилета. Два года воюешь за Советскую власть.

— Думаешь, лучше стану воевать?

Военком разделил игривое настроение комкора.

— А может, и лучше.

— Тогда записуй.

— Я на полном серьезе, Борис Макеевич. За тобой идут тыщи народу! На смерть. Умирают за идеалы партии. Да и сам ты уже пролил немало собственной крови...

— Спал бы ты, комиссар.

Внезапная досада в его голосе не смутила Хруцкого.

— Ты не ответил.

Не скоро отозвался Думенко.

— Запишусь. В неделю партийную. Вместе со всеми.

Отвернулся к стенке: «Разогнал, черт, сон, а светом опять на холод, в слякоть...»

Ветер зло задувал в трубу, стучал плохо привязанной ставней.

3

После митинга Хруцкий слег. Наглотался дождливого ветра. Горит горло, туманится в глазах. Часа полтора выстоял на бричке перед тысячной красноармейской массой — корпусным формированием. Десятком слов не обойдешься: 2-я годовщина Октября! Разогретый, принимал с начальником штаба Качаловым под духовой оркестр парад.

Доктор долго выстукивал и выслушивал грудь, опасался воспаления легких. Снабдил порошками от кашля. Хозяйка, старая казачка, махнув на докторские снадобья, сварила чугунок картошки и заставила надышаться пару. Наутро обметало губы, но жар сняло.

Прибежал политотдельский посыльный: Ананьин вернулся из Камышина, привез пополнение — коммунистов. Ждут его, военкома. Хруцкий с помощью вестового оскоблил бритвой щеки. Хотел оставить кровать. Ноги не держат, попросил через вестового Ананьина к себе. Ананьин долго не появлялся. Хруцкий не-

терпеливо поглядывал на дверь. Нетерпение перешло в раздражение. Три недели в корпусе! И малой доли того, с чем ехал, не выполнил. Винил себя. Раскаивался, что поддался на уговоры Знаменского. Конница — не пехота. Люди не те. Будто их нарочно подбирают: ухари, отчаянные, напоказ выставляют один перед другим бесшабашную лихость в кровавой сече. Храбрость всячески поощряется командирами. Личная слава самого комкора в войсках вознесена до небес.

Зазорного в том ничего вроде бы и нет. Славу Думенко добывает собственной шашкой. Именно э т о и легло камнем поперек дороги. Делить с комкором власть поровну ему, Хруцкому, не под силу. С Думенко нужно быть рядом; владеть конем и шашкой, как он. На виду у полков. Бойцы сравнивают... Знаменский, когда посылал Хруцкого к Думенко, не скрывая необузданного нрава конника, отмечал его душевность, застенчивую доброту. И вправду, душевность проявил он к нему, человеку, явно непригодному к службе в кавалерии. Но легче ли от этого?

Нет, нет. Обойдется с хворобой, в ноги падет Знаменскому: не потянул, не смог, куда-нибудь в пехоту.. В любую часть, самую что ни на есть худшую, партизанскую.

С болью задумался и о другом. Думенко, к огорчению, прав: не видать политотдела в корпусе. Есть начальник, есть служащие согласно штатному расписанию. Люди сложа рук ни сидят. Но настоящего дела-то нет! Все — в прорву. Как вода в песок. На такую махину, серую, несознательную, с крестьянской мелкособственнической психологией, — горстка политработников. Дождевая капля в Дону! Бригадных, полковых военкомов не напасешься, об эскадронных и говорить нечего. Каждый день уносят бои, болезни. А из того, что есть, толковых не густо. Маловоспитанные, недавно принятые в партию, а то и сочувствующие. На присылку из центра надежда слабая. Надо ковать своих. С этим желанием он, военком, и ехал в корпус.

Едва ли не с первого дня ощутил сопротивление, будто в потемках натолкнулся на какую-то стену. Насторожил сам начальник политотдела Ананьин. Энергии в нем хоть отбавляй. Однако в войсках, возле комкора, понял, что деятельность Ананьина направлена не всегда на главное. Пробовал сблизиться, подсказать, по наивности подсовывал даже «Памятку коммуниста» — затасканную брошюрку, выпущенную год назад политуправлением Южного фронта,— не помогало. За обиду почел: неучем, мол, меня себе представляешь.

Как старший, он, военком, мог применять власть. Применял. Так, по мелочи. Кроме плохо скрытых обид, ничем не отвечал Ананьин, воспринимал только приказ. Но приказы в их комиссарском деле — штука не первой необходимости. Нет в Ананьине чуткости, тепла, пробиться ему в чужую душу трудно. А в такую, как у Думенко, — невозможно. Обладай Ананьин бойцовскими

качествами — куда ни шло! Пустых говорунов комкор не жалует. А Ананьина он уже успел разглядеть. Терпит: не попадается под горячую руку. А ведь попадется... Опять же заигрывание Ананьина со Жлобой к добру не приведет. Жлоба таит обиду на Думенко. Дважды сводила их судьба тут, на царицынской земле, и оба раза Жлоба нес нравственное ущемление. Кажется, подсыпает соли Ананьин...

Наконец пришел Ананьин. Оттерев с холоду набрякшие уши, подтащил к кровати табурет. Необычно оживленный, принаряженный. Из-под кожанки виднеется новый френч с отложным воротом; свежо белеет высоко побритый затылок, оттеняя худую загорелую шею.

— С праздником, товарищ военком, со второй годовщиной. А заболели, скажу вам, не вовремя... — Вытряс полевую сумку на байковое одеяло. — Почта. У Ефремова в политотделе скопилась. Привет он шлет. Поздравления праздничные от Михайлова и Знаменского. Видал военкома Пылаева, из 28-й, случайно, в поезде.

— Выздоровел он?

— Из лазарета выписали. Контузия не прошла... В дивизию не вернется. Жалеет, что вы изменили пехоте...

Обкусывая край конверта, Хруцкий ощутил неловкость: сам не меньше Пылаева жалеет об этой «измене». Пробежав взглядом листок, спросил:

— Знаменский на месте, в Камышине?

— Собирался в дивизии.

От завтрака Ананьин отказался; не пригубил и праздничную стопку. Не лезла в горло еда и Хруцкому. Знаками велел вестовому убрать со стола. Удобно умостился в кровати, облокотившись на подушку. Не перебивал, покуда речь шла об армейских новостях, тыловой жизни; выслушивая о подготовке к партнеделе, окинул проект приказа — распределение коммунистов, присланных политэкспедицией 10-й армии. Двадцать человек. Расписаны на должности политкомов батарей, эскадронов, дивизионов.

— Командиру корпуса отослали этот проект?

— М-да... Кондэ утром передал в штакор. Думаете, проект завернет? Напрасно. Приказы по политотделу Думенко подписывает с маху, не читая. Ему наплевать.

Хруцкий болезненно поморщился.

— Почему вы так думаете? И вообще, Павел Андреевич, хочу вам сказать... по-товарищески, конечно. Меня тревожат ваши отношения с комбригом Партизанской. Вы ему оказываете явное предпочтение в ущерб другим бригадам. Не поймите... я не против личной дружбы, боже упаси. Но вы, как мне сдается, однобоко прониклись сочувствием к болячкам Жлобы, не лечите, а растравляете болячки его своей жалостью. Жлоба обижен. И

наверняка напрасно... Помочь бы ему живее избавиться от тех болячек, убедить, что у Советской власти он не в пасынках, как полагает сам...

— Я знаю одно: для революции Жлоба сделал не меньше других. Из тех, какие нынче в славе, в почете, получают награды... А его держат в тени. Не Советская власть обижает его, а отдельные люди.

Вызывающий тон начальника политотдела облегчил Хруцкому разговор, вывел из состояния неловкости, скованности.

— Вот, вот, именно отдельные люди. Но вовсе не те, на кого грешите...

В серых, близко поставленных к переносице глазах Ананьина появился живой интерес: что знает военком? Перестал дрыгать ногой в начищенном сапоге.

— В Камышине напрасно не полюбопытствовали у Ефремова... — Хруцкий ударял кулаком сквозь одеяло в согнутое колено. — У них, кстати, со Жлобой давние приятельские отношения. Стальную дивизию, к вашему сведению, расформировали по прямому указанию Троцкого. А тревогу забил тогдашний член Реввоенсовета Окулов. Какие были причины? В чем видели опасность Жлобы в Царицыне? Не знаю. Да и дело давнее... Но Думенко-то при чем? Он не обижал Жлобу. Подчинил некогда конницу Стальной дивизии, теперь — самого Жлобу с бригадой, но это — приказ. Высшему командованию виднее, кому возглавлять корпус. А славы и своей у Думенко некуда девать. Даже слишком, я бы сказал. Она-то, по-моему, и гложет Жлобу. А тут вы... соли подсыпаете.

Ананьин обидчиво прикусил угол рта. Ощупывая пуговицы, покосился на дверь. Вошедшего вестового военком выпроводил.

— За резкость извините, Павел Андреевич. Я в корпусе меньше вашего, но успел приглядеться к Думенко.

— Мелкобуржуазный элемент он.

— Не торопитесь с таким категоричным выводом. Все сложнее. Да, он продукт крестьянской массы и выражает ее дух. Масса эта породила его, взрастила и выдвинула. Идет за ним! Сила дикая, степная, необузданная... Партия и прислала нас, своих комиссаров, овладеть этой стихией, внести в нее коммунистическое сознание, установить в железные ряды. А что сделали мы? Лично я, вы? Как оправдываем свое назначение? К Жлобе вы нашли тропку. Умеете поговорить с ним по душам, посидеть за одним столом... Можете ведь!

— Жлоба... рабочий, из шахтеров.

— Тем паче.

Хруцкий сердито подоткнул вывернувшуюся из-под локтя подушку. Заговорил сожалеючи, качая головой:

— Не хотите меня понять, Павел Андреевич... А Думенко, командира корпуса, за совместную службу вы, начальник полит-

отдела, совсем не знаете, видели-то его от силы три раза. Да в каком виде! Брань, крики... В той же Арчеде... А в нем не меньше болячек, чем в любом из нас, он тоже нуждается в теплом, участливом слове...

Заметив нетерпеливое движение пальцев начпокора, Хруцкий умолк. Подступило удушье. Откашлявшись, вернулся к началу разговора:

— Распределите пополнение коммунистов по всем бригадам. Да отправляйте немедля. Нет нашего партийного влияния в частях. На бригаду полтора десятка политработников не приходится. И какие они! Самих еще воспитывать да воспитывать...

— Сотни бы три, пять! — оживляясь, сказал Ананьин. — Рабочих, от станков, Подчинили бы, пожалуй, стихию.

— Фронтов много, всюду нужны политработники. Открывать надо свои курсы, при политотделе.

— А откуда взять?

— Формирование под боком. А лучше — из эскадронов, обстрелянных. На пару недель хотя бы собрать...

— Думенко ни одного не отпустит из строя!

— РВС решит. Вы наметьте через военкомбригов людей, самых боевых, рубак. Политработники тоже должны быть рубаками. Кстати, товарищ Ананьин, в октябре рассылали приказ Реввоенсовета фронта. О политработниках.

— Есть таковой. При мне. № 80.

— Читал, не трудитесь. Комкора почему не ознакомили?

Ананьин, застегнув опять сумку, поерзал на табурете. В худощавом лице, нахмуренном, появилась неловкость. Но это было короткое замешательство.

— Не счел нужным. Приказ не оперативный.

Лучше бы оправдывался! Стараясь не сорваться, Хруцкий недовольно сдвинул брови.

— Реввоенсовет фронта правильно считает... Явление совершенно недопустимое, когда политработники сидят в тылу и забывают о фронте. Прямо приказывает разгрузиться от застрявших в штабах коммунистов. И у нас в корпусе таких немало... Приказ тот объявить войскам.

Ананьин резко встал. Взявшись за дверную скобу, осилил себя.

— Владимир Николаевич... это подливать масла в контрреволюционный огонь! Знаете же, что говорят о нас, комиссарах... Тычут нам в нос упреки разные... Попробуйте огласить этот приказ — беды не оберетесь. Он для нашего внутреннего пользования, сами во всем разберемся, сделаем выводы.

— Вот даже как! — Хруцкий на этот раз был откровенно насмешливым. — Для внутреннего пользования! Нет, товарищ Ананьин, скрыть этот приказ — значит, ничего не поправить. Трусость это!

Распределив заново пополнение коммунистов по частям, Хруцкий отпустил Ананьина. С тяжелым чувством глядел на захлопнувшуюся дверь.

4

Дня три лили дожди. Землю расквасило. Дороги развезло. Стремительно начатое с реки Медведицы наступление приостановила Кумылга — левый приток Хопра. Однако потом разведрило, верховый ветер сушил открытые места, бугры. Подтянули увязшие орудия, пулеметные тачанки, брички с боеприпасами, продовольствием и фуражом. Короткая задержка дала отдых лошадям и людям.

Две дивизии белых переправились через Бузулук и Хопер у станицы Алексеевской, намереваясь распрямить смятое на Кумылге левое крыло 2-го Донского корпуса. Ни остановить, ни задержать думенковскую конницу казаки не смогли. Вырвавшись за Бузулук, бригады — Партизанская и Горская — громили донцов и хоперцев возле станиц Аннинская, Ярыженская, Дурновская; 3-я Донская разбила казаков у станицы Алексеевской.

Комкор нагрянул на Бузулук из Алексеевской. Штаб подтащился из Михайловки железной дорогой на станцию Филоново. Комендантская команда еще не приступила к выгрузке вагонов. На вопросительный взгляд Думенко Качалов неуверенно ответил:

— Приказов о передвижении пока никаких нет. Благодарности одни. — Он на ходу потянулся к полевой сумке, висевшей на спине, как у почтальона.

— Веди сперва умыться.

Домик, деревянный, с жестяной крышей, облюбованный квартирьерами под штаб корпуса, стоял тут же за путями, с садом на выгон. Старуха предложила горячей воды. Неудобным показалось Борису умываться в комнате, на глазах хозяйки.

— Непривычные, бабуся, мы к панской роскоши. Теплая вода, да еще в хате. На дворе не трескучие морозы.

Старуха качала простоволосой головой, обидчиво поджимала вылинявшие губы.

— А стращали... Важный какой-то, навроде самого енерала. Отваривала воду, чугун цельный. Не тебе, стало быть.

— Тот не явится.

Думенко подмигнул Мишке: давай, мол, за мной. Ухватил ведро с холодной водой, вышел на крыльцо. Вслед поспешил и Качалов, прочел телеграмму Реввоенсовета фронта: «Командиру корпуса товарищу Думенко... За № 385 от 5 ноября сего года... От имени РВС Юго-Восточного фронта объявляется благодарность доблестному корпусу за его лихие и молодецкие дела, храбрецов представить к награде».

— Подписал кто?

— Шорин и Трифонов.

Скомкав ремни с шашкой и наганом, Думенко кинул их ординарцу. Раздражало комкора то, что Смилга не подписался. В Саратове его нет или не забыл недавний шум? Выговор нашел время подписать. Одолела все-таки обида. Снимая шинель, френч, плохо слушал Качалова, читавшего приказ Клюева, Михайлова и Знаменского, в котором те отмечали последние бои.

— Про Алексеевскую еще...

— «...в бою у станицы Алексеевской 2 ноября 1919 года доблестными частями Конкорпуса Думенко одержана блестящая победа, взяты богатые трофеи: 1000 пленных, 50 пулеметов, 2 орудия, 500 подвод разного груза. От лица армии поздравляю молодой корпус с блестящей победой и приношу глубокую благодарность командиру корпуса товарищу Думенко, всему комсоставу, политкомам и героям-бойцам. Командира 3-й бригады товарища Лысенко, врио командира товарища Трехсвоякова представляю к награждению орденом Красного Знамени, а полки 3-й бригады — к почетным знаменам. Уверены, что доблестный корпус своими действиями разобьет наголову белых бандитов и принесет не одну победу Советской Республике. Ура красным героям!»

— Ур-ра! — вскрикнул Мишка, округляя синие глаза: они с комкором сами рубались в 3-й бригаде.— Только вот как понять... Лысенко-то самого в бригаде нема! За что ему орден?

Думенко осадил его взглядом: не суйся, куда не след. Закатывая грязный рукав, недовольно сказал Качалову:

— Сводки вовремя не отсылаешь, Владимир Яковлевич. Жлоба и Текучев тоже поработали в Аннинской, Ярыженской и Дурновской. Приказ этот пока не объявлять войскам, чтобы не вносить разлад в бригады. Хруцкий с приказом знаком?

— Да. Совсем слег комиссар... Корпусного доктора я послал.

Над самой крышей пролетел аэроплан. Шум мотора вдруг оборвался за садом, на выгоне.

— Откуда он?

Думенко выплеснул воду из пригоршни, глянул на обмертвелое лицо ординарца: сомнений не было — аэроплан чужой.

— Сел! Сел!

На крыше сарая прыгал Володька, вестовой, размахивая треухом.

— На выгоне! Винт крутится слабко... Во! Стал! И другой приземлился!

Во двор вскочил на разгоряченном коне Ямковой. Не отдышится.

— Артиллеристы, сволочи... Пехота! Летчиков... Сапоги стаскивают. Вроде наши аэропланы...

Вскочил комкор в седло. В исподней сорочке с закатанными рукавами, без папахи. На всем скаку ворвался в сбежавшуюся кучу солдат. Возле крыла топтался беловолосый летчик. Без сапог, раздетый. В руках грязная, в коричневых пятнах, портянка. На вывороченной из-под ремня гимнастерке ни одной пуговицы.

Тут же, сбросив на полынь шинель, примерял на себя потертую промасленную куртку рыжеусый верзила; бурел от натуги, не влезет в рукав. Думенко ухватил его за ворот, встряхнул. Кто-то выстрелил; Борис крутнулся на выстрел. Шагах в семи — второй артиллерист, примерявший сапог летчика, снова целился наганом в него...

— В Думенко стреля-юу-ут!

Голос дикий, сверлящий. Артиллерист с наганом опешил: неужели это сам Думенко?! Немо пялившая глаза толпа колыхнулась. Загудел под копытами подмороженный выгон — подскакали ординарцы.

Потрогал Борис переносицу — ощутил ожог. Пальцы в крови. Вытер о потник. Хватаясь за стремя, ползали на коленях оба артиллериста. Брезгливо морщась, он толкнул шпорой коня: не мог глядеть в одуревшие, заплаканные лица. Ощупывая нос, возле сада уже, сердито сказал ординарцу:

— Наказать их хорошенько, мерзавцев! Чтобы долго помнили... Но в трибунал не сдавать.

5

До полуночи задержался комкор в Филонове. Оказалось, тылы застряли в эшелонах по всем станциям до самой Арчеды. Пропал где-то и главный снабженец, Лебедев. Думенко напустился на начальника штаба:

— Артдивизионы задыхаются без огневых припасов, а вы имущество штабное приволокли, бумажки, барахло... Снарядами, патронами набили бы лучше вагоны.

Сердито отодвинул глиняную миску с окурками. Откинувшись на стуле, трогал рану на переносице. Боль утихла. Черт побрал бы этих пушкарей, грабителей; возьми пуля глубже — хана. Слепой или... Цепенея, открыл глаза — отогнал жуткие мысли.

— С Лебедевым вел уже разговор... Теперь с тобой. Стоячая жизнь для тылов корпуса закончилась под Царицыном. А что вижу? Табор цыганский, а не воинскую часть.

Качалов обидчиво поджал губы.

— Измотался, Борис Макеевич. Военком Хруцкий еще давил. Помогал. А мы с Ананьиным бегаем днями по железнодорожному начальству. А толку? Никто нас не признает.

— Моим мандатом комкора действуй. Станционников не осилить... Встряхнул за ворот — будут и паровозы и путя свободные. Как так! Ты мой первый помощник. Нет, Владимир Яков-

левич, во всей этой тыловой бордели ответчик один — ты. Усматриваю личную твою нераспорядительность. Не с Ананьина, не с Лебедева — с тебя спрошу. Наведи же порядок в тылах! Дай возможность воевать бригадам без оглядки. Боепитание и людские резервы. Умри, а доставляй в срок... Иначе...

Не договорил. Пристукнул в колено кулаком, выжидающе оглядел сидящих. За столом кроме Качалова политком штаба корпуса Васильев и комендант Ямковой. Оба молчат, понурив головы: не хватает духу подать голос в защиту своего непосредственного начальника.

— Камышин на проводе будет? Не могу я полсуток еще ждать.

С места сорвался Ямковой — рад исчезнуть долой с разгневанных глаз комкора. За ним вслед удалился Качалов. Штабной политком, один на один, не выдержал нудной молчанки.

— Вчера Ананьин докладывал Реввоенсовету о болезни Хруцкого.

— Выходит, связь имеется?

— Не прямая. Через 38-ю.

— Давайте 38-ю!

— Где-то обрыв на линии... Михайлов приказал Ананьину оставаться за военкома.

Переняв взгляд комкора, Васильев добавил:

— Будет врио, покуда не подошлют подходящего человека. Приказы скреплять ведь надо.

— Военком корпуса, как я понимаю, не только скрепляет приказы... А Ананьина самого нужно плетью выгонять из политотдела.

— Да, Ананьин не Хруцкий.

Вернулся Ямковой.

— Борис Макеевич, на охотника и зверь... До вас тут... Начальство дорожное.

Думенко отнял спичку от папиросы; выдыхая дым, недовольно сказал:

— Я никого не вызывал.

— Знакомец, говорит. Не из местных: на дрезине прикатил. Я к тому... Гляди, помощь окажет с транспортом.

Отступил от двери, впуская Качалова и «знакомца». В самом деле лицо знакомое: глаза, вздернутый нос...

— Вижу, не вспомнишь, Борис Макеевич.

Гость снял фуражку, выставился на свет. Улыбаясь, тер бритое лицо, будто разглаживая бородку. Подсказал этот жест.

— Клименко! Иван Тимофеевич...

— Он самый.

Пожимая руку, Борис допытывался:

— Бороду куда подевал?

— Вспомнил...

Разрядил гость нудный гнет, будто в душную горницу надворного воздуха впустили. Оживился больше всех комкор: избавился от пустого, никчемного объяснения со штабными. Потеплели глаза, голос.

Клименко с видимым удовольствием принял папиросу из портсигара радушного хозяина.

— Проездом я, Борис Макеевич. Задержал слух... Думенко, мол, тут. Ранен. Свои пальнули.

— Были дела. Сам-то где нынче?

— При РВС 10-й. Возвращаюсь в Камышин, из Балашова. Принял в ведение железную дорогу, эту ветку, поворинскую. Я же инженер-путеец.

— Ты-то и нужен мне позарез, Иван Тимофеевич. Распорядись, пожалуйста, стронуть с места мои грузы. По всем полустанкам от Качалина застряли. Самому проскочить бы... Корпус втянут в бои по Хопру. Такое, хоть разорвись.

— Зачем рваться? Нам и самим выгоднее очистить линию. Я и проезжаю с инспекцией.

Думенко обрадованно подмигнул Качалову.

— Владимир Яковлевич, негостеприимный ты хозяин. Самовар мог бы уже шипеть на столе.

Качалов расщедрился: выставил бутылку спирта. Разговор держался на госте. Вспоминали первую встречу на станции Целина, за Манычем. Следя, чтобы стакан у Клименко не пустовал, Борис согласно кивал; иногда переспрашивал. Весна 18-го — времена давние, многое уже выпало из памяти.

Связи все не было. Молчал Камышин, не откликалась и 38-я. Клименко, желая унять досаду комкора, предложил свои услуги:

— Послезавтра буду в Камышине. Клюеву что передать?

— Всех дыр наших не залатаешь, Иван Тимофеевич. Об эшелонах не забудь. Нужны работники в части, политкомы. Кавалеристы. А тут военкома лишился... Заболел, вчера отправили в лазарет. Попроси Знаменского, подыскали бы они человека крепкого. Не только на язык, в седле бы сидел. Опереться не на кого. Один я.

Так и не связавшись с Реввоенсоветом армии, комкор велел закладывать тачанку.

Глава тринадцатая

1

К середине ноября окончательно определилось направление главного удара — Курск, Харьков. Южному фронту ставилась задача разбить Добровольческую армию, основную силу Деникина, овладеть Донбассом. Главком неохотно расставался со сво-

им планом — ударом по Донской области на Батайск — Ростов. Теперь войскам Шорина отводилось направление вспомогательное; в полосу активного действия Юго-Восточного фронта попадали Конно-Сводный корпус Думенко и 9-я армия.

Рубились конники между Хопром и Доном. Громили тылы и фланги 3-го и 2-го Донских корпусов по долинам речек Криуши и Подгорной. Налегке, без громоздких обозов налетали побригадно, а при нужде наваливались скопом на белоказачьи пластунские и конные части; отменно работали корпусная артиллерия и пулеметные команды на тачанках.

Ранним утром Думенко выехал из Новой Криуши вслед бригадам. Лепил густой снег; в низинах, по бурьянам, копился едучий туман. Хмуро поглядывал с тачанки на часто попадавшиеся на обочинах дороги трупы лошадей и казаков. Снег их уже притрусил. Свои, чужие ли? Красноармейцев хоронили в центре села — под винтовочный салют. Всех тут разве соберешь? Может, кто и остался, принятый за белого...

Неделю кряду по речке Криуше в тесном пятачке воронежских сел Солонка — Криуши — Кругловский шла рубка. До шестнадцати полков кавалерии сгруппировал враг, пытаясь обойти слева и прорваться на Манино. Только вчера в ночь Партизанская и Донская бригады отбросили их на юг к Дону, станицам Казанской и Вешенской; с рассветом кинулись в преследование...

От боев мысли комкора обратились к раскиданным по Хопру своим тылам. Когда еще через Марка Колпакова, порученца, послал приказание Качалову оставить станцию Филоново; погрузившись на брички, двигаться на Правоторовскую, Манино. А нынче тылам нужно быть в Калаче, под рукой. Не сегодня-завтра переправа через Дон. Как и предполагал, от Богучар самый короткий путь к Новочеркасску. Окажись он сейчас на правой стороне Дона — взятие Новочеркасска было бы делом считанных дней. Новый год встречали бы в атаманском дворце на Соборной площади...

С гневом подумал о нерасторопности начальника штаба. Явно не по плечу ему сложная организационная работа: вяло Качалов действовал на Иловле, когда не было еще движения, а теперь и вовсе у него все из рук валится. Начснакор Лебедев тоже не шевелится. Не помог давний разговор. Не догоняют даже летучки с огнеприпасами и продовольствием. Ничуть не лучше и Ананьин. Помощи никакой. Пожалел о Хруцком...

Покачиваясь на рессорах, Думенко опять ощутил тревогу за предстоящую переправу через Дон. Морозы, жавшие последние дни ноября, вдруг опали. Ветер подул с запада, нагнал сырых снежных туч; земля, отогретая под снегом, густо паровала по утрам, окутываясь туманами. Лед в мелких речках успел взяться: держит коня с всадником. А на Дону? Навряд ли. Надежда

вся на переправы. Сейчас и двигался он в Петропавловку, куда ушли Партизанская и Донская бригады, чтобы лично заняться переправами.

Из снежной наволочи вынырнул всадник. Вестовой Горской бригады. Разгребая красными пальцами усы, забитые снегом, запинался:

— Текучев... Беда! Живой будет али не, пока сам бог знает.

Упало у Думенко сердце. Оказалось, под хутором Солонка, напоролись на свою 14-ю дивизию. Дважды кидался сам комбриг с шашкой на поднявшуюся в штыки свою же пехоту.

Блехерт, сидевший по другой бок пулемета, дознавался у черного вестника:

— Потери какие?

— Не скажу в достоверности... И убитые есть. Особо кони. Пулеметы ить и те пошли в ход.

Стянул Блехерт с папахи башлык. Нервно дрожали у него ноздри.

— Вы что?! Без глаз там, все, а? Когда случилось?

— По-темному ишо.

Спустились с бугра. Неподалеку от проселочной дороги, возле скирды, спешенная конница — вся Горская бригада. Завидя комкора, бойцы молчком расступились, образуя коридор.

Лежал Фома на тачанке поверх вороха сена. Голова — на коленях сестры милосердия, худенькой девчурки с заплаканными глазами. Шевельнулся, силясь упереться на локоть, привстать.

Думенко удержал: лежи. Скорбно глядел в обескровленное лицо комбрига, но словами утешал:

— Крепись... Да двигайся меньше. В Саратове такой есть доктор... Ого! Мертвого на ноги поставит. Спасокукоцкий, Сергей Иванович. Профессор. Нас с Егоровым отходил. Записку черкану ему. Он живо заштопает.

Силком разлеплял Фома искусанные губы, наказывал:

— Бригаду... никому не отдавай... Вернусь я...

— А куда денешься? Родионов покуда покомандует.

Провожал Думенко повлажневшим взглядом тачанку. Сердце болело за друга, но оно не чуяло, что у самого большая беда уже топчется за спиной.

2

Нынче впервые выпал день, когда все бригады собрались в одном месте. Партизанская сосредоточилась в Петропавловке, Горская и Донская — в Бычке.

С утра комкор отослал Марка Колпакова с распоряжением к Абрамову о перемещении полевого штаба в Бычок. На словах добавил, чтобы тот собрал к вечеру старших командиров и политработников. День провел в передовых эскадронах, выстав-

ленных к прибрежным, пока чужим, хуторам на левом берегу Дона; в бинокль ощупывал насупленные бело-синие яры правобережья. На изгибах тускло, плохо оттертым лезвием шашки отсвечивал лед. Попадались черные цепочки — люди. Лошадей, бричек не видать. Выходит, не держит лед в этих местах, но движение по этой стороне есть, самым берегом; оно скрывается камышовыми крышами, садами, ветляком. В прогалинах, просматриваемых до самой реки, проулках, просеках, мелькают одиночные и строем всадники, проходят тяжелогруженые брички, возилки с сеном.

Не отрываясь от бинокля, Думенко переговаривался с Григорием Шевкоплясом и Блехертом, сопровождавшими его.

— Где-то выше все-таки переправа. В Подколодновке в самом деле нету...

— Брехать буду тебе?

Недовольно дергал Шевкопляс вислый рыжий ус. Другая неделя как он в корпусе. Сдав 37-ю дивизию Павлу Дыбенко, больше месяца слонялся в армейском резерве: кутил, таскался по камышинским казачкам, заливая самогонкой обиду. Ехал в корпус с явной надеждой восстановить свое имя и доказать кое-кому, что он, Григорий Шевкопляс, не лыком шит и для революции человек вовсе не потерянный. Дадут ему бригаду. Правда, бригада далеко не дивизия. Больше года назад был он в комбригах. И черт с ней. Зато в корпусе Думенко! Слава всего фронта. Опять та бригада пехотная, это ему больше по душе. Посадит бойцов на брички. Когда-то на Маныче, в конно-пешем батальоне у Думенко, так и сделал Гришка Колпаков: усадил роту на колеса и за полдня отмахал от Казенного моста через Великокняжескую до бродов, в хутора Кривое, Баранниково, преградив путь коннице Эрдели. Небось и он не отстанет от конников.

Однако когда явился Шевкопляс к Думенко, тут оказалось еще хуже: никакой пешей бригады нет.

— Сам видишь, Григорий Кириллович, не обманываю, — объяснялся Думенко при первой встрече. — В боях меньше теряю, нежели болезни эти... Тают людские резервы, вроде мартовского снега. Не успеваю пересаживать в седла. Есть стрелковый полк, 2-й Рабочий Симбирский. Один покуда. И то не уверен: завтра и симбирцев могу обратить во всадников. Трофейных лошадей — ого! Оставайся при штабе. Начальником разведки корпуса. Дело вовсе новое, на днях ввели эту должность. Не по душе, скажешь. Не буду неволить.

Что тут было делать, согласился стать начальником разведки... Двое суток он, Шевкопляс, лазит в ветляках, по бурьянам, а толку ни на закрутку махры. Какого ни на есть придурка из Подколодновки или Журавки перенять бы в лозняках, расспросить о ближних переправах через Дон. Не догадался выслать в казачьи хутора переодетых разведчиков или снарядить из Пет-

ропавловки дремучего деда до кума. Нет, не по нем это дело, разведка...

— Ладно, Григорий, — сказал Думенко, разгадав думки Шевкопляса. — Продолжит твое дело Блехерт, а мы зараз в Бычок... Совещание Абрамов назначил на вечер.

Всю дорогу, верст шесть, ехали молча. Григорий первым не выдержал. У хуторских гумен подбил ближе к стремени комкора буланого жеребца, высказал напрямки:

— Борис, послушай... Чего ту пешую ждать? Назначай заместо Фомы Текучева на Горскую бригаду. Ужель не потяну. Небось моя бывшая...

Переплясывая тонкими черными ногами, Буран недовольно замотал головой: просил повод. Поддал комкор шенкелями: не озоруй.

— Не потянешь, — ответил Думенко, поймав настороженный взгляд Шевкопляса. — И разговор затеваешь пустой, Григорий...

— Я хуже Трехсвоякова? Или, скажем, Жлобы?

— Нет. Для меня даже лучше. С конницей тебе не совладать. Не пехота. Это раз. И потом... те сами ее формировали. Возьми Жлобу...

Скручивал Шевкопляс цигарку, скорбно качал головой:

— Во, во... Жлоба этот самый и продаст тебя со всеми потрохами в удобный момент. По чьей милости, думаешь, тогда летом раскрошили беляки 39-ю да 32-ю под Тишанкой, а?

— Ты вот что, Григорий... Не вноси смуту. Революции нету дела до твоих или моих болячек. Победы ей нужны. От нас. А с таким духом, как у тебя зараз...

Дал повод Бурану. Ехали по тесному проулку, сдавленному садами, огороженными низкой стенкой из камня-ракушечника. И опять напросился на разговор Шевкопляс. Въезжая в просторное подворье хуторского правления, где остановился полевой штаб, сказал:

— Отпусти, Борис... Не уживусь я с твоими штабными. По глазам вижу, на смех подымают. Даже щенок, Марк... и тот глядит свысока. Болтаюсь под ногами у тебя, вроде навозу в проруби.

— Денешься куда?

— Напрошусь до Буденного.

— Больно нужен ему.

— Свои там, манычские, сальские. Не забыли небось...

— Выкинь из башки блажь. Да поменьше к самогонке прилаживайся. При мне будешь порученцем. Марка — на разведку.

3

Совещание открыл Абрамов. Стоял он за столом, высокий, женственно красивый, с темными дугами бровей, отделявшими

от чистого лба глубокие впадины глаз. Изящным жестом поправлял копну волос.

Думенко, отрывая заусеницу, исподволь оглядывал собравшихся. Народу полно, уже успели начадить Федот Тучин, Трехсвояков, Дронов с белевшей повязкой на руке... Его тоже угораздило у Солонки с Фомой Текучевым под пули своих пехотинцев. Михаил Лысенко? Он. Выздоровел. Добро. Можно теперь Георгия Трехсвоякова перекинуть на Горскую. Ого! Гости нынче... Начпокор Ананьин. Соизволил-таки пожаловать в его, комкоровские, владения. Сутками гоняются за ним вестовые, чтобы тот скрепил за военкома приказ. Нет в политотделе — ищи в Партизанской; а в другие бригады, тем более в полевой штаб, будто заказана ему дорога. А кто это рядом с ним? Глазастый. Не из штаба армии? Что-то быстро строчит на коленях...

Подсказал Дороня Носов, стоявший за спиной:

— Кондэ. Редактор нашей газеты «Красная лава».

Верно, фамилия встречалась в личных списках. А что редактор — не слыхал. Да и газеты самой пока не зрил. Там, возле политотдельцев, и Жлоба. Гнет до колен голову, окутывается дымом. Дружба с ним явно не завязывается. Снаружи будто бы отношения чистые, как верхний слой воды в речке, муть копится в глуби. Началось едва ли не с первого вздоха корпуса. Приказал Жлобе передать в распоряжение комбрига Текучева два орудия, захваченные у белых, со всеми зарядными ящиками. Жлоба выразил за глаза недовольство: одни, мол, воюют, другие пользуются трофеями. Когда получил распоряжение об отводе из станицы Качалинской своей бригады, чтобы дать место другим частям, снова возмутился, но опять-таки за глаза. До него, комкора, доходили только слухи. Кичится, заносится своими победами Жлоба, осуждает приказы, ругается, сволочит штабных, и все также — за спиной. Блехерт указывал на его фактические ошибки: воюешь бездумно, неграмотно, кидаешься в бой всей бригадой, скопом, не оставляешь резервов. А тот в ответ Блехерту: контра, сволочь. Обиженный, Блехерт приходил с жалобой. Не придавал значения слухам: прочь гнал жалобщиков, шептунов. Отчитал в тот раз и Блехерта.

Нет, он, Думенко, не скатится до того, чтобы строить свои отношения с подчиненными на грязных слухах. Что видит сам? Жлоба воюет, честно воюет; рискует ежедневно своей головой. Другой разговор — как? Один бой удался, другой — нет. Всяко случается. Как у любого из комбригов. Грамота военная у всех одинаковая: окопы германской да вот два года своей, гражданской. Жлоба тоже до гражданской познал солдатчины. Указывают ему на ошибки Блехерт и Абрамов? Дельно. Спецам положено знать военное дело, по должности обязаны спрашивать...

Думенко опять обратил взор на Абрамова. Хмурясь, силком

заставляя себя вслушиваться в слова. Докладывает начоперод о боях от Хопра до Дона. Не в пример Качалову, не пользуется бумажками, хотя их на столе ворох. Без запинки называет цифры, фамилии, населенные пункты, речки, балки, тракты, большаки, высоты. Подробно остановился на позавчерашней операции по речке Криуше, на возникшей неразберихе в бригадах, жертвой которой стал лучший комбриг корпуса Фома Текучев.

— Виною тому сами комбриги.

Из невнятного говорка пробились выкрики. Кто кричит? Жлоба? Нет. Привалившись к стенке затылком, он косит глаза на Ананьина — осваивается с мнением начпокора.

— Комбриги не в точности выполняют боевой приказ, — Абрамов выждал, покуда установилась тишина. — Выступают не по указанному в приказах времени. Когда заблагорассудится. Совершенно не дают донесений. Полевой штаб корпуса находится из-за этого подчас в полном неведении боевой обстановки на отдельных участках. От этого задерживается выработка оперативных планов. А противник получает возможность планомерно отступать, группировать свои силы и оказывать сопротивление.

Что-то новое в поведении Абрамова. До сих пор неспособный на грубое слово, до приторности вежливый с подчиненными, сейчас он заговорил другим голосом. Куда девалась недавняя хандра, безразличие. Загорелся ведь!

Думенко положил ладонь на стол.

— Категорически требую от комбригов в точности выполнять мои боевые приказы. Виновных буду привлекать к строжайшей ответственности.

Поднялся Ананьин.

— Беспрекословное выполнение приказов распространяется не только на комбригов...

— Вы имеете в виду и себя?

Начпокор, хлопая скаткой бумаг в ладонь, неловко переставлял ноги в белых валенках.

— Говорите, говорите...

— Товарищ Думе-енко, именем революции я требую уважительного к себе отношения. Как лицо, ответственное перед Республикой...

— Все мы ответственны перед Республикой. Советую вам, Ананьин, не объезжать полевой штаб. Я не признаю тех, кто отходит от меня.

— А Советскую власть вы признаете?

Спросил Михаил Лысенко. Думенко сдержал кулак—не грохнул по столу. В охваченном тревожным холодком молчании просторно разлеглись его слова:

— За нее, Советскую власть, и проливаю свою кровь.

— Ничего худого я не имел, Борис Макеевич. — Лысенко поднялся, виновато развел руками.— Хотел подчеркнуть ваше упущение. Всякого в нашей свободной стране надобно выслушать и не прерывать...

— Хватит болтовни! Объяснишь в рапорте. Тут... оперативное совещание. Вопрос один: как с наименьшими жертвами переправить корпус через Дон. Прошу, высказывайтесь.

Не слушал Борис, что предлагали комбриги: раскашлялся после глотка холодной воды. Краем глаза поймал на себе испуганный взгляд Лысенко.

4

Все левобережье изъездил комкор. Усталый, разбитый, но довольный сделанным, едва добрался до Нижнего Мамона. За обедом, после крепкой бани, необычно много смеялся, шутил; выспрашивал Дороню Носова, доставившего из Камышина записку от жены, об армейских новостях, о положении под Царицыном.

— Михаил Никифорович, ты что такой насупленный? Радоваться надо... Последний поход!

Неловко копался Абрамов в потайном кармане френча. Думенко удивило странное выражение его лица.

— Что-нибудь случилось? С женой, сыном?

Абрамов протянул бумагу.

— Читайте... Это мой рапорт.

Ему, Абрамову, предъявлен ордер на арест без объяснения причины. Не считая себя виновным, просит создать следственную комиссию.

— Что за чертовщина! По чьему такому приказу, а?

— Наш особый отдел...

— Карташев?!

— Сотрудник его. Дожидается...

— Позвать! — приказал Думенко.

Блехерт, прихрамывая, скрылся за дверью.

Особист — парнишка. Бритва еще не касалась пушистого подбородка. Но занятие себе в революции уже определил: выбивать контру до последнего корешка, где бы и как она ни маскировалась. О том говорили его глаза: таращил их, силясь делать взгляд непреклонным. Больше давалась ему стойка. Вполоборота к собеседнику, с отставленной ногой в дырявом сапоге: что ни говори, мол, меня не проведешь. На стареньком крестьянском полушубке, урезанном едва не по карманы, внушительно краснела кобура. Приспособил руку неподалеку: зацепился большим пальцем за ремень.

Сдержал Думенко просившуюся наружу усмешку — вот таким кочетом и он, наверно, выглядел когда-то в парубках на улице

Казачьего. Овчинная шапка, полушубок, без нагана только...

— Откуда сам?

Не понял — дрогнули голые без бровей бугорки.

— Родился где, спрашивают, — уточнил Блехерт вопрос комкора.

— Ну... в Камышине.

— Не из дальних, — Думенко глянул на Абрамова. — Станичник никак. Не учил, случаем, его в школе? А ну, где он, ордер этот? — комкор нетерпеливо протянул руку, принял у особиста ордер, подписанный начальником особого отдела Иваном Карташевым. Усмешка сошла с лица.— Ого, еще от 26 ноября состряпали. А нынче какое?

Опали натопорщенные перья у кочета.

— Рази поспеешь за вами... Другую неделю гоняюсь по хуторам.

— Третью.

— Телеграмма из особого отдела 10-й пришла. Товарищ Карташев тут же ордер выписал и послал произвести арест. Вот я и гоняюсь за вами.

— Так что поделаешь, — язвительно сощурился Думенко. — Некогда Абрамову дожидаться, когда ты его арестуешь, ему беляков бить надо! За что арест?

— Про то не знаем. Приказ.

— Вот так, парень. — Рука комкора искала закатившийся под карты карандаш. — Передай своему начальнику, Карташеву... Впредь без меня подобного не делать. В противном случае приму свои меры.

Резким движением наискосок через весь ордер наложил резолюцию: «Аресту не подлежит как революционер и находящийся со дня революции в рядах Красной Армии».

После ухода особиста тянулось нудное молчание. Нарушил его политком штаба Васильев: уронил на пол порожний наганный патрон. Шарил под столом ногой. Поймав себя на мальчишеском деле, смущенно отвел к окну лицо. Спросил, повернувшись к Абрамову:

— Михаил Никифорович, хоть что-нибудь вы чувствуете за собой? Ну скажем, раньше, до корпуса...

Абрамов, потерянно ломая длинные бледные ладони, предполагал вслух:

— Может, Самара что? Летом из госпиталя, из Саратова, я не вернулся туда. Обратился в штаб 10-й... Оставили. Обещали уладить со старой моей частью. Тем более там, на Восточном фронте, уже не горело, а тут самый пожар... К Саратову подходили...

Поправляя волосы, будто раздумывал, договаривать, нет ли?

— Камышин у белых... Жена там... Лелька на руках, сын. И пяти месяцев не было. Не знал о судьбе... В первопопавшую

дивизию напросился, на камышинском участке фронта. Да и начинал весной 18-го в Камышине, формировал полк...

Уединившись, Думенко с политкомом Васильевым долго ломали головы.

— Арестовать человека, который с первого дня защищает добровольно революцию... Черт знает! Ты-то что думаешь, комиссар?

— Думай не думай. Хотя... Вот же Носова арестовывали на днях. Спасибо, Анисимов оказался в штакоре. Унял особистов. Пожалуйста, теперь с Абрамовым схожая картина... Без обвинения к тому же. Мне Карташев не докладывает. А я с ним и раньше говорил...

Перечитав вслух рапорт начоперода, Васильев высказал догадку:

— Абрамова недавно вызывали в штаб армии. Вы сами почуяли их уловку... Явно хотели забрать его у нас. Не кроется ли в этом аресте то же самое? Карташев — олух царя небесного. Приказали. Из пальца-то он не высосал?

— В том и беда. Боюсь, товарищ Васильев, не штабные тут уловки...

— Может, дело и в том, что не вернулся в Самару. Не исключено, Борис Макеевич, пришивают дезертирство...

— А что? Сидят там, сволочи, мудруют. На фронт их — ценили бы человеческую жизнь.

Думенко, унимая удушье, нетерпеливо выстукивал карандашом. Вспышку гнева опередил политком:

— Узелки все в Камышине. Командируйте в особый отдел армии. Попробую развязать.

— Развязать?! Шашка у меня на всякие узелки...

— И все-таки я настаиваю на своем, Борис Макеевич. А пока Абрамова оградим... Домашним арестом. Не окажись вы, щенок тот приказ исполнил бы в точности.

— Гм, правда, щенок. Настырный. Полмесяца догоняет. И насчет домашнего ареста ты, комиссар, верно... Поезжай. Проси Знаменского комиссию создать. Наизнанку выворачивай всякую сволочь, клеветников.

С облегченным чувством написал на рапорте: «Отстранить от должности и держать под арестом при штакоре впредь до расследования по обвинению Абрамова. Просить армию-10 назначить комиссию для расследования, виновных предать суду за клевету. Думенко».

Глубокой ночью в тачанке, одолеваемый заботами и тревогой о предстоящей переправе через Дон, Борис опять вернулся мыслями к Абрамову. Загораживаясь от ледяного ветра воротом тулупа, припомнил ту давнюю телеграмму от Чернышева. Пытались таким способом взять Абрамова в штаб армии; непрочь и сам тот был удрать из корпуса. С той ли целью задуман тепе-

решний арест, не важно; догадка политкома Васильева надоумила сейчас вовсе на другое... Как не подумал раньше! Полевой штарм хотел использовать Абрамова как спеца. А чем плох из него будет начальник штаба корпуса?

Глава четырнадцатая

1

На рассвете 15 декабря корпус Думенко переправился у хутора Подколодновка на правый бугристый берег Дона. Партизанская и Донская бригады, захватив Богучар, устремились на юг. Налегке вырвались, с клинком, винтовкой. Все кинули за Доном — обозы, тыловые службы, снабженцев.

Генерал Сидорин безуспешно силился разбить Богучарскую группировку красных. У Журавки, на речке Тихой, конница белых навалилась сзади на наступающие бригады. Подоспевшая Горская и части 21-й стрелковой дивизии опрокинули ее, загнали на лед; устелив серыми трупами излучину речки, белоказаки в панике шарахнулись на Ольховый Рог.

Прорывом рубежа Анна—Ребриковская—речка Тихая Конно-Сводный корпус расколол, по сути, Донскую армию на части. Сбитые, раздерганные полки ее покатились к укрепляемой спешно линии Северный Донец — станица Константиновская на Дону.

На пути наступающих встал Миллеровский узел обороны. У хуторов Усть-Широкинский и Фомин сошлись до 10 тысяч конников. С полудня бушевала сеча. То и дело оставлял комкор наблюдательный пункт — колокольню; с эскадроном охраны врывался в дрогнувшие бригады. Буран остервенело взламывал вздыбленной махиной стонущие, храпящие конско-людские глыбы. С заходом солнца остатки двух белых дивизий отошли в Криворожье.

Смертельно-бледный, с ввалившимися глазами, Думенко въехал в хутор, забитый пехотой. У ворот единственного мало-мальски доброго дома под цинком наткнулся на свой полевой штаб. Тачанки, брички; в сумерках в толпе спешенных ординарцев выделяется папаха Абрамова. Вглядевшись, угадал Блехерта, Марка, Шевкопляса.

Больно дышать, не только произносить слова — нарубался, натрудил пробитое легкое. На губах ощущал подступившую к горлу кровь; не было сил достать из кармана носовой платок.

Подскочил кто-то из вестовых.

— Товарищ командир, в дом вселилась пехота... Не выгоним! Матюкаются. Видали, мол, вас, такую мать...

Думенко тронул во двор. Часового у крылечка, высунувшего было штык, оттеснили. Молчком встал на пороге, стискивая за

спиной кулаки. В слабо освещенной горнице — двое. Стриженный, носатый возле лампы ворочал бумагами; другой, в исподней рубахе, с копной рыжих волос, чаевничал. Стриженный оторвался на малое время от занятия, равнодушно осмотрев вошедшего, опять ткнулся в бумаги. Под рыжим нудно застонал табурет.

— Прешь куда?

Рука комкора судорожно облапывала гладкую спинку венского стула.

— Вста-ать! Сволочи... Не видите... кто?!

Не слыхал ни собственного, ни чужих голосов. Подурневшие глаза застелил горячий туман...

Утром Думенко был вялый и молчаливый. Заговорил только за завтраком.

— Враг вчерашним боем сбит. Задача корпусу — не дать ему закрепиться на Северном Донце. Гнать до Новочеркасска. Я отбываю к войскам.— Помолчав, казалось, ни с того ни с сего объявил: — Со дня сформирования корпуса штабная работа не налажена. Усматриваю причину... Сложная организационная работа не по силам начальнику штаба. Приказываю Качалову сдать должность Абрамову и отправиться в распоряжение штаба 10-й. Назначаю... Блехерта начальником оперативного отдела, Колпакова начальником разведки корпуса.

Абрамов, прожевывая, страдальчески кривил девичьи брови, недоуменно оглядывал притихших за столом. Вот зачем Думенко затребовал его из тылового штакора, освободив из-под домашнего ареста.

— Борис Макеевич... надо полагать, со мной разобрались, коль такой приказ? — осмелился он спросить.

— Начальник особого отдела 10-й отменил приказ об аресте. Разве Васильев не сообщил?

— Нет, никто не объяснил. Просто убрали часового... Качалов предоставил машину: догоняй, мол.

Смешок комкора дружно подхватил Блехерт и Марк.

— В таком разе, Михаил Никифорович, причитается с тебя,— оживился Шевкопляс.— Не зараз, конечно... Куренку эту, бурду, не подавай. В Новочеркасске уж! Погреба винные, многолетней давности! Вот там и магарыч. По-офицерски...

На лице Думенко явственно обозначилась насмешка, как показалось Шевкоплясу, вызванная его словами. Григорий, сопя, ворошил в глиняной миске жирные куски свинины. Обида ложилась болячкой на душу. На этих зевластных щенков не крикнешь, ногой топнуть не смеешь: все взлетели над ним. Именно они-то, щенки, допекали своими издевками. Враз подхватывали, стаей, на лету любое словцо, усмешку командира, обращенную в его, Григория, сторону. Вот и сейчас Марк скалит зубы, перемигиваясь с Блехертом.

Обиду Шевкопляс ощутил на этот раз не от очередной насмешки. Комкор с легкостью, какой владеет клинком, на глазах у развеселой бесшабашной братии унизил его, заслуженного ветерана: всем щедро раздарил должности. Для приличия предложил бы ему тыловой штаб...

2

В новогоднюю ночь закончились богучаро-лиховские двухнедельные бои. 9-я армия и Конно-Сводный корпус спустились с Верхнего Дона на его приток — Северный Донец, оседлав железнодорожную ветку Лихая — Морозовская — Царицын. Пехота еще закреплялась, а конники, переправившись у хутора Дичинского через Донец, кинулись на станцию Лихая. Думенко и Лысенко первыми ворвались на вокзал. Распаренный, с окровавленным клинком в руке, вскочил комкор в дежурку. Казачий офицер-телеграфист рта не успел раскрыть.

— Давай Калач! В районе Лихой противник разбит наголову. Изрублен штаб 5-й дивизии. Преследую на Зверево. Враг откатывается Новочеркасск — Константиновская. Точка. Комкор Думенко.

Вытягивалось белобрысое лицо офицера, бледнело.

— Стучи!

Покуда постукивал ключ аппарата, Думенко вытер какой-то тряпкой клинок, вдел в ножны. Закуривая, мигнул пришедшему в себя телеграфисту:

— А Новочеркасск можно? Генерала Сидорина. На рождество, мол, приглашай...

— Никак нет. Со ставкой связь утром еще оборвалась.

— Жаль. Явлюсь незваным.

Через сутки из РВС 9-й армии пошла телеграмма:

Вне всякой очереди, предсовнаркома Ленину, Москва.

Калач 3 января 1920 года 14 часов точка.

ПРОТИВНИК С ЦЕЛЬЮ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ НАШЕМУ НАСТУПЛЕНИЮ БРОСИЛ ПРОТИВ НАС СВОЮ КОННИЦУ В РАЙОНЕ СТ. ЛИХАЯ ТОЧКА. КОННИЦЕЙ ДУМЕНКО ПРОТИВНИК РАЗБИТ НАГОЛОВУ ВЗЯТО 4500 ПЛЕННЫХ И ИЗРУБЛЕН ШТАБ 5-Й ДИВИЗИИ ПРОТИВНИКА ТОЧКА ПР ЛЧ

Член Реввоенсовета 9 *Белобородов*

С захватом Лихой прервалось сообщение Добровольческой армии с Новочеркасском — белоказачьей ставкой. Отрубленной рукой повис и правый фланг Донской армии: прекратилась связь со своим 1-м корпусом и Кавказской армией.

Для обороны казачьей столицы Сидорин свел всю свою конницу. Он жаждал встретить Думенко на подходе к Грушевской; согласованным контрударом 4-й донской корпус и группа генерала Голубинцева должны были отсечь голову красным — разгромить конницу.

Опытный генерал просчитался. На речке Кадамовке Думенко сдавил мамонтовцев. Конная группа Голубинцева стояла наготове в нескольких верстах в хуторе Мокрологовском. Генерал с бугра наблюдал в бинокль. Видавшего виды воина потрясла дерзость красного конника. За два года ни одна встреча с ним не принесла ему добра. Матерые рубаки, цвет Дона, дотла, как бурьян, выкашивают лапотников, пехоту; в конном строю идут на пушки, бронепоезда... Замаячат на ближних высотах голодранцы Думенко — поджимают хвосты, как псы битые...

Застыли, не шелохнутся полки. На глазах вырубают их станичников, братушек, сватьев, кумовьев. А ведь горстка?! Вдвое, втрое меньше...

Чем страшен Думенко? У него под рукой, где-то в двух-трех верстах, всегда свежая сила; появляется внезапно там, откуда ее не ждешь. Бригада, две ли. Поблизости она и сейчас. Волнуются офицеры за спиной, вертят биноклями; тревога их передается и казакам...

Недоброе предчувствие одержало верх. Генерал Голубинцев, недотерпев кровавой развязки на речке Кадамовке, свернул боевой порядок и при дневном свете увел в станицу Бессергеневскую свою конную группу.

3

Ночевали в Александро-Грушевске. Бригады расположились в близлежащих хуторах. После жаркого боя бойцы попадали с заходом солнца, как куры, едва опорожнив котелки — припозднившийся обед. Бодрствовали наряды, караулы, обозники-фуражиры, шорники, колесники: готовились к завтрашнему дню. Донимала одна забота: дотопает, докатится ли все это до Новочеркасска? Остались считанные версты. В ночь далеко к Дону, к речкам Аксай, Аюта, Большой Несветай, Тузлов, ушли разведчики...

Дотемна засиделись у карты. Всем нынче довелось потревожить в ножнах клинок. На что Григорий Шевкопляс, порученец, сутками гоняющийся по пехотным дивизиям, и тот попал в пекло: горланя, размахивая шашкой, кидался навстречу казачьей лаве. Сейчас дремал: обильная мясная еда клонила ко сну.

— Шевкопляс, не клюй носом.

Думенко подтолкнул его локтем. Глаза Блехерта и Марка ожили. Смешки, квелые, вымученные, не до громкого смеха: намахались за день.

— Слышь, Григорий Кириллович, о чем тут балачка, покуда ты всхрапывал... Не 8-го, послезавтра, брать Новочеркасск, как предписало начальство, а завтра.

Сгоняя движением толстых бабьих плеч остатки сна, Шевкопляс кивнул недоверчиво на карту:

— А как же... Персияновка? Последняя линия обороны. Вся артиллерия, бронепоезда... А танки?!

—Эка-а, да ты не весь спишь. Танки что-о? В шашки. Опыт есть. Помнишь, под Царицином? У Рассошинской. Правда, клинку малая поддержка в таком разе нужна... Пушки. Свечкой пылают бронированные кони, ладно трещат на ветерке.

Грохнули дружки в один голос — Блехерт и Марк.

— Ну, жеребцы,— Григорий, качая головой, делал вид, что обижается, а на самом деле не было сил даже вспылить.— Баб вам злых зараз... В мыло вогнать, чертей. Небось не ржали бы.

В дверную щель просунулась стриженая голова Дорони Носова. Показывал вороватo взглядом себе за спину:

— До вас...

Раскрыл дверь нешироко, заглядывая под руку, как будто впускал кошку.

Вошла старуха. Валенки дедовы, большие, растоптанные. В глухо накинутом пуховом платке. Одни глаза торчат. Обвела всех взглядом, на диво молодым, синим. Выпустила платок. Не старуха — девчонка! Да это же...

Борису сперва показалось, он спит. И ему снится... Сон давний, привычный, повторяется из ночи в ночь: дочка Муська сбросит платок, выпростает ноги из валенок деда Макея и заберется к нему на колени. Теплом будет дышать в ухо, корить: не приезжал, мол, долго за ней, она уморилась ждать... Так и есть... Она сняла платок, озираясь, повесила на руку. Из валенок не вылазила. Понурясь, смущенно глядела в пол.

Беспомощно, с какой-то оторопью, недоумением наблюдал Борис, как покидали горницу штабисты. Прохромал Блехерт, выпроваживая Носова, торчавшего у притолоки; за ним грузно протопал Шевкопляс; Марк вышел последним, на цыпочках, закрыв за собою дверь.

Муська несмело подвинулась от порога, с трудом переставляя валенки, боком, выставив плечо. Больно отозвалось в сердце: вся в маму, чистая Махора! Встал резко — стул упал к комоду. Ничего в лице от той Муськи, какая встретила его когда-то в родной хате в Казачьем. И в то же время — она, Муська.

В тяжкие дни одиночества, в тоске, он давно передумал во всех подробностях эту встречу. Выходило в ней больше радостного, светлого. Схватит на руки, стиснет в объятиях, нашепчет кучу ласковых слов. И вот она, встреча...

Отводя взгляд от чужих, невиданных ранее глаз, неморгающе

следивших снизу, потянул платок. Комкал, ощущая тепло козьего пуха.

— Сняла б валенки... Где и подцепила. Вроде деда Макея.

У дочери дрогнул рот, навернулись слезы: узнала голос.

Кинув куда-то платок, Борис подхватил ее, выдернул из валенок. Не вмещается на груди. Длинная и неудобная, как ветка жерделы. Не уловил и запаха, того давнего, неистребимого из памяти, преследующего неотступно,— кизячного дыма и парного молока. Мазутный запах исходил от нее, чужой...

— Выросла ты, Муська, ей-богу. И какая-то не такая будто.

Усадил за стол. Переворочал чемодан, сумку: искал подарки. Накладывая прямо на десятиверстку завалявшиеся куски сахара, бормотал, так, пустое. Боялся, как бы не заговорила дочь: кто же его знает, каким будет ее первое слово. И вот она отняла от губ нетронутый сахар, внятно произнесла:

— Мамки нема у нас... Вовсе нема. Я не хотела говорить...

Поразил взгляд — недетский.

— Дюже не убивайся, папка... Я у тебя есть.

Борис обессиленно опустился на стул. Чего боялся, то неминуемо подступило,— прямой разговор со взрослой дочерью.

4

Ночь прошла без сна. Мягко ступая ногами в шерстяных носках, Борис изредка входил с лампой в спаленку. Опускаясь на колени, мучительно всматривался в лицо спящей дочери. Долго не понимал, что искал в нем? Наскучал, утоляя радость, привыкал. Вернее всего — искал в лице ее сходство с Махорой. Хоть черточку. Хотелось, чтобы она напоминала мать не только походкой...

Взял он Махору не своей доброй волей, никогда не испытывал к ней жаркой тяги; но она была в его жизни. Ушла страшно, мучительно. Ушла не одна — вдвоем; тот, другой — частичка его самого, Бориса.

Не работалось и возле карты. Не до конца продумал завтрашнюю операцию. Персияновка — крепкий опорный пункт казаков. Окопы, колючие проволочные заграждения, бронепоезда и танки «Рено», слепые стальные чудовища. И конница... По неполным данным воздушной разведки да и со слов пленных, собралась она тут вся, какая осталась у Сидорина. Втрое больше его корпуса. Только дерзость, лихой налет. Бить в самые уязвимые места. А где они, уязвимые?

Блехерт и Марк Колпаков, используя ночь, держат в седле всю корпусную и бригадные разведки. К свету, до начала наступления, доложат. С нетерпением ждал и Мишку. Послал разыскать где-то в санчасти Пелагею.

Выкручивая оседавший в лампе огонек, услышал скрип дверей в чулане. По тому, как ворвалась сестра, догадался: Мишка не утерпел, выболтал.

— Братушка?!

— Охолонь. Пылаешь вся чисто...

Пелагея незряче опустилась ощупкой на табурет, тут же у двери. Крупные черные глаза на раскрасневшемся лице вспыхнули обидой.

— Ты, Борька, ей-богу... И тот дуролом, Мишка. Морочить голову. Я уж сама почуяла... Бегом бегла... Ху-у, дух не переведу. Выросла дюже, а?

— Встанет, поглядишь.

— А угадал?

— Гм...

— Без сердца ты вовсе...

— Чего она, маленькая? Небось знала, кто в город вошел.

— А про батю, чи про дедушку Макея, слух имела? Не пытал?

— Пелагея, ну ты... Сама видишь, завтра дело такое... Проснется, все выспросишь по порядку.

Шапку, шинель уложила Пелагея на табурет; сапоги догадалась по привычке оставить в прихожке. Заметила непорядок — валенки:

— Это ишо чьи топалы? Вроде из-под дурного старца...

Глядя, как она выставляет Муськину обувку за дверь, мысленно ворошил наряды жены: есть ли что подходящее ей, Муське, на ноги? У сестры, кроме давних, Ларионовых, сапог, какие она бережет пуще головы, ничего нету.

Пелагея на цыпочках направилась в спаленку.

— Хоть глазком одним... на сонную...

— Лампу возьми.

Вернулась тут же. Устанавливая на место лампу, скорбно морщила в усмешке корявое лицо.

— Ничевошеньки-то нашенского, думенковского... И нос, и бровки, и особенно губа, нижняя, оттопыркой... И до кого она прибилась, а? Одежонка плохонькая на ей.

— Лиха хватила... Возили ее ночами из хутора в хутор... По Аксаю скрозь. Мансуровы родичи. Тут, в Александро-Грушевске, она с лета. У тетки, Махориной сестры...

— У Васенки?

— Тетей Пашей кличет.

— Пашутка? Ага, ага... Младшая. Ее выдавали куда-то на шахту, за Дон. Вправду, она. И как же очутилась у ей, а?

— Все то позади. Надо думать теперь, сеструшка, про будущее. Ася скоро подъедет. В Каменской она зараз. Обоснуетесь тут, в этом доме вам и квартира. Муська в школу ходит. Уж не станем срывать. Помоги им. Мне они обе одинаковые. У Муськи

должна быть мать, а не мачеха. Доглядай, не так что... моим словом.

Пелагея пожала плечами.

— Не в укор тебе, братушка... Настенка с норовом баба. Но я уживаюсь. Про Махору и голосу подавать нечего... А Муська какая, не ведаю. Ты сам с ней говорил?

— Пробовал... Кажись, не получилось. По-взрослому надо бы как-то... Не дите — одиннадцать лет.

— Бабка Надя, покойница, помню, сказывала, на тринадцатом году замуж выдавали...

— Нам рано еще об этом говорить. А вот до сознания девчонки нужно довесть... чтобы чтила Асю навроде матери.

Со двора донеслось конское ржание, топот. Вынул из нагрудного кармана часы: да, дело уже к рассвету. Явились разведчики. Натягивая сапоги, спешно договорил:

— Выступаю я. Думаю, ночью, если все благополучно, возьму Новочеркасск. Возможно, не увидимся долго... Новочеркасском и Ростовом дело не закончится, это теперь ясно. Деникин и Сидорин уйдут за Дон. А погода, чую, паршивеет, к ростепели... Раны гудят, спасу нема.

Из чемодана вынул бумажный сверток. Кинул на стол.

— Жалованья мои... Асе передашь. Тут и те, какие ты от бати еще привезла. Расходуйте, не скупитесь. Муську оденьте. Стыдно на люди выйти.

В чулане Пелагея придержала его за рукав:

— Не сбудили... Прокинется, а тебя нема. И не разглядела хорошенько...

— Хоронишь, что ли? Денусь куда?—Борис обозлился.—Поставлю Деникину крест и явлюсь.

С веранды Пелагея не сходила. Тайком в ветренной, волглой темноте перекрестила широкую братнину спину.

Глава пятнадцатая

1

В Саратов поезд втащился уже потемному. Вокзал забит битком; от порога шагу не ступишь. Придерживая полы бурки, Микеладзе вышел на заваленную сугробами привокзальную площадь; попробовал дознаться у закутанного прохожего о месте пребывания штаба фронта. Отскочил тот, как от чумного.

Ветер лютовал. Не морозный — сырой, пронизывающий. Сгонял с крыш обледенелое крошево, больно сек лицо. Засветло надеялся Микеладзе попасть в незнакомый город. Проклятый паровоз. Неделю отдувался без особых капризов, а тут взноровился: десяток верст от последнего полустанка одолевал весь день. Пешком бы давно дотопал.

Пожалел, что не попытался пробиться в станционную дежурку; может, и коменданта где-нибудь нашел бы. Возвращаться не хотелось. Ветер остервенело дул в спину, подгонял, помогая ногам. Потеплело на душе от огонька. Прибавил шагу. За литой чугунной оградой, меж озябших веток, смутно обозначились каменные серые дома. На ближнем, у входа, с ржавым скрипом раскачивался фонарь. Достучался в запертые ворота; страж, в тулупе, с винтовкой за плечами, бухающим простуженным голосом сквозь решетку пояснил:

— В эти ворота своим ходом не ходють, человек хороший. На бричках доставляют, а то и на руках. Лазарет зараз. А ты по живому делу, валяй дале прямиком, там натолкнешься. Да мазуриков оглядайся: шкодють дюже в подворотнях.

Вывернувшийся из проулка конный патруль препроводил Микеладзе в штаб фронта. В трехэтажном здании, несмотря на непозднее время, штабная жизнь особо не била: светились три-четыре окна на улицу. Принял член Реввоенсовета Трифонов. Оставив бумажки, вышел из-за стола. Распояской, с расстегнутым воротом суконной рубахи. Чуть запрокинув крупную, давно стриженную голову, придерживая очки, крепко тряс руку.

— Не доложили бы, догадался... Товарищ Микеладзе. Рады, рады приветствовать на саратовской земле. Долгих разговоров с центром вы нам стоили. Наконец звонок: выехал, мол. Ждем-пождем...

— Транспорт...

— Да, да. Обогревайтесь.— Потрогал кафель, подмигнул: — Не остыла печь еще. Делитесь столичными новостями. Или нет, новости оставим на потом. Вы уже с назначением?

— Да, назначен военкомом в Конно-Сводный корпус Думенко. В Москве говорят о Думенко как о первой шашке Республики.

— Корпус воюет превосходно. Четвертого дня переправился через Дон, из Богучар устремился на Миллерово. Повел за собой весь фронт. Так что догоняйте в Новочеркасске либо в Ростове.

— Края те знакомые... Работал в Ростове, в подполье.

Присев на край стола, Трифонов заговорил вдруг негромко, доверительным тоном:

— Товарищ Микеладзе, скрывать не хочу... Столкнетесь с громадными трудностями. Политработы среди конников никакой. С сентября считайте, пятый уже месяц, корпус без политического контроля, руководства. Не подберем. Реввоенсовет-10 подсылал товарища... Заболел. Думенко нужен военком, знаете... Подстать.

В короткой заминке его Микеладзе почувствовал неладное; сцепив кисти рук на колене, поспешно спросил:

— Политотдел имеется в корпусе?

— Но уж... Конечно. Начальник политотдела Ананьин. Не знаю его. Разве вот по докладам... В Реввоенсовете-9, где вас будут утверждать, стопка еще толще. Советую начинать не со знакомства с теми бумагами. Человек вы с партийным опытом, не новичок в военном деле, разберетесь на месте.

Продувая стекла очков, вспомнил:

— Можете повидать бывшего военкома корпуса. Уж он-то скажет о самом Думенко... Теперь — до завтра. Переспите в штабе, а утром разместим удобнее.

Хруцкого представил ему начальник политотдела фронта Балашов. В штабной сутолоке, беготне уединиться за весь день минуты не выпало. Ближе познакомились поздно вечером, в гостинице. Сам собой получился ужин. К куску отварной говядины и житной душистой краюхе, вытряхнутой Хруцким из холщовой сумки, Микеладзе отцепил от пояса мятую фляжку со спиртом.

— Вот, в Москве вместо хлеба получил. Едешь, мол, на юг, в благодатные хлебные места.

— Не шибко с хлебом и здесь... Вымели за два года,— бережно, будто взвешивая, подержал Хруцкий зачерствелую краюху.— А подумать, за него люди кладут головы... Хлеб насущный. Сильнее в нашей политической пропаганде ничего нет.

Микеладзе, отвинчивая пробку, молча кивнул.

— Теро... Простите, отчество?

— Привык по-русски. Владимир Нестерович.

— Тезки, выходит. Ну, за назначение ваше...

Оловянная кружка и консервная банка дружно сдвинулись. Рукавом протирал Хруцкий помокревшие глаза; справившись с подкатившим удушьем, без обиняков сказал:

— Был свидетелем у Балашова... Вас стращал какой-то петух. Уверяю, он Думенко и в глаза не видел. По черным слухам.

— У Трифонова на столе докладные от политкомов из корпуса.

Болезненно сходились брови на скуластом, впалощеком лице Хруцкого. Скручивая цигарку, пожимал плечами на свои какие-то потаенные мысли.

— А с Думенко и в самом деле работать нелегко,— согласился он и вдруг спросил: — Верхом ездите?

— Доводилось.

Стряхивая с колен крошки махорки, Хруцкий потупился.

— Не владеть лошадью, шашкой... Беда. Народ конники — отчаянный, лихой. Засмеют. А быть рядом с Думенко?! О-о! Ха-ра-актер, скажу. Легче объездить дикого жеребца, нежели расположить к себе этого человека. У вас один только шанс... Уметь рубать, как он.

— Слыхал, он вообще не признает комиссаров.

— Ну, знаете, с подобными мыслями военкому в корпус к Думенко ехать опасно.

— Не понимаю. — Смуглое выбритое до синевы лицо Микеладзе построжало.— Что значит, опасно?

Хруцкий, хмурясь, бесцельно передвигал по столу порожнюю кружку. Раскаивался, что затеял о том разговор; с утра еще дал зарок не выворачивать при расспросах наизнанку корпусные нелады. Сорвалось с языка.

Все Ананьин колобродит, сбивает «корпусную оппозицию». Покуда был там, сдерживал. Да и Знаменский его охлаждал. Теперь корпус перешел в подчинение 9-й. Чью возьмут сторону члены РВС — комкора или начпокора? А грузин этот не наломает дров еще больше? Хватит ли такта, мудрости? Видом располагает: сдержанный, немногословный и обходительный.

— Постараюсь пояснить, Владимир Нестерович. Греха таить нечего, политически Думенко не подкован. Мало того, равнодушен вообще к какой бы то ни было политработе. Не поинтересуется, провел ли, нет ли ты партячейку, зато спросит, почему не в бою. Весь он там, на позиции. Живет только боем. Наступательным боем. И в тот момент он бешено подчиняет себе всех и вся. Сутками не оставляет седла сам, не выходит из боев. Требует того же от других.

— Правильно требует,— согласился весело Микеладзе.— На то он и командир!

— Не всем такое нравится. А иные просто и не умеют... Вам надо что знать...— Хруцкий гасил ногтем большого пальца окурок.— Дело там не в одном Думенко, не в его своенравном характере. Обстановка. В ней ищите нарыв. Нарыв скрытый. Корпус ведь сводный. Думенко свел разрозненные части. Доукомплектовал, сколачивал новые полки, выбивал богом проклятую партизанщину. Рушил старое безбожно. Войска молятся на него, кидаются за ним в рубку сломя голову, командиры в восторге, шалеют от одного его взгляда. Естественно, кое-кому не по нутру оказалось... Зависть, страх ли больше руководит?

— Политкомы? Командиры?

— Из тех есть и других. Узелок намечался еще при мне. Имен не назову. Их немного, два-три. Почему я и усматриваю опасность... Слухов о Думенко — ого! Всяких. А вы на дела его глядите. Красен человек делами. Так у нас говорят.

— Доклады те от начпокора Ананьина, — свесив голову, сознался Микеладзе.

— Догадываюсь.

— Что он за человек, Ананьин?

Хруцкий неопределенно шевельнул плечами.

— Реввоенсовет не утвердил его, как видите, в должности военкома. Вас прислали. А откровенно... Сомневаюсь, чтобы он смог наладить с комкором деловой контакт. Гляжу, нагнал я на вас тоску, а?

— Нет! Напротив... Спасибо, дорогой Хруцкий. Хочу очень

посмотреть на Думенко. Зависти, обещаю, не поддамся. А вот страх?! Какой будет еще зверь... Может и нагнать.

Громко рассмеялись. В стенку постучали соседи. Глянули на часы: три! Кинулись к кроватям. Стаскивая тесные сапоги, Хруцкий осипшим от натуги голосом, успокаивал:

— Нет, нет, человек Думенко добрый по натуре, душевный. Жинку любит... как парнишка. Два-три дня не видит, бывало, изведется весь. За ложку не возьмется без нее. Поклон ему от меня. Скажи, в пехоту ушел, в 28-ю, к Азину. Он его знает.

Микеладзе хитро подмигнул.

— Все скажу. А лампу тушить последнему. Обычай такой, слыхал, у русских.

2

В Калаче, в штабе 9-й армии, Микеладзе не удалось воспользоваться советом Трифонова. Утверждение началось именно со знакомства с докладами политкомов. Светлое настроение, возникшее в Саратове, тут за полчаса, проведенные один на один с членом Реввоенсовета армии Анисимовым, рассыпалось в прах.

— У меня не вызывает сомнения, с кем имеем дело в лице Думенко и его штаба. Слово свое последнее скажет Реввоентрибунал. Товарищ Троцкий достаточно информирован. Арест — вопрос времени. Сейчас как-то и неудобно: у корпуса действительно громадные боевые успехи. Штурмует Северный Донец! Последняя водная преграда перед Новочеркасском.

— Но ведь говорят... Красен человек делами,— попробовал возразить Микеладзе.

Анисимов недовольно поджал губы. Отодвинув ящик стола, извлек желтый пакет.

— Заявление военкома 2-й Горской кавбригады. Он имеет возможность очень хорошо видеть политические физиономии работников полевого штакора. Все они ярые противники коммунистического строя и большой руки антисемиты. Пожалуйста, сам Думенко! После того, как ему дали выговор за неисполнение приказа, сорвал с себя орден Красного Знамени и с ругательством бросил его в угол: мол, от жида Троцкого получил, с которым все равно придется воевать. Компания та к тому же не прочь пограбить и понасиловать. За время стоянки в селе Дегтево были взяты в плен две сестры милосердия. На следующее утро оказались расстрелянными. По словам бывшего командира взвода ординарцев, всю ночь их насиловали... Вот они, дела. И в довершение... В штабе корпуса — контрреволюционный заговор. Душой его является, несомненно, Блехерт, теперешний начоперод. Царский офицер, из дворян. Агент Деникина. Об этом открыто говорит Жлоба, комбриг. Единомышленник Блехерта — Абрамов. Скрытый тип. Быть может, он-то и тянет первую скрипку. Ну, а

комкор полностью под их влиянием. Неспроста именно его, Абрамова, назначает он начальником штаба. Качалов на эту роль не подошел. Перегруппировка. Первые шаги заговорщиков...

Микеладзе напряженно молчал. Что же получается? В Реввоенсовете и политотделе фронта ему определенно давали ясную задачу: наладить политработу в корпусе Думенко, не скрывали, что подыскивался такой человек, который сумел бы заставить себя уважать, помог бы своенравному комкору избавиться от заблуждений, в конце концов, по-человечески покорить его, расчистить вокруг него нездоровую обстановку.

Микеладзе сказал Анисимову, с какой душой он принял свое назначение. Тот помолчал, сосредоточенно разглядывая лицо военкома, наконец ответил:

— Все гораздо сложнее. Скажу откровенно, в Реввоенсовете и политотделе фронта еще не дают себе отчета, насколько глубоко зашла болезнь в корпусе Думенко. Им кажется... стоит лишь послать толкового военкома и все будет в ажуре. Нет, дорогие товарищи, такие вещи лечатся более радикальными средствами. Считаю своим долгом предупредить... вас ждет большая опасность.

Микеладзе пожал плечами, не скрывая своего недоумения.

— Прошлой весной я побывал в лапах Деникина. Думаю, что еду все-таки не в стан белых...

— Здесь может оказаться все пострашнее. Там вы были у откровенного врага, а тут...— Анисимов опустил глаза, вдруг снова вскинул их, подчеркивая тоном всю важность секрета, который решил доверить собеседнику: — В штабе Думенко есть комендант Носов. Член партии с 17-го. Надежный человек. Держите с ним связь. Ему дан мною приказ: стрелять в Думенко при малейшей попытке перекинуться на сторону врага...

С тяжким чувством расстался Микеладзе с членом Реввоенсовета армии Анисимовым. Догонял корпус Думенко, мучаясь драматической неопределенностью. Думал, встретится с комкором в Миллерово, но там уже и след конницы простыл. Комендант станции, вислоусый медлительный хохол, с притороченной к шее рукой, вразумительно пояснил:

— Думенко и не шукай поблизу. Ото десь на Дону, або вже в Шахтной зараз.

Поморгал добрыми телячьими глазами, почесывая рану, потом присоветовал:

— А ты, кацо, в Ольховый Рог, село такое... По слухам, штаб его там.

В хуторе Ширяево Микеладзе натолкнулся на тылы Конкорпуса. Свел случай с начальником снабжения Лебедевым. Узнав, с кем имеет дело, Лебедев охотно вызвался доставить в тыловой штаб.

— В Криворожье, неподалеку тут.

— А я таскался в Ольховый Рог,— сознался военком, усевшись в тачанку.— В Миллерово один добрый человек подсказал.

— Вчера уже не было их там.

— С Криворожьем не получится такое?

— Утром сам оттуда,— в голосе Лебедева неуверенность.— Да и люди мои там...

За хутором, на гребельке, попались встречные подводы. Снабженец узнал своих фуражиров, понял: в Криворожье ехать бесполезно.

— На Донец ударились. Вестовой от комкора прибегал,— сообщил возница с передней брички.

— Какой дорогой удобнее нагнать? — озабоченно выспрашивал Лебедев.

— У них одна дорога, а у вас сорок. Держитесь чугунки.

С большака свернули на проселок, затрясло на немыслимых ухабах.

— Может, воротимся? Завтра с утра уж... по-видному.

— Плохая примета,— усмехнулся Микеладзе.— Я верю в приметы. А вы?

Смеется, всерьез ли? Лебедев исподволь перехватывал на себе в вечерних сумерках ощупывающий взгляд кавказца. Что за человек? Как держаться с ним? Никаких расспросов. Этим и настораживает. Не проявил желания вникнуть в снабженческие дела. Думенко его, Лебедева, работой недоволен. Оговорщиков до чертовой матери; каждый старается надуть в уши комкору. «Попробовали бы сами в моей шкуре...»

У Лебедева появилось острое желание пожаловаться. Не знал с какого бока подкатиться. Бурка, очки — не диковина; чувство неуверенности вызывал горский головной убор — полотенце, наверченное чалмой. Вдруг осенило... Спешно перебирал в памяти свои тайные запасы, прикидывал, с какого курпея заказать Тишке — шапочнику — папаху. Не от жиру небось таскает засаленное полотенце.

— Воюете громко,— сказал Микеладзе лишь бы не молчать.— Слыхать далеко...

— Воюем... Сами видите, я со своим отделом и не угонюсь.— Лебедев пододвинулся, протянул портсигар.— Работать тяжело так.... Железная дорога — дело дохлое. А свои колеса... Разве увезешь все. Боепитание одно в печенках застряло. А провиант, фураж?! Да и того нехватка: не выколотишь у снабарма.

— Да, конечно, трудно. Что поделаешь, всем трудно.

Лебедев умолк. Микеладзе задумался о своем. Что ждет его впереди? Анисимов внушал мысль о риске. Что ж, он, Микеладзе, всю жизнь рискует. Мальцом любил, бывало, стоять у пропасти, расправив худые руки. Желторотым орленком хотелось взлететь до времени. Потом парнем, безусым еще, с набитой революционными прокламациями пазухой, все норовил пройти ми-

мо городового, задеть его плечом... А в Ростове, в подполье, год назад был схвачен деникинской контрразведкой. Спас тот же самый риск...

3

Штаб корпуса Микеладзе застал в Курно-Липовке.

Ночь и день гнали; утром делали малую стоянку, кормили лошадей. Утомленный, укачанный, военком в вечернем зареве проглядел, как выскочили к хутору. На выезде из балки, в садах, резко остановились. Больно стукнулся локтем о борт.

— Что — пропуск?!

— Оружие!

Верховые тесно обступили тачанку. Микеладзе ощутил шеей горячее конское дыхание. Обнаженный клинок уперся в бок, другой лег на колени, прикрытые буркой.

— Не при, олух!

— Замовчь, гнида! Вытряхай кобур!

Лебедев вскочил было на ноги, но его осадила сзади огромная рука.

— Под микитки ему, Прохоренко! Под микитки! — настойчиво советовал голос.

— Лапы прочь!

Доставая из кармана наган, Микеладзе, повеселевший, поддел негодующего начснакора:

— Ладно, оружие —не одежду. Советую подчиниться.

— Во, во,—прогудел у самого уха бас.— Коль нема пропуску... в штабу разберемся. Вынай и ты... говорун.

— Прохоренко, брось дуру валять,— вступился кучер, закручивая цигарку. — Аль не видишь снабженческих коней?

— Бачу, дядько Остап. Так порядок. Начальство оно зараз строгое, не то что при надышнем... Спрашивает навроде Думенки самого.

— Оружие верни, остолоп. Военком корпуса это!

— Не, товарыш хороший, возверну там, где положено... А в счет выражениев всяких не утрудитесь: мы при наряде.

К штабу подъезжали шагом. За тачанкой вытянулся целый взвод. Трое своих охранщиков смешались с патрулем; курили, пересмеивались.

— Как наши порядочки? — Лебедев дрожал от возмущения.— Заметьте, охрану и кучера не тронули... Угадали ведь.

— Не знаю, что будет дальше, а пока... порядок революционный.

У высоких деревянных ворот с аркой — тоже задержка. Ждали начальника караула. Ощупав фонарем документы, тот велел впустить.

— Наверно, легче было попасть к туркам в Измаильскую

крепость, нежели в свой штаб.— Как ни старался Лебедев свести на шутливый тон, давалось ему это трудно.— Военком корпуса товарищ Микеладзе.

— Помощник начальника штаба Неймак,— представился в ответ пышноусый, с гусарской выправкой штабист.

— Абрамова нам.

— Михаила Никифоровича нет. Утром выехал в Каменскую.

— А Ананьин?

— Он при частях.

Хлопнул с досады Лебедев папахой по столу. Микеладзе, оттеснив его плечом, спросил:

— В политотделе кто есть?

— Товарищ Кондэ. Редактор наш. А пока он за Ананьина.

— А где находятся части корпуса?

— По вчерашним сведениям, ворвались в Лихую, уже на той стороне Северного Донца. А теперь... сказать трудно. Связи проволочной не имеем.

— Ночлег бы нам, Фаддей Фаддеевич,— попросил Лебедев, успокоенный разговором военкома со штабистом.— Ноги не держут, кишки вымотало...

— Распоряжусь.

Вызванивая шпорами, Неймак прошел к двери, крикнул:

— Киреев, живо к коменданту! Товарищей устроить на ночь.

Вскоре тот же вестовой, мордастый парень, с прыщеватыми щеками, ввел их в опрятный с виду флигелек в глубине сада. В тесной прихожке и горенке постояльцев было уже предостаточно. Можно бы выкроить у печки на соломе место для бурки, но тут же на топчане метался и стонал в жару бородатый боец.

— Кабы не сыпняк,— вздохнула пожилая хозяйка, пряча под передником руки.

По молчаливому сговору оставили флигелек; через три-четыре двора нашли квартиру без постояльцев, со здоровой семьей.

— Не жалуют тут нас с вами,— криво усмехнулся Микеладзе. Подозвал пальцем вестового: — Кликни, парень, коменданта.

Не успел Микеладзе стащить заиндевелую бурку, вернулся посыльный.

— Комендант не пожелали. Надо, мол, кому — до него ступайте.

— Передай немедленно...— у Лебедева затряслись от негодования губы.

— Погодите,— успокоил военком.— Нанесем визит вежливости.

Комендантский взвод занимал соседний дом. Вошли беспрепятственно. Бойцы в просторной горнице резались в карты; указали на боковую дверь. С порога, не представляясь, Микеладзе спросил:

— Когда вас вызывает комкор, вы ему так же отвечаете?

Человек, стриженный наголо, с обросшим болезненным лицом, не спеша спускал с кровати ноги в шерстяных носках. Едва сдерживаясь, Микеладзе повторил вопрос.

— Перед тобой военком корпуса! Слышишь, Ямковой?! — не вынес пытки Лебедев.— Я доложу Думенко! Он спросит...

— Ямковой? — изумленно спросил Микеладзе.— Но ведь комендант — Носов.

— Носов комендант полевого штаба. Тот неотлучно при комкоре,— ответил Ямковой, суетливо натягивая сапоги.— Извините, товарищ военком. Вестовой толком не объяснил, кто вызывает. Если бы знал, рази ответил бы так... Да и после хворобы я, нонче только приступил к службе.

Отдохнувший, свежевыбритый, утром военком обошел все отделы штаба корпуса. Писаря, вестовые, связисты оставили вполне приличное впечатление: бойцы как бойцы, подтянутые, расторопные. Познакомился комиссар и с работниками трибунала Прохватиловым и Берсеневым. Делопроизводство, отчетность содержится в порядке.

— Как видите, мародеров, грабителей по головке не гладим,— пояснил председатель суда Прохватилов, хмурый усть-медведицкий казак.— Вот дела. Случается, ставим к стенке. Но, скажу вам, Думенко без большой охоты идет на крайнюю меру.

Главного особиста Карташева в штабе не оказалось.

В политический отдел Микеладзе зашел после обеда. Кондэ протянул ему папку с копиями докладов в Реввоенсовет армии.

— Не надо. Уже читал в оригиналах.

Кондэ осторожно, будто дело имел со взрывчаткой, отодвинул от себя папку.

— Подробного доклада о деятельности за все время существования политотдела дать не могу...

— Зачем за все время? Сообщите, как сейчас практически политотдел осуществляет партийную работу в частях.

— До организации политотдела ячеек совершенно не существовало в бригадах. И отношение бойцов к коммунистам было не всегда уважительное. С октября постепенно изменилось в лучшую сторону. В декабре провели партнеделю. Охвачены все части, команды, батареи. Записалось для поступления в партию много бойцов и командиров. От Думенко тоже поступило заявление. Вот оно, лежит у Ананьина.

— Как, лежит?

— Не так просто ответить на ваш вопрос. Видите ли, Думенко не считается с политотделом. Везде и всюду чинятся препятствия: не дают подвод для доставки литературы, не дают лошадей нам, политотдельцам, чтобы могли мы выехать на фронт. Я лично дважды сталкивался с Думенко. Осенью, помню, еще под Царицыном... Ворвался он в политотдел с криком, бранью. Сидели там Ананьин, бывший военком Хруцкий. Оказывается, ему не

понравилось, что прибывший из армии комендант штаба Перфильев послал докладные о беспорядках в корпусе члену Реввоенсовета Михайлову. Все они каким-то путем оказались у Думенко. «Застрелю, зарублю!..» — кричал на Перфильева Думенко. Второй раз я имел дело с ним во время проведения партийной недели, на фронте, в конце декабря. Пробыли с Ананьиным около недели в 1-й бригаде, потом поехали во 2-ю. После боя у Кривого Лога, в степи, Думенко ругал 1-ю бригаду... Вопрос шел о грабежах. Мы с Ананьиным сказали, что и во 2-й бригаде положение не лучше. Думенко взорвался, набросился на меня: сволочь, мерзавец, вон из строя...

Чутко ворохнулись у Кондэ брови на скрип стула под военкомом. Свет из окна бил тому в затылок — стекла очков мешали видеть выражение глаз Микеладзе.

— Великим тормозом в политической работе...— бойко продолжал Кондэ,— является колоссальный недостаток работников. Политкомы большинство взяты из местных полковых ячеек, даже не члены, а сочувствующие. В политическом отношении совершенно не воспитанные и, безусловно, не способны вести работу среди красноармейцев.

— Что предлагаете?

— Необходима срочная присылка политработников на должности политкомов. Не менее 50 человек. И человек 300 хорошо воспитанных товарищей, лучше рабочих, для строя. Мера эта нужна вот так, позарез. Вновь принятые коммунисты и сочувствующие существующих ячеек заражены партизанским душком. На них особенно возлагать надежду нельзя, их еще нужно воспитывать.

Делая пометки в блокноте, Микеладзе опять спросил:

— Каково снабжение корпуса?

Кондэ шевельнул длинными кистями рук.

— Снабжение в плачевном состоянии. Красноармейцы, бывает, по нескольку дней не получают хлеба. А то выдают мукой... Где в боях печь его? Спасает то, что корпус сейчас проходит по богатому хлебом району и объедает население. Обмундированы почти поголовно в английское, начиная от сапог и кончая шапкой, из захваченного у белогвардейцев. Ощущается громадный недостаток в белье. Разрастается тифозная эпидемия. Фураж сплошь добывается из местных населений, хуторов, как здесь называют. Все дело в недостатке транспорта и халатности тех, кто ведает снабжением. Плохо поставлена и санитарная служба. Не хватает медицинского персонала, эвакуация раненых производится скверно, нет транспорта, нет теплой одежды, нет эвакопунктов. Раненых приходится за сотни верст на холоде отправлять на обывательских подводах. Необходимо принять самые энергичные меры для улучшения санитарного дела в корпусе и организовать эвакопункты.

Заметив, что военком все старательно записывает, Кондэ перешел на доверительный полушепот.

— Считаю своим долгом довести до вашего сведения... между комсоставом существуют застарелые разногласия. Думенко и Жлобу имею в виду. Взаимоотношения обостряются, возможны резкие конфликты. Боюсь, что это может повлиять на общий ход дела в корпусе.

— Подробнее о комбригах.— Микеладзе пододвинулся к столу, выказывая явную заинтересованность.

— Комбриг 1-й Партизанской Жлоба шахтер-рабочий. Отношение его к политработникам хорошее, содействие оказывает полное. Численность ячеек в его бригаде и членов партии больше, нежели в других. Комсостав, командиры полков и эскадронов — коммунисты, трений между ними и политкомами не замечается. Сам Жлоба не состоит в местных ячейках, но говорит, что он коммунист. Билет утерял.

— Что значит, утерял?

— Не знаю подробностей. Советской властью обижен: за двухлетнюю работу во время гражданской войны в награду получил только арест и расформирование Стальной дивизии. Случается, горько сетует, что Советская Республика за все, что он сделал для нее, платит ему недоверием, что он находится на положении пасынка. Я лично считаю, что в интересах дела Жлобу следует наградить орденом Красного Знамени. Командир 2-й бригады, Трехсвояков, к коммунистам и комиссарам настроен недружелюбно, но осторожен, резко не показывает,— продолжал Кондэ без прежнего запала.— Лысенко, комбриг 3-й, на своем месте, относится к коммунистам и политкомам хорошо...

В дверь постучали; Кондэ вышел, через минуту возвратился с пакетом.

— От Абрамова. Отбываем на Лихой. Дозвольте, отдам распоряжение. Выезжаем в ночь. Вы поедете с нами?

— Я с начальником снабжения. Лошади отдохнули. Трогаемся через полчаса. Теперь до Новочеркасска. Несколько бы слов об Абрамове...

— Ничего дурного, товарищ военком, не скажу,— тер озабоченно Кондэ выпяченный подбородок.— С неделю как он принял штакор. Работу поставил. Офицер. Пишется из крестьян, но по виду не скажешь...

— А бывший? Качалов, кажется?

— Так, ни рыба ни мясо.

— С Думенко как у Абрамова?

Кондэ пожал острыми плечами.

— Точно знаю, под Царицыном Абрамов рвался из корпуса. Думенко его не отпустил. А перед назначением даже держал недели две под домашним арестом. Какое-то дело пришло в особый отдел на Абрамова, из 10-й. Кажется, дизертирство. Но все ока-

залось липой. Васильев, политком штаба, докладывал. Так что, товарищ военком, разговоры о влиянии Абрамова на комкора я не поддерживаю. Думенко сам кого угодно под себя подомнет. Больше всего, мне кажется, влияет на него Шевкоплясов, присланный из Реввоенсовета 10-й. Этот настроен определенно контрреволюционно. Есть и еще один, теперешний начоперод... Правая рука у него. Блехерт. Тоже офицер, из дворян. И не скрывает того... Явный контрик.

Не высказывая удивления, Микеладзе сказал:

— В Реввоенсовете 9-й иного мнения об Абрамове.

— Знаю. С Ананьиным у них...

— А что именно?

— Сталкивались за Доном. Да Ананьин сам вам доложит.

Прощаясь у тачанки, Микеладзе напомнил:

— Возвращайтесь, Георгий Васильевич, к своей прежней обязанности — к политотдельской газете. В Новочеркасске разживемся всем необходимым — бумагой, шрифтом. Подыщем и наборщика. Без газеты партийное слово не донести в массы красноармейцев. А заявление Думенко о приеме в партию дайте мне.

Кондэ, озадаченный, вернулся в дом.

4

Наконец Микеладзе удалось встретиться с загадочным Абрамовым. По воле судьбы военком вместе с начпродом Лебедевым оказался сразу после нового года в гостях у Анастасии Думенко.

В горнице кроме жены Думенко, показавшейся Микеладзе этакой степной царицей, с обольстительно оголенной шеей, было еще четверо мужчин. Лебедев, представляя военкома Абрамову, чуть наклонил голову, слегка пристукнул каблуками. Микеладзе протянул тому руку, отмечая для себя: «Молод-то, молод, а я-то думал волк матерый».

На диване, нога на ногу, сидел крутолобый рыжий верзила при шашке и нагане; чадил нещадно цигаркой толщиной в большой палец, окуривая святой угол — киот с полдюжиной икон, покрытых вышитыми рушниками. В дыму задыхался голубой огонек в начищенной медной лампадке. На шкафу — граммофон с зеленой цветастой трубой. Возле него стоял спиной к свету невысокий, плечистый конник, перебирал граммофонные пластинки. Третий, в синих галифе, расстегнутом защитном кителе, хлопотал у ведерного самовара. Стриженный наголо, с круглыми птичьими глазами, худолицый, похоже перенес недавно тиф; прежде чем подать руку военкому, вытер ее о полы френча. Обратил внимание Микеладзе на его глаза, какие-то до неприятного застенчивые. Вот он какой, Носов, комендант полевого штаба, это ему отдан приказ стрелять в Думенко, в случае измены...

После всех протянула руку военкому и хозяйка дома. Микеладзе принял ее обеими руками, белую, мягкую, задержал на мгновение и выпустил на волю, как птицу.

— Анастасия Думенко, — представилась молодая женщина, пристально вглядываясь в кавказца синими глазами. — Раздевайтесь, пожалуйста, будьте гостем.

Сняв бурку, размотав чалму, Микеладзе взрыхлил пятерней черные, с густой проседью на висках кольца волос.

— Не удалось нам встретить новый год, так мы решили хоть задним числом,— сказал Абрамов.— Вот видите, украшаем «елку».— Кивнул в сторону двух притихших парнишек.— Знакомьтесь, Митрий и Васенка.

Парнишки попятились за огромную кадку с фикусом, который был украшен бумажными цветами. Покопавшись в полевой сумке, Микеладзе протянул им по кусочку сахару.

Хозяйка пригласила гостей помыть руки, затем сама определила места за столом. Микеладзе посадила между собой и Носовым. Кремовая шелковая блузка и тесная короткая юбка вызывающе выдавали ее юное ухоженное тело. Микеладзе уже знал от Хруцкого, что у Думенко молодая жена-красавица. Говорил, однако, он о ней уважительно и сдержанно. Зато Лебедев за долгие часы в утомительной дороге не раз возвращался к рассказу об этой женщине. Причем говорил о ней с грубовато мужской шутливостью, с хмельком в голосе, мол, у Думенко губа не дура, не только в лошадях толк знает. Не преминул сообщить и о том, что любит ее Думенко до умопомрачения, балует, прощает то, что горазда она устраивать веселые вечеринки, приемы с граммофоном и самоваром.

И вот сейчас Микеладзе, сидя за столом рядом с женой Думенко, думал о том, что Лебедев, пожалуй, рассказывал правду. Всегда ли благопристойно обходится застолье молодой жены Думенко? Не компрометирует ли она своего прославленного мужа? Легко, вызывающе держит она себя, видно, знает свою женскую силу.

Выпили за скорую победу над Деникиным. Тост провозгласила сама хозяйка. Микеладзе смущало, что она как-то сразу выделила его среди всех остальных гостей, пододвигала ему закуски, просила чувствовать себя как дома; на Лебедева, однако, не обращала никакого внимания, смотрела на него как на пустое место. Утолив с дороги голод, тот вскоре покинул застолье, подошел к граммофону и завел что-то разгульно-веселое.

Микеладзе наклонился к Абрамову.

— Мне надо бы, Михаил Никифорович, поговорить с вами,— окинул горницу ищущим взглядом, мол, хорошо бы уединиться.

Абрамов изящным движением указательного пальца сбил над пепельницей пепел с папиросы.

— Пожалуйста.

Когда уселись в дальнем углу за фикусом, Микеладзе сказал:

— Я держу путь в полевой штаб. У вас уже побывал в Курно-Липовке. Оформил свои бумажные дела с вашим помощником, встретился с политотдельцами, с товарищами из трибунала.

— Значит, спешите в корпус,— одобрительно заметил Абрамов.— Кстати, Носов утром туда уезжает, можно с ним...

— Мне сказали, что Носов неотлучно при комкоре.

— Разыскивал Лебедева, пытается наладить отдел снабжения. Сами видите, растянулись на полторы сотни верст обозы. Думенко часа два назад взгрел нас за это по проводам из Шахтной. Особенно скверно, что задерживаются летучки с боеприпасами. Лебедева приказал из-под земли найти и потрясти за шиворот как следует. А он и сам нам на глаза...

— Может, не тянет? — Микеладзе взглядом указал на Лебедева.

— Кнут нужен, не скрою.

В карих глазах начальника штаба было что-то доверчиво-детское, бесхитростное. Имей что-нибудь на душе, такой взгляд человеку сохранить трудно. Знает, кто перед ним. Хоть в чем-то настороженность проявилась бы; не в словах, так в лице, а то и в жестах. Опыт да опыт нужен. А откуда он у мальчишки?..

— Рад, Михаил Никифорович, что поймал вас. Не угонишься. Корпус летит на крыльях.

— Со стороны все гладко кажется, но есть обстоятельства... Именно о них хочу сказать. И от вас, военкома, немало будет зависеть, усугублять их или разрядить. Вокруг Думенко какая-то возня. Затевает ее, по-моему, Ананьин. Настраивает против Думенко комбрига Жлобу. Всячески хочет столкнуть их. Ананьин исполняет обязанности военкома, а между тем калачом его не заманишь в полевой штаб. Мои вестовые сутками не могут его отыскать — скрепу поставить на приказе. Это не работа. Товарищ Микеладзе, найдите контакт с Думенко, ему очень трудно. Его надо понять.

— И многие не понимают комкора?

Поставив пепельницу на подоконник, Абрамов сомкнул на колене кисти рук.

— К сожалению, многие. Думенко — имя. В бою его надо наблюдать. А издали он кажется кое-кому иным, чем есть на самом деле. Сделано им немало. Не из-под палки в Красной Армии — доброволец. И этим очень гордится. Его страшно обижает, когда ставят над ним контролеров. А это люди в большинстве молодые, мальчишки, не нюхавшие вообще пороха, не сидевшие сроду в седле. Власти дано им много, а ума, такта, воспитанности...

— Кого имеете в виду конкретно? Простите за такой прямой вопрос, сами понимаете, не могу себе представить, чтобы это были все политкомы...

— Что вы! Нет, конечно, — несколько смутился начальник штаба.— А если конкретно... Ну хотя бы все тот же Ананьин. Но есть и такие политкомы, которые с Думенко душа в душу. Пожалуйста, хотя бы вот политком штаба Васильев. То же самое могу сказать о военкомбриге Партизанской — Голозубове. А в 3-й Донской военком Мосейко... Ценит их Думенко, еще как ценит! Но не могу сказать то же самое о военкоме Горской — Пискареве. Доносы писал на Думенко, якобы пьянствует да еще с таким собутыльником, как военком Голозубов. Клевета явная. Думенко, конечно, стало известно...

— Прошу к столу! — позвала хозяйка. Подойдя, протянула Микеладзе руку. — А знаете, я вас еще лезгинку плясать заставлю...

Вдруг она как-то неловко прижала ладони к животу, лицо на мгновение исказилось от боли. Микеладзе едва не воскликнул: «Что с вами?» Вовремя обдала теплым ветром догадка: «Беременная...»

Глава шестнадцатая

1

Бои за Новочеркасск завязались на высотах под станцией Персияновкой.

Персияновские укрепления — последний рубеж перед столицей белого Дона. На Северном Донце, у Лихой, и возле хутора Сидоровско-Кадамовского оборонительные узлы пали за какие-то двое суток. Верховное командование белоказаков возлагало большие надежды на Персияновский укрепрайон: ростовские и новочеркасские газеты величали его «неприступным валом». Генерал Сидорин выставил свои отборные войска. Казаки спиной ощущали священное место. На обширной Соборной площади спокон веков деды и прадеды их давали клятву господу-богу и наказному атаману не посрамить Дона и не уронить казачьей чести.

7 января утром Конно-Сводный корпус Думенко обрушился на Персияновку. В паре с ним, по правую руку, устремилась бригада блиновцев. За конницей поспешали 21-я, 23-я пехотные дивизии и 3-я бригада 16-й дивизии Яна Фабрициуса.

Думенковцы наступали по трактовой дороге вдоль железного полотна. Партизанской бригаде надлежало скрытно обойти укрепления и захватить в тылу хутор Жирово-Янов; загодя Жлоба снарядил партию подрывников взорвать путь у станции Норкинская, чтобы не выпустить из Персияновки два бронепоезда в Новочеркасск. Горская и Донская бригады развернулись у высот и с ходу атаковали укрепления. Полевой штаб с комкором следовал при Донской бригаде...

С вечера разгулялся низовик, знобкий, сырой. Сбивая в кучи рыхлые облака, кутавшие Азовское море, погнал их на степи, будто отару на выпасы. К рассвету разыгралась снежная метель. Снег залеплял глаза лошадям и людям.

Заслоняясь рукавом, клял Мишка управителя небесной канцелярии. Подталкивая Огонька, силился распознать по лицу настроение комкора. Водит биноклем, то и дело протирая стекла хлястиком башлыка, вглядывается напряженно: не проглянет ли бугор сквозь снежную завесу? На карте те высоты обозначены цифрой «403» — отличный ориентир для пушкарей; небось не дураки: прицелы установлены, ждут команды. Да вот пурга попутала.

Тишина обнадеживала. По времени Партизанская бригада должна уже обойти Персияновку. Заседлает Жлоба железную дорогу — считай, добрая доля забот свалится с плеч. Останется расколоть орешек — персияновский «неприступный вал». Со слов перебежчиков и пленных, радужные надежды белогвардейских газетчиков имеют почву. Стольный град генерал Сидорин сдавать не помышляет. Десять конных полков топчется перед земляными и проволочными укреплениями, ощетинившимися штыками и дулами пушек; на станции пыхтят под парами два бронепоезда. Эти давно бы уже чесали из морских пушек, будь какая-нибудь видимость. Где-то среди конницы затаились и танки. Ночью Марк побывал под Персияновкой со своими разведчиками, потом с оторопью делился виденным: насчитал три танка. А сколько их в самом деле? Горцам предстоит столкнуться с танками. Надо бы убедить, что не так страшен черт, как его малюют. У него, Думенко, драться с танками опыт малый имеется; осенью случилось под Царицыном: у Древнего вала, именно с ними, горцами, сам напоролся на танки. В пылу рубки осатанело кромсали и выползавшие из балки страшилища, изрыгавшие свинец. Иззубрили не один клинок. Смеху потом не обобрались. Веры в шашку, правда, не поубавилось, зато пушкари нагнали себе цену: трехдюймовыми болванками кололи бронированные бока железных чудовищ, удивлялись, как их пожирает огонь. Горят, будто копна прошлогоднего курая под ветерком...

Уморилась рука. Очищая о башлык стекло бинокля, Думенко вернулся мысленно в Александро-Грушевск. Муська проснулась поди. Кинется, а его нет... Запекло под ложечкой: не представит, какая она? Не нагляделся. Интересно, угадает ли тетку Пелагею? Как встретятся с Асей? Признает ли Ася его дочь за родного человека? А что как не сживутся? Что значит, не сживутся! Прикрикнет. Главное — нашлась дочь! Двухлетняя тяжесть свалилась с души. Еще бы отыскались батька Макей с мачехой. Если живые — завтра-послезавтра увидит и их. Все новочеркасские тюрьмы обойдет. Тогда вся семья в сборе. И к весне, гляди, съедутся в Казачьем.

Вот он, долгожданный конец войны. За метельной стеной. Протяни руку... Десяток верст до Новочеркасска; за ним — Ростов. Считанные дни доживает Деникин. В верховьях Дона не удержался — тут, в низовье, тоже не за что ухватиться. Черные калмыцкие степи не укроют, в благодатные кубанские края не пойдут донцы со своих мест. Чужбина есть чужбина. Разбили горшок меж собой донцы и кубанцы. Черепки не стулишь.

Странно, радужные мысли не снимают всей душевной тяжести. Не рад концу бойни? Осточертела кровь? С какой охотой слез бы с седла, расстегнул боевые ремни и с наслаждением навалился на букарь в парующей по весне степи; с неменьшим наслаждением вместо клинка остывающими от рубки руками воспринял бы свое кровное дитя. По подсчетам, где-то летом, ближе к троице, должна Ася разрешиться.

Все бы ничего, только вот тяжесть в груди от обиды. Знает причину. Вслух, на люди не выскажет, а в прятки с самим собой он не умеет играть. Да, обидно. Его, Думенко, обскакали. Семен Буденный! Командарм! Свой Реввоенсовет. Подчиняется только фронту. А у него все еще корпус. Привязан к командармам Степину и Клюеву, вроде жука на ниточке. Останься при 10-й — выделился бы уже в армию. А Степин ублажает одними посулами: поставлю, мол, вопрос перед комфронтом Шориным о переименовании корпуса в армию. Гм, поставлю... А Шорин сам догадаться не может.

Пока буравил биноклем белую коловерть, улеглась ощетинившаяся гордыня. Не следует взваливать на комфронта. Шорин все-таки его ценит. Не кто иной, как Шорин, устранял немало рогатин в начале формирования корпуса. Троцкий наобещал с три короба, на том и дело кончилось. А командующий фронтом всегда подавал руку, не скрывал, что возлагает большие надежды на Конно-Сводный корпус, на него, Думенко, в готовящемся наступлении через Сальские степи на Новочеркасск — Ростов. С усложнением стратегической обстановки под Орлом Центр перенес главный удар западнее — на Южный фронт. Но вот что-то сник Шорин. Ходят упорно слухи, что ему ищут замену. Так что Шорину не до него теперь.

Гложет сердце тревога, хотя вроде бы все идет как надо. Войска по-прежнему боготворят; штабные, да и весь командный состав — от взводных до комбригов, кроме Жлобы, души в нем не чают. Из всех отделов штаба с политическим, пожалуй, не нашел общего языка. Не с отделом — с начальником его, Ананьиным. С того давнего совещания, что проходило на хуторе Бычок, так и не встречались. Исполняя временно обязанности военкома, Ананьин, упорно объезжает полевой штаб; если появляется в войсках, то только в бригаде Жлобы. Кое-что доходит об их пересудах. Он, Думенко, делает вид, что его это не трогает, но недовольство копится, как вода в запруде. Выплескивал излишки,

когда наказывал виновных за хозяйственные неурядицы и нерасторопность в снабжении войск. Уравновешивали и смиряли боевые успехи; жил только боем, рубкой. А стоит задержаться в тыловом штабе — наваливались и хвори, и усталость, и тревожные думы.

Вот и нынче... Даже сквозь радостное возбуждение от встречи с дочерью и напряженное состояние, какое он испытывает всегда перед боем, пробивалась явная тревога: сообщил из Лихой Абрамов, что прибыл вновь назначенный военком корпуса. Фамилия грузинская. Может, и зря тревожится, может, путный, достойный человек едет. Грузины есть в его личной охране. Народ горячий, храбрый и преданный. Вспомнился Хруцкий. Как военком он навряд ли справился бы... Но человек душевный. Как Ананьин ни пригребал его к себе, не вышло. Каков этот? С чем едет?..

Из метели вырвался всадник в бурке. Буран заплясал, негодующе сдерживая грудью звездолобого коня с запененной оскаленной пастью. Из-под косматой шапки всадника обжег свирепый взгляд.

— Товарищ Думенко, пакет от Жлобы!

Думенко кивнул подскочившему Блехерту: мол, прочти. Зубами стащил начоперод коричневую кожаную перчатку. Загораживаясь плечом от снега, обежал взглядом желтый клок. Не прочел — передал донесение своими словами.

— Партизанская обогнула высоты. Двигается балкой. Противником не обнаружена. Есть известия от подрывной группы. Достигли железнодорожного моста у Норкинской. Все в ажуре, Борис Макеевич. Указания комбригу Жлобе будут?

— Следовать согласно приказу. Напомни, не ввязываться в бой под Персияновкой. Захватить только Жирово-Янов. Ждать моего распоряжения. Разъезды ваши не столкнулись с противником?

— Нэ скажу, товарищ командыр.

— Не знаешь...

— Нэ знаю.

Худое, глазастое лицо кавказца понурилось. Вручая распоряжение, Думенко напутствовал:

— Скачи. Да не нарвись на казаков.

Звездолобый конь, взвиваясь, крутнулся на задних ногах; мохнатая бурка, взбитая ветром, хлестнула Бурана по храпу.

— Абрек, дьявол,— ругнулся комкор, успокаивая коня. Проводив восхищенным взглядом горца, не утаил вздоха:— Вот такого бы нам молодого военкома... В седле-то как, стервец, держится. А тот небось ссохлый весь, как стручок фасоли. Абрамов говорит — с сединой уже.

Неподалеку снарядный взрыв с свистящим треском порвал снежное полотнище. Степь заколыхалась от пушечной пальбы...

2

Метель унялась. Теперь, казалось, весь белый свет закрывает вонючий пороховой дым, тучами наносимый ветерком. Закатываясь от удушья, Думенко ищет сторону восхода — должно бы взойти уже солнце. Стучит зло пальцем в крышку часов, напрягает голос:

— Им палить чего... Весь арсенал подвезли из Новочеркасска. А у нас... не надолго такой дуэли. Прикажи умерить пыл.

Блехерт склонил голову, сам понимал, что состязание пушкарей затянулось. На тяжелое аханье бронепоездов и густую пальбу полевых орудий с укреплений пришлось выдвинуть всю корпусную артиллерию. Такой бесхозяйственный расход снарядов в расчет не входил. Этак совсем опустеют зарядные ящики. А брать еще город... На трофеи положиться бы, так беляки смалют, черти.

Озадаченно комкор уловил: трехдюймовки смолкли с обеих сторон. Палят бронепоезда; огонь они перенесли правее, за железнодорожное полотно. Там бригада блиновцев; в атаку пока они не идут, ждут своего часа.

Замысел казаков проясняется. Стреляют по блиновцам для острастки, отгораживаются. А попрут тут, на Горскую. Недаром прекратили огонь. Но тишина и левее. Она настораживает. В бинокль сквозь рассеивавшийся дым синеют заснеженные высоты. Где-то там Партизанская. Жлоба не успел перевалить железную дорогу, захватить Жирово-Янов. Артогонь застал партизанцев в балке, за высотами; при надобности они оседлают насыпь — не выпустят из Персияновки в город бронепоезда. И это уже не важно: мост на станции Норкинской в руках у подрывников. Поважнее сейчас другое: обнаружен ли Жлоба? Посунут казаки и на него... Позарез нужно сохранить Партизанскую резервом. Без нее бы раскроить черепок «неприступному валу». Работа Жлобу ждет завтра: Новочеркасск. Снаряды раскидал да еще и резервную бригаду измотает...

За спиной Блехерт шпорит коня, явно нервничает. Не поворачивая головы, Думенко окликнул:

— Чем тебе Гнедой не угодил?

— Тишины пугается, черт.

— А ты сам?

— И меня она настораживает, Борис Макеевич. Десять конных полков! Навалятся на Горскую... Не придвинуть ли Донскую бригаду?

Подумывал Борис и сам над этим. Трехсвоякову придется туго. Могут даже окружить. Риск. Но верх взял иной план. Выманить казачью конницу из-за укреплений на чистое. Увидят: одна бригада — кинутся гончими. Блехерт тревожится, что навалятся скопом. Дай-то бог. Тут-то и пригодится Донская. Блинов-

цы тоже под рукой. Ну уж крайний случай, нежелательный — Жлоба.

Поделился мыслями — высказал как распоряжение:

— Придвигать Донскую не след. Горцы пускай пятятся на нас. Возможно окружение. Выдвинуть на фланги артиллерию и тачанки. Флангами займешься ты сам. Выманите казаков во-он в ту лощину. Мы с Лысенко вас встретим. Крой, Иван Францевич. Боюсь, Трехсвояков может дрогнуть. Вишь, дня поприбавилось да и дым рассеивается.

Противнику тоже пришлось решать загадки, после того как утихла метель. Оказывается, вот она конница Думенко, но вся ли? Похоже, корпус далеко не весь, не больше бригады. Заманчивой и легкой добычей вдруг предстала она. Краше не выпадает. Воздушный разведчик подтвердил: да, одна из бригад. В трех верстах за нею — другая; остальная часть корпуса за путями.

Белое командование восприняло такую расстановку красных добрым предзнаменованием. Напрашивалось само собой: изрубить конницу Думенко частями, быстро, до подхода пехоты. Тогда пусть лапотники лезут на колючую проволоку — угостить есть чем ради рождества Христова.

Не успел Блехерт согласовать взаимодействия с комбригом Лысенко, на взгорок влетел вестовой от Трехсвоякова. Без шапки, растрепавшиеся волосы лезли в глаза, налитые страхом; хрипло, сдавленно крикнул, тыча назад рукой:

— Танки!..

Заплясал Буран, разгребая кованым передом снег до глины. Комкор жестко свел брови.

— Охолонь,— мрачно посоветовал он, придвигаясь к вестнику.— Да горло не дери. Донесение давай.

— Нема. На словах переказывал начальник штаба Дронов. Конница посунула, мол, со всех боков. Подмога надобна. Не одолеть самим.

— Гм, вы еще и одолеть намерены,— усмехнулся комкор, оглядывая сгрудившихся командиров.— С такими бойцами, как ты, навряд ли... Танки-то своими глазами видел?

Боец пристыженно поник, теребя хлястик съехавшего кубанского башлыка.

— Гудят поперед конницы... В теклинке. А зреть не зрел.

— Вот то-то. А панику наводишь. По осени под Царицыном довелось воевать?

— Не...

— С мест каких сам будешь?

— Бутурлиновский.

— Ну-ну... Обвыкнешь. Бригада твоя, Горская, шашками секла эти самые танки. Ага, ага, не таращь глаза. Слепые они, танки. Как котята. Шашками-то не доймешь, для смеху это я. Зато гранатой или снарядом... Как семечки лущатся. Вздымают-

ся огнем, вроде копны кураю. Опять не веришь. Что ж, поскачем...

Переиначил Думенко: Блехерта оставил при полевом штабе вместо себя. Приказав Лысенко приготовить бригаду к бою, дал Бурану повод. Донесение дурное. Угрожающий вид танков может наворочать беды непоправимой. С царицынских боев горцы обновились наполовину: молодняк весь, как и этот щенок, в глаза не видали железных страшилищ. Выпустит Трехсвояков повод — пойдут метаться от страха. У закаленных бойцов сожмется душа. Текучев Фома, тот держал бригаду в узде. С ним-то они тогда впервой на танки напоролись у Древнего вала. Пожгли, изрубили прислугу. На миру изгоняли страх у дрогнувших было бойцов...

На бугре придержал храпящего коня. Позади краснеет башлык бутурлинца; с ним скачет и Мишка. Поджидая, непослушными пальцами доставал из футляра бинокль. Бригада отходит раздерганно, вперемешку. Где полки? Где эскадроны? Но и не бегут сломя голову; отрадно, не видать одиночных всадников, не вырываются из общей массы. Валят черным комом...

Поодаль, на белом, темнеют коробки. Догадался: танки. Самый страх. Приблизил биноклем. Два, три... Палят на ходу из пушек и пулеметов. За ними плотной стенкой подступают конные сотни...

Трехсвояков явно преувеличивает опасность со стороны танков. Подлинная опасность вот, на флангах. До десятка конных полков. Трехсвояков их не видит. Охватывают умеючи, не прут на рожон; возможность сдавить Горскую у них уже есть, но почему-то медлят, всаживают клинья глубже. Не устраивает их что-то... Да, видно, знают о присутствии другой бригады; хотят взять в клещи и ее. С колокольни видать или аэропланы сообщают? Пролетал недавно... Черт их разберет: свой, кадетский ли? А блиновцев все утюжат бронепоезда. Отвлекают, придерживают. Готовятся расправиться по частям...

Думенко поднял опять бинокль, желая удостовериться в своей догадке. Судя по действиям левофланговой группировки, противник не замечает за своей спиной Партизанской бригады. Скрыта высотами от наблюдателя на церкви, но летчик сверху увидит. За своих разве что принимают? Удачно Жлобе казаки подставили затылок. Стукнуть бы... Велик соблазн, но следует думать о завтрашнем дне. Нынче всю тяжесть боя взвалит на Горскую и Донскую. И без помощи партизанцев и блиновцев, понимал, не обойтись: впятеро численное превосходство врага. Класть дуром головы не в его правилах...

Подскакали вестовые. Он успел уже дописать распоряжение Блехерту. Донскую бригаду не дать замкнуть вместе с горцами. Блиновцам задачу изменить: ударить по коннице — правому кры-

лу. Послать туда Шевкопляса. Жлобе атаковать левый фланг. Одним сабельным полком. Наступать немедля.

Вручая записку Мишке, коротко бросил:

— Вертай живо.

Буран, раздувая ноздри, сорвался в намет. Фиолетовый глаз зло косил на колено всадника, а уши ловили накатывающийся шум, изведанный, всегда возбуждающе тревожный.

3

Рев улегся от взмаха руки Думенко. Опали клинки и шапки. В невесть откуда явившуюся тишину врубились жесткие слова:

— Горцы, вы не одиноки! С вами братья ваши, донцы, партизанцы. На подмоге бригада блиновцев. Все они тут, поблизу...

Сдавливая под шарфом натруженное горло, комкор с укором сипло выговаривал:

— Танков оробели!.. Запамятовали Царицын? Они же только с виду страшные, эти слепые чудовища.

Разваливая пристыженную толпу конников, как дорожную грязь, на простор вымахнул артиллерийский унос; ездовой, густобородый, цыганского вида кубанец, с лихим посвистом осаживал австрийских мохноногих битюгов, разворачивая трехдюймовку. Расчет сыпанул с передка.

Орудие это попалось Думенко по дороге; обложив матом ошалевших от скачки пушкарей, велел следовать за собой. И вот они, подскочили ко времени. Наблюдая с седла за излишне суетливыми движениями наводчика в дубленом полушубке, Думенко подсказывал:

— Не гомонись. В гусеницу меть. Вон тому, крайнему... Да болванкой — не шрапнелью. Слышь, борода, болванку, говорю!

Чертовски хотелось подкрепить пустые слова делом.

Буран присел от близкого выстрела. Огрев его ножнами, Борис вскинул бинокль. Недолет изрядный. Обманчива низинка, версты две тут, а то и с гаком.

— Дистанцию прибавь, мазила, — подал голос Трехсвояков, боязливо косясь на свалившегося будто с неба комкора. Радовало комбрига его появление и в то же время страшило: не догадался сам выдвинуть пушки. Провалиться бы от стыда. Пугало Трехсвоякова больше всего то, что не набросился Думенко на него с матом. Охолонул бы и все позабыл, в лучшем случае высмеял бы в штабе потом. Не дожидаясь окрика, покуда комкор гарцевал возле пушки, Трехсвояков приказал подскочившим командирам полков навести порядок в рядах вплоть до эскадронов; на флангах выставить артиллерию и пулеметные тачанки.

Цель накрыл пятый снаряд. Неправдоподобно желтый при дневном свете занялся костер.

Думенко подъехал к командирам. Не таил довольный усмеш-

ки на худом выбритом лице. Перекрывая ликование бойцов, наклонился к комбригу:

— Не спасовал, Георгий Фатеевич, спасибо тебе. Отвел бригаду порядком. А клинки щербатить о броню — не бойцовское дело. Пушки на то есть. Пушкари добрые, горцы...

У Трехсвоякова отлегло от сердца. Рукавом утер он распаренное лицо, сбивая на ухо лисью шапку. Комкор привстал на стремена, окидывая взглядом из-под ладони заснеженную степь.

— Орудия и тачанки выкатываете кстати,— одобрил он.— Не танки страшны. Вот, поглядите...

Ближние высоты в стороне Новочеркасска на виду обрастали конницей. Вываливалась она из балки большими пачками.

— То Жлоба! — поспешил заверить военком Пискарев.

Поддержал его и Дронов, начальник штаба:

— Вправду, Борис Макеевич, с полчаса как оттуда надбегал разъезд Жлобы.

— А Жлоба ли? — усомнился Думенко.

Трехсвояков поднял бинокль.

— Хоро-ош Жлоба... Погоны светятся. Погодите, а не генерала ли Гусельщикова эти конники? Из Зверева мы его четвертого дня турнули.

— Гусельщиков вчерась свои остатки положил под Александро-Грушевской, — настаивал Дронов.— Эти вовсе свежие... по обмундировке сказывается.

— Зараз узнаем, кто это...— Думенко, пряча бинокль, отдавал распоряжения: — Бери, комбриг, полк Юдина. Я с остальными полками встречу левое крыло. А танки оставим на совести пушкарей. Лысенко идет за тобой. Подможет и Жлоба. А там подоспеют и блиновцы. Ну, с богом.

Потянул из ножен шашку.

4

К полудню персияновский «неприступный вал» развалился. На виду у пластунов и пушкарей, бронепоездов и танков думенковцы и блиновцы у высоты «403» в клочья иссекли казачьи полки. Подоспевшая пехота в штыки бросилась на проволочные заграждения. Остатки конницы белых отходили на станицу Кривянскую; пластуны, кинув артиллерию, взорванные бронепоезда и пожженные танки, откатывались в город.

Разгоряченные преследованием, конники уперлись в речку Тузловку, пригородное местечко Хутунок. Вот он, город, за путями; виден как на ладони. Обрывки разметанных теплым ветром туч цеплялись за золотой крест кафедрального собора. С утра нудившееся за глухой снежной наволочью солнце пробивалось в прорехи, выхватывая то кусок бугра, то речку, то железные крыши, то колокольню.

Малая передышка выпала в Хутунке. Полевой штаб корпуса расположился в пекарне. Комбриги, военкомы, штабные расселись на ларях, мешках с мукой; усталые, взмыленные, жевали пахучий, горячий, из печей, хлеб.

Жевал, посмеивался со всеми и Думенко, а самого одолевали сомнения. Что за железнодорожной насыпью, в окраинных садах? Что в городе? Бригады измотаны, кроме Партизанской — она не вся вводилась в бой. Никаких сведений о противнике. Сколько его в затаившихся улицах? Отступили пластуны из Персияновки.

Тревогу комкор заметил и в глазах Блехерта. Переждал, покуда снабженцы таскали чувалами печеный хлеб из пекарни, заговорил:

— Корпус на сегодняшний день задачу выполнил. Ставлю на совет. Брать город немедля или ночью? Силу противника мы не знаем. Ждать пехоту до рассвета на Тузловке, под открытым небом,— тяжело. Отойти для отдыха в хутора — там тоже все хаты, сараи забиты.

Потянулся к начатой хлебине, отвалил рябую горбушку.

— Темна дожидаться...— высказал Трехсвояков неуверенно.

Жлоба заерзал на мешке, сказал:

— Пускай, Думенко, Партизанскую. Бригада моя не вся уморилась днем. Проскочим на галопе город.

— Думаешь, генерал Сидорин с хлебом-солью выйдет? — Блехерт под усами спрятал язвительную усмешку.

Начальника полевого штаба поддержал Шевкопляс:

— Сидорин у Ермака, на соборном плацу, караул почетный Жлобе выставит. Отрапортует.

Смех поднял на ноги Жлобу. Сердито отталкивая выпиравшую рукоять шашки, он обидчиво кусал губы, настаивал:

— Артиллерию всю придай. Одной бригадой возьму.

Думенко усадил его. Хмуро поглядел на Блехерта: что, мол, предлагаешь?

— Без разведданных операция рискованна. Стемнеет — выслать усиленную разведку. Наступать с рассветом, вместе с пехотой.

Разумное в словах начоперода. Но это с его стороны, штабиста. А Жлоба прав больше. Наступление задерживать нельзя. Ковать железо, покуда оно горячо. Гнать, не давать опамятоваться. Потирая под застегнутой шинелью ноющий бок, Думенко указал взглядом Блехерту на полевую сумку:

— Пиши. Овладеть Новочеркасском. Подтянуть всю артиллерию корпуса. Бить шрапнелью. Без гика и свиста. Забирать дворами, улицами. В паре с Партизанской бригадой двигаются горцы.

К полуночи город был очищен. Его не обороняли: сломленные в последние двое суток на Донце, Сидоровско-Кадамовском

и тут, в Персияновке, белоказаки спешно отходили двумя рукавами — на Ростов и за Дон, в станицу Багаевскую.

Еще на улицах, во дворах шла пальба, а в иных домах у рождественских столов уже разгорались песни победителей.

5

Завершили бешеный день в Красных казармах.

Давняя мечта Думенко сбылась, два долгих года ждал этого часа. Именно нынче, думалось, взмахнет остатний раз клинком, сойдет с боевого коня. Казачью армию развалил, столицу белого Дона поверг. Нет больше войскового атамана. Поутру въедет на Соборную площадь — сейчас утомился, надо хоть чуть-чуть прийти в себя.

Странно, ощущения конца не испытывает. Не теснятся в груди даже те обычные уже для него чувства победителя, какие переживал немало. Борет сон. Голова, как казан, тяжелая, валится с плеч. Упал бы не раздеваясь и уснул.

Из аппаратной вышел Носов. По лицу его понял, связи все нет со штабом армии.

— Тряси Абрамова, ему бы хоть сообщить.

— И Лихая не отзывается,— Носов виновато развел руками.

Хотелось самому порадовать среди ночи Реввоенсовет. Что ж, придется все-таки писать оперативное донесение командарму Степину. Разложил на коленях полевую сумку. Посмеялся над собой: отвык за столом писать, все в седле. Силком раздирая свинцовые веки, водил карандашом: «Части корпуса 7 января, поведя решительное наступление для овладения станцией Персияновка, Персияновско-Грушевский-Жировоянов, высоты 403, встретились с противником силой до 10 конполков и 3 танков, задача которого была задержать наше наступление и не дать нам завладеть ст. Персияновка, на которой находились два бронепоезда противника. Под сильным артиллерийским огнем противника части корпуса бросились в атаку и, сбив противника, овладели высотой 403, захватив все танки. В 15 час. 30 мин., преследуя в панике бегущего противника, корпус повел наступление на гор. Новочеркасск».

Ни к кому не обращаясь, спросил:

— Во сколько выставили войскового атамана?

— В потемках уж... Трубачи давали сбор,— ответил Носов.

— Ага, в 20,— Борис опять наклонился к блокноту.

«В 20 часов 7 января выбили противника из города, захватив 5 танков, более 100 орудий, несколько тракторов, много автомобилей и массу разного военного имущества...»

Блокнот с текстом донесения Борис подал Носову, указав взглядом на дверь аппаратной. Покосился на Блехерта, нависшего над картой. Дымит, мучительно сводит брови. Мучения его

понятны. Корпус без боевой задачи на завтра! Он, комкор, смешал ему планы: завтрашнюю боезадачу выполнили сегодня. Сутки зато выкроил войскам для отдыха.

— Не ломай голову, Иван Францевич. Уж не будет начальство судить нас строго, что нарушили его график.

Блехерт, занятый своими мыслями, спросил:

— Борис Макеевич, есть резон Деникину оставлять Ростов?

— Гм, а какой резон Сидорину было удирать из Новочеркасска?

Блехерт поднялся, разминая хромую ногу, поправлял озабоченно и без того аккуратный пробор. В кресле заворочался прикорнувший Шевкопляс. Разглаживая измятые рыжие усы, поделился новостью:

— Давеча я говорил с Ростовом... Дежурный офицер в комендатуре поднимал трубку. У них настроение праздничное. Не подозревают, что мы в Новочеркасске...

— А к столу рождественскому не приглашал? — спросил усмешливо Думенко.

Снедаемый своими тревожными думами, Блехерт, загасив окурок в бронзовой пепельнице, подтащил свою карту поближе.

— Об этом, собственно, и я, Борис Макеевич. Тихо в Ростове. Где Конная? Где 8-я? Нет у нас связи с ними.

— К утру навалятся на Ростов,— заверил Шевкопляс, прикрывая ладонью зевок.

Давно бритая голова комкора тяжело опускалась к карте; строжали красные, исхлестанные ветром и дымом глаза — осиливал потаенный ход мыслей начоперода. Шевкопляс своей немудрячей новостью, сам того не ведая, прояснил картину четче. В самом деле, Ростов торчит пнем. Он, Думенко, колуном ввяз в тот пень. Не подсобить клином — вытащишь ли? А задержится Конная и 8-я? Не возьмут в назначенные сроки. Сорок верст. Железная дорога, гужевой тракт. Этой же ночью могут двинуть бронепоезда. Не знали два часа назад — теперь-то уж докатились отступающие войска.

— Я бы на месте Деникина Ростов подержал,— сказал Думенко, выжидающе глядя на Блехерта. Словами своими давал знать, что он понимает его тревогу и разделяет ее.

Блехерт откашлялся, сказал уверенно:

— Если дать Деникину передышку — плохо будет. Очухается за Доном и Сидорин. Страшит неизвестность. Ото всего света оторвались. Ни с кем связи!

— Ха! Сидорин зараз, знаешь, где? — Шевкопляс вздел руку.— В самой Тихорецкой! А то и подале — в Екатеринодаре.

Думенко прицыкнул на порученца; Блехерта взглядом усадил к столу. Сонливое, благодушное состояние у комкора пропало. Так вот откуда то ощущение... Новочеркасск взят, но шашку на гвоздик вешать рано да и не время оставлять боевое седло. Сту-

ча согнутым пальцем в карту, отдавал на завтра приказ войскам:

— Партизанской и Горской разместиться в городе. Жлобе занять южную окраину. Зорко наблюдать за ростовской веткой. Сейчас же, затемно, взорвать железнодорожный мост на станции Институтская. А удастся — и на Аксае. Трехсвоякову занять северную окраину города. С рассветом выслать усиленную и глубокую разведку в направлении станции Аксайская и тех дальних хуторов, Красников — Сал — Каменобродский. Разыскать и связаться с частями 8-й армии.

Следил за рукой Блехерта, успевает ли? По виду, начоперод одобряет его распоряжения. Со стороны Ростова заслон прочный — две бригады. Взорвать бы еще мосты... А завтра подоспеет и пехота. Но, оказывается, не так уж безобиден и Дон; по сведениям воздушной разведки, на левый берег скатились остатки Донской армии; в Ростов попала малая часть — там владения деникинцев. Живая сила не уничтожена — потрясена, деморализована. Войска утеряли боевой дух. Как командир, Думенко сам знает, что это такое. Хорошо бы не дать неприятелю очнуться от удара. Надо бы выдвинуть к Дону бригаду Михайлы Лысенко. За ночь отдышится после Персияновки и на рассвете поведет наступление на станицу Кривянскую. Там и расположится. Переднюет, а к вечеру уж подоспеет 23-я дивизия.

Поделился своими соображениями с Блехертом. Тот согласился, добавив, недурно бы овладеть багаевской переправой.

— Не сомневаюсь, Борис Макеевич, багаевская переправа пригодится нам скоро. Комфронта нацелит корпус именно сюда, на Багаевскую — Манычскую. Ростов ведь отведен соседям — Южному фронту.

Только разослали вестовых с приказом, ввалился Марк Колпаков. Карманы, руки забиты бутылками. Выгружаясь на стол, взахлеб рассказывал:

— Братва нарвалась на винные погреба. Ба-тю-юш-шки! Во добра-а! Пятнадцати-двадцатилетней давности... А поворочать — столетней можно раздобыть.

Шевкопляс любовно облапывал каждую бутылку, перечитывал цветные наклейки.

— Казаки знали толк. Цимлянское игристое! 1883 год! Ого!

— А что творится в городе?! Гуляют наши конники. В каждом богатом доме, считай, понаготовили к рождеству генеральши да офицерши... Столы трещат. А к завтрему пехота еще подсунет...

Разглядывая бутылку, отбивающую плесенью, Думенко унял пыл разведчика:

— Не раздевайся. У погребов выставь утроенные караулы. С пулеметами. Возьми у Жлобы дополнительную охрану. Вино выдавать по требованиям комбригов. Никому больше. Ни на чьи

записки. Я лично буду подписывать. Всякую попытку к погрому давить огнем. Взять под охрану все военные грузы, снаряжение, технику. Ответственность за это возлагаю до приезда Лебедева на тебя. Все — на строгий учет. К утру дашь мне полные и точные сведения.

Бутылку передал Носову, стоявшему тенью за спиной. Отряхивал руки; подбадривая взглядом сникшего Шевкопляса, добавил:

— А генеральским да офицерским столам не пропадать зазря. Не помешал бы сейчас рождественский стол и работникам полевого штаба. Заслужили, как и эскадронцы. Блехерт, как?

Начоперод, блестя глазами, смачно потер ладони.

Глава семнадцатая

1

С утра в полевом штабе собрались командиры и военкомы. Знали о поздравлениях командарма Степина и РВС фронта по случаю взятия Новочеркасска. Не терпелось услыхать от самого комкора. Кроме добрых слов и наград ожидали приглашения в соседнюю комнату — оттуда доносились одурманивающие запахи и звон стекла. Дмитрий Жлоба, выбритый, в ненадеванной темно-синей черкеске с красными отворотами и серебряными газырями, подмигивал Трехсвоякову: штабные в таком предмете, мол, толк знают.

В дверях аппаратной встал комкор. Звали его к телефону. Ушел веселым — вернулся туча тучей.

— Звонил Овчинников, начдив 21-й,— он мрачно оглядывал притихших командиров.— Уйми, мол, своих конников... Пьянствуют, горланят по улицам, сбивают с толку и его пехоту.

— Трезвенник какой, Овчинников,— усмехнулся Жлоба.— Его пехтура со штыками лезет на мою охрану у подвалов. Завидки гложут — не он...

Думенко ходил по ковру, вызванивая шпорами.

— Не кичись, Жлоба. Ты первым ворвался в город. Захватил винные погреба... А пехота — через сутки! Зато она прибрала к рукам всю технику: тягачи, машины.

— Хо, технику! Вона вся торчит в грязюке по самую шею.

Оборвался звон шпор, лицо комкора исказилось.

— Пьянствуе-ем. Это еще что-о... Грабим, бандитствуем! На твоем месте, Жлоба, я бы не усмехался, — Думенко вынул из кармана френча мятую бумажку.— Вот, изволь... Председатель Ревтрибунала Прохватилов докладывает. Послушай, послушай: «Этой ночью арестован красноармеец Кубанского полка Партизанской бригады Проговорев Александр за вооруженное ограбление и вымогательство с угрозой убийства...» Что?!

Диво, не бушевал комкор. Устало присев на край стола, жадно выкурил полпапиросы. Впалые щеки белее бумаги. Нескоро нарушил томительное молчание:

— Забываетесь, война не окончена, враг скопился за Доном, перегруппировывается... Может выпустить поджатый хвост.

Вошел Дороня Носов, шепнул что-то Блехерту. По тому, как тот отмахнулся, Борис понял: праздник превратил в баню.

— По ночным улицам усилить разъезды,— продолжал он более сдержанно. — Вылавливать всякую сволочь, грабителей, бандитов... Ставить тут же к стенке! А то особисты и трибунал будут вот так чесаться — учинять допросы да составлять протоколы. Известно, под обличием наших бойцов орудует и офицерье. Приказываю: ухватил за руку — без суда и следствия...

Военком Горской бригады Пискарев, отводя глаза, возразил:

— Это будет нарушением советской законности.

— Покуда мои войска в городе... я здесь Советская власть. А законы — военного времени.

Кивнул Блехерту: начинайте, мол, без меня. Командиры, топая грязными сапогами по богатому ковру, удалились в заветную комнату. Переминался Георгий Трехсвояков, пряча за спиной листок. Думенко догадался: после такого разговора комбриг постеснялся при всех подать очередное требование на вино.

Заглянул Марк, выпалил:

— Абрамов!

— Звонил?

— Собственной персоной.

— Зови, зови,— протянул руку к Трехсвоякову.— Ладно, давай. Последний раз. Духу твоего чтоб больше не было по такому делу.

Обрадовался Борис приезду начальника штаба — не виделись недели две, с Ольхового Рога. По оперативным приказам, распоряжениям, телефонным переговорам и со слов других знал, что он назначением доволен и работает с душой. Главное, разогнал дрему в штабе, требует с подчиненных; завертелись возле него все тыловые службы корпуса. Кое-кто даже сожалеет о прошлой вольготной службе при Качалове: Носов как-то встречался с Ямковым, комендантом тылового штакора; жалуется тот на «новую метлу».

Оставив кресло, Думенко подошел к окну. С тревогой глядел на сплошные потоки воды на стеклах. Насмарку вся зима. Зарядил дождь, третьи сутки уже. Наступление оборвалось у Дона. Не слышал Борис, как открывалась массивная дверь. Ощутив за спиной приближающиеся шаги, быстро повернулся; крепко жал руку Абрамова, пытливо засматривая ему в лицо.

— С вестью я сразу к вам... Телефонограмма из Ростова.

— От кого?

— От Буденного. Весть добрая, Борис Макеевич. Родители ваши отыскались.

Не слишком ли много радости за такой коротенький промежуток? Дочь, Новочеркасск... Теперь — батька Макей! Двухлетний круг замыкается. Дон, по сути, и разделяет. На том берегу станица Багаевская, хутора Веселый, Казачий... Как пройти эти последние версты?

2

Растревожил звонок Буденного. Отозвалось давнее, болючее, как старая рана — захотелось повидать свою кровную, 4-ю. Посоветовался с Шевкоплясом; тот загорелся.

— С пустыми руками ехать...— Григорий озабоченно оттягивал ус.— Подарок бы. Такой, для всех!

— Покопайся в лебедевских тайниках. Я выезжаю на позицию, в Кривянскую. Вернусь к вечеру.

Слово свое Думенко сдержал — вернулся вечером. Злой, заляпанный с ног до головы грязью. Пока, поминая бога, кадетов и погоду, обмывался в генеральской мраморной ванне, прибежал Григорий Шевкопляс.

— Поглянь!

— Эх ты!..

Знамя. Густо-красное, парчовое, в золотой бахроме; пламенели по всему полю, тоже золотом, слова: «4-я Кавдивизия».

— Ну?! Семену самому вручим. Перед всем строем.— Заметив, оторопь сходит с лица комкора, Шевкопляс сбавил пыл: — Оке можно... Начдиву. Лучшего подарка и не придумаешь. Всем доразу.

— Какой же подарок, знамя? Награда. А кто мы такие с тобой, чтобы награждать?

Одеваясь, Борис с усмешкой подбодрил сникшего порученца:

— Ладно, скатывай. Вручать сам будешь. Где раздобыли-то?

Григорий отмахнулся безнадежно.

— Твоя охрана... Комэск Памков всучил. В доме генерала Молчанова отыскали.— Вспомнив, он вдруг оживился:— Зато тебе какой подарок эскадронцы припасли! С ума свихнешься, увидишь. У Марка сидят, препроводиловку сочиняют. Только чур! Я ничего не болтал. Зараз они ввалятся...

Вошел Марк.

— Товарищ комкор, делегация тут...

— Впусти.

Застегнув спешно крючки на вороте френча, ладонью стирал с бритой головы капли. Взгляда не отводил от приоткрытой двери. Обеспокоенный задержкой, Марк исчез; тотчас воротился, смущенно посмеиваясь:

— Удрали, черти. Вот оставили на столе...

Шашка. Кривая, старинная; ножны выложены узорами из драгоценных каменьев по золоту.

С ума Борис не свихнулся, но подарку обрадовался. Приложил к боку: как, идет?

— Не к твоим галифе да сапогам,— откровенно сознался Григорий. — Штука эта когда-то украшала княжеские бедра, расшитые тоже золотом...

— Прочитайте бумажку к ней! — воскликнул Марк.— По всем правилам. Штамп в уголке.

Борис, растроганный, взглядом окинул большой лист плотной бумаги, исписанный корявыми неровными буквами.

«При сем препровождаем Дорогому Нашему Герою Красной Кавалерии, вождю, Красному Генералу Борису Макеевичу тов. Думенко от Отдельного эскадрона при штабе Конно-Сводного корпуса приподносим Вам, Низаветному Герою русской революции, от наших рук золотое оружие с изумрудами и просим принять, дорогой тов., и надеть на свой широкий стан Мужеств. И с тем же подарком желаем счастливого успеха в делах Ваших рук.

Командир эскадрона *Памков*.
Комендант штакора *Канунников*».

— Покличешь их ужинать, Памкова да Канунникова. Черти, удумали чего...

После ужина до глубокой ночи засиделись с Абрамовым за свежими разведданными. Утром, прихватив с собою Шевкопляса, выехали в Ростов.

3

В Ростов прибыли в полдень. Никто из них не знал города; кучер, покрикивая на зазевавшихся прохожих, тыкал кнутовищем, называл торговые дома, улицы, питейные заведения. Борис пытливо оглядывал из-под надвинутого капюшона людские толпы. Все свой брат, серошинельник. Пехота, конники. Млело сердце от предстоящей встречи с Буденным.

Подъехали к штабу Конной. У ворот препятствий охрана не чинила. Узнав, кто в тачанке, широко распахнула узорчатые чугунные створки. К крыльцу сбежались вестовые и штабисты.

Приняла Надя, жена Буденного. Угадав, ойкнула; Бориса и Григория обняла, Абрамову подала руку.

— Начальник штаба корпуса Абрамов, Михаил Никифорович,— представил Шевкопляс.— Камышинский. Вот с Борисом нашим ветераны и основатели корпуса. А где твой благоверный? Усы ему кадеты не подсмалили?

— Скоро должен... И усы целые.

Заметив, насколько смущена Надя, Борис поддел Шевкопляса с усмешкой:

— Твои вон рыжие, хохлачьи, без помощи кадетов оскудели. Воронежские русачки выщипали.

Надя посмеялась шутке Думенко, подсела к нему.

— Бледный. Болеешь?

— Есть время болеть...

Застилая богатой скатертью стол, хозяйка вспомнила:

— Да, не встретил, Борис Макеевич, отца с матерью?

— Они не в Ростове?

— Вчера проводила. Подводой. Из тюрьмы прямо.

— Спасибо.

В гулком коридоре раздались шаги. Вслушиваясь, Надя предупредила:

— Сердитый идет.

У порога Буденный застыл. Иссиня-жгучие глаза уже добрели, шевельнулась губа под усами, а в сдвинутых пучках бровей, в степных скулах и выпяченном раздвоенном подбородке — столько еще гнева, злости. Первым попал ему в расставленные руки Григорий. Молотили бока друг дружке на совесть, кряхтели.

— Ху, бугай!.. — сдался Шевкопляс, тяжело отдуваясь.

Освободившись от великокняжевца, Буденный подошел к Думенко. Поправлял развороченный под ремнем френч, оружие, глянцевито-блестящие гладкие волосы. Сам не решается, но готов и его помять: давнее чувство к бывшему начальнику сохранилось. Не тискали, не молотили бока, но обнялись крепко.

Когда при встрече у людей есть что вспомнить, разговор долго не клеится. Каждому хочется высказать свое, что ближе именно ему. Одолевал Шевкопляс — ему лучше вспоминать, нежели делиться теперешним; Буденному, наоборот, не терпелось поведать нынешнее...

Вино развязало языки. Наседал великокняжевец:

— Да ты послухай, Семен. За Казенным мостом, вон у Борисовом хуторе, Казачьем... Там все и началось. Евдоким Огнев, матрос! Бедовый парняга был... Э, да ты не знаешь. Борис, тот должен помнить...

— С Шориным я столкнулся еще вон когда, осенью. Уходили на Воронеж. И опять бог свел. Терпеть он конницу не может. Не знаю, как корпус ваш, а мою Конную... А тут и Сокольников ему постарается обрисовать. Я его зараз послал по-нашенскому. Укоряет: чего лезли на Ростов, когда вам наступать на Таганрог! Его не спросили... Сволочь, контра поганая!

— С чего дивизия-то моя началась? — растроганно спросил Шевкопляс.— С горстки. Успел увести обратно за мост. А Евдоким Огнев там и остался, в Казачьем... Памятник бы ему поставить. Непременно займусь, как прихлопнем кадетов. До черто-

вой матери их ссунулось за Дон. Чего доброго, еще и оживут, как прошлой весной. Хмара черная.

— Не оживут,— заверил Буденный, разливая густое душистое вино.— Не хмара черная — так себе, тучи.

— Тучи так тучи,— согласно кивал Думенко, прикрывая ладонью свой стакан.— Все собрались... Коновалов, Шкуро, Топорков, Мамонтов.

— По моим данным, Борис Макеевич, Мамонтов слез с седла еще в районе Бахмута, на станции Попасная. Мой давний знакомец, Улагай, корпус его подчинил.

— Знаю, Мамонтов свалился в тифу. А Улагая, кажись, уже нету на Дону.

Думенко глянул на своего начштаба: подключайся, мол, не чувствуй себя чужаком. Вдавливая в дно пепельницы папиросу, Абрамов подтвердил:

— Войска Мамонтова принял генерал Павлов. Вчера офицера допрашивал... Улагай с остатками кубанских корпусов отодвинут к Тихорецкой.

— Чего-то мы упустили в нашем наступлении... Вы как считаете, штабист, а?

На вопрос Буденного Абрамов ответить не успел. Вошли члены Реввоенсовета Конной Ворошилов и Щаденко. Тоже явно не в духе, возбужденные.

— Вот так го-сти-и! Ты глянь, Ефим Афанасьевич...

Не обнимались, но руки жали крепко и долго. Ворошилов подтащил стул к Думенко. Пытливо оглядывая его, высказал восхищение:

— Читаю, читаю в газетах. По Украине даже гул идет о твоих делах. Одно время пропал куда-то... Летом вот. Потом — опять. От Сталина, помню, в Серпухове слыхал... Как из-под земли знаменитый Думенко вырос! Белые ахнули, когда на Хопер явился. По такому случаю не грех...

Выпили. Прожевав, Ворошилов заговорил о чем-то, видно, недоспоренном:

— Ты, Семен Михайлович, грубо с ним, Сокольниковым.

— Да я чего!..

— Ладно, ладно.

— Ни шагу я из Ростова.

— Ростов еще не конец.

Примиряюще улыбнувшись Буденному, Ворошилов повернулся опять к Думенко.

— А Новочеркасская операция, в самом деле, блистательная. Ничего не скажешь. «Правду» читали? «Осиновый кол вбит в самое сердце контрреволюции. Ее главной опоры — Донской армии — не существует». Каково, а?

— Там есть еще одна фраза,— заметил Абрамов, откиды-

ваясь на спинку стула.— Наши войска двигаются «неудержимой лавиной» на Кавказ. А мы топчемся у Дона.

Надя метнула тревожный взгляд на Ворошилова.

— Клим Ефремович, вы ешьте, ешьте,— угощала она.— Вовсе не закусываете за своим разговором. И гости сидят как на поминках. Григорий Кириллович?

— В нашем наступлении мы много упустили,— продолжал Абрамов с независимым видом.— Считаю, оно плохо продумано в самом начале. Не случилось компактного, единого удара. По сути, ударов было два... Ваш — Донбасс, Таганрог, Ростов и наш — Богучар, Миллерово, Лихая, Новочеркасск. Ничто нас не связывало практически. Наступали каждый по себе, как могли. А в военной операции важен исход.

Ворошилов отодвинул локтем тарелку.

— И каков он, исход?

— Удары наши цели не достигли. Армии противника не разбиты. Мы их только раздвинули, часть к Крыму, часть за Дон. Можно сказать, догоняем, нанося незначительные поражения. Разумеется, в войсках его — и паника, и страх, и деморализация, и утеря руководства... Как вообще при всяком отступлении. Скажу, все это явления временные. Передышка может очень помочь неприятелю. А ее мы уже дали ему. Наш корпус до сей поры не имеет боевого приказа. Пятые сутки топчемся в Новочеркасске. Так же, как и Конармия в Ростове. А сегодня Дон форсировать уже трудно. Ждать морозов...

— Конную не трогайте!

— Клим Ефремович, ну, ей-богу,— вступился Буденный.— У нас тут свой разговор. А насчет командующего Шорина... еще и ты поплачешь. Вспомнишь добрым словом Егорова и Сталина...

— Может, вы и правы,— хмуро согласился Ворошилов.

Буденный отодвинулся от стола, разворачиваясь крепким телом к Думенко.

— У нас есть переправа через Дон. Вот, железнодорожный мост на Батайск. Невзорванный. Пробовали уж, переправлялись. Гиблое место, болотище. Чую, утопим мы свою конницу...

Ворошилов вдруг засобирался.

— Семен Михайлович, гости у тебя... Не будем мешать.

Простился кивком. За ним последовал Щаденко.

Глава восемнадцатая

1

Марк проснулся от толчка в бок своей случайной подруги.

— Начальство какое-то...

— Лежи... Сами немалое начальство.

Холодком взялось сердце у Марка: не Борис ли вернулся? Будет лихо. Вроде бы не маленький, но зазорно перед братом, а еще больше — перед жинкой его, Асей. Натягивая в потемках галифе, чертыхался, желая скрыть от гостьи смущение и внезапную робость.

— Носит их черт в такую непогодь,— ворчал он.— А ты откуда взяла? Может, никого и нет.

— Голоса громкие. И топот. Кто-то про начальство крикнул.

— Мало чего... Одевайся. Лампу зажгу.

— Ради христа, не свети.

Умоляющий шепот ее вызвал в коннике что-то похожее на обиду: «Совестится, вишь. А небось повидала мужиков...»

Перепало Марку случайно: девица предназначалась Блехерту. Двоих привел Дороня Носов. Засиделись за ужином. Чужих в штабе не было, звонки не тревожили. Благо, комкор в отъезде. Понимал Марк, отчего закрутил носом Блехерт. «Принцип»,— как он выражается. Подобного сорта женщин у него душа не принимает. За столом вслух он свой «принцип» не высказал, просто оставил их двое на двое; сославшись на усталость, ушел к себе. И черт с ним. А чем виноваты, хотя бы эти, Катерина и Евгения? Наверно, не от сладкой жизни очутились они в гадюшнике мадам Бочарниковой.

Обида взяла Марка на Блехерта. Чистоплюй! Жох по части женщин, Шевкопляс сулился познакомить его с некоей Грековой. По слухам, новочеркасская красавица обслуживала весь деникинский цвет. Такое, видите ли, можно, не осуждается. А по его, к стенке подобную сволочь.

Не заметил Марк, как остались с глазу на глаз они с Евгенией. Опытный волк, Носов умел заворачивать такие дела. И вот очутился с гулящей в постели...

Оказалось, что приехал из управления связи армии некто Захаров — белявый, быстроглазый парень в щегольском френче. С ним Лебедев — начснакор.

— Наш квартирмейстер, — усмехаясь, представил Блехерт гостям Марка.— Надо, Марк Григорьевич, устроить товарища.

Пожимая Захарову руку, Марк ответил:

— Квартиру можно... Сложностей нету. Новочеркасск не хутор. Могу и сам провести.

— Успеется, Марк Григорьевич,— остановил его Лебедев.— С Лихой трясемся в тачанке. Изголодались как собаки. Носов уже распорядился насчет ужина. Вестовой потом отведет.

Вестовой, так вестовой. Начальство не абы какое. Марк пододвинул стул к Блехерту, потянулся к его портсигару, стараясь погасить чувство мучительной неловкости перед этим человеком. Блехерт усмехнулся, не обидно и вроде бы смущенно.

На столе появились закуска, бутылки. Заметнее всех оживился гость. Перебрал до дюжины бутылок, восхищенно чмокая.

— Друзья, красные гусары! — провозгласил он тост.— За вас! За победу вашу. Новочеркасск вы взяли... Ух!

Бокал опорожнил лихо; запрокинувшись, выставил остро локоть, похоже как трубач.

— Умеешь пить, связист,— похвалил Блехерт.— По-гусарски.

Заглушая одобрительные возгласы, Захаров повысил голос:

— А знаете, зачем я прибыл? Доставил вам награды. Да, да. Четыре коробки часов. Прислал Белобородов. Думенко презентует храбрым из храбрых. 9-я восхищена победами корпуса. И на днях ждите приказа... Корпус ваш переименуется в армию. Вторая Конная! Здорово, а? Эх, жаль, комкора нет. Глянуть бы... Не видал. За Думенко!

Марк уж был не в силах оторвать влюбленных глаз от связиста. Наливать времени не было. Раскупоривали каждый себе, следуя примеру гостя. Захаров пил стоя, из горлышка. Откинул пустую бутылку на ковер, смачно крякнул. Вдруг нахмурился, оглядывая примолкнувших конников.

— А живете вы... препаршиво. Смею вас огорчить. Там, где слава, вино... там и женщины! Да, да, гусары, женщи-ны. А у вас? В таком великолепном дворце...

В глазах Блехерта заплясали бесы.

— Не высокого мнения ты, Захаров, о боевой коннице. Берем мы не только города.

Носов молча вышел. Вернулся с Евгенией и Катериной.

Поправляя растрепанные волосы, Захаров бегал ошалело глазами с одной на другую, не зная, какой отдать предпочтение. Галантно раскланялся, обцеловал обеим руки.

— Пардон, мадам. Пардон, мадам.

Евгению Захаров устроил в свое кресло; Катерина присела сама на стул Носова.

Веселье вспыхнуло с новой силой. Звенели генеральские бокалы, лилось густое темно-красное вино; смех глушил слова тостов. Появилась гармошка в руках приглашенного взводного. Пошли в пляс Марк, за ним Захаров. Но что за пляска на ковре?! Ни топота, ни звона шпор.

— Барыню! — потребовал Захаров.

Легко вскочил на стол, очистил сапогом место от посуды и бутылок. Частая дробь каблуков пулеметной очередью заполнила едва ли не весь атаманский дворец. Танцора все круче подхлестывали одобрительные крики.

Гармошка внезапно смолкла, будто захлебнулась. По изменившемуся лицу гармониста Марк понял: Думенко. Оборвалось внутри, поспешно выпустил руку Евгении.

В дверях стояла Ася. Верхнее она оставила внизу. Одета подорожному: сапоги, юбка из синего сукна, защитная гимнастерка. Первым опомнился Дороня Носов. Подскочил с полурапортом, с полуприглашением:

— Милости просим, Анастасия Александровна! С прибытием вас благополучным. А Бориса Макеевича нету. Сами тут без него. В Ростове он. Поджидаем к утру. Могу проводить в его комнату. А желаете... с нами.

Ася медленно обвела загадочным взглядом всех участников разгульного застолья.

— Да, я вижу, тут у вас куда как весело...

Веселье напрочь расстроилось.

2

В штабе людно, народ толкался самый разный: горожане, военные. Стол Марка Колпакова осаждали выпущенные из новочеркасских тюрем узники — получали справки. Захаров поздоровался с разведчиком кивком; тот сожалеючи развел руками: погоди, мол, сам видишь... У пробегавшего Носова узнал, что комкор из Ростова вернулся.

Умостившись на подоконнике, Захаров уткнулся лбом в холодное стекло. Мутные дождевые потоки, пенившиеся на булыжной мостовой, усугубляли препаршивое самочувствие. От буйного вечера раскалывалась голова, палило внутри. Шел к конникам с надеждой: не дадут пропасть, опохмелят. Теперь и не уверен; как еще глянет на вчерашнее Думенко — жена наверняка напела ему. Вдобавок ко всему Захаров не выспался. На квартиру ввалился он под утро; едва забылся в тяжелом хмельном сне, как разбудил какой-то тип. Оказался тоже постояльцем. Пошучивал, посмеивался, а между тем выведывал, что за гулянка была в штабе, кто присутствовал, о чем велся за столом разговор...

Упало сердце у связиста. Только теперь догадался: веселый тот постоялец не кто иной, как особист. Кто же его больше интересовал, штабные из корпуса или он сам, Захаров? Склонен думать — он. Свела нелегкая с таким жильцом под одну крышу. А может, это не случайно? Дали сигнал из армейского особого отдела: проследите, мол... Нет, не обойдется: трибунал как пить дать. Начальство на ветер слов не кидает. В Миллерове встречали рождество в веселой компании. Ну, перебрали малость, пустили в ход кулаки, выстрелы в потолок... Больше недели уж тянется, поди, особисты завершили дело — передали в трибунал. Приплюсуют еще вчерашнюю попойку...

Подошел Колпаков, потянулся с папироской прикурить.

— Пришлись ли подарки по душе комкору? — спросил Захаров, протягивая спички.

— Распределил уже по бригадам.

— Меня вызовет?

— Не навязывайся. Еще не известно, какой он нам преподнесет подарочек за вчерашнее...

За спиной у них раздалось:

— Колпаков!

И столько повеления было в этом голосе, что Захаров сразу догадался: «Думенко». Медленно, боязливо повернул он голову в ту сторону. Да, это, наверное, он. Несколько удивил рост — представлял крупнее. Строен, изящен. Удар его знаменитый выдают плечи, даже под шинелью чувствуется их сила. Поразила худоба и болезненная бледность: ни кровинки на впалых щеках.

Колпаков вытянулся в струнку.

И опять — повелительное:

— К ночи будь в Кривянской!

«Значит, уезжает комкор,— с облегчением подумал Захаров,— по крайней мере, от него разгона за вчерашний пир не будет. А может, такое здесь в порядке вещей? А я зря трясусь?..»

Думенко ушел. Колпаков бросился ему вслед проводить. Вскоре вернулся, каким-то шутливо крадчивым шагом подошел к Захарову, вожделенно потирая руки.

— По зеленой морде твоей, связист, вижу... трещит башка. А?! Потерпи. Мы еще как следует позавтракаем...

Стол сколотился людный. Настоящие закуски, похоже как в хорошем ресторане. Вин изобилие, на всякий вкус. Общество дам удвоилось — к вчерашним прибавилось еще две. Одна таксяк — стриженая, брюнетка, с короткой шеей и подведенными глазами. Зато другая... Красивая, стерва. Золотая копна волос, локоны по голым плечам...

Осушал Захаров бокалы, стараясь завладеть вниманием новочеркасской красавицы. Не получалось. На противоположном конце стола, возле нее, прочно укрепились «гусары». К счастью, исчез, судя по всему, главный соперник — наштакор Абрамов. Наскоро пообедав, он ушел глотать пилюли: из Ростова привез простуду. Захаров пригляделся повнимательней к Блехерту. Заметная хромота не заслоняет в нем кавалера: в каждом движении — царский вышколенный офицер, дворянин. Поглядывает красавица и на комбригов — Жлобу и Трехсвоякова. Манерами и внешностью оба не блещут, но звон шпор и громкая слава рубак с лихвой возмещают недостающее.

— Кто эта золотоволосая? — спросил Захаров у рядом сидящего остроскулого конника с светлыми усиками и жестким взглядом, начальника снабжения одной из бригад.

— Вера Александровна Грекова. Жена бывшего продкомиссара Кашкина, временщика. При Деникине была душой офицерских собраний.

— Так, так, обслуживала офицеров Войска Донского. Здорово! — Захаров усмехнулся.— Дальтоник, выходит, она... цвета не различает, где белый, где красный. Ха-ха! Брависимо! За бесцветную патриотку.

По взгляду Блехерта Захаров уловил, что тот внимательно

прислушивается к его остротам. Наклонившись к соседу, Захаров спросил:

— Блехерт — офицер?

— А тут и Шевкопляс носил золотые погоны. Вот тот, толстый. Да я и сам...

— Какие из вас офицеры. Вы окопные. Блехерту неровня.

С порога вестовой кликнул Колпакова. Разведчик не с охотой покинул застолье. Одергивая френч, нетвердо ступал по паркету. Минут через пять вернулся. На вопрошающий взгляд Блехерта с недовольной гримасой сообщил:

— Особист, Карташев. Из Александро-Грушевска прикатил. Думенко ему подавай.

— Что-то вынюхивает особист,— недобро усмехнулся комбриг Трехсвояков, многозначительно подмаргивая Жлобе.— Должность таковская. К столу бы его пригласил, Марк Григорьевич.

— Сволочь такую не только за стол...

Захаров ниже наклонился к соседу.

— О ком?

— Начальник особого отдела, Карташев. Грабиловку шьет Думенке. Жинка, мол, на пяти подводах с награбленным барахлом ездит. Пулеметом охраняет. Вот Марк и лютует...

Белокурая красавица потребовала выпить за Думенко. Блехерт, не отпуская от себя ее зеленого пожирающего взгляда, осушил бокал; потрясая им, возмущался:

— Не ценит Советская власть... И — кого? Народного героя, непобедимого полководца! Ведь он же... русский Наполеон! Не только победы... вы вглядитесь, они схожи типом лица.

Захаров даже привстал.

— Не возвеличивает красного командира такое сравнение! Наполеон Бонапарт — император. И французскую революцию — под корешок! Да, да.

Хмелели у Блехерта глаза; терял он обычную сдержанность.

— Может, и не удачно мое сравнение... Спорить не стану. Суть не в том. Думенко отдали под контроль мальчишкам, сопплякам. Пожалуйста, тот же Карташев... Мизинца его не стоит!

Захаров закусывал удила.

— Карташев, насколько я понял, — особист — должностное лицо. Ему доверила партия. И перед ней он в ответе.

— Думенко не коммунист, а народ идет за ним... на смерть...

— Иван Францевич, будет вам... Такое пахнет политикой,— сказал Лебедев, удивляясь: какая муха укусила Блехерта.

Однако тот распалялся все пуще:

— Немец я по крови. Родился в Польше... Да, я офицер, дворянин, товарищ Захаров. Ни от кого этого не скрываю. Знаю, Советская власть не доверяет таким. Скажу вам, честно служил России. Воевал на германском фронте, как и все вы здесь. Имел

царские награды, имею не одно ранение. Советская Россия призвала меня в армию... Она нуждается в моих военных знаниях, боевом опыте. Понимаю, служу честно, упрекнуть ей меня не в чем... Косые взгляды ваши, Захаров, мне обидны. Честь имею.

Блехерт встал, отвесил поклон; шел, стараясь не налегать на хромую ногу, у двери задержался:

— Может, кому-нибудь показалось, что я наговорил лишнего... Покорнейше прошу меня извинить.

Захарову вдруг вспомнился ночной тип, постоялец: «Вот бы и сегодня ко мне подкатился, можно кое-что поведать. Нет, не зря тут особисты вертятся... Хорошо, что дал отповедь этому офицерику. Ишь ты, сволочь, „честь имею"...»

Застолье потеряло для Захарова всякий интерес. Заглушая оскорбленное чувство, недовольство собой и всеми, залпом выпил бокал. Навалившись на плечо соседа, предложил:

— Поехали к девочкам.

Глава девятнадцатая

1

Не застал Микеладзе Думенко и в Новочеркасске. Ананьин доложил, что комкор уехал в Ростов, на встречу с Буденным.

— Я усматриваю в этом довольно тревожный факт,—сказал он, настороженно всматриваясь в нового военкома.— Не исключено, что тут возможен... сговор. Кстати, тревогу мою разделяет и член Реввоенсовета товарищ Анисимов.

— Как? Разве он здесь? — удивился Микеладзе.

— Да, прибыл ночью, вскоре после того, как я определил вас на квартиру. Хотел доложить, но товарищ Анисимов не велел тревожить с дороги.

— Где он сейчас?

— В 21-й стрелковой дивизии, у Лидэ.

Анисимов оказался совершенно больным. Лоб перевязан мокрым полотенцем, глаза красные, слезятся.

Военком Лидэ, щуплый, сухонький человек, с аккуратным пробором на сдавленной у висков голове, пригласил к столу позавтракать.

— Простите, я тут немного распалился,— сказал он извинительно,— пытаюсь ввести в курс здешних порядков товарища Анисимова, не могу совладеть с возмущением.

— А вы послушайте, товарищ Микеладзе,— кивнув в сторону Лидэ, посоветовал Анисимов.— Все это подтверждает многое из того, что я вам говорил при нашей первой встрече. Продолжайте, товарищ Лидэ.

— Думенко настолько зарвался, что позволил себе замах-

нуться на самого Троцкого! В своей отвратительной вспышке антисемитизма жидом Троцкого назвал, заявлял своим собутыльникам, что с ним еще воевать придется... Орден Красного Знамени с себя сорвал и швырнул в угол лишь потому, что вручил его Троцкий.

Анисимов отхлебнул из стакана, сказал с горечью:

— Да, дела скверные. Для меня совершенно ясно: Думенко — второй Махно.— Тоскливо посмотрел на Микеладзе.— Башка трещит. Не обращайте внимания, она меня подводит часто.

— Вам лучше прилечь, — посоветовал Ананьин.

Анисимов безнадежно махнул рукой, мол, не поможет; вызванивая чайной ложкой, спросил:

— Так и не носит орден?

— На новом френче нет, — ответил Ананьин.

— А что происходит в городе?! — кипел от негодования Лидэ. — Бандитизм, грабежи, пьянки, насилие... У меня недавно состоялась по этому поводу беседа со Жлобой... Только на его бригаду и надежда...

Анисимов сдавил ладонями пылавшее в скулах лицо; переждав приступ боли, продолжал негромко, не напрягаясь:

— Да, я убежден, Думенко надо заменить Жлобой. Вопрос, как это сделать? Жлоба в принципе согласен, но заявил... для успешной ликвидации контрреволюционного гнезда надо подчинить ему 3-ю бригаду или же... вступить в командование корпусом. Понимаете сами, необходимо предписание от товарища Троцкого. Жлоба боится действовать, не имея предписания. А медлить нельзя. Корпус с часу на час выступит из города, боевой приказ войскам передан. А в поле Думенко не взять...

— Я все-таки настаиваю поехать в Ростов, — как о решенном для себя сказал Микеладзе. — Я должен увидеть Думенко. — Почувствовав, насколько уязвлены Анисимов, Ананьин и Лидэ, добавил еще решительнее: — Я не могу поддержать столь далеко идущие меры вслепую...

— А наше мнение вам не раскрывает глаза на истину? — вызывающе спросил Анисимов. И, не дождавшись ответа, приказал: — Отбить телеграмму командарму Степину и члену РВС Белобородову. Думенко определенный Махно, не сегодня, так завтра повернет штыки. Если это не делается сейчас, то только потому, что не совсем твердо чувствует почву под ногами. Разрешает своим красноармейцам громить винные лавки, насиловать женщин и всюду открыто агитирует против Советов. Считаем необходимым немедленно арестовать его силами первой Партизанской бригады как можно быстрее. Иначе будет поздно. Поговаривают о сговоре и соединении с Буденным. Отвечайте, если согласны, немедленно произведем арест.

— Я не убежден, что согласятся,— сказал Микеладзе.

— Посмотрим! — Анисимов снял с головы полотенце, хотел швырнуть его в угол, однако остепенил себя.— А вам, товарищ Микеладзе, пора определиться в своих действиях. Не слишком долго раздумывайте, революция мягкотелость не терпит.

— Но революция требует от нас безошибочных действий, а для этого необходима выдержка.

— Если придет ответ с приказом обезвредить Думенко, я буду вынужден отстранить вас от этой операции, — вроде бы даже сочувственно сказал Анисимов. — Вы представляте все последствия для себя... при таком обороте дела?

— Если бы у меня было только и заботы беречь собственную голову, — ответил Микеладзе, вдруг как-то заново почувствовав всю драматичность ситуации. — Есть задачи поважнее. Что ж, дождемся ответа.

Ответ пришел незамедлительно, однако совсем не такой, какого ждал Анисимов. Командарм Степин отдавал по телеграфу приказ начальникам стрелковых дивизий, комкору Думенко и комбригу 3-й кавалерийской имени Блинова: «До меня дошли слухи, что части в занимаемых пунктах занимаются пьянством, насилиями и т. д. Приказываю под личную ответственность всего командного состава и комиссарского состава немедленно прекратить подобное явление, позорящее доблестное имя Красной Армии».

Анисимов долго перечитывал желтую телеграфную ленту, наконец потерянно присел на стул, опустив с колен отяжелевшие руки.

— Вот это да-а-а! — воскликнул он, явно теряя самообладание. — Мы настаиваем арестовать Думенко, а командарм адресует ему телеграмму с этакой просьбой остепениться, пора, мол, вспомнить, что ты командуешь войсками Красной Армии. Это черт знает что!

— А я полагаю, что это приказ и нам не пороть горячку,— стараясь, чтобы голос прозвучал как можно сдержаннее, сказал Микеладзе.

— Посмотрим, что вы скажете завтра, когда махновские банды Думенко поведут вас к телеграфному столбу! — Анисимов вскинул руку кверху, показывая на воображаемую виселицу.

— Не верю я в это! — взорвался Микеладзе. Он хотел добавить еще что-то, но Анисимов вдруг закрыл лицо руками.

— Не вижу... — тихо промолвил он, окидывая всех каким-то странным блуждающим взглядом. — Туман в глазах...

Доставленный из лазарета доктор, едва переступив порог, определил у Анисимова тиф...

В то же утро, оставшись, по сути, старшим, Микеладзе на свой риск и страх выехал в Ростов.

2

Вернулся военком в Новочеркасск из Ростова на вторые сутки. Побывал в политотделах Конной и 8-й, на обратном пути заворачивал в конные и пехотные части. Нагляделся, а еще больше наслушался. Скопище войск — две армии! Как и в Новочеркасске, топчутся у Дона, вздувшегося от теплых дождей. Есть и пьянки и грабежи. Расхищен ростовский ломбард; три четверти вкладчиков — городская беднота.

Внимательно приглядывался к Конной армии, уделил особенное внимание 4-й кавалерийской дивизии. Знал, что где-то здесь с Буденным Думенко. Из разговоров с политработниками понял, что они считают самой невероятной чушью возможный предательский сговор Думенко с Буденным: во-первых, беззаветно верили в своего командарма, а во-вторых, высоко ценили Думенко. Да, конармейцы до сих пор помнят его, чтут, как и прежде. Микеладзе не стал искать встречи с Думенко тогда, когда тот был в гостях у Буденного. Решил, что это лучше всего сделать в Новочеркасске.

Военком понимал, какая ответственность легла на его плечи. Анисимов был готов, как он сам выражался, самым решительным образом обезвредить контрреволюционное гнездо — арестовать Думенко. Теперь Анисимов болен... Он, Микеладзе, должен сделать выбор: поддержать дело Анисимова или, наоборот, решительным образом противостоять его намерениям.

В чем же истина? Ошибка в том и в другом случае приведет к роковым последствиям. Разговоры с буденовскими политработниками утвердили Микеладзе во мнении, что Думенко надо верить.

С этим чувством и прибыл военком на свою квартиру в Новочеркасск поздней ночью. «Завтра-послезавтра встречусь с Думенко во что бы то ни стало, хочет он того или нет,— твердо решил он. — Под землей найду, а встречусь».

Едва он улегся в постель, как в дом ворвался растерянный, растрепанный Ананьин.

— Началось! — ошалело выпалил он. — Убит Захаров, связист из 9-й. Понимаете?! Захаров проник в самое логово Думенко... Он слишком много знал. Вот его и подпоили в штабе... вывезли в темную улицу и шлепнули. Я поставил на ноги всех своих людей. Послал к Жлобе и Лидэ.

Микеладзе быстро оделся.

— По-вашему, это начало мятежа?

— Убежден!

— А если просто-напросто уголовный случай пьяных болванов?

— Я же вам говорю... Захаров слишком много знал. Торопитесь. Тачанка ждет. Наверняка очередь за нами... В бригаду

к Жлобе! А лучше — к Лидэ, в пехоту... Тут ближе, да и прямой провод имеется...

— Едем в политотдел 21-й дивизии! — резко приказал Микеладзе. — И немедленно доставить начальника особого отдела корпуса.

— Не знаю, цел ли. Может, и его уже шлепнули.

— Послушайте, вы... Нельзя ли без паники? Что-то уж очень много кошмаров вам мерещится...

...Начальник особого отдела корпуса Карташев предстал перед Микеладзе возбужденным, взъерошенным.

— Да жив этот Захаров, — сказал он, разглядывая нового военкома в одно и то же время с надеждой и недоверием. — Ранен двумя выстрелами в лицо... Я его уже допросил. Говорит, что стрелял в него комендант Носов.

— Носов?! — Микеладзе удивленно вскинул брови. — Видимо, этот Захаров напился до белой горячки!

— Уверяет, Носов стрелял по политическим мотивам.

— По каким?

— Из его пьяной болтовни трудно было что-либо понять. Но он... я с ним... одним словом, Захаров кое-что мне докладывал до этого случая. Для всей банды он крайне опасный свидетель. Захаров слышал, как Блехерт и Трехсвояков высмеивали евреев и комиссаров. Я бы не принял слова Захарова за полную достоверность, хотя имею основание с ним согласиться... К тому же все это подтверждает Жлоба...

Микеладзе поднял мучительно напряженный взгляд на особиста. «Жлоба, опять Жлоба,— мысленно повторял он.— Встречусь завтра и с ним...»

Ананьин досадливо хрустнул пальцами, сцепив их в замок: был явно недоволен тем, что Микеладзе упорствует в своей крайней недоверчивости.

— Вы зря не придаете должного внимания докладу товарища Карташева, — сказал он, уходя взглядом в сторону. — Нам может дорого обойтись ваша нерешительность...

— Вы путаете, товарищ Ананьин, решительность с паническими действиями! У вас все основано на слухах...— Микеладзе тяжело повернулся к Карташеву.— Расследуйте дело с Захаровым самым тщательным образом и доложите мне завтра утром. И что бы никаких слухов — факты, факты и только факты! Поняли?! А сейчас свяжите меня с Каменской...

Ананьин многозначительно переглянулся с Карташевым и опустил голову с удрученно безнадежным видом.

Через полчаса дали связь с Каменской. У аппарата оказался Белобородов. Микеладзе доложил о поездке в Ростов, в РВС Конной, о болезни Анисимова, о ранении связиста.

— Как вас принял Думенко? — спросил Белобородов.

— Встречи еще не было.

— Как вас понимать? Думенко не желает с вами знаться, не признает комиссаров?!

— Этого я не могу сказать. Он неуловим. То на позиции, то в отъездах. Если он не ищет встречи со мной, то это еще не значит, что он не признает комиссаров...

Ананьин, напряженно слушавший Микеладзе, с возмущением отвернулся к окну.

— Хочу, чтобы вы были правы, — сухо ответил Белобородов. — Но не долго ли вы ищете встречи с комкором?

— Да, долго, товарищ Белобородов, очень долго. И тут еще надо понять, чья в том вина. Может, это мы, политкомы, так его настроили... Среди нас есть весьма нервные товарищи.

— А не слишком ли вы сами спокойны? — В интонации Белобородова, в самом вопросе Микеладзе почувствовал недосказанность. Что, в конце концов, думает сам Белобородов о Думенко? Многовато, пожалуй, загадок.

— Вы отдаете себе отчет, какая возлагается на вас ответственность? — подчеркивая каждое слово, с нотками явной угрозы спросил Белобородов.

— Еще бы!

— В таком случае, желаю успеха. Вам на месте виднее. Все.

Микеладзе долго сидел неподвижно, думая о том, что в его душе накопилось слишком много взрывчатки. Наорать на Ананьина? В самом деле, как он смел вломиться среди ночи с паническим заявлением, что начался мятеж? Где тому подтверждение? За один этот поступок следовало бы... «Впрочем, надо подождать утра. Завтра скажу ему все, что о нем думаю».

Утром особист Карташев доложил Микеладзе, что Носов не мог стрелять в Захарова, потому что в повозке был не он, а другой участник попойки — начснаб 2-й Горской бригады Кравченко. Оба были пьяны, выехали в поисках «девочек».

— Ну, если вы такие мастера раздувать слонов из мухи, то мы много можем дров наломать, — сказал Микеладзе, адресуясь больше всего к Ананьину. — Ведь вы же вчера явились ко мне с заявлением, что ни много ни мало начался мятеж!.. Где он этот мятеж? И что было бы, если бы я вам поверил? Как мне квалифицировать ваш поступок?

Ананьин криво усмехнулся, тихо сказал:

— Не торопитесь с квалификацией. Уж сделайте милость, проявите сдержанность и в данном случае. Жизнь нас рассудит. Неизвестно, что будет завтра или через час, два...

— Ну хорошо, сделаю такую милость, — подчеркнуто выделил военком иронические словечки Ананьина. — Помогите разобраться вот в какой странной вещи. Вы, товарищ Ананьин, предлагаете Думенко убрать и назначить Жлобу. А сам Жлоба, насколько мне известно, сдвигает бокалы с Блехертом...

— Не беспокойтесь, Жлоба ум не пропьет, он знает, что де-

лает, — не очень уверенно возразил Ананьин. — У него палец в любую секунду на курке...

— Ах, вон оно что! — Микеладзе широко развел руки. — Оказывается, Жлоба пьет в штабе затем, чтобы держать на мушке Думенко, которого не только нет за столом, но даже в Новочеркасске. Но допустим... Жлоба не просто равлекается... Как думаете, Думенко знает о попойках в его штабе?

— Знает! — уверенно ответил Карташев. — Покрывает не только это. Носов был обличен в незаконном присвоении ценных вещей. Я его посадил под домашний арест... Счастье его, больной был, а то бы упек... На моем докладе Думенко наложил резолюцию: «Без моего разрешения впредь этого не делать, в противном случае будут приняты репрессивные меры».

— А может, действительно, такие вещи не следует делать без разрешения комкора?

— Тогда и подавно порядка не будет, — уныло возражал Карташев, стараясь не встречаться со взглядом военкома. — Вот вам пример. Мною была получена телеграмма из особого отдела 10-й арестовать начоперода Абрамова. Я выписал ордер и послал произвести арест. Когда мой сотрудник поехал в полевой штаб, то Думенко не позволил арестовать Абрамова.

— А в чем Абрамов обвинялся?

— В дезертирстве.

— Но мне известно, что Абрамова арестовывал сам Думенко и политком штакора Васильев.

— Да... Но они его и выгородили.

— Что значит выгородили? Разве вам не известно, что особый отдел 10-й армии сам отменил свой приказ, потому что Абрамова обвинили в дезертирстве по недоразумению? Почему вы мне, военкому, не сообщаете о такой существенной детали? Как я могу верить в вашу объективность? Вы лично когда-нибудь встречались с Думенко?

— Довелось. Как говорят, не приведи бог. — Карташев тяжко вздохнул, перевел взгляд на безучастно молчавшего Ананьина, как бы искал сочувствия. — Посадил меня напротив и говорит... дошли слухи до меня, что ты на жену мою гнусный поклеп возводишь, будто она ездит на пяти подводах награбленного барахла и пулеметом попугивает.

— Ну, а вы говорили кому-нибудь об этом?

— Был вынужден...

— Почему вынужден?

— Это что, допрос? — вдруг ощетинился Карташев.

— Выяснение объективной истины. Если хотите, мужской разговор на чистоту. Вы сами лично видели, что жена Думенко «попугивает пулеметом», или опять-таки основывались на слухах?

— За всем собственными глазами не уследишь.

— Значит, все-таки слухи... Чем же кончилась ваша встреча с Думенко?

— Я, говорит, красный террорист, у меня в руках сила. Я Думенко. Да еще при этом себе в грудь пальцем указывает. Если, говорит, такое повторится — запахнет кровью...

Микеладзе, потирая ладонями выпуклый лоб с глубокой складкой у переносья, вдруг чему-то устало усмехнулся.

— Когда сюда добирался, видел жену Думенко в пути. Едет на одной подводе, а вместо пулемета — труба граммофонная. При растревоженном воображении ее и за пушку принять можно...

— А можно и пушку за граммофон принять, — наконец отозвался Ананьин, не меняя позы.

— Случается и такое, — согласился Микеладзе, пряча записную книжку в полевую сумку.— Прекраснодушие такая же страшная вещь, как и паника. Искажает вещи. Постараемся не впадать ни в ту ни в другую крайность. Пока могу вам посоветовать одно: откиньте личные обиды, встаньте выше всего мелочного, одним словом, не принимайте граммофон за пулемет или пушку. А я уж постараюсь не принимать пушку за граммофон.

Военком встал решительно и как-то раскованно, с таким видом, что можно было понять: взвесил он в собственном сознании очень многое, окончательно выработал свою манеру дальнейшего поведения в мучительных душевных борениях, наступила пора делать первый шаг по главной дороге, к которой так долго и упорно подступался.

— Ну, сегодня я встречусь с Думенко. Хочет он того или не хочет... Предстану со всей полнотой моих полномочий.

3

Комкор брился, стоя перед огромным трюмо. В исподней бязевой рубахе, защитных галифе и начищенных сапогах со шпорами. Голова уже обрита; блестит свежо, как белый кубанский арбуз в утренней росе. Лицо в хлопьях пены; наводил лезвие бритвы на кожаном поясе, зацепленном пряжкой за завитушку багета. На стук отозвался, но не повернул головы.

Скованно переступил порог Микеладзе. Уперся взглядом во взгляд комкора, лицо которого увидел в зеркале. Глаза поразили. Обжигали, как расплавленный свинец. «Так кто же ты есть, Думенко?» Текут секунды, а взгляд не уходит в сторону ни у того, ни у другого: в сущности, уже шел напряженный, молчаливый разговор, который не обозначишь никакими словами.

— Военком Микеладзе! Здравствуйте.

Думенко не спешил с ответным словом. Для себя отметил: голос прозвучал не слишком громко, но и без той натуги, которая выдавала бы душу нетвердую.

— Я так долго искал с вами встречи, что надеюсь... вы простите мое вторжение в столь неурочный час...

— Здравствуйте, — обращаясь к зеркальному отражению вошедшего, с какой-то замедленной интонацией ответил Думенко. — Искали, значит, встречи? Присаживайтесь. Я живо.

Присев в кресло, военком исподволь оглядел жилье конника. Остановил взгляд на раскрытом чемодане. Здесь, среди дорогой мебели и ковров, он выглядел кричаще инородным предметом. Был из крашеной фанеры, потертый, заляпанный дорожной грязью. Сродни чемодану холщовая сумка, покоившаяся на пятнистой шкуре леопарда.

Промакнув остатки мыла за ушами, Думенко повернулся. Никакой позы, скрытого вызова.

— О вас докладывал мне Абрамов.

— Не могу официально приступить к работе в корпусе, товарищ Думенко.

— Я-то понял... работаете.

Может, ирония в голосе? Нет, не похоже. Микеладзе чуть расслабился в кресле, едва приметно улыбнулся.

— Пытаюсь. Но без прямого контакта с вами — не во многом мне преуспеть.

— Представить войскам?

— Я не против.

Умывшись, Думенко не спеша облачился во френч. Микеладзе невольно отметил: ордена нет на груди.

Подняв со шкуры леопарда холщовую сумку, Думенко поискал, куда бы ее определить, кинул на ломберный столик. Сказал, остановясь напротив военкома:

— Сегодня корпус выходит из резерва. В ночь выступает на выполнение боевой задачи. За Доном могу такое... А пока познакомлю с сотрудниками штаба.

Вошли в соседнюю комнату прямо из спальни. Двое курили у окна; третий, Носов, хлопотал возле стола.

— Нашего полку прибыло, — объявил Думенко. — Военком корпуса, товарищ Микеладзе.

Одного раньше Микеладзе не видел; по заметной хромоте догадался: Блехерт. Абрамов кивал приветливо, но руку спрятал за спину: не могу, мол, простуда.

Думенко сел за стол первым — видать, место определенное. Абрамов, Блехерт и Носов продолжали стоять.

— Прошу, Владимир Нестерович, — показал Абрамов военкому стул рядом с комкором.

Микеладзе понял, что Абрамов уступил ему право сесть за стол после Думенко. Вещь, казалось бы, малая, но тут был свой смысл.

Пока внешне все идет как надо. Возможно, отводя за столом место рядом с комкором, тем самым давали понять: признаем за тобой, товарищ военком, такое же место и в корпусе. Вполне

возможно. Но это еще надо проверить самой жизнью. Это место, в конце концов, еще необходимо ему завоевать.

За обеденным столом комкор неловок, молчалив, как-то напряженно следит за своими руками. Каверзные это вещи — нож и вилка, добро бы ложка или шашка. Судя по всему, тут самые приближенные Думенко. Кто эти люди? По информации тех, кто потерял веру в Думенко, здесь не все единомышленники. Вот Носов, с виду непритязательный, даже застенчивый, как-то по-домашнему уютный человек. Однако он, по словам Анисимова, готов в любую минуту, в случае необходимости, поднять оружие на Думенко. Догадывается ли об этом комкор? Вряд ли, иначе бы не быть Носову среди самых избранных. Несмотря на свой крутой нрав, видимо, доверчив, очень доверчив Думенко. Так часто бывает. Верит ли Носов, что Думенко предатель? А если его действия направляются глубоко предубежденными людьми? Ведь не может он, Микеладзе, признать правоту Анисимова: сердце подсказывает, да и кое-какие наблюдения, что член Реввоенсовета армии в плену опаснейших домыслов.

А вот Блехерт. Лицо замкнутое, со следами болезненности. И, наоборот, излучающий силу неизрасходованной молодости Абрамов.

Эти, по представлению Анисимова и его единомышленников, — «законченные контрики», с которыми в полном единодушии комкор Думенко.

А если все это правда? Тогда выходит, что весьма определенно выраженное к нему, военкому, на первых минутах почтение за этим столом — всего лишь спектакль?

Блехерт разлил вино в бокалы. Настала пора кому-то сказать те самые слова, которые должны были как печатью скрепить встречу. Кто их скажет? Может, надо сделать это ему, Микеладзе? Пожалуй, нет, он тут пока больше гость. Наверное, скорей всего найдется Абрамов...

Но первым поднял бокал все-таки Думенко. Сказал просто, даже как-то устало, с трещинкой в голосе:

— За встречу.

Глаза комкора направлены на военкома. Что в его взгляде? Кажется, все та же усталость и вроде бы мучительный вопрос.

— Ваше здоровье, — сдержанно поддержал Микеладзе, медленно поднимая бокал.

Думенко отпил глоток-два; вдруг, отвернувшись, мучительно закашлялся. Все сочувственно наблюдали за ним.

— Не простуда ли, Борис Макеевич? — озабоченно спросил Микеладзе.

— От моей простуды лишь мать сыра земля уже излечит, — ни на кого не глядя, ответил Думенко. — Легкое прострелено... — И вдруг спросил, тяжело упираясь локтями в подлокотники кресла: — У Анисимова тиф?

— Да, — не сразу ответил Микеладзе.

Наклонившись над тарелкой, Думенко как бы самому себе сказал:

— Странно, был здесь, а со мной не встретился. Тайком, по одному вызывал моих сотрудников...

Резко поднял голову, обжег взглядом, как бы пытаясь застать военкома врасплох. Микеладзе почувствовал это; не спеша отложив вилку и нож, потянулся к салфетке.

— Пока одно могу сказать, Борис Макеевич, я привык доверяться собственному мнению о людях. Туману вокруг вас много. Думаю, что свежий ветер разгонит туман...

— За свежий ветер! — с едва приметным облегченным вздохом произнес Абрамов.

— Дай-то бог, — скупо отозвался Думенко, не позволяя жестом дополнить свой бокал. Прежде чем чокнуться с Микеладзе, какое-то мгновение испытующе смотрел ему в лицо. Выпил до дна. — Ананьин... тот... не свежий ветер любит, туманчик ему по душе. С толку многих сбил. Жлобу стравляет с другими комбригами, со штабистами. Ну и на меня науськивает. Дело дошло до того, что сулит ему должность комкора. Не слыхал, военком, про такое? — И как бы не желая ставить Микеладзе в неловкое положение, поспешно добавил:— Еще услышишь.

— В Реввоенсовете и политотделе фронта передо мной поставили одну задачу: действовать с комкором Думенко сообща, рука об руку, душа в душу, помогать ему во всем, что способствует боевому революционному духу корпуса, — Микеладзе снял очки, тщательно протер их платком, словно бы хотел сказать, что все здесь желает разглядеть собственными ясными глазами, не затуманенными ни малейшим предубеждением. — Если чьи-нибудь слова будут иметь для меня первостепенное отправное значение — то это ваши слова, Борис Макеевич.

— Дай-то бог,— опять повторил свою фразу Думенко с глухим вздохом не то надежды, не то сомнения. — Я так рассуждаю: не угоден Думенко — пожалуйста, пусть снимают там, кто назначал...

«Э, знал бы ты, как тебя хотят некоторые «снять», — подумал Микеладзе, чувствуя, что Думенко вряд ли в полной мере подозревает, какие тучи сгущались на этих днях над его головою.

— Борис Макеевич, — обратился Блехерт к комкору, вынимая из кармана часы, — мы с Михаилом Никифоровичем поколдуем над завтрашним днем.

— Да, да, готовьте разработку. А мы тут с военкомом...

Вслед за Абрамовым и Блехертом ушел и Носов. Все такой же молчаливый, несколько неуклюжий. Неужели этот человек доверенное лицо Анисимова? Наверное, так, коль скоро тот отдал ему приказ в случае необходимости стрелять в Думенко.

Как он доложит тем, кто здесь проводит линию Анисимова, о встрече нового военкома с комкором?

Оставшись одни, какое-то время глядели друг другу в лицо. Микеладзе прямо и с какой-то нетерпеливой расположительностью, а Думенко чуть искоса, насмешливо. А в усмешке — и печаль, и недоверчивость, и слабая надежда...

— Замучался я, военком. И не столько потому, что устал шашкой махать, а вот нелады всякие, как тифозные вши, заели... Того и гляди горячка хватит.

В неосознанном порыве Микеладзе приложил руку ко лбу комкора, и тот не уклонился, принимая этот человеческий жест.

— А у вас как будто и вправду температура.

— Возможно. Я уж видеть не могу эту стеклянную сосульку — градусник. В госпитале до сорока доходило.

— А что касается неладов, то определить бы нам самые главные, вникнуть в причины, заглянуть в корень...

— Это, военком, не сразу. Нелады мои — камни многопудовые. Одним рывком не возьмешь. Хоть и в самую нужную минуту прибыл ты, да все-таки не вовремя...

— Как понять вас, Борис Макеевич?

— Конников моих в бою наблюдать нужно, а тут передышка выпала, да такая, что уж боком выходит. — И опять опалил взглядом военкома.— Пьют, черти, с бабами куролесят. Поди, успел, военком, наглядеться на все это?

— Успел, — однозначно ответил Микеладзе, тем самым подчеркивая свою крайнюю озабоченность.

— Семен Буденный тоже жаловался, что ростовская передышка боком выходит. — Думенко развел руками. — Черт их знает, лезет, случается, в строй наш и сволота всякая...

— Понимаю, Борис Макеевич, революцию не с ангелами делаем. И все-таки...

— Во-во! И все-таки! Помогай, военком. Знаю, кое-кого из моих степняков зауздать надо. Удила им в зубы! Да так осадить, чтобы...— Комкор вдруг опять обмяк, опустил плечи, провел ладонью по вспотевшему лбу.— Устал...

После недолгого молчания Микеладзе перевел разговор:

— Заметил я, на площади мокнут без дела трофейные танки. В Москву парочку бы погрузить, курсантам-командирам для наглядности.

Думенко оживился.

— Мои конники сначала драпали от них, а потом с шашками на железо. Искры сыпались! Вот смеху-то! А что касаемо наглядности — хоть все отсылайте. Для нас пока преважнее всего — конь. Кстати, военкому положен ординарец и лошадь. Посмирней конька, а?

И такая хитреца засветилась в насмешливых глазах Думенко, что Микеладзе даже нахмурился.

— Откровенно, Борис Макеевич, надоело военкомов в седло подсаживать?

— Да как сказать, некоторых жалко было. Вот Хруцкий... Хворый и с характером. Башку хорошую бог дал. А в седло хоть и не сажай — по косточкам распадется.

Микеладзе забросил ногу за ногу, сцепил крупные, крепкие кисти рук на колене.

— Я, товарищ комкор, к седлу приучен с детства. Так что конька желательно порезвее... На коня и вся надежда. Глядишь, поможет комиссару быть рядом в бою с комкором.

Думенко шутку оценил.

— Что ж, комиссар, будет тебе конь порезвее...

Глава двадцатая

1

В середине января погода подурнела. Неделю лили дожди; навалился туман. С бугров смыло снег; вода затопила все низины, подняла в речках и в Дону лед.

Запоздавшая директива комфронта Шорина о форсировании Дона оказалась для конницы невыполнимой. Безуспешными были попытки отдельных частей переправиться на левый берег. Потрясенные отступлением, деникинцы опамятовались. Воспылали донцы, конные части покойного Мамонтова, умершего от тифа, Павлова, Голубинцева, Коновалова; они чуяли: оторви руки от Дона — верная погибель. Их поддерживали Шкуро и генерал Агоев, сменивший Топоркова. Добрую половину кубанского войска, разложившегося, измотанного, увел на Тихорецкую Улагай; Деникин уже не видел в них помощников — пусть защищают порог собственных куреней.

Думенко получил приказ овладеть переправами у Багаевской и переброситься за Дон. Имей такое распоряжение даже 8 января, он успел бы проскочить через утлую бревенчатую переправу на Багаевскую.

Часто комкора тревожил командарм Степин по прямому проводу: настойчиво просил найти возможность переправиться на левый берег. Первый его звонок пробился на рассвете 14 января.

— Что можно сделать, чтобы мы могли форсировать Дон? Не найдете ли вы где-нибудь переправы?

— Реку Дон можно будет форсировать, когда установятся морозы или совсем разольется Дон и пройдет лед. Только что проехал Конную армию Буденного, ездил на совещание... Реку форсировать не представляется возможным, так как уже шестые сутки идет сильный дождь и все балки и ручьи наполнены водой.

— Борис Макеевич, форсировать необходимо... Хоть какую ни на есть переправу бы, а?

— Повторяю, во всех реках лед поднялся, и ничего нельзя сделать. Сейчас удерживаю за собой переправу между Багаевской и Новочеркасском на речке Аксайчик, а Багаевскую держит противник и обстреливает пулеметным и артиллерийским огнем из-за Дона. Технику не представляется возможным подвести ввиду разлива рек и сильной грязи. Хотя бы один или два мороза, чтобы можно было установить переправы и подтянуть артиллерию...

— Товарищ Думенко, готовьте войска Конкорпуса к форсированию реки. Будьте здоровы...

Мороз ударил неожиданно. С вечера еще квасилось небо, заваленное тучами, промозгло подувало с Азовского моря. К полуночи в синих прорехах появился ущербный месяц; ветер завернул с холодной стороны.

В ночь 17 января Думенко двинул корпус на Багаевскую. Вслед Партизанской и Горской выступила и Донская бригада. Белые из-за Дона поставили плотный заслон из пулеметного и артиллерийского огня. В крошево измолотили лед, изорвали глинистый берег. Днем не подступиться к песчаной кромке. Выкликал добровольцев; пробовали ночью переправиться малыми частями с одной пушкой. Свежесхваченный лед у берега не держит всадника; плоты, лодки не пустишь в шугу. Измучил за двое суток напрасно лошадей, бойцов.

Подоспела на помощь пехота 21-й дивизии. Ползком, прикрываясь темнотой, одолели реку; дружным напором выбили противника из Багаевской. Затеяли наводить разобранный мост. К вечеру едва унесли ноги...

Поняв, что у Багаевской не переправиться, комкор настоял изменить план взятия Багаевской: подняться выше по течению, переправиться у станицы Раздорской.

В Раздорскую Думенко въехал ночью, злой от неудач, бессонницы; не прилег, покуда связисты, размотав свои провода, не дали ему Каменскую. Поднял с постели Степина; докладывал, силком сдерживая в голосе обиду:

— Сейчас прибыл в Раздорскую. Вы приказ за приказом шлете, категорически требуете переправиться на левый берег Дона. Кавалерия не матросы, плавать еще не научилась. Переправа никуда не годна. Едва ли сумею переправиться. Совершенно бесполезно измучил своих бойцов и лошадей, пользы никакой.

Степин в трубке прокашлялся.

— Товарищ Думенко, ведь о том, что тяжело и даже очень, что мы несем лишние жертвы, знает Республика. Я ничуть не уменьшаю ваши тяжести и обо всем ежедневно докладываю в Москву. Надеюсь, вы сумеете постепенно переправиться. А пере-

правиться нужно. За ваши успехи я уже просил фронт ваш корпус переименовать в армию.

— А как Конармия? Почему она не двигается вперед? Ждет, покамест корпус ударит? Мне сообщили, что она откатилась назад... Правда это?

— Конная и 8-я действительно отошли за Дон. Но дело в том, что Конная и 8-я потеряли управление частями.

— Если завтра будет маленький мороз, мы сумеем перейти, Деникину придется поставить крест на своем походе.

— Я в этом не сомневался никогда, зная вашу высокую доблесть... Еще раз прошу вас: давайте списки для награждения. Я хочу особенно отметить ваш корпус за последние славные победы...

— Награждать будем, когда окончательно разгромим Деникина.

Опустив трубку, Думенко глянул на Блехерта. Догадался по измызганной папке: принес оперативную разработку на завтра. Не было сил даже кивнуть.

2

Хозяйка убрала самовар. Шевкопляс утащился за перегородку; слышно, возится на деревянной кровати, не уляжется. Ушли и Блехерт с Марком — выспаться перед завтрашним днем. Дороня Носов за столом; очистив от чашек угол, расписывает на утро в затасканную записную книжку распоряжения.

Думенко устало привалился к стенке.

— Военком куда-то запропал.

— В Новочеркасске. Танки отправляет в Москву.

— Там еще телеграмма... На Западный фронт требуют два танка с прислугой да бензином.

— Вот и с ними возится.

Думенко снял сапог. Вытягивая ноги, шевелил натруженными пальцами, морщился от боли.

— Помалкиваешь ты о грузине. Замечаю, руку не с охотой ему тянешь...

Носов ниже навис над записной книжкой.

— Дюже нужен... А по правде сказать, врет он все про свое комиссарство на Кавказе. Знаю по тем местам всех видных комиссаров.

Сужались в усмешке глаза у комкора.

— Человечина ты, Дороня, ей-богу. Кровного батьку заподозришь. И как терплю возле... Подскажу, наверно, военкому, чтобы откомандировал тебя в подручные Карташеву.

Прошлепал босиком по холодному полу, плюхнулся в галифе на неразобранную кровать.

— Это лучший комиссар, какие у меня были. Эх, Дороня!..

— Доверчивая вы душа, Борис Макеевич. Поберeглись бы... Покушение на вас готовится. Слух имею...

— Где же... подцепил? Не у Анисимова?

— Анисимов тут ни при чем. Знаю его с 17-го — работали вместе в Крыму. И Ямковой тоже вон... Спросите.

— Крутишь ты, Носов...

Думенко больше обычного задержал на Носове взгляд. Тот отворачивается с обиженным видом, сопит, черт его поймет, может, и вправду встревожен слухами о покушении...

— Появится военком, сбудишь. Хоть среди ночи.

Едва рассвело, в дверях встал Микеладзе. Раздеваясь, возбужденно делился новостями: побывал на переправе, в бригадах, занимавших исходные позиции. Хотел похвалиться: не нынче-завтра красноармейцы будут читать первый номер своей корпусной газеты. Но Думенко слушал его безучастно. Копаясь в кожаной потертой сумке, Микеладзе мучительно прикидывал, что тут могло без него произойти? Наконец, отложив в сторону сумку, многозначительно прокашлялся.

— Партийный билет. Одна тысяча сто девятнадцатый номер. Думенко Борис Макеевич. Время вступления: 15 декабря 1919 года. Стаж засчитан со дня подачи заявления. Поздравляю.

Думенко повертел книжечку из серой оберточной бумаги; не отрывая от нее глаз, спросил:

— И что же мне теперь положено?

Микеладзе обожгла его откровенная издевка.

— Как что? Принадлежность к коммунистической партии не дает никому особых прав. Налагает лишь обязанности... быть наиболее самоотверженным и мужественным борцом. Так записано в резолюции восьмого съезда.

— А не записано там... в резолюции... как поступать со всякой сволочью, какая прикрывается этой самой книжечкой?

— Борис Макеевич... Что случилось?

— Мне тут докладывают... На меня готовится покушение...

— Кто докладывает?

— Носов.

Военком почувствовал, как у него падает сердце. Вот она, пожалуй, самая тяжкая минута с того времени, как он появился в корпусе. Сказать комкору правду, что Носову дан приказ стрелять в Думенко? Но тогда необходимо открыть и все остальное, кто дал такой приказ, по каким мотивам? Имеет ли он, Микеладзе, право поступить сейчас именно подобным образом? Как после этого поведет себя Думенко? Нужно ли это делать в такую трудную пору, когда перед корпусом поставлена невероятно сложная боевая задача?.. Чувствуя, что его молчание слишком затягивается, военком наконец спросил:

— Носов высказывает подозрение, или у него есть факты?

— А черт его знает. — Думенко, все так же лежа в постели, вяло махнул рукой.

«Жесточайшая депрессия, — подумал Микеладзе о Думенко. — Опасное, очень опасное состояние».

— Я вот гадаю, товарищ военком, кому бы тут хотелось в мой котелок пустить пулю? Вроде бы не на кого грешить. Ананьин и Карташев доносы на мою жену строчат... Вам не докладывают про жену мою?

— Я отличаю ответственные доклады от гнусных доносов, — уклончиво ответил военком. — Скажу откровенно, с Ананьиным я повел крутой разговор едва ли не с первой нашей встречи...

— Знаю, — Думенко слабо улыбнулся, — не по вкусу пришелся ты Ананьину, товарищ военком. Карташеву тоже...

— Борис Макеевич, а не перестарался ли Носов по части слухов? — осторожно, очень осторожно спросил Микеладзе. — И вообще, вы полностью доверяете ему?

— А я уже не знаю, кому верить. Юлит Дороня Носов. Что-то я его последнее время не понимаю. — Думенко неопределенно крутанул рукой, вяло уронил ее на постель. Вдруг приподнял голову. — Заявляю... Не примете мер, открою фронт.

Изумленный Микеладзе подступился к самой кровати, на которой лежал комкор, даже склонился над ним, пристально глядя ему в лицо.

— Борис Макеевич, подобные шутки со мной...

— Ну, ну не распаляйся, военком. У меня на душе сейчас такое... — Думенко повернулся на бок, подвинулся, пригласил жестом Микеладзе сесть рядом на кровать: — Пойми, не могу я быть спокойным, когда какой-то Карташев корчит из себя: вот захочу и раздавлю тебя, как вошь. Это меня-то, Думенко?!

— Да, Карташева надо заменять, — совершенно убежденно сказал Микеладзе. — Человек пустой. Но надо искоренять и причины, которые дают карташевым, что называется, козырь в руки. Вот Блехерт к примеру... Понял я, что это именно он главный заводила пьянок в боевом штабе...

Думенко сморщился, заскрипел зубами.

— Эх, военком, военком... Что же мне делать? Пьет, сукин сын, Блехерт, пьет! Но где я возьму настоящих помощников в военном деле? Где?! Все на свои плечи?! Так они у меня уже пообвисли, видать, не по силам ношу тащу. Ты вот на него в бою посмотри. Там он если и пьянеет, то от вражьей крови...

«Да, скорей бы уж бои начались. Настала пора и на военкома в пороховом дыму посмотреть», — сказал себе Микеладзе. Встал, прошелся по горнице, обуреваемый скрытым нетерпением. Думенко понял его настроение.

— Ничего, комиссар, в бою с нами побудешь — сразу почу-

ешь, кого надо уважать, а кого не очень. Бой, он многое проясняет...

Вошел Трехсвояков. Чувствуя, что Думенко не рад его появлению, поспешил оправдать свой непрошенный визит:

— Во, газетка!

— Ну и что? На закрутки, что ли, принес?

— Да не, это же наша газетка!

Думенко вскочил с кровати, взял у Трехсвоякова газету.

— Постой, наша?! Долгожданная. Эге, назвали-то как: «Красная лава»! Издание политического отдела корпуса... номер один!

— Что номер, то помер,— ехидно подкинул Трехсвояков.— Тут, вот прочитай, Борис Макеевич, про героя из самых что ни на есть героев — Жлобу.

Микеладзе все понял: Кондэ, вопреки его, военкома, возражениям в Новочеркасской операции выделил Жлобу. Как он смел? Ведь вчера у них по этому поводу состоялось бурное объяснение...

Думенко, вмиг отяжелев, мрачно читал заметку на первой странице «Взятие Новочеркасска». Опустил руку с газетой на колени, уставился со злой усмешкой в лицо Микеладзе.

— Вот спасибо тебе, военком, уважил, прямо как мед на сердце...

Микеладзе почти выхватил газету, взбешенный, глянул на первую страницу.

— Сволочь!

— Это кто же сволочь, военком?

— Как, как они смели переиначить номер?! — бушевал Микеладзе.

— Э, вон оно что! — Думенко безнадежно махнул рукой. — Не шибко-то они слушаются тебя, военком. Жлобу уже и через газету в комкоры прочат. Эх, жаль... Первая газетка, даже краской пахнет... И такую дулю мне под нос.

Думенко подошел к военкому, взял у него газету, понюхал, потом примостился к столу, потребовал у Трехсвоякова:

— Карандаш! Это ж надо — Жлоба. Жлоба, герои-жлобинцы. Под руководством Жлобы были захвачены танки. Переправой и боем у входа в город руководил Жлоба. Он же первый вошел в него, выбив противника. Указаны и потери: три человека! Чья это писанина, военком?

— Кондэ.

— Ну, ну, догадываюсь... А как глянут на эту газетку бойцы других бригад? Он что, Кондэ этот, хочет, чтобы все передрались? Новочеркасск брал не один Жлоба! Был-то он в это время вон где — на высотах, за Персияновкой. А пройти по пустым улицам, врываться в дома, полные жратвы и хмельного зелья, — такое не дюже геройство. Трех бойцов потерял. Ото ж,

бились насмерть! Смех! А вот Трехсвояков да Михайло Лысенко сколько сховали? А танки пожгли чьи батарейцы? Вот Лысенко еще прочитает... Взвоет от обиды.

«Ах вы ж, болваны,— терзался Микеладзе, готовый немедленно отстранить от дела Кондэ.— Да только ли болваны? Это же — преступление...»

— Даю слово, Борис Макеевич, Кондэ будет наказан. Сейчас же выясню, если газета еще не попала в руки бойцов, не пущу в ход. Будет новый первый номер.

— Ну, ну, военком, покажи свою руку, — сказал Думенко, но тут же как-то по-стариковски крякнул, поглядел на острие синего карандаша. — Э, нет, лучше уж я сам постараюсь.

И пошел гулять карандаш в руке комкора, будто и не карандаш, а клинок пустил в ход: «Мною газета протистована и впредь без разговоров приказываю: все газеты давать на проверку тов. Абрамову и за все выпущенные без проверки наштакора будут арестованы. Комкор Думенко».

Это был совершенно дикий вызов со стороны командира корпуса ему, военкому. Вот он, весь в этом Думенко. Ответь ему тем же — и все, смертельные враги...

Микеладзе подцепил стул, повернул его спинкой к столу, сел верхом. Какое-то время смотрел в глаза комкору с неправдоподобно веселой усмешкой, будто было ему чему радоваться не нарадоваться. Думенко даже несколько смутился, поморгал красными, усталыми глазами.

— Это как же, товарищ комкор? Выходит, вы этим лихим карандашом перечеркиваете меня, военкома? Э, нет, рановато. С Микеладзе такой номер не пройдет. Уверяю вас, рановато. Не Абрамова это дело, проверять газету, а мое.

— Так до чего же ты, военком, допроверялся? — Думенко гневно скомкал газету, потряс ею.

— А разве вы не понимаете, что мне поставили подножку те же самые люди, которые...

Микеладзе не договорил, боясь, что слетело с языка лишнее...

Думенко перекосил брови, заглядывая в лицо военкому снизу вверх.

— А что, может, и твоя правда, военком. Давай, давай уж тогда, брат, вместе отбиваться. Только знай... Найдутся такие... могут не простить, коль почуют, что ты с Думенко заодно.

— Не за тем я здесь, Борис Макеевич, чтобы становиться в чью-то стенку в вашей внутрикорпусной драчке. Задача моя, военкома, совсем иная... Объединить усилия всех, бойцов, командиров и политкомов, в один кулак, сохранить единство в корпусе. А этим увеличим его боевую мощь. Вам же, комкору, будет легче работать. Уверяю.

Микеладзе, наблюдая, как облачается Думенко в оружие, поймал себя на том, что любуется его выправкой. По упрямо

сжатым губам, взгляду видел: доволен он разговором. Приятно удивило Микеладзе и то, что Думенко оказался податлив на доброе слово. С облегчением потянул с вешалки бурку.

— К войскам, Борис Макеевич, поедем вместе.

Тепло щурились глаза комкора: вместе так вместе.

3

Через Дон корпус переправился у станицы Раздорской. К вечеру заняли хутора Сусатский, Карповку вплоть до Кудинова. Левее, подбодренная конниками, шла пехота, 23-я дивизия Руднева; она уперлась в балку Соленая, выдворив белоказаков из хуторов Соленых.

Конно-Сводному корпусу приказывалось: бить по тылам, чтобы дать возможность 8-й и Конной армиям форсировать Дон. Коробило Думенко то, что трое суток топтался под пулями и осколками против Багаевской. Уломал начальство изменить направление удара; кинулся на Багаевскую и Манычскую с тыла.

День прошел в бешеной скачке. Белые, не ввязываясь в бои, поспешно отходили за Маныч. Не отставал Микеладзе от комкора. Поздним вечером разъехались. Думенко отбыл в полевой штаб, в хутор Сусатский, Микеладзе завернул в Партизанскую бригаду, в Кудинов.

На квартире у военкомбрига Соколова военком столкнулся с начальником политотдела Ананьиным.

— Вы же должны были быть у Лысенко...— Микеладзе не сумел скрыть недовольства.

— Подъехал вот... Дела к товарищу Соколову.

Ламповый свет не попадал на лицо Ананьина; по тону, слышно, смущен, не ожидал и он встречи.

К ужину поспел и Жлоба. Военкому не приходилось еще вот так, запросто, в застолье оказаться рядом с этим человеком. Жлоба почти церемонно пожал руку военкому, выказывая в одно и то же время почтение и что-то, похожее на глубоко скрытый вызов. Тост провозгласил за здоровье военкома. Заметив, что Микеладзе едва отхлебнул из рюмки, попытался пошутить:

— Никак пример подаете конникам по части трезвости?

— Трезвость дело хорошее для всех и в каждом случае, — многозначительно ответил Микеладзе.

Скулы комбрига зарделись, на лице блуждала едва заметная, самолюбивая усмешка, а взгляд такой, будто выстреливают две картечины.

Старался погасить Микеладзе какую-то невольную неприязнь к комбригу. Однако он понимал, что нельзя и в этом случае слишком давать воли субъективности: Жлоба тоже сражается за власть Советов, имеет и свои заслуги и свои слабости, свои болячки. Надо помочь и этому человеку. Тоже, как и Думенко,

своенравен, самолюбив. Следовало бы понять ему, что его вызывающее отношение к Думенко — одна из самых опасных болезней корпуса, которая может дорого обойтись. Конечно, во многом виноваты те, кто противопоставляет его Думенко, кто вскружил комбригу голову посулами стать во главе корпуса вместо нынешнего комкора. В этом самый тугой узел возникших в корпусе противоречий. Надо подступиться к Жлобе, помочь ему разобраться в своих ошибках, поддержать в том, в чем он прав. А может, есть смысл и пойти на другую меру: отделить бригаду Жлобы от корпуса, переформировать ее в отдельную кавалерийскую дивизию. «Сегодня же напишу об этом докладную Шорину,— решил Микеладзе.— Как бы там ни было, Жлоба так же дорог для революции, как и Думенко, за обоих надо бороться».

— Вам известно, товарищ военком, что Думенко арестовал газету? — вдруг в упор спросил Жлоба.— И сделал потому... что там написано кое-что похвальное о моей бригаде...

Микеладзе выдержал взгляд Жлобы, потом посмотрел на Ананьина. Сказал спокойно, стараясь, чтобы в голосе, кроме озабоченности, ничего другого не прозвучало:

— Первый номер нашей газеты был вынужден не утвердить я.

— Почему?! — почти выкрикнул Жлоба.

— Зачем же так громко, Дмитрий Петрович? — все так же спокойно спросил Микеладзе и даже улыбнулся: — Печать — дело очень серьезное. Хорошо, что в этом номере были сказаны похвальные слова о вашей бригаде. Но плохо, что умолчали о других. Я не мог позволить, чтобы из-за просчетов нашей газеты возникли ревность, распри, обида. Печать должна сплачивать, а не разобщать... Нет так ли, товарищ начальник политотдела?

— Вы хотите сказать, что я виноват? — угрюмо спросил Ананьин.

— На этот счет мы еще очень серьезно поговорим.

— Ловко! — воскликнул Жлоба, отодвигая от себя в сердцах тарелку. — И что это наш военком так покрывает Думенко? А вы, случаем, не приглядились, какое золотопогонное воронье собралось под крылышком нашего доблестного комкора? Доколе это терпеть? — Вскочил со стула, пришлепнул распяленной пятерней по кобуре. — Я сам со своей бригадой смету эту... — замялся, увидев, как посуровел взгляд военкома. — Смету этих золотопогонников, Абрамова и Блехерта!

— Не слишком ли расточительно? — поддел Микеладзе. — На двух человек — бригаду. И вот еще что, при мне, пожалуйста, больше за наган в наших разговорах не хватайтесь. Подобные жесты во мне оставляют совершенно дурное впечатление. И потом, кто вам дал право брать на себя функции особого отдела? Это ведь партизанство чистейшей воды, товарищ Жлоба. Есть в корпусе особый отдел, ему дают право ареста.

— Ну, коль пошел такой разговор...

Жлоба, сорвав с гвоздя кубанку, хлопнул дверью.

— Ну зачем же так? — обескураженно развел руками Соколов, хозяин квартиры. — Надо бы как-то иначе...

— Ничего, образуем, — сказал Микеладзе, не показывая, насколько уязвлен. — Кстати, товарищ Ананьин и товарищ Соколов, мой вам совет и наказ.— Медленно поднял палец, подчеркивая всю серьезность своего предостережения:— Сделать все возможное, чтобы исчезло противопоставление Жлобы Думенко. И не дай бог, если вы сами тому будете потворствовать. Расценю как преступную политическую недальновидность.

— Уж больно строго, — вымученно улыбнулся Ананьин.

— А вы как думали? Но вы не уловили, что я сказал и про мой товарищеский совет. То-ва-ри-щес-кий. Вы извините, но у меня сложилось впечатление, что вы собрались здесь все вместе, в том числе и Жлоба, не случайно. Вам надо было обсудить случай с газетой. Записать в грехи Думенко еще один тяжкий грех — замахнулся, мол, на политический орган!

— А разве Думенко не наложил на первом номере свою так именуемую резолюцию? — спросил Ананьин все с той же вымученной улыбкой.

— Откуда у вас эти сведения? — спросил Микеладзе.

— О доблестях Думенко не любят в корпусе умалчивать, — ответил Ананьин.

— Ну, допустим, выкинул самодурный поступок Думенко. Но он прав в самом главном: статья необъективная. Кроме раздора, она ничего бы не внесла в корпусе. Как мы, коммунисты, могли допустить это? Скажите, товарищ Ананьин, как появилась статья о Жлобе?

— В глаза не видел ту статью, товарищ военком, — в чем-то вроде бы внутренне сдался начальник политотдела. — Я приказал Кондэ действовать строго по вашему указанию...

4

С рассветом военком покинул Партизанскую бригаду. Отправился с ординарцем в тыловой штаб, в станицу Раздорскую, вечером должен был оттуда состояться телеграфный разговор с Белобородовым.

Кажется, ему есть что доложить. В делах корпуса в основном разобрался. Главное в том, что Думенко надо верить. Именно доверие поможет ему избавиться от многих сучков и задоринок, вернет ему силы, которых у него, судя по всему, явный упадок. Смертельно устал этот человек, уж больно тяжкий груз взвалила ему на плечи судьба. Но он несет этот груз, хотя порой и спотыкается. Надо расчистить ухабы.

Ни Абрамов, ни Блехерт не являются заговорщиками. Оба беззаветно верят в удачливую звезду комкора, помогают ему своими бесспорными военными знаниями, чем и покорили Думенко, между собой называют его Наполеоном. Да, случается, в перерывах между тяжкими боями они пьют, распускают павлиньи хвосты этаких гусаров перед женщинами. Но дело поправимое, он, Микеладзе, убежден, что все приведет в нужное соответствие, потому как никаких следов разложения он не видит. Важно, сам Думенко в разгулах не участвует. И уже совершенно великолепно то, что за ним идут массы рядовых красных бойцов и в огонь и в воду, вера их в комкора безграничная.

Вражду между Жлобой и Думенко следует погасить самым радикальным способом — вывести из корпуса Партизанскую бригаду. Приходится признать, что неблаговидную роль в разжигании вражды между этими военачальниками, к сожалению, сыграл по своей недальновидности, политической глухоте Ананьин. Еще больше достойно сожаления, что его позицию занимал член Реввоенсовета армии Анисимов. Да, об этом надо сказать прямо, освободить этих товарищей от опасных заблуждений, которые могут повернуться более чем драматически.

И еще должна быть проведена одна незамедлительная мера: убрать из полевого штаба коменданта Носова. Узнает Думенко правду о нем — снимет «котелок». Не плохо бы удалить и Блехерта, но Думенко за него горой, и с этим пока необходимо считаться. Об Абрамове и речи быть не может, этому человеку нужно доверять полностью. И, конечно же, как можно скорее нужно сместить начальника особого отдела Карташева.

Вот к таким выводам пришел военком Микеладзе, и об этом он должен был четко и ясно доложить Белобородову.

Глава двадцать первая

1

Солнце всходило над Манычем. Падавший всю ночь снег прикрыл оголенные дождями бугры. Конь Думенко с храпом потянулся на ветерок, разгребая снег.

— Калмыка чует... Ветер у нас такой, восточный, с калмыцких черных степей, — говорил комкор. — В летнюю пору, зимой ли, все одно — жди беды. По теплу нагонит пылищи, а зараз — снегопаду с морозами...

Микеладзе по необычно мягкому выражению лица Думенко догадывался, что тут ему дорого все. Указал взглядом на хутор невдалеке, в падине.

— Родина?

— Можно считать... Мой хутор во-он там, на восток. Казачий

прозывается. А тут, в Веселом, я впервой обнажил шашку. До дюжины голов оставили в тех садах. На этом развилке дружка иписали шашками казаки, хуторца...

За Веселым всполошились пулеметы; их тут же заглушила пушечная пальба. Думенко вскинул бинокль.

— Слышишь, военком? Лысенко пошел в атаку...

Из ближних хуторских садов повалила белая конница; подковой она забирала к Манычу — норовила ударить во фланг прорвавшейся к околице Донской бригаде. По умолкнувшим пушкам и пулеметам определили: донцы пустили в ход шашки.

— Трехсвояков! — комкор махнул перчаткой.

Буланый черногривый жеребец прыжками вынес комбрига.

— Подмогни Михайле, Георгий Фатеевич. Родионова с полком кинь на тех казачков.

Полк горцев на рысях вырвался из балки.

— Борис Макеевич, и я с Родионовым... — напросился Микеладзе; вздев руку, он толкнул коня шпорами.

Думенко в бинокль провожал бурку, покуда она не смешалась с лавой.

Белые успели-таки развернуться и встретить Родионова. В мешанине напрасно Думенко выискивал знакомую бурку и чалму из рушника. «Чего он не расстается с этой чалмой? Приметно ведь. Дознаются казаки, охотиться станут...» Что-то похожее на стыд шевельнулось в нем; ясно ощутил тревогу: умеет ли держать шашку?

Отвлек голос Блехерта:

— Товарищ комкор, слева по бугру...

«Эх-ма! Вот они... Из Процикова». Глазом прикинул: до двух бригад. Конница белых приостановилась: видно, не разберется, где свои, где чужие...

— Пока не разгляделись... — Блехерт, загораясь, нетерпеливо перебирал поводья. — В шашки, Борис Макеевич... А?

— Зачехлить знамя! — приказал Думенко. Повернулся к Блехерту.— В шашки, Иван Францевич, дело не хитрое. А без них обойтись? Партизанская движется Таловой балкой на Процикова. Вот бы Жлобе в тыл этим казачкам. Стиснем. Если не подымут рук — тогда уж...

— Заманчиво, — согласился Блехерт.

— Выкроить бы с полчаса... Григорий Кириллович, мчи до Жлобы!

Шевкопляс на галопе сорвался в балку.

Сбитые с толку конницей без опознавательных знаков, белые упустили время. Разобрались — было уже поздно: Партизанская бригада перекрыла обратную дорогу на Процикова, не уйти под защиту пушек и пластунов. Марк Колпаков, побывавший с ультиматумом у зажатых казаков, вернулся с командующим конной группой генералом Ивановским. Немолодой гене-

рал, отстегнув наплечную портупею простой казачьей шашки, протянул ее победителю. Достоинство и седые виски пленника удержали Думенко от язвительной усмешки. Ткнув трофей Блехерту, проговорил тихо:

— В Веселый... Я с полком Харютина двигаюсь на балку Хомутец.

2

К вечеру Думенко въехал в Казачий. На выгоне, где парнем скакал на чужих лошадях наперегонки с казачатами, пленили резерв генерала Ивановского. За краянскими садами пластуны, побросав винтовки, вылезли из окопов; горланя, кидали вверх шапки, рукавицы — приветствовали знаменитого хуторца.

— Все наши, казачинцы, — перегнувшись в седле, подсказал Мишка. — И батька мой тут... Дурак старый.

Встревоженные синие глаза ординарца рассмешили комкора; отозвался сухо, не выдавая своего ликования:

— Проверит особый отдел... Не стрелял в сына — отпустим.

У мельницы увидел военкома. Среди спешенных конников издали приметил его чалму; видимо, успел он и тут, под Казачьим, ввязаться.

— Хвались, комиссар.

— Хвалиться пока и нечем.

— Как нечем? А плацдарм отхватили у Деникина! Жлоба вон уже Процыков оседлал. Завтра Мечетку тряхнем, — подтолкнул его плечом. — Про очки набрехали, вижу. Потерял, сказывали.

— Не напоминай, Борис Макеевич. Братва другие подобрала где-то. Не совсем подходят. Сбил какой-то казачок локтем...

— Ло-октем?

— А там, черт знает, в горячке было.

Смеялся Борис; вдруг умолк, гребанул ногой. Из-под снега — черная зола. Менялся в лице; суетливо раскрывая портсигар, кивнул на мельницу:

— Ветряк батьки моего. А тут стоял флигель... Спалили казаки. Друзьяк, сын атамана. Иных довелось повстречать, подручных его, а сам не попадался.

— Встретитесь еще...

— Нас крепкий узелок стягивает. «Поместье» свое покажу, желаешь?

В лице и в голосе — опять смешливое. Приказав комполка Харютину поднять на мельницу пару пулеметов, подмигнул:

— Айда, рядом тут. Вон, у тополя.

Сердце упало: его и не его хата. Через улицу уставилась черными пустыми глазницами. Ни плетня, ни рам, ни дверей. Крыша осела, двор забурьянел, у порога выперла лебеда в пояс. Удивился: какой тесный дворик!

— Когда-то двор этот весь мой отряд вмещал...

Ночевать не остались в Казачьем — вернулись в Веселый, в полевой штаб. Блехерт порадовал исходом боев за двое суток. Разгромлена сводная дивизия 2-го Донского корпуса; более шести тысяч пленных пластунов, две конные бригады, 2-я и 3-я «добровольческие». Изрубленные не подсчитаны. Много их устилает заснеженные приманычские склоны...

Не выбродил еще хмель победы, как навалилось отрезвление. Заронил его утром на допросе генерал.

— Не скрою, прорыв нашей обороны на Дону, у станицы Раздорской, и особенно захват плацдарма на левом берегу Маныча блестящи... Слов нет. Но использовать плацдарм этот, кстати, очень выгодный, ваше командование не сумеет. Нужна конница. В ставке у нас упорно держится версия: у Думенко, мол, пятьдесят тысяч сабель! Сам теперь вижу: страх родил слухи...

— Воюют не числом, а умением, — напомнил Блехерт.

— Умение не заменит сабли. — Ивановский с презрением глянул на Блехерта — распознал в нем офицера. — У вас-то в них и нехватка. Вы ждете наступления армии Буденного. Ударить одновременно... Тщетно, господа. Ее уже нет, Конной. Захлебнулась в топях под Батайском. Остатки сейчас перебрасываются в район Таганрога, на переплавку, так сказать. Остается корпус Думенко. Но силы-то неравные... А пехота ваша не в счет: на нее у Деникина есть шрапнель.

Микеладзе, заметив, как изменился в лице комкор, поспешил вмешаться:

— О Конной армии — злые слухи. Дезинформация.

Думенко встал. Ощупывая карманы шинели, висевшей у двери, глухо заговорил:

— Генерал, гляжу, осведомлен в делах противника... А что он знает о своих силах, какие стоят по линии Казачий, Процыков, Ефремов, Поздеев? И далее — на Мечетку...

Показания генерала во многом совпадали со сведениями разведки и допросом пленных офицеров. Три донских конных корпуса — 1-й, 2-й и 4-й — готовы навалиться на веселовский плацдарм. Одно утаил: наступление назначено на 28 января, то есть на завтра. Проговорился о том офицер связи из ставки Сидорина.

До полудня чадили думенковцы цигарками возле десятиверстки. Блехерт вычертил в средней излучине Маныча с хутором Веселым посредине гнутый свал; с трех сторон упер в него кинжалами жирные стрелы. Микеладзе, внимательно следя за

его уверенными движениями руки, ворошил густую шевелюру:

— Эх-ма, три корпуса! Полков-то сколько?

— Двадцать один. Не точно, разумеется... Номера вот, свели из показаний.

— Тут же где-то в районе Поздеева еще кубанцы... Корпуса Шкуро и Агоева, — добавил Колпаков, сортируя стопку донесений полковых разведок.

Думенко вышагивал в тесном закутке меж кроватью и иконостасом, жуя погасший окурок. Тревожат его не жирные стрелки, намалеванные начопередом; не будь даже показаний пленных, он знает, что корпуса белых есть, они никуда не подевались за ночь и стоят напротив, где-то близко — каждодневно переглядывается с казачьими комкорами в бинокли. Ивановский встревожил сообщением о Конной. И не верить оснований нет. В батайских топях не развернуть армию... Понимал недавнее возмущение Семена. Артиллерии у белых достаточно, чтобы черта смешать с грязью, утопить в тех болотах. Если так, то одна дорога в самом деле, на Таганрог; там Ефим Щаденко с управлением формирований. Но тогда как же с наступлением? Без Конной?.. Кто поддержит?!

Молчит и Абрамов. Есть ли связь с 9-й? Не только вестовые, колонны пленных и трофейные обозы уже теперь в Раздорской. Прильнул к оттаявшему оконцу на лошадиный топот. Разглядел всадника за ветками.

Выбежал Марк. Вернулся с запиской.

— От Жлобы,— объявил с порога.

— Чего там? Читай.

— «Товарищ Думенко, так воевать нельзя. Вы сидите в хуторе Веселом и ничего не сообщили, какие бои у нас проходили и каково сейчас положение справа и слева...»

— Гм... Ну, ну.

— «Раз мы выдвигаемся вперед, вы сзади должны сообщить, каково у вас положение и с кем связь по фронту. Ваше молчание ставит нас в тупик, и возможно столкновение между своими частями, которые вдалеке от нас вправо и влево. Сейчас идет сильный артиллерийский бой в сторону Ростова и на севере. Нам трудно выяснить, так как мы в подкове. Комбриг Жлоба».

Комкор устало опустился на табурет. Видел Микеладзе: обиделся, ждал — сорвется. Нет. Справившись у Блехерта, вовремя ли отправлены оперативные распоряжения бригадам, он кивнул Колпакову: черкани, мол.

— Вчера послано донесение... что за бой проходил у нас в Веселом. И сегодня приказание... Ясно, что делать там ему и остальным бригадам. Пускай внимательнее относится к донесе-

ниям и в точности исполняет приказания. А в учителях я не нуждаюсь.

Опять заходил по тесной горенке, вызванивая шпорами.

— О чем он там?.. Артиллерийский бой в стороне Ростова и на севере?

— То мы и без него слышим... Вон гудит, — отозвался угрюмо Шевкопляс, пригревшийся спиной у печи. — Семен наш куда подевался, вот загадка. В Таганрог... Чудно. За каким?..

— Брешет генерал, — неуверенно сказал Марк.

— Может, и брешет, — согласился Шевкопляс, — но без Конной, одним корпусом, кидаться нам нема расчету. Вон их сколько!.. Вдесятеро! А что пехота? Покамест приплюхает, от нас в Тихорецкой али в той же самой Мечетке мокрое место останется.

— От тебя, Григорий Кириллович, не мокрое уж место... Лужа.

Шутка комкора вызвала смех. Микеладзе ощутил что-то похожее на страх. Три с половиной тысячи сабель против двадцати пяти тысяч. Плохо укладывается. Не скажешь, что люди эти не отдают себе отчета в своих намерениях. Поди, самим страшно. Но есть сила, которая давит страх, держит их волю в кулаке, — вера в Думенко. Блехерт сравнивает Думенко с Наполеоном. Видимо, по его представлению, военная фортуна явно балует этого русского крестьянина, как некогда баловала корсиканца. А каким боком фортуна повернется к нему теперь, может быть, этой ночью?

— Вижу, военком, и смех тебе не в смех. Ну, скажешь, влип с этими вояками, — подмигнул Думенко.

Застигнутый врасплох, Микеладзе крутил головой:

— Да уж такое... Начеркал тут на карте Иван Францевич... От стрелок одних оторопь берет.

— На планах кажется страшно, — отмахнулся по-ребячьи Марк. — А в степи, в седле...

— Там и вовсе в штаны напустишь, — подковырнул разведчика Шевкопляс.

Явился долгожданный вестник из Раздорской. Комкор сам разорвал пакет, обежал взглядом лист; кривил губы, но выдавали глаза — вести добрые.

Из донесения Абрамова выяснили, что Конная из-под Батайска и Ольгинской переброшена в устье Маныча; наступление начнет совместно с корпусом 28 января.

Разослав по бригадам и артдивизионам приказ, работники полештакора, успокоенные, улеглись спать — до света нужно быть в частях.

Беда навалилась в полночь.

3

Такого дня, как нынешний, за всю войну у Думенко не случалось. На глазах бежали его бригады. Не встал на пути, расставив руки с клинком и наганом, с перекошенным от злобы лицом. Понимал, задержит узкую полоску тех, кто натолкнется на Бурана; кинутся за ним в сабельную плотную стенку... А толку? Темным-темно, куда ни поведи биноклем. Искрошат в лапшу...

Спасение — Маныч. Перехватывать бегущих на правом берегу, спешивать и укладывать в цепи. Выставить пулеметы. Пушки уже вряд ли удастся перетащить через изорванный снарядами лед. Все пойдет на дно...

Поддержал и военком:

— Главное сейчас... упорядочить отступление через реку, унять панику в войсках. Прикрываясь пулеметным огнем, собрать эскадроны, полки...

Поздно вечером, наведя кое-какой порядок в потрясенных бригадах, комкор с военкомом и Блехертом попали в Раздорскую. У Абрамова уже сидел начдив-23 Руднев. Вместе горе мыкали утром на Маныче — его 2-я бригада тоже бежала по льду, не отставая от конников. Думенко кивнул начдиву, спросил:

— Унес ноги?

За ужином, покуда телефонисты добивались на провод командарма, пробовали разобраться в случившемся. Блехерт обвинял комбригов в нераспорядительности, в неточном исполнении приказов. Укорял и пехотинца: не одной бригадой, а всей дивизией, мол, надо было поддерживать наступление. Блехерту поддакивали Шевкопляс и Колпаков. Руднев соглашался, сваливая вину на командарма: мол, не продуманный был приказ. Комкор и военком молчали.

Высказал свое мнение и Абрамов. Донесения командиров наступающих частей, постоянная связь со штабом армии давали ему возможность видеть события полнее, шире. Шорин думал обрушиться за Дон всем фронтом. Не получилось. Армии, не взаимодействуя, каждая сама по себе рвались на левый берег. Пока Конная кидалась на Батайск и Ольгинскую, гибла в топях, прорывалась на Хомутовскую, 8-я топталась в грязи по Аксаю. Потери, говорят, у Буденного страшные... 9-я тоже металась по правому берегу без пользы несколько дней. Не в Багаевской, а тут, в Раздорской, переправилась. Благополучнее всего у 10-й — Сал не Дон. Форсировала его успешно, сейчас подошла к станице Великокняжеской. Заход корпуса к Манычу, взятие Багаевской могли оказать непосредственную поддержку Конной и 8-й. Но в это время началась переброска Конной на их участок — Манычская, Багаевская, Раздорская...

— Перебросили-то поздно, — обронил угрюмо Блехерт, исподлобья ловя взгляд комкора.

— Об этом и речь, — согласился Абрамов. — Успешные бои корпуса за Манычем 26 и 27 января не были поддержаны соседями. Казалось бы, само собой напрашивается: объединить Конную с корпусом. Для единого удара. Нет. Только что получена директива комфронта... Конная, переправившись на участок Багаевская — Раздорская, наносит фланговый удар на Хомутовскую, Кагальницкую и далее на Кущевскую. Мы по-прежнему — на Мечетинскую, Тихорецкую.

— Вы считаете, Михаил Никифорович, конницу надо свести для удара в одном направлении? — спросил Микеладзе.

— Несомненно. Поодиночке нас размолотят. Представьте, за Манычем, на таком сравнительно малом клочке, скопилось огромное количество войск противника. Все, что недавно растягивалось на сотни верст по фронту, теперь стянуто в одно место. В основном кавалерия. Им не требуется больших переходов. Успевай поворачивайся, встречай нас на переправах. Выгоднейшие позиции! Все возвышенности заняты артиллерией. Деникинцы бросили на уничтожение нашего корпуса сразу три своих. Маныч спас. Могли бы раздавить...

— Нагнали страху, — усмехнулся Блехерт. — Комбриги до сей поры собирают бойцов. Пушек лишились...

Микеладзе исподволь наблюдал за Думенко. Ни слова еще не проронил комкор, собирал складки на лбу, не вмешивался в разговор, но ел с аппетитом. Изредка поворачивался к двери — ждал, когда позовут к прямому проводу. Зато сам он, военком, Абрамова слушал с интересом. Выводы верные: командование фронтом в Саратове смутно представляет, что делается здесь. И совсем не знает о состоянии и силах противника. Вразнобой не опрокинешь деникинцев. Конную и корпус действительно надо сводить и бить одним кулаком...

— Степин на проводе.

Все двинулись в соседнюю комнату. Думенко, встав за спиной телеграфиста, говорил ни на кого не глядя:

— Положение на фронте создалось весьма печальное. Следуя вашему приказу, корпус стремится овладеть узлом Мечетинская. В последних боях захвачено нами в плен шесть тысяч пятьсот пехотинцев, полторы тысячи конников, до двух тысяч изрублено. Захвачен транспорт в восемьсот подвод с разным имуществом. Четвертый день корпус бьется с самыми сильными частями противника. Я вас просил, чтобы соседняя армия в свою очередь продолжала наступление. Но она так и не наступает. Сегодня ночью противник повел под прикрытием сильнейшего артогня наступление двадцатью одной тысячью конников на вверенный мне корпус. Мы дали бой корпусам генерала Мамонтова и генерала Шкуро. Много изрублено, захвачены пленные. Но

силы слишком неравные. Части стали безынициативными и в большом беспорядке отступили в Сусатский и Воробьевку. Осталась вся артиллерия у Маныча и несколько пулеметов. За последние бои бойцы сильно устали — четвертые сутки не спят. Прошу вашего срочного распоряжения: передать мне не менее четырнадцати пушек. Если не будет артиллерии, то придется отходить и далее.

Степин: РВС благодарит вас за бои 26 и 27 января. Что вам известно о 23-й дивизии?

Думенко: 23-я оставалась в Нижне-Соленом. Отступала почти без боя, так как противник наступал только на конные части.

Степин: Ваша артиллерия на левом или правом берегу?

Думенко: В самом Маныче. Вся завалилась — пошла под лед. 17 пушек. А две сумели вывезти.

Степин: Лошадей от орудий срочно высылайте в Новочеркасск. Там получите орудия. Сообщаю: 21-я дивизия после упорных боев заняла Манычскую, Княжевско-Леоновский, Тузулуковский. Конармия форсировала Маныч и ведет наступление на Мало-Западенки. Ввиду создавшейся обстановки, как ни тяжело для ваших частей, прикажите передовым частям выдвинуться и занять Черногузов. Приложите все усилия, чтобы привести доблестный Конкорпус в порядок в кратчайший срок. Какие же части противника, кроме Мамонтова и Шкуро, действовали против вас?

Думенко: Девять полков Мамонтова, семь полков Шкуро, пять полков Коновалова. Всего двадцать один полк.

Степин: В самом срочном порядке приведите в боевой порядок корпус. Высылайте кавалерию за пушками. А пока будьте здоровы.

4

Бои на Маныче затянулись. Переброшенная с низовья Дона Конная армия не внесла перевеса. Обескровленная, истощенная боями под Батайском и Ольгинской, она не смогла захватить плацдарм на левом берегу Маныча. Неглубокая, но широкая, с низкими топкими берегами река оказалась еще каверзнее Дона. В последние дни января, пока Конно-Сводный корпус в устье Сала залечивал раны, Конармия, переправившись в одиночку, бросилась в наступление; авангардом шла 6-я кавдивизия Тимошенко. У хутора Веселого ей преградили дорогу две конные дивизии из 2-го и 4-го донских корпусов. Никем не поддержанная, она с боями отступила за Маныч. Две другие кавдивизии, 4-я и 11-я, в тот горький час рубились с конницей генералов Агоева и Старикова. Обливаясь кровью, устилая забурьяненные склоны балок своими и чужими трупами, тоже скатывались назад к ре-

ке, не удержались и на правом берегу — отошли к хуторам Федулов, Елкин, Кудинов.

Через два дня, наведя порядок, пополнившись заново пушками, огнеприпасами и людьми из резервных эскадронов, Думенко опять двинул корпус хоженой дорогой — на Маныч. Наступал двумя бригадами — Горской и Донской; Жлоба вел Партизанскую резервом версты за две, готовый оказать поддержку.

Начало наступления обнадежило. Горцы, следуя по Сусатскому тракту, обходом взяли хутора Соленые, Нижний и Верхний; преследовали казаков до Манычско-Балабинского, с ходу перебросив их за Маныч. Лысенко неотступно держался левого локтя, нанося фланговые удары; к полудню он вошел в крохотный хуторок Спорный, в двух верстах юго-восточнее Манычско-Балабинского.

В тот же день за Маныч кинулась Конармия. Взаимодействуя с корпусом, она лихо устремилась на хутора Тузулуковский и Платовку. Утром у Мало-Западенского глазам предстали почернелые приманычские бугры: за ночь сошлись едва не все донские и кубанские белоказачьи корпуса. Рубка шла отчаянная. Весь день, от восхода до заката солнца. Уже в сумерках перебирались думенковцы и буденовцы по льду восвояси.

Не раз оставлял комкор курган. Не прошибешь сабельную стену; отменно работают и казачьи пушкари, густо оседлавшие все ближние высотки. Сметают огнем его атакующие полки. Вкинув в ножны клинок, он хватался за бинокль. Частенько попадалась на глаза развевающаяся бурка военкома: угадывал по белой чалме из рушника да буланому коньку. Не гнушается водить в атаки эскадроны. Начинать бы так и Ананьину, с боев... Не было б времени на обиды. Понадобился приезд Микеладзе, чтобы оторвать Ананьина от тыла. И все-таки не довелось ему повоевать: в недавних боях тут, на Маныче, отступая, со льда под огнем вытащили его санитары вместе с другими ранеными. Сейчас — в Новочеркасске, в лазарете.

С утра Думенко начал кидать нетерпеливый взгляд на спрятанный в падине хутор Спорный. Пора бы подойти оттуда 1-й кавбригаде из дивизии имени Блинова. Ночью собственноручно отдал Жлобе письменное распоряжение о временном подчинении блиновцев и участии их в сегодняшнем бою под его, комкора, командованием. С каждым часом делалось невмоготу: жмут белые, вводят свежие силы. Атаки учащаются. Силятся столкнуть в реку, изрезать пулеметами на просторном ледяном поле. Вестовые докладывали: соседи, буденновцы, тоже задыхаются.

Ждал подкреплений до полудня. Лопнуло терпение — послал за Партизанской. Блехерт, утирая папахой распаренное лицо — водил в атаку резервный полк, — с дрожью в голосе проговорил:

— Боюсь, Жлоба не передал ваше распоряжение блиновцам. Комбриг-1 исполнительный...

По быстрому взгляду комкора Микеладзе почувствовал, что и он склонен так предполагать. Быть великой ссоре. Набросятся на Жлобу; тот тоже не ягненок... Подтолкнул коня поближе к гнедому дончаку комкора, предложил:

— Борис Макеевич, в Партизанскую поеду я. Кстати, мне нужно в Раздорскую, в политотдел.

Солнце, проглянувшее в полдень, к вечеру ушло за тяжелые снеговые тучи; ожил из-за Дона ветерок, сбивая белые клубы дыма от разрывов к хутору Веселому, на восток. Потемнело вдруг, будто внезапно навалилась ночь.

Казакам спесь сбили. Но что в Платовке, у Буденного? Артогонь вроде поутих.

Из-за садов вывернулась густая масса конницы. Думенко угадал фаэтон Жлобы. Водворяя бинокль в футляр, приказал начопероду:

— Останови бригаду за хутором. Комбрига ко мне.

Вскоре на курган на рысях поднялись Микеладзе и Жлоба. Не отвечая на приветствие комбрига, Думенко строго сказал:

— Не выполнил моего приказания, Жлоба...

— Как так?

— Ни бригады блиновской, ни твоего донесения... Сутки прошли.

— Не знаю... Я посылал вестового.

Распорядившись об укреплении позиций на ночь, Думенко направился в хутор Манычско-Балабинский, в полевой штаб. Проезжал Партизанскую бригаду, спешившуюся в балке, в затишке, хотел подбодрить бойцов. Не было сил — вымотали до дна двое суток. Но в душе был доволен: продержался, сохранив резерв. Что привезет порученец Шевкопляс от Семена? Если у того все в порядке — завтра перейдут в наступление. От хутора Ефремова разойдутся каждый своим путем: Буденный — через Хомутовскую на Кущаевку, он — через Мечетинскую на Тихорецкую. Потому и сохраняет самую сильную бригаду.

Подозвал Жлобу. Улеглась уже на него обида — сказал добродушно:

— Уводи бригаду на старые квартиры. Сам видишь: ни в Спорном, ни в Балабинском места нету. Готовься, завтра понадобишься. Бить тебе на Мечетку...

Не успели стащить оружие — ввалился Шевкопляс. Едва держался на ногах, докладывал, с трудом ворочая языком:

— В Платовку не доехал... И Буденного самого не видел. Натолкнулся на отступающую 6-ю. Отдал пакет Тимошенко... Он перевалил за Маныч. Платовка была уже занята белыми. Сила тьмущая... Трое казаков гнались по льду. Еле ускакал.

Новость! Не о наступлении думать завтра... Удержать бы правый берег Маныча. Пожалел, что отправил Партизанскую опять в хутора Соленые. Блехерт, не раздевшись, ткнулся в десятиверстку; Марк подтащился к нему с табуретом. Поймал Борис на себе тревожный блеск очков военкома, устало кивнул:

— Слыхал, комиссар? — Снимая оружие, он недовольно поморщился: — Не пяльтесь в карту! Она ничем не поможет.

Прошелся по тесной горенке, не чуя отекших в седле ног. Понимал, без блиновской бригады им все-таки не обойтись. Кого послать к блиновцам?

Будто угадав мысли комкора, Микеладзе сказал:

— Надо ехать к блиновцам. Поеду я.

— Постой, военком. — Думенко помолчал, устало закрыв глаза. Потом резко поднялся.— К блиновцам поеду я сам. Одного приказа тут мало...

— Во, во! Именно поэтому я и поеду, — настаивал на своем Микеладзе. — Кому как не мне убедить их, что временное подчинение корпусу — мера необходимая. Заготавливайте приказ.

— Ну что ж, хорошо, Владимир Нестерович,— согласился Думенко, устало присаживаясь к столу.— Возьми с собой побольше конников. Колпаков, обеспечить охрану военкому.

Уже во дворе, без ведома Думенко, отказался Микеладзе от охраны.

— Зачем еще мучить конников. Догоню Жлобу, он даст провожатых. Мне бы свежего коня — своего запалил за день.

Текст приказа блиновцам составили вместе: «Комбригу-1 кав. имени т. Блинова через военкома Конкорпуса. 1920 г. 2 февр. № 150 13-ОП. Место отправления М. Балабинский. Противник крупными силами пытается перейти в наступление. Для ликвидации сил противника, дабы спасти общее положение, именем революции приказываю Вам временно подчиниться мне, дабы нанести противнику решительный удар. В противном случае, взяв на себя ответственность, приму по отношению к вам самые репрессивные меры. О Вашем подчинении мне будет донесено командарму- 9».

Подписались Думенко и Микеладзе.

Глава двадцать вторая

1

Ночь прошла тревожно. Белые за Манычем не подавали голоса. Донесения от комбригов не поступали.

Думенко пробрался через комнатку, забитую спящими вповалку ординарцами, вышел на улицу. Лицо ожег ледяной ветер. Натягивая перчатки, спустился с крылечка. За Манычем из-за синего бугра пробивалась заря.

Гремя порожней цибаркой, подошел Чалов.

— Подседлай Бурана,— приказал Думенко.

Покорно потопал Чалов к конюшне, пряча голову в поднятый ворот кожушка. От тачанки крикнул, загораживаясь рукавицей от встречного ветра:

— Мишку будить? Али из вестовых кого?

— Обойдусь.

Проехал Горскую бригаду, разместившуюся в хуторе; оглядел выставленные вдоль Маныча по камышам пулеметы. Набивался ему в сопроводители Трехсвояков.

— Будь с бригадой. Не ведаем еще, что затевают казаки...

Побывал и в Спорном, у Лысенко. Вернулся — солнце уже висело над бугром. Молчком, не задерживаясь в штабной комнате, прошел к себе, в боковушку. Устало повалился в шинели на неразобранную со вчерашнего кровать.

Дурное настроение началось сразу с объезда Горской бригады; из Спорного уже скакал, едва сдерживая скрежет зубов. Скученность, теснотища. В двух хуторках собралось столько люду! Добро бы его конники — за ночь подошла пехота, чуть ли не вся 23-я дивизия. В хатах дыхнуть нечем. Забиты амбары, сараи, катушки. Кони объели все базы; через двое суток на токах свежей соломы не найдешь. Соломенные крыши сараев оголять останется. На гнилье не поскачешь, не навоюешь.

А тут еще один враг, страшнее белоказачьей шашки — тиф. Выкашивает эскадроны. Любит людскую густоту, грязь, голод. Объявилась и оспа. По осени на Хопре свирепствовала в 3-й Донской. Весь калмыцкий полк изолировал, отправил на карантин. Нынче роскошь такую позволить себе невозможно: каждый клинок дорог...

Вошел Блехерт.

— Борис Макеевич, печати нужны. А они у Микеладзе. Пора бы ему вернуться. Одиннадцать часов уже...

— А Степин?

— Молчит... Разведка с Дона явилась. Командарма Буденного не застали в Багаевской. Отбыл в Ростов, в штаб.

Комкор шевельнул рукой: ступай.

Навалилась на Бориса усталость, не только физическая — душевная. Сказались манычские бои. Бывало, били казаки крепко. Не падал духом; напротив, всякая мало-мальская неудача вселяла беса в него. Упорно, порой мучительно искал выход. Находил — давал сдачу. Бойцы уже знали: ну, завтра белякам не сдобровать.

А сейчас навалилось безразличие. Угнетало чувство одиночества. Раньше как-то не ощущалось острой боли, что нет рядом человека, на кого можно было бы опереться. Вот так, на равных, по-дружески, как у Семена с Ворошиловым. Блехерт? Знающий, исполнительный... Но их ничего не связывало душевно. Чужие.

Только подчиняется, выполняет его волю. Брательник Марк? Мальчишка. О Григории Шевкоплясе и разговору не может быть. Если бы не чувство жалости и доброй памяти к нему, давно бы разошлись дороги. Был Фома Текучев... ранен, лежит в госпитале. Когда его там подлатают? Больше ни с кем из комбригов не сблизился. А Жлоба так и вовсе хвост заломил. Ближе всех Михаил Абрамов. Но он редко случается под рукой. Военком еще... Работать с ним можно. Не суется в каждую дырку. Своим делом занимается. Недели две в корпусе, а всем занятие нашел, не в тылах — на позиции. Сам от боя не отлынивает; выхватывает из ножен кавказскую старинную шашку, увлекая за собой бойцов — будь то полк, эскадрон, а то и горстка штабных вестовых. Есть, есть в нем что-то такое, от чего ему, Думенко, порой как-то теплее становится. Кажется, приди он к нему раньше — совсем друзьями бы стали. А что, вот и было бы, как у Буденного рядом Ворошилов — напористый, башковитый мужик, друг, помощник...

Думенко глянул на часы, позвал нетерпеливо Носова.

— Где военком?

— Не прибыл еще...

— Сколько охраны с ним послали?

— Как вы велели... Но военком от охраны отказался, говорит, люди устали досмерти, а им завтра снова в бой...

Думенко какое-то время смотрел на Носова так, будто не видел его, ослепленный яростью и предчувствием непоправимой беды. Он порывался что-то сказать, но слова не могли пробиться сквозь распухшее горло, лишь клокотало в нем, как в полевом казане.

— У...у... убью! — вырвалось у него яростным и тоскливым завыванием.

Носов прилип к стенке. Думенко ухватил его обеими руками за ворот, словно хотел разможжить ему голову о стенку, потом выпустил, резко согнулся, будто кто самого ударил под самый дых. Долго молчал, находясь в неестественной позе раненого человека: не то пересиливая боль, не то прислушиваясь к своему вздыбленному нутру, усмиряя себя. Наконец спросил до неправдоподобия слабым, болезненным голосом:

— Сам-то ты его проводил?

— Жуков... Жуков провожал...

— Ах, Жуков! А ты... ты, сукин сын, ты...— Думенко не договорил, руки его начали шарить по бедру...

Сотрясая весь дом от пола до крыши, низко пролетел аэроплан. Думенко ошалело покрутил головой и как был в одном френче выскочил на улицу. Почему-то ему мнилось: аэроплан этот должен принести весть о военкоме. Оказалось, что из штаба армии доставили боевой приказ. Думенко долго крутил в руках распечатанный пакет, не в силах сосредоточиться на смысле при-

каза: ему все же не верилось, что аэроплан не принес вести о военкоме.

Присел на скамью, зачем-то разгладил приказ на колене, заставил себя прочесть внимательно. Наконец понял, что его корпусу приказывалось во что бы то ни стало держать правый берег Маныча. Спросил тихо, обращаясь только к самому себе:

— Да они что там? Топтаться у Маныча — погибель для корпуса. — Швырнул пакет Носову. — Коня! Еду в Раздорскую. Добьюсь связи со Степиным.

Одеваясь у порога, произнес с превеликой надеждой, как-то сразу отрешаясь от всего, что было вызвано в его душе приказом:

— Гляди, военкома там повстречаю...— Подошел вплотную к Носову, сделал такое движение, будто хотел взять его за горло.— А ты... ты все тут поставь на ноги, вестовых, дозорных, разведку... Сегодня же я должен знать, где военком...

Носов вытянулся перед комкором, хотел заверить, что все будет выполнено, но на пороге показался Жуков. По его пришибленному виду можно было понять, что стряслась беда. И опять дурное предчувствие в один миг выморочило Думенко.

— Ну? — только и смог он спросить.

Жуков утер лохматой шапкой покрытое испариной лицо, сказал, плохо справляясь с голосом:

— От жлобинских вестовых... слух дошел. Комиссара нашего порубанного в балке нашли...

Думенко судорожно глотнул воздуха, зрачки его как-то странно закатились. «Вот, вот оно... Пришло. Я знал... чувствовал...» Кто-то подал ему воды. Он ударил кулаком по ковшу, прохрипел:

— Коня!

Не нашел Думенко в той злополучной балке, на которую указали вестовые, своего военкома. Это породило в его охваченной ознобом душе слабую искорку надежды: может, все это неправда, жив военком.

Надежду эту, казалось, поддержал и Жлоба, когда комкор прискакал к нему. Жлоба низко подвинул кубанку на глаза, потом сорвал ее, бросил на кровать.

— Ну, будет грому-тарараму, если военкома гробанули! — Затем как-то по-бабьи повел с суеверным страхом обеими руками, будто прогоняя нечистую силу.— Да не... брехня, не может того быть...

— Тачанку! — приказал Думенко. — Двину в Раздорскую, может, там чего узнаю. А ты тут шукай. Если чего — мигом ко мне вестового...

— Постой, а в каком часу от вас выехал Микеладзе? — спросил Жлоба, гася в глазах не то подозрение, не то какую-то догадку, которую никак не решался высказать.

— В седьмом, а может, в половине восьмого вчера вечером...

Жлоба почесал переносье, что-то напряженно себе на уме смекая. Не сказал он Думенко самого главного: всего через час, от силы полтора после того, как Микеладзе покинул штаб корпуса, в Соленое, к нему, Жлобе, примчался военком кавбригады Пискарев и сообщил, что Микеладзе убит штабными Думенко. И уже потом, много дней спустя, он объяснит следователям свой поступок тем, что боялся, как бы Думенко, не «снял с него котелок», если он скажет ему в глаза, что военкома убили думенковцы-штабисты.

А Думенко с того часу о чем бы ни думал, все мучил и мучил себя вопросом: «Кто, кто все-таки порешил военкома?» Порой хотел подступиться с беспощадными словами к Дороне Носову, да так, чтобы всю душу из него вывернуть. А случалось, хотел с тем же намерением разглядеть потемки души Жукова: ну скажи, такой, рассякой, не твоя ли это работа? Подмывало взять за самые жабры Жлобу: «Не ты ли кого науськал? Я же знаю, не сладилось у вас с Микеладзе, как, допустим, с Ананьиным. Может, отомстил...»

Будто в ответ выступало в памяти растерянное лицо Жлобы, его жест, похоже как прогонял он нечистую силу и слова: «Да не... брехня, не может того быть». И страх в глазах комбрига, суеверный страх, и тревога, и вроде бы даже скорбь. Мало ли что они спорили с военкомом. Он, Думенко, тоже спорил, а душа тянулась к умному человеку, заставлял себя военком уважать. Таких вот и любил толковых. Может, и у Жлобы все было так же?

Какое же имеет право он, Думенко, подозревать и Жлобу, и Носова, и Жукова в таком тяжком грехе? А вдруг сотворили это черное дело деникинские лазутчики? Могли же все-таки подстроить, чтобы подозрение пало на него, комкора Думенко, или хотя бы на того же комбрига Жлобу.

Нет, валить напраслину на людей — не в его характере. Пусть другие строчат на него доносы, а он ни по злобе, ни по хитрости ни на кого поклеп возводить не будет.

Вроде бы проглядывалось в глазах Жлобы в ту памятную встречу глубоко запрятанное подозрение, мол, а не ты ли, Думенко, отослал на тот свет военкома? А может, просто помнилось? Пусть бы он хоть в полсловечка высказал что-нибудь подобное — не сносить бы ему тогда головы...

Вот так ворочал Думенко все эти мысли, словно булыжники, в помраченной многими напастями голове, стараясь разгадать мрачную тайну гибели военкома Микеладзе. И неведомо было ему, что это останется тайной на многие годы, быть может, навсегда. А те, кому казалось, что они поняли трагедию коммуниста Микеладзе, лишь сеяли семена новой трагедии...

2

От Жлобы Думенко укатил на тачанке в Раздорскую. Прибыл в станицу к полуночи. В окнах штаба еще светился огонь. У конюшни дневальный, помогая стянуть с барок заиндевелые постромки, порадовал новостью:

— До вас гости, Борис Макеевич... Баба да батько. Вот ввалились. Михаил Никифорович чаями потчують...

От волнения Борис не мог налапать дверную скобу. У порога попал в объятия жены. Цепко сомкнула голые по локоть руки на шее, закутанной заснеженным башлыком.

— Погоди, стряхну. Сугроб вволок на себе... Задушишь.

Силился оторвать от себя теплое, дурманящее тело. Обжег батьков взгляд. Белая, чисто промытая бородища обрамляла налитые скулы, в глазах — давняя патриаршая суровость. Не увидал Борис, учуял осуждение: «Эка, молодые, какие они нонче пошли... Ни стыда, ни сраму. Вешаются друг дружке на шею при людях...»

Ася не замечала косого взгляда свекра, зато видела смущение мужа. И не щадила его: покуда не обцеловала заледенелое колючее лицо — не оставила в покое.

Наконец Борис поздоровался с отцом. Подержал тяжелую вялую руку, кивнул: «Рад видеть в здравии, батя...» Повернулся к Абрамову, стоявшему навытяжку.

— Срочно Каменскую. Степина!

— Командарм заболел. Вчера звонил Душкевич, начальник штаба. Нас свели с Буденным в конную группу. Временно подчинили Конармии для совместных действий по охране правого берега Маныча от Белых Бугров, за Багаевской, до лимана Садковского.

— Знаю. Шифровку получали. Душкевича давай.

Абрамов ушел в прихожую к связистам.

Макей пододвинул стул, с которого только что вскочила сноха, пригласил:

— Сидай, сынок...

Беспомощно затоптался Борис, нетерпеливо оглядываясь на дверь спальни. Ждал жену — не хотелось быть с отцом с глазу на глаз. Знал, о чем поведет речь. Порывался старый уединиться еще в первую встречу, в Грушевске, выручила тогда Ася — не отпускала от себя.

— Сидай, сидай. Поугождаю сам. Стопку тебе нельзя, а чайку горячего с холоду пользительно. Жинка воротится вскорости, у ей там свои бабьи дела.

Перехитрил Макей. Загодя упросил сноху дать ему возможность сказать сыну наедине слово. Затем и втесался к ней в сопроводители.

Делать нечего, придется выслушать. С наслаждением обхва-

тив озябшими ладонями фарфоровую чашку с отбитой ручкой и полустертыми голубенькими цветами, дул в крутой кипяток, заправленный настоящим грузинским чаем.

— Человеком большим, гляжу, стал ты, сынок. А с чего начинал? Помню, по уздечке сбирал по чужим базам. С хутора увел горстку сотоваришов своих да мальцов сопливых. Привел великие тыщи. Далеко красная молва идет. Деника сам почтение оказывает... Мильен за голову твою назначил. А ежели самолично перейдешь живым до него, сулит десять. Во!

Поднялись у Бориса брови. Куда гнет? В голосе — явная издевка:

— Он-то, Деника, с тобой и переказал, а? Небось и задаток отвалил...

Макей обидчиво засопел; клоня голову, выговорил:

— Вон по Ростову да Новочеркасску скрозь по заборам развешено...

— Посулы Деникина мне давно известны. Извиняй, батя.

— Чего уж... Виниться я должон. По-твоему вышло... Хлебнул от казаков горюшка по горло. Жалкую зараз... не помог тебе в крайнюю нужду. Прахом все пошло; ветер и пепел развеял. И фиголь, и подворье, и кое-какие деньжонки, сбереженья...

Крепкие еще плечи отца костисто выперли, того и гляди прорвут выгоревшую до белеси солдатскую рубаху.

— На днях в Казачьем побывал,— заговорил Борис, желая помочь отцу пробиться словами к тому, что его одолевало и заставило приехать в корпус.— Землянка моя жива. Без рам, без дверей...

— А ветряк?

— Чего ему? Стоит. Маху одну снарядом кадеты отполовинили... Наблюдательный пункт свой я устраивал на нем.

Ожили глаза у Макея.

— Не велик урон, маха, починим. А жернова, валы?

— Желоба позабивали пустыми гильзами. Два пулемета более суток без умолку палили.

Не дал завершиться разговору Абрамов.

— Каменская!

С благодарностью взглянул комкор на начальника штаба. Спасибо, перебил: огорчил бы отца ответом. Старый спит и видит свой млын. Казаки отняли — Советы вернут. А разговоры затеял издалека недаром: все надежды возлагает на него, «большого человека». Добро, первые минуты встречи не омрачены.

3

— Буденный! — от порога выпалил Марк.— И Ворошилов с ним...

Гости нежданные. Помня рождественское угощение Нади

Буденной, Думенко шепнул Дороне Носову и Шевкоплясу, чтобы не ударили лицом в грязь.

— Снабженцев бригадных растребушите.

Сперва гости не хотели снимать шинелей.

— Не затевай, Борис Макеевич.— Буденный, косясь на своего напарника, отгородился ладонью от стола, на котором выставилась батарея бутылок с цветными наклейками.— Мы с товарищем Ворошиловым проездом. Обогреемся и в путь-дорогу...

— Держать лишнего не станем. Коней напоить — и на то час уйдет. Раздевайтесь.

— Нет, нет. Премного благодарны.

Григорий Шевкопляс вернее комкора учуял, с кого начинать приглашение.

— Клим Ефремович, не по-товарищески... Мы в Ростове вашим хлебом-солью не брезговали. Правда, в Новочеркасске в ту пору встретили бы вас не так... Не обессудьте. Разносолы тут на Маныче известные. Чем богаты, тем и рады.

Обожженное морозом лицо Ворошилова подобрело.

— Семен Михайлович, пожалуй, в нашем положении самый раз передохнуть... Полдня в тачанке. Да на морозище!

Проворно скинув шинель, показывая пример командарму, подтащил табуретку к столу.

Стол тесноватый, уместил пятерых: гости да трое хозяев. К Думенко подсели, тесно сведя локти, Шевкопляс и Блехерт. Марку места не хватило — уселся за спиной комкора.

Унимая неустоявшийся еще застольный гомон, Ворошилов поднял стакан.

— К ростовскому хлебу-соли я лично, помню, не причастен. Вот ему, Семену Михайловичу, да его дражайшей половине вы обязаны. Потому за ваше угощение я буду тут же расплачиваться новостями.

— Вот, вот,— Шевкопляс обрадованно поерзал на стуле, ловя взгляд комкора.— Вы были в Ростове, а мы добиваемся с вами связи.

— Сразу хочу обрадовать... Снят Шорин.

— Вот оно что,— как-то безразлично воспринял новость Думенко.— Ну, ну, выкладывайте все, что есть... Послухаем.

Ворошилов сообщил о своем докладе главкому Каменеву. Против их конной группы, армии и корпуса, тут, на Маныче, противник сосредоточил крупные силы конницы — до пятидесяти двух полков. Шорин поставил им задачу уничтожить эти силы, сгруппировавшиеся в районе хутора Ефремов. Той же директивой 8-й и 9-й армиям приказано оборонять занимаемые позиции. Потому противник имел возможность снять с участков соседних армий все кавчасти и бросить против них.

— Так оно и случилось! — поддержал Шевкопляс.

— Сообщили мы им и о последних наших совместных боях...

1 февраля вторично, мол, форсировали реку Маныч, по льду, скользкому, в иных местах до трех верст шириной, переправились на левый берег. А наутро противник навалился огромными массами конницы... принудил нас отступить на правый берег. Во всей этой операции 8-я и 9-я армии никакого участия не принимали. Белым предоставлена была полнейшая свобода маневрирования и накопления своих сил где им нужно.

— И мы действовали не слаженно,— перебил Думенко.— Корпус достиг уже Процикова и Веселого, а Конная все еще топталась у Ефремова и Мало-Западенского!

— Не будем, Борис Макеевич, счеты сводить,— вмешался Буденный, одаряя миролюбивым взглядом всех за столом.

— Я к тому... не все надобно взваливать на Шорина.

На диво мирным тоном ответил и Ворошилов:

— Мы тоже можем обвинить... Поражение произошло от того, что Конкорпус Думенко ушел слишком далеко. Кстати, Конная выполняла все ту же неразумную директиву Шорина — от хутора Ефремова обрывались наши «совместные» действия.

Шевкопляс покрутил головой.

— В самом деле приказ тот начудил... Семь верст оперативного подчинения корпуса Конармии.

— По правде, я не больно верю, что наш доклад главкому изменит положение,— удрученно сказал Буденный, поворачиваясь к Ворошилову. — Конная гибнет... По вине Шорина загублено лучших бойцов под Батайском и тут, на Маныче, уже больше трети да лошадей четыре тыщи!

— Потери и у нас немалые,— согласно склонил свежеобритую голову Думенко. — Меньше от боев... Тиф одолевает. Что и говорить, неумело используют конницу... План наступления на Мечетинскую — Тихорецкую нужно менять. Коль нас свели в одну группу, я предлагаю выработать единый план. Совершенно отличимый от действующего ныне, с учетом горького опыта последних боев и уточненных сведений о противнике. Удачно вы нагрянули. Я только что из Раздорской... Степин заболел, а Душкевич, начальник штаба, открестился от Конкорпуса.

Ворошилов отпустил крючки на отложном вороте френча; облегченно поводя отошедшим от холода подбородком, быстро глянул на Буденного.

— Еще не все новости, — он выставил ладонь. — Мы связались со Сталиным, в Курске. Доложили ему всю обстановку. Он и добился отставки Шорина. Комфронта теперь назначен Тухачевский. По слухам, молодой, из офицеров... Командовал армией на Восточном фронте. Членом РВС — Орджоникидзе. От них-то и поступило распоряжение о прекращении боевых действий Конармии на манычском направлении. Готовим части для переброски в другой район — в Шара-Булук, в Платовскую.

Думенко перенял недоумевающий взгляд Блехерта, пожал в ответ плечами, сказал тоскливо:

— Вот, значит, как получается. Думал, соседи явились ко мне договориться о совместных действиях. Позавидуешь только вам. А кто поможет моему корпусу? Полагался на Конную...

— Борис Макеевич, ничего, поможем.— Буденный положил руку на плечо Думенко.— Все равно будем рядом...

И хотя дружеским участием веяло от слов Буденного, Думенко сник, снова ощущая острый приступ одиночества.

4

Мишка подвел Бурана. Придирчиво комкор оглядывал седловку, проверял пальцами подпруги. Похлопывая по вздрагивающему крупу, сморщился брезгливо.

— Бить тебя, Мишка... До чего коня довел.

Синие глаза ординарца виновато скользнули к ногам коня.

— Кругом такие дела, Борис Макеевич...

— Что еще за дела?

— Ну как же... С кормами худо, а тут беляки... Не сдвинем гадов с места.

— Так давай коростой обрастать? Гляди у меня...

Во двор вскочил всадник. Пар клубами валит от мокрого взъерошенного мерина с лысиной на горбатой ушастой голове. Поводя пахами, едва стоит.

— С-сукин с-сын... кто тебя учил на конях ездить?!

И без того шалый от скачки, всадник вовсе растерял слова. Пошатываясь на расставленных ногах в рыжих дырявых валенках, копался в пазухе, отрывая крючки на кожушке.

— Срочно... велено. Бумага. С самой Раздорской... Товарищ Абрамов... Гони, грит. Ага, вот! Фу, слава богу...

Из куреня раздетым выскочил Блехерт. Прихрамывая, топтался на крыльце, не решаясь спуститься. Не распечатывая, Думенко протянул ему мятый конверт.

— Ну-ка. Что там?

Блехерт вскрыл. Какое-то время не решался прочесть вслух.

— О Микеладзе,— наконец тихо произнес он.— Сообщение о гибели военкома. По телеграфу принял Абрамов.

Борис, вынув ногу из стремени, долгим взглядом окидывал посинелое лицо начоперода. Передав повод ординарцу, поднялся по затоптанным снегом ступенькам, взял из рук его ворох бумаг. Ветер трепал, шелестел ими, как будто силился вырвать.

Из сообщения стало ясно: возле хутора Манычско-Балабинского найден зарубленным военком корпуса Микеладзе. Распоряжением РВС Кавфронта создана чрезвычайная следственная комиссия во главе с военкомом 21-й дивизии Лидэ; в составе ее и конники — Пискарев и особист Карташев. Комиссии даны широкие полномочия вплоть до ареста заподозренных в убийстве.

— Ты, Иван Францевич, понимаешь что-нибудь?

Блехерт растерянно развел руками.

— Злодеяние совершено вблизи наших штабов... Нас явно обвиняют...

Думенко оглаживал пуховой перчаткой правую кисть руки: заныла вдруг нестерпимо. «Не верю! Не могу поверить. Можно подумать, сон какой-то дурной».

— Значит, в комиссии и Пискарев! А ну, где он?!

Блехерт вздрогнул, очнувшись от голоса Думенко, сорвавшегося на крик, ответил:

— Пискарева нет в бригаде. Четвертый день отсутствует.

— Этот еще куда девался?

— Вроде в Новочеркасске... От Жлобы вестового присылали.

— А Жлоба при чем тут?

Блехерт пожал плечами, ответил:

— У Пискарева давно со Жлобой свои дела...

Пристукнув медным наконечником шашки о пол, Думенко резко поднялся.

— Ворочусь к свету. Буду в Спорном, у Лысенко. Не смыкайте с Трехсвояковым глаз, полки держите в готовности. Тревожь и Жлобу. Генералу Сидорину, боюсь, известно уже, что Конная снимается с устья Маныча... Наверно, того он и ждет. Поодиночке ему встречаться с нами намного сподручнее.

— Как быть с Пискаревым?

— Выяснить, кто его командировал в Новочеркасск. Свяжись с политотделом, с Кондэ. Считать как дизертира. Слоняться в такую пору... Сволочи, разгильдяи.

Взявшись за дверную ручку, уткнулся головой в дверь.

— Микеладзе-то, а?.. Не верю...

Глава двадцать третья

1

Из Саратова штаб Юго-Восточного фронта перебрался в Миллерово. Поближе к войскам. С этого начал работу вновь назначенный командующий Михаил Тухачевский — самый молодой комфронта Республики. За штабом потянулись с Волги на Дон тылы, резервы; оперативные работники приступили к тщательной подготовке Кубано-Новороссийской операции. Фронт получил и новое наименование — Кавказский.

Ростово-Новочеркасское наступление захлебнулось в мутной воде взбесившегося среди зимы Дона. Январские бои не принесли успеха: прорвать оборону деникинцев не удалось. Новый командующий видел ошибки своего предшественника и напрягал усилия, чтобы их не повторить. Основная причина неуспеха очевидна: одновременного удара всем фронтом не получилось, армии

действовали разрозненно. К ней наслаивались частные: реввоенсоветы армий неумело руководили боевыми действиями войск, отсюда огромные потери; слабо налажена разведка: штабы располагали скудными сведениями о противнике; пожалуй, неправильно использовалась и ударная сила фронта — конница...

Оперативый план был почти готов, когда поступили сведения: Деникин сам собирается перейти в наступление.

Тухачевский, стиснув голову, склонился над картой.

— Трое суток выводил эти стрелки. Все полетело к чертовой бабушке!

— А может... дезинформация?

— Конники Думенко побывали у генерала Агоева. Раздобыли подлинный приказ... Вот он, пожалуйста.

— Откуда у Деникина столько прыти?

— Вот одна из наших хронических ошибок... Прежний Реввоенсовет фронта недооценивал силы противника в январских боях. Недооцениваем сейчас и мы. У деникинцев больше штыков, сабель и техники. В три раза больше одной конницы! А наши конники потрепаны. Непорядков больше чем надо. У Смилги ворох докладов, донесений...

Из аппаратной вышел Смилга, сел в кресло. Цепко сомкнул на колене худые кисти рук, сказал с высокомерной усмешкой:

— Вы вот оба настаиваете свести Думенко с Буденным в одну конную группу. А куда они ее поведут? Вопро-ос.

Орджоникидзе уже хорошо изучил этого человека: резок, властолюбив, на возражения не отвечает, зато запоминает их; потом, при случае, в делах дает о том понять. Часами сидит на прямом проводе с военным ведомством: добивается только Троцкого.

— Вы что, не доверяете Думенко и Буденному? — спросил Орджоникидзе.

— Во всяком случае... Думенко придется арестовывать.

Тухачевский, наклонившийся опять к столу, выпрямился:

— Я такое не позволю. Разговор об этом у нас уже состоялся. Прошу не возвращаться.

— Нет, вернемся. Товарищ Троцкий решился на арест. Только что говорил с ним...

На какой-то миг командующий потерял самообладание. Но все-таки справился с собой, сказал веско:

— Деникин назначил свое наступление на 15 февраля. Я предлагаю вам, членам Реввоенсовета, поддержать мое решение: упредить его в наступательных действиях. Всем армиям фронта одновременно, час в час, перейти в наступление 14-го. Темп пятнадцать-двадцать верст в сутки.

— Не высок? — посомневался Орджоникидзе. — С боями...

— Да, не прогулка по бульварам Ростова,— съязвил Смилга, щуря красновекие глаза.

— Да, не прогулка! — Тухачевский впечатал пятерни в карту.— Конно-Сводному корпусу Думенко в предстоящей операции отводится важнейшая роль. Взломать оборону в районе Веселого и ударами во фланг и тыл сбить противника, облегчая тем самым наступление 8-й и 9-й армиям. Задача, скажу, не только тяжелая — сверхтяжелая! Деникин создал сильную группировку на этом участке. Добровольческий корпус Кутепова, 3-й, 4-й и 2-й донские конные корпуса, кубанский, генерала Агоева, и черт знает кого там нет... Вся эта махина готова для прорыва Новочеркасск — Ростов на 15-е. Спрашиваю, кто поведет корпус? Надежда одна на доблесть Думенко.

— Что ж, поведет корпус Думенко,— после долгого молчания сказал Смилга,— арестуем после этой операции.

Тухачевский, казалось, задохнулся от возмущения, резко встал, подошел к окну, замер, глядя вдаль.

2

В лютую февральскую стужу войска Кавфронта перешли в наступление. На восьмисотверстовой дуге завязались ожесточенные бои; кровопролитными они были в устье Маныча, на новочеркасском направлении, в стыке 8-й и 9-й армий.

Генерал Деникин не отменил своей директивы: наступление на 15-е. Сперва ему хотелось отсидеться на выгодных рубежах по Дону и Манычу до весны. Донское и кубанское казачество поддерживало, отдавало все, лишь бы не пустить Советы на исконные прадедовские земли. Собрав силы, по теплу, твердому насту двинуться в очередной поход по хоженым шляхам. Но неудачи в последних боях красных и сведения агентов о состоянии их войск подтолкнули на дерзкий план. Не дожидаться весны! Захватить ростово-новочеркасский плацдарм. Кулак собрал увесистый — Добровольческий корпус, Донская армия Сидорина и Дикий корпус генерала Агоева. Кубанская армия Шкуро должна вновь вернуть Царицын; войскам Северного Кавказа вменялось разбить святокрестинскую группировку на астраханском направлении; генералу Лукомскому — очистить причерноморские степи от зеленых, повстанцев...

Тяжелые бои завязал корпус Думенко. Первый день принес удачу. К полудню Жлоба прислал вестового: Партизанская захватила хутор Процикова, передовые эскадроны углубились по тракту на Мечетинскую. Радостные вести не заставили себя ждать и от Трехсвоякова: выбил белых из Поздеева.

На ночевку резервная Донская бригада хотела расположиться в Веселом. Подоспевшая из-за Маныча пехота — 23-я дивизия — дала возможность выдвинуться в хуторок Мариховку. Весь день Лысенко след в след шел за наступающими; в бои не ввязывался, не было нужды. Улеглись рано, с заходом солнца,

будто предчувствовали, что рассвет настанет не таким смирным. Не успели пропеть вторые петухи, комкора растолкал Блехерт.

— Трехсвояков за помощью прислал.

— Что там стряслось?

Следом прискакал взмыленный порученец Григорий Шевкопляс.

— Беда! Поспеешь ли кинуть подмогу... До свету горцев с бурьяном сравняют!

Донцы подоспели вовремя. В лощине у озера Жабреево обрушились на конных казаков, проникших уже в тыл пятившейся от Поздеева Горской бригаде. Смяли, изрубили передовые сотни; на голом скользком льду довершили пулеметы.

От зари до зари горцы и донцы, сомкнув локти, пятились. Ощетинившись клинками, бросались в контратаки; без умолку палили трехдюймовки, в кожухах «максимок» не переставала кипеть вода.

Казаки обложили туго. Не продохнешь: накинули на горло аркан. Шало, с хмельным оскалом гнали одуревших коней на пулеметы; рубились напропалую. А иные отчаянные лезли в самую гущу, выискивали в звенящей метели шашек одну-единственную голову, покрытую аловерхой курпейчатой папахой. Не простая то голова — золотая. Два года назад еще бывший атаман Краснов сулил за нее торбу денег; Деника расщедрился хлеще — мильен! Попытать стоит...

К вечеру комкор запалил Бурана. Кочубея оставил еще днем у Маныча, на переправе, с разрубленной шеей: не было времени даже пристрелить. Да и не смог бы. Не выбираясь из сечи, загонял Шевкопляса и вестовых: «Что с Партизанской? Где Жлоба?» Ответы самые противоречивые: «Изрублена!», «Вот-вот подходит...», «Нету, как провалилась...»

Эскадроны редели. Выходили из строя командиры. На глазах вывалился из седла комбриг Георгий Трехсвояков. Думенко вздыбил Бурана, криком подбадривая дрогнувших горцев. Сверху обрушился на черноусого голубоглазого сотника. Еще удар — исступленно вцепился в белую гриву скакуна бородатый казачина. Крошил клинком — опорожненным наганом только наводил страх. Не удается ткнуть вертевшемуся где-то позади Мишке, чтобы набил барабан. Отбиваясь от люто храпящей стенки, дотерпел, покуда бойцы вытащили из-под брыкавшегося в агонии буланого обмякшее тело комбрига...

Белые казаки жаждали прикончить красных засветло. Думенко понимал их намерения, с тревогой поглядывал на окровавленный вздувшийся шар, застрявший меж синих придонских бугров. А ближние взгорки, кургашки все жирнее обрастали свежими казачьими сотнями. Сколько их? Будет ли им край?.. Знал из беглых опросов пленных: утром столкнулись с донскими кор-

пусами, 4-м и 2-м, бывшими Мамонтова и Коновалова. Объединил их генерал Павлов. В полдень, на правой уже стороне Маныча, отбились от кубанских полков Агоева; сейчас опять донцы — генерал Стариков. Лезут остервенело...

И силы, и огнеприпасы на исходе. Была бы Партизанская под рукой, можно Старикову свернуть рога.

— Жлоба где, спрашиваю?! — кричал Думенко.

— Небось на Салу уже где-нибудь, — отвечал Шевкопляс. — Повадки его известные... А особо коли горячего в мотню насыпят.

— Без Партизанской... глаз не кажи!

Отбились за хуторами Солеными. Выручили долгожданные сумерки. Перетащившись через заснеженную балку, отгородились последним резервом — артполком и пулеметной командой. Не задержут — останется только клинок...

В полночь втащились в придонской хутор Сусатский. Тут отыскалась и пропавшая бригада. Прощался Борис с пришедшим в сознание комбригом Трехсвояковым, снаряжая тачанку в станицу Раздорскую. Шевкопляс дернул его за рукав.

— Нашлась пропавшая. В правленском курене, вот насупротив. Там и Жлоба. Поспешай, кабы не перестрелялись...

Дошло бы, наверно, до наганов. Блехерт за столом; прикрыв ладонями десятиверстку, испепелял комбрига неморгающим взглядом. Жлоба, посреди комнаты, рвал на поясе крышку кобуры, задыхался от злобы:

— Сволочь!.. Контра пога-аная... Указывать еще!..

Увидел Думенко — присмирел. Топтался, нервно одергивая полы черкески.

Уселся комкор на длинной деревянной лавке у окна. Закинув нога на ногу, незряче глядел на свои залубенелые от холода руки.

— Указывать комбригам начальнику полевого штаба корпуса положено по штату... Тебе, Жлоба, пора б то давно усвоить.— Поднял глаза, голос покрепчал.— Как очутилась тут бригада?

Бледные, без кровинки губы комбрига скривились в усмешке.

— Думаю... так же, как и корпус.

— Потери?

Жлоба промолчал.

— Какие части наступали на бригаду?

— Не дознавался...

К горлу Думенко подкатилось удушье. Осилил рассудок: гнев плохой советчик, а еще худший помощник в делах. Жлоба не был с ним дерзок. И это помогло.

Думенко снял оружие, папаху, уложил горкой на лавку. Расстегивая шинель, вытянул непослушные, будто чужие ноги, сказал примирительно:

— За наганы хвататься — последнее дело. И от врага терпим. Горцы и донцы понесли урон ощутимый... Но не побежали. Отдавали с боями каждый шаг. Это зараз самое нужное. Сохранить в войсках боевой дух. Как отступала нынче Партизанская, я не знаю. Отступление отступлению рознь. С боями, порядком — какой может спрос? Но ежели сломя голову, бросив в беде другие бригады... Разговору быть иным. Сыму с бригады. А то и отдам под трибунал.

— Не стращай, Думенко... Под трибуналом я уже побывал. Два года рублюсь за Советскую власть... А взамен что? Угрозы!

— Чего попусту болтать. Дел невпроворот. Давай до карты.

Жлоба колебался недолго; присел, уложив шашку на расставленные колени. От Блехерта отворачивался упорно.

Комкор унял дрожь глубокими затяжками; сдавливая жаринку в окурке, заговорил:

— Завтра во что бы то ни стало восстановить утерянное положение... Действовать согласованно и одновременно с пехотными частями. Экстренно пополнить огнеприпасы. В восемь ноль-ноль корпусу перейти в наступление по тракту на Нижне-Соленый — Манычско-Балабинский. Тебе с Лысенко авангардом.

Не отрываясь от блокнота, Блехерт спросил:

— Кому направлять приказ вместо Трехсвоякова?

— Родионову.

Думенко, потирая виски, глянул на начопerода.

— Спасибо, напомнил... Издать войскам приказ о нынешних боях. — Доглядев нехорошую усмешку Жлобы, недовольно свел брови.— Приказ прочитать завтра... В Балабинском. Во всех эскадронах, батареях и командах.

Получив от Блехерта письменное распоряжение, Жлоба молчком, не прощаясь направился к двери.

3

К вечеру восстановили то, что потеряли за двое суток. Тылы и резерв разместили по старым квартирам в Манычско-Балабинском и Спорном. Дозоры и сторожевые пулеметы вселились в насиженные места — окопы в манычских камышах.

Странно, деникинцы отступают, не принимая боя. Глубокая разведка донесла: крупные массы конницы перемещаются по балкам в сторону станиц Манычской и Багаевской.

Чуя неладное, комкор приостановил за хутором Ефремов Партизанскую бригаду. Жлоба воспротивился:

— Ночь за бугром... В снегу ночевать? Даешь Процикoв!

— А ты уверен, что спать придется?

Тревожные, смутные догадки подтвердил прискакавший Шевкопляс. Белые прорвались в стыке 8-й и 9-й, у станицы Багаевской, метят в тыл, на Константиновскую. Комкая донесение от

Абрамова, Думенко насмешливо глядел на примолкшего комбрига:

— Куда же, на Процкиков?

Из-под ладони окинул заснеженные приманычские дали, кутавшиеся в синие сумерки; подавив вздох, распорядился:

— Корпус повернуть обратно. Тебе, Жлоба, авангардом. Прямиком, не заходи в Балабин, шпарь на Нижне-Соленый. Оттуда на Багаевскую. За тобой — Горская и Донская.

С заходом солнца помела поземка. Разгуливался восточный ветер. Мишка достал из-под сиденья тулуп. Покачиваясь, вздрагивал Борис в тепле. Не то во сне, не то бредил наяву: Муська... Тянется руками к шее, что-то кричит, а слов не слыхать. Мешает пушечный гул... На бугре, у черной кромки неба, будто зарницы вспыхивают... Вьюга? «Жлоба палит»,— четко подумал он, вглядываясь мимо неуклюжей овчинной спины кучера, заслонившей полсвета. Что хочет сказать Муська?.. Лицо полно тревоги, не то гнева. Что стряслось?.. Не Ася обидела? Нет, нет. Там Пелагея... Усмирит она их живо. Да и делить им нечего. Девчонке учиться надо... Окончит сельскую, в Новочеркасск определю. Не довелось мне — она пускай. За то и кровь лью... А сына родит Ася — шашку ему поднесу. Именную. Нет! Красоваться ей попусту на стенке... Эту, какая на коленях. Обтрепанную, с засаленным темляком, с портупеей, стянутой дратвой. Чтоб всегда помнил, за что батька пролил ею столько крови...

Встряхнули за плечо. Разворочал шалевой ворот. Конская голова обдала горячим паром. Загораживаясь рукавицей, всадник кричит в самое ухо. Ага, вестовой от Жлобы... Выбили беляков из хуторка Три Брата...

— Велено дознаться, на ночевку вставать али двигаться дале, до Янченки?

— Перескажи Жлобе... даже в Янченкове не задерживаться. На Багаевскую!

Разогнал дрему. Выпрастывая руки из тулупа, крестил: «Мудрует Жлоба, черт... Своевольство выказывает. Выбью из него дурь, как пыль из кожуха. Если до утра не взять Багаевскую — днем опамятуются казаки...» Подтолкнул кучера: стегани-ка! Пряча цигарку в рукав, ненароком вспомнил: «Увернулся все-таки позавчера Жлоба... Бригаду увел в Сусатский дотемна. Беляки не шибко нажимали. Не помог, бросил донцов и горцев... И огнеприпасы еще оставались неизрасходованные. Встряхну. Ликвидируем вот прорыв...»

За давнее, он, комкор, спрашивать не имеет права. Жлоба — доброволец; с первого дня революции в пекле. Допытывался военком Хруцкий: за что-де арестовывался Жлоба в 18-м? За ответом, помнится, отправил того в Реввоенсовет 10-й. Зато к Блехерту прислушивался. А тот убеждал: с Партизанской, мол, неладно. Нет стойкости, при чувствительном нажиме поворачивают коней.

Жлоба заметно стал воевать с оглядкой, не так, как до этого на Хопре, на Верхнем Дону. Не учудил бы нынче, под Янченковом...

Растревоженный вестовым от Жлобы, комкор покинул тачанку, пересел на коня, обогнав колонну горцев, выскочил на бугор. Чуяло сердце недоброе... Вся впадина до хуторка белая, чистая, будто забрызгана грязью. В гневе отдернул бинокль.

— Полюбуйтесь, Партизанская... Наступает хвостами вперед! От кого?!

— Вон, Борис Макеевич... Черным-черно.— Комбриг Родионов ткнул плеткой вправо, за речку Подпольную.

— Вижу... Что у него делается по фронту? За Янченковом? Почему пятится бригада? Почему расшвырял ее по всей степи? Докомандовался... твою мать...

На Жлобу налетел у оврага, возле увязшей в снегу пушки. Шпоря коня, матерился тот, сверху грозил пушкарям. Удерживая разгоряченного Бурана, комкор вонзился в Жлобу взглядом, но горлу волю не давал:

— Вот так ты воюешь, Жлоба... Теперь вижу своими глазами. Докладам не хотел верить. Где бригада?

Ленивым жестом, не пряча на побуревшем лице ухмылки, Жлоба повел обнаженным клинком.

— Не видишь?

— Где место твое, комбрига, спрашиваю?

— Не напирай, Думенко...

— Почему толчешься тут, когда тебе надо быть уже в Багаевской?

С каким-то отчаянием Жлоба встряхнул головой в низко срезанной кубанке, перешел на бабий визг:

— Куда-а? Стенкой стоят! Из пушки не возьмешь! Бригада моя всю ночь в строю, авангардом... а других прижаливаешь!

Покосившись в сторону пушкарей, комкор сбавил голос на свистящий шепот:

— С-слушай приказ... С-сейчас же с-собери по с-степи бригаду. В Багаевс-ской дос-скажешь... а я дос-слушаю...

— Смещай! Ты давно того хочешь... Своих сажай!

4

До позднего вечера по речке Подпольной у хуторков Нижний и Верхний Янченков палили орудия, захлебывались пулеметы. Полки горцев и донцов то там, то тут кидались в шашки; ископытили, истоптали обдутые ветром полынные гребни увалов, занесенные снегом пади, истолкли чеканные разливы степных озерец. Неоднократно врывались в тесные хуторские улочки.

Отвоевали у казаков клок берега. Подождав, покуда пехота вроется в смерзшуюся землю, Думенко отвел бригады на ночь в хутора. Победа для глаза вроде никакая, но главное достигнуто:

не прошел генерал Стариков на Константиновскую. Весь день жал, к вечеру выдохся. Радовало это... Отдавая распоряжение Блехерту готовить войска на завтра к наступлению, понимал, что белые навряд ли смогут теперь собраться с духом...

В оперативной сводке об успешном бое за 18 и 19 февраля отметил, что «Партизанская кавбригада, благодаря паническому настроению комбрига Жлобы, не приняв совершенно боя, отошла в хутор Сусатский на ночлег». Остыв, комкор уже жалел, что сам дал возможность Жлобе увести бригаду из-под Янченкова. Взгрел, отвел душу — и забыл бы. Теперь матюками не завершить дела. В трибунал отдавать не будет, хотя стоит он того, но держать в комбригах... А кого назначить? Тучина? Белова? Не хочется в такой момент обезглавливать бригаду...

Среди бумаг, оставленных Блехертом, чей-то рапорт. Жлоба! Гм... Командиру корпуса и копия командующему и РВС 9-й. Занятно... Его бригада все время находится в авангарде, вела тяжелые бои... Другие будто сидели сложа руки. Подымается ропот на несправедливое распоряжение. Несправедливое?! «17 февраля, ведя ночной бой, бригада вся была ночью в строю, сегодня, 18 февраля, опять авангардом. А посему прошу меня срочно сместить с занимаемой должности или делать распоряжения по справедливым движениям, по очереди бригад». Окликнул из соседней комнаты начоперода. Кивнул на рапорт: что скажешь? Блехерт насупился, переступил хромой ногой.

— Вручил днем... Сам лично. Бригаду оставил на комполка Белова.

— Быть по сему. Белова так Белова.

Сунув рапорт в папку, Думенко дописал в донесении на имя командарма: «Ввиду несоответствия занимаемой должности комбрига 1-й Партизанской тов. Жлобы, т. к. благодаря ему Партизанская бригада настроена панически и уже не принимает боя, а отходит, не держа связи и не поддерживая 2-ю Горскую и 3-ю Донскую кавбригады, прошу смещения комбрига тов. Жлобы и замены его другим командиром». Протягивая Блехерту, сказал:

— Немедленно отправь. Бригаду на время завтрашней операции принимаю под свое личное командование.

Утром, перегруппировавшись, Думенко повел корпус на Багаевскую обходом с юга, через Федулов, Хохлатовский. К полудню, заняв станицу, очистил наголо просторный кут — слияние Дона и Маныча. Дотла вырубил вчерашние остатки агоевцев и стариковцев. От пленных узнал, что группа генерала Павлова два дня назад (накануне она оттеснила и их за Маныч) разгромила у Казенного моста Конную армию. Но вскоре из донесения Абрамова выяснилось: павловцы навалились на правый фланг 10-й, а не на Конную. Под удар попали 28-я стрелковая и Кавказская кавалерийская дивизия Гая. Пропал без вести начдив Владимир Азин.

Из этого же донесения явствовало, что противник значитель-

ными силами теснит 33-ю дивизию 8-й армии; она уже оставила Старочеркасск и хутор Краснодворовский. Прямая угроза Новочеркасску... Краснодворовский в двенадцати верстах! Еще тревожнее у Ростова. Прервана железная дорога Ростов — Таганрог у станций Хопры и Гниловская.

— Ломит Деникин,— нарушил тягостное молчание Блехерт, поглядывая на озабоченное лицо комкора.— Ростов не удержать...

Отозвался и Григорий Шевкопляс, только что доставивший из Раздорской эти сведения:

— И живет он, клятый, безбедно тут. В самый разгар перекинул Павлова на 10-ю, под Великокняжескую...

Вмешался Марк. Тыча в карту обсмаленным пальцем, говорил напористо, будто ему возражали:

— Там же стык! Да и Кубанская армия... Шкуро! Не сравнять ее с Донской и Добровольческим корпусом. Вот и крепит тыл свой...

— Правда твоя,— согласно кивал Григорий.— Дознался уж он загодя, что Буденного перекинули туда... Недаром слухи кадеты распустили: Конную-де разгромили. Налетел-то Павлов на нашу блиновскую, на Гая да на пехоту Азина... Дал маху. Из двенадцати тысяч казаков своих добрую половину уложил в снегах. Вгорячах не разобрался, думал, столкнулся с Конармией... Ждите, теперь Семка раскроит черепок вчистую мамонтовскому выблядку.

Думенко недовольно сдвинул брови.

— Кончайте базар! Корпусу приказано ударить в тыл зарвавшемуся противнику в направлении станиц Манычская — Старочеркасская — Ольгинская. Для занятия Манычской нам будет содействовать 21-я дивизия. Наступление с рассветом. Прошу оставить нас с Блехертом.

Трое суток Конно-Сводный корпус не выходил из боев. Отстояли Новочеркасск. Пришла радостная весть: деникинцев выбили и из Ростова. Рухнул замысел генерала Деникина — не захватил ростово-новочеркасский плацдарм. Обескровленные, утомленные, белые части, чуя приближение ростепели, со страхом оставляли щедро политые кровью берега Дона и Маныча. Весна ничего доброго им не сулила...

23 февраля поздно ночью Думенко вернулся в Багаевскую, в полештакор. Не тревожил безмятежный сон штабных, прошел к себе на квартиру. Хватило сил стащить оружие да шинель с папахой. Повалился спиной на кровать, разбитый, но с томительно-сладким чувством пахаря, переворочавшего лемехом свою деляну. Засыпая, подумал, что завтра с утра проскочит в Александро-Грушевск. Муська два письма прислала — соскучилась. Не слыхал ни шагов, ни скрипа двери...

— Именем Республики вы арестованы, Думенко!..

Белобородов, член Реввоенсовета армии. Забытый в лампе свет бил ему в глаза — холодные, скользкие, как манычский лед. Кобура на боку порожняя: наган в руке. Не наставлял, будто ховал его за галифе.

Борис приподнялся на локти. С недоумением и вместе с каким-то любопытством глядел, как судорожно срывал с гвоздя у двери его оружие начальник особого отдела Иван Карташев...

Глава двадцать четвертая

1

Вокруг имени Думенко разгорались напряженные споры. Тухачевский и Орджоникидзе возражали против ареста, Смилга и Белобородов считали, что эта мера неизбежна.

А между тем на Кавказском фронте положение ухудшалось. Деникин свел на нет начатое на сутки раньше наступление красных войск. Ощутимый урон понесла 10-я армия в районе Великокняжеской — Платовской; в устье Маныча, у станицы Багаевской, прорван фронт 9-й, Конно-Сводный корпус Думенко, спешно остановленный уже за Манычем, преградил дорогу белым на Константиновскую. На участке 8-й и вовсе беда: сдан Ростов и под угрозой Новочеркасск...

— Новочеркасск еще может защитить Конкорпус,— высказывал свои соображения Тухачевский.— Агоев и конная группа генерала Старикова по зубам только Думенко. Не разгромит он их — Ростов не вернуть нам ни сегодня, ни завтра. А то оставим и Новочеркасск...

Но Смилга настаивал на аресте Думенко. Главным аргументом его было то, что думенковцы убили военкома Микеладзе.

— Еще неизвестно, кому была нужна смерть военкома,— возражал Тухачевский.— Но определенно знаю... Обезглавим Конно-Сводный корпус — за судьбу Новочеркасска не ручаюсь.

Орджоникидзе был на стороне Тухачевского. Чтобы распутать этот удивительно запутанный узел, побывал в Каменской. Более суток безвылазно просидел в политотделе 9-й, гору бумаг переворочал. Сказал с усмешкой Белобородову:

— Возы бумаг накопились. Вот посмотрите, докладные, рапорты, иные — просто банальные доносы.

Белобородов на усмешку не отозвался. Сопровождая пронзительным взглядом каждое движение смуглых рук грузина, добравшихся уже до другой кучи документов, оперативных, заметил:

— Воевать Думенко умеет, тут ничего не скажешь... А вот за кого?

— Да неужели не ясно?

Орджоникидзе попалась на глаза телеграмма. Сообщалось в

в Москву о крупной победе конницы Думенко в районе Миллерово. И сколько их таких победных донесений: «Вне всякой очереди. Предсовнаркома Ленину». Хотелось ткнуть Белобородову в лицо телеграфным бланком, собственноручно им подписанным. «Как понимать? Вчера — революционер, борец за Советскую власть, а нынче...» Отодвинулся со стулом к простенку, завешенному картой Причерноморья.

— Арест произведу, по-видимому, завтра ночью...— сказал Белобородов. — Корпус заканчивает ответственную операцию: рубится в районе станиц Манычская — Старочеркасская. Новочеркасск отстояли. Как известно вам, вчера 8-я вернула Ростов. Деникин отогнан от Дона и Маныча повсеместно.

Слушая Белобородова, Орджоникидзе исподволь оглядывал его белые слабые руки, ухватившие подлокотники громоздкого кресла, иронично подумал: «Да, достойного исполнителя операции ареста подобрал Смилга, ничего не скажешь».

— Кто такой Пискарев? — спросил он.

— Военком одной из кавбригад корпуса.

— А Ананьин?

— Начальник политотдела. Сейчас он на излечении после ранения.

Белобородов выпустил подлокотники. Руки, оставшись без опоры, беспомощно, как бы растерянно искали себе места на коленях; сказал, не скрывая, что уязвлен:

— Товарищ член Реввоенсовета фронта, ваши подозрения излишни. И Пискарев, и Ананьин — преданные революции люди.

Орджоникидзе долго молчал, перебирая бумаги.

— Охотно готов поверить. Но у меня сомнения в логике очень существенных фактов.

— Надеюсь, поделитесь?

— Думенко контрреволюционер. Заговорщик. Уличен в том еще прошлой осенью. Полгода назад! Вот стопа бумаг, где усиленно рисуется этакая рожа, мурло контрреволюционера. А вот документы о его боевых делах. Телеграммы о блестящих победах. Сколько их! Все абсолютно достоверны. Командарм награждает его, ставит даже перед комфронтом вопрос о переименовании корпуса в армию. Вот вам первое мое сомнение. Контрреволюционер, заговорщик, человек, протянувший руку Деникину, так воевать не будет. Да и тянуть руку удобнее было еще у Хопра, когда Деникин стучался в ворота Тулы... Неубедительны и выводы Чрезвычайной следственной комиссии. Она не нашла убийцу. Только *предполагает* вдохновителя, подстрекателя... А на основании чего? Опять-таки на основании домыслов, доносов. Бумага все стерпит, в особенности если пишут на ней озлобленные друг на друга люди.

— Полная картина убийства и контрреволюционных безобразий выяснится после ареста.

— Вот, вот. А р е с т! Ну, а если все это не подтвердится? Факты упрямая вещь.

— Не в фактах суть... Мною лично руководит чистота и целесообразность идеи Революции. Я никому не позволю ее порочить.

— Опорочить вопреки фактам человека, который проливал кровь за революцию,— это значит опорочить революционную идею. Да, в этом деле я крайне боюсь идти против логики фактов. Меня лично настораживает роль Пискарева во всем этом... Не слишком ли вы ему доверились? Вот его показания... Ваши с ним бесконечные переговоры. Первый же специалист-следователь наставит знаков вопроса. Микеладзе выехал из штаба корпуса в 7—8 вечера. Через час-полтора Пискарев уже у Жлобы в Соленом с черной вестью: «Убит военком штабными Думенко». Сам же тайком увозит труп в Новочеркасск. Поднимает Реввоенсовет Конной и Каменскую, вас лично, докладывает: «Военкома Микеладзе убил комендант штакора Носов: белая лошадь его обнаружена у трупа». Оказалось потом, что эта лошадь ординарца Кулакова; дана она военкому по приказу самого Думенко. Как Пискареву стало известно о гибели военкома? Это же буквально через какие-нибудь минуты после случившегося... «Мне сообщил ординарец Бондаренко»,— пишет он. А где показания Бондаренко? В заключении следственной комиссии даже не упоминается это имя. Вот вам и второе сомнение. Далее, Микеладзе едет с предписанием Думенко в бригаду группы Блинова об оперативном временном подчинении ее корпусу. Кто знает о его выезде? Не только Думенко и штабные его... Знает и Жлоба. Вот где узелок! Ровно сутки назад, 1 февраля, через Жлобу Думенко уже отправил точно такое предписание в блиновскую бригаду. Бригада распоряжение комкора не выполнила. Не подчиниться вышестоящему начальнику, командиру корпуса... в боевой обстановке? Многим рискует комбриг. И он это знает. Напрашивается... был ли Жлоба в той бригаде? А если был, как он преподнес распоряжение комкора? Тем более, неприязнь Жлобы к Думенко и особенно к Блехерту вам хорошо известна...

— Что ж, революционный суд разберется...

— И еще... никак не укладывается у меня в голове...— Орджоникидзе взбил руками и без того пышную свою шевелюру.— Как могли включить в состав следственной комиссии Пискарева и Карташева, начальника особого отдела корпуса? Не значит ли это заведомо предрешить исход страшно запутанного и грязного дела? О Карташеве как о работнике вам докладывал еще Микеладзе. И вы с ним, кстати, соглашались. Заменить его более достойным товарищем. А предложение Пискарева включить еще и Жлобу в комиссию? Простите, это уж явная провокация.

Белобородов опять вцепился в подлокотники. Немигаючи глядел на огонь в лампе.

— Арест Думенко согласован с товарищем Троцким. Не нам с вами отменять его... Я должен выполнить эту операцию. Думаю, что она будет не простой.

— Что вы! — с каким-то язвительным возмущением отозвался Орджоникидзе.— Если штаб корпуса действительно рассадник бандитизма, контрреволюционеров, то вас встретят шашкой на всем скаку и с разбойным гиканьем...

2

А через сутки Орджоникидзе был вынужден читать телеграфную ленту, которую только что не без удовольствия принес Смилга: «Реввоенсовет фронта т. Смилга Миллерово копия командарм-9 Багаевская 24 февраля 2 ч.

Доношу, что 24 часа 23 февраля комкор Думенко и его сотрудники арестованы. Арест обошелся без кровопролития. Препровождаю всех вам ЧЛ РВС-9 Белобородов».

— А Белобородов так боялся, что ему придется рубиться при аресте с самим Думенко,— не скрывая откровенной иронии, сказал Орджоникидзе, не в силах подавить возмущение.

— Не понимаю вас!

— А я вас не понимаю! Не понимаю Троцкого!

— Вы чувствуете, на кого замахиваетесь?

— Не передергивайте, товарищ Смилга. Во-первых, я не признаю идолопоклонства, а во-вторых, я отдаю себе отчет, как дорого нам могут обойтись поступки, продиктованные уязвленным самолюбием...

— Ну это уж слишком...

— То, что Думенко, по доносам его недоброжелателей, не заглядывал в часы, подаренные Троцким,— это еще не контрреволюция...

— Я буду вынужден, товарищ Орджоникидзе...

Смилга не досказал своей угрозы. Руки его, в которых была телеграфная лента, дрожали, казалось, он весь клокотал от негодования. С трудом одолев себя, сказал раздумчиво:

— Думенко передам в руки Ревтрибуналу фронта. Нам, Реввоенсовету, заниматься не стоит... Пусть возится Белобородов.

Орджоникидзе до краев наполнил из чайника оловянную кружку. Сдувая пар, пожал округлыми крепкими плечами:

— Неизвестно, как воспримет арест Думенко конница... Корпус, а особенно Конная.

— Жлоба возьмет в свои руки корпус, остепенит. А если Конная... Что ж, найдем укорот и на Буденного. Им, к слову, тоже занимаются... И тоже достаточно материала. А Думенко прислоним к стенке.

Стряхнув крошки с колен, Орджоникидзе полез в карман за куревом, горестно покачал головой:

— Рубим не кочан капусты в огороде.

Потянувшись к его кожаному портсигару, Смилга неожиданно с теплыми нотками в голосе сказал:

— Рубить голову и не обязательно... Но согнуть ее надо. Знал чтобы... не революция служит ему, а он ей. Будем судить. Дадим вышку. Как и Миронову. Потом войдем с ходатайством.

В этот же вечер Орджоникидзе послал в штаб Юго-Западного фронта на имя Сталина шифровку, стараясь выручить Думенко.

Члену РВС Юго-Западного фронта Сталину.

Миллерово; 25 февраля, 1920 г., 20 ч.

ДУМЕНКО И ЕГО ШТАБ АРЕСТОВАНЫ. СМИЛГА РЕШИЛ УСТРОИТЬ МИРОНОВСКУЮ КОМЕДИЮ. ОБВИНЕНИЕ: УБИЙСТВО КОМИССАРА КОРПУСА, БАНДИТИЗМ, ПОДГОТОВКА МЯТЕЖА. ВЕРОЯТНО, ЗАВТРА ДОСТАВЯТ СЮДА.

Орджоникидзе

Двое суток, день и ночь 26—27 февраля, гудели из конца в конец прямые провода: Миллерово — Харьков — Москва.

Тревога Орджоникидзе передалась Сталину и Егорову. Утром они связались с Миллерово и Москвой. Сталин добивался Орджоникидзе, попал на Смилгу. Попросил освободить Думенко из-под ареста и отдать им, Юго-Западному фронту.

Орджоникидзе, окрыленный, до полуночи тряс телеграфистов. Добился Харькова:

— Смилга передал мне, что ты просил отдать тебе Думенко. Если на самом деле хочешь его взять, пришли, пожалуйста, официальную бумагу.

— Пришлю официальную бумагу,— ответил Сталин.— Предстоит вздуть белополяков, на сей предмет и надобен Думенко.

В разговоре по прямому проводу с главкомом Каменевым относительно положения на западных границах и возможных военных действиях с Польшей и Румынией командующий Юго-Западным фронтом Егоров сказал:

— Что касается товарища Думенко, то Реввоенсовет Юго-Западного фронта в целом берет его на свое поручительство, так как без сильной конницы рассчитывать на успех операции затруднительно, даже невозможно, а Думенко является большим организатором кавчастей.

Смилга, почуяв, что дело принимает нежелательный оборот, ответил на другой день Сталину:

— Следственная комиссия по делу об убийстве комиссара Конного корпуса Микеладзе предъявила Думенко и его штабу обвинение в подготовке убийства и сокрытия убийцы. Реввоенсовет Кавказского фронта полагает, что до конца следствия Думенко на поруки отпущен быть не может. Дело уже передано Ревтрибуналу, от которого зависит дальнейший ход...

Глава двадцать пятая

1

Вместе с комкором был арестован весь полевой штаб — Блехерт, Колпаков, Шевкопляс и Носов. Тут же, в Багаевской, взяты под стражу начальник снабжения Горской бригады Кравченко и взводный ординарец Жуков.

Белобородов сперва колебался: подвергать ли аресту наштакора Абрамова. Склонялся к тому, что вины за ним нет никакой; с «бандитствующей» шайкой ничто его не связывало. Не верил и давним докладам Пискарева и Ананьина, считавших Абрамова, бывшего офицера, душой заговора. Ничего подобного. Просто он, русский интеллигент, размягченный, слабовольный, с горючей слезой по «забитому мужичку». Если он в чем и виноват, то лишь в том, что не сумел раскусить ярого деникинца Блехерта. Однако после долгих размышлений Белобородов пришел к выводу, что следует арестовать Абрамова, а уж суд выявит степень его виновности. Арестовал для порядка. К тому же насторожил обыск на квартире Абрамова. Среди бумаг на освобожденного из-под ареста самим Думенко некоего Салина, ординарца штаба корпуса, задержанного в расположении 23-й дивизии за нездоровые разговоры, не оказалось сопроводительной особого отдела. На вопрос, где таковая, Абрамов пожал плечами: была, мол, в папке. Нет, не такая уж овечка этот интеллигентик! Заодно с начальником арестовали и коменданта штаба Ивана Ямкового.

В ту же ночь арестованных подводами свезли на станцию Александро-Грушевскую; оттуда спешно отправили поездом в Каменскую, намереваясь к вечеру доставить в Миллерово — в штаб Кавказского фронта.

В вагоне, улучив момент, когда охранник, пухлогубый, конопатый парень, завозился с котелками, Дороня Носов пододвинулся к Думенко. Простуженно хлюпая вспухшим носом, не смея поднять глаз, покаянно сознавался:

— Давно шукали зацепу... убрать тебя, Борис Макеевич. Ананьин все... Он и Анисимова с толку свихнул. А тот дал мне поручение... В случае чего... убить. Боялись, что ты изменишь, перейдешь до белых. На Хопре еще, осенью, в первый приезд Анисимова в корпус.

Думенко устало усмехнулся.

— Что же помешало?

Дороня обиделся:

— Да какой же вы предатель, разве поднялась бы рука. Я их все время разубеждал и вот сам угодил.

— Что ж, шлепнул бы... Ходил бы теперь на свободе, да еще в героях.

— Да вы что?! До шуток ли тут... Судя по всему смерть комиссара нам пришивают...

— Узнаем. Не хлюпай носом.

Из тамбура вошел другой охранник. Зябко хлопая овчинными рукавицами, прогудел в заиндевелую цыганскую бородищу:

— Не дозволено.

Дороня послушно отодвинулся от Думенко.

Дальше Каменской арестованных не повезли. Получив полномочия от Смилги, Белобородов с начальником особого отдела армии Клопзиером приступили к предварительному дознанию.

Вызывали на допрос ночами. Спрашивали по загодя составленному для каждого вопроснику. Начали не с самого комкора — примерялись к его подручным. Тщательно готовился Белобородов к встрече с Думенко.

2

На смену мучительному недоумению к Думенко пришли растерянность и упрямство. Пронзительный взгляд Белобородова холодил щеки; холод пробирался под глухо застегнутый ворот френча, шарил по взмокшей спине. Где-то глубоко давил кашель; он не пробивался наружу, к горлу — мучил, отнимал силы. А силы нужны. Ой нужны!

Пару бы затяжек. Унять кашель, отвратительную дрожь внутри. Уже рассвело за окнами; с полуночи без курева. Отводил глаза от дымящей папиросы, слабо зажатой меж белых пальцев члена Реввоенсовета. Не глядел и на открытый деревянный портсигар возле чернильного прибора из серого камня. Дважды предлагали, подсовывали — отказывался. Не напрашиваться же теперь самому!

Сидел Белобородов напротив. Ламповый свет докрасна просвечивал оттопыренное мятое ухо. Когда наклонялся, записывал, сухощекое, лобастое лицо с жесткими складками смягчалось теплой тенью. Голос ровный, беспристрастный; не понять, что бы он хотел выделить из перечня в пухлом обтрепанном блокнотике.

— Где первый раз встретились с Микеладзе?

— В Новочеркасске... Он пришел в мою комнату.

— Когда и на какую должность был назначен Блехерт?

— Вскоре после сформирования корпуса... помощником начоперода, а затем переведен начальником.

— Что можете о нем сказать?

— Работник исполнительный и требовательный к себе и другим.

— Советскую власть признает?

— Во время обмена мнениями по политическим вопросам Блехерт никогда не допускал оскорбительных отзывов против Советской власти и не высказывался против советского строя.

— Какова была цель поездки Носова в станицу Романовскую?

— Носов — комендант полевого штаба. В Романовскую он ездил проведать семейство, никаких служебных поручений ему не давалось.

— Кому вы отдали приказ об аресте начальника политотдела корпуса Ананьина? И вообще... какие трения были у вас с политотделом?

— Никаких трений между мною и политотделом не было, так как я был все время на фронте, а политотдел находился в тылу. Приказов об аресте Ананьина я никому ни словесно, ни письменно не отдавал.

Белобородов выдернул из папки свернутую газетку. Угадал Борис «Красную лаву» со своей резолюцией.

— Резолюция моя. Описание боя в статье не соответствует действительности. Новочеркасск брали все части корпуса, а по статье выходит, брала одна бригада Жлобы. Это могло вызвать недовольство других частей, газету читают во всех бригадах. Кстати, военком Микеладзе тоже считал, что такая статья может принести лишь раздор...

— С какого времени вы не носите свой орден?

— Носил до тех пор, покуда не испортилась красная лента и не стерлась резьба на винте.

— Почему вы были недовольны комиссарами?

— Я был недоволен некоторыми комиссарами. Какие приезжали и говорили, что они посланы контролировать... Я считаю, контролировать нужно тех начальников, которые мобилизованы. Я же пошел воевать за Советскую власть добровольно.

Белобородов, помолчав, сунул блокнотик в стол.

Арестованного увели.

Просмотрев бумаги, собранные за неделю, Белобородов пытался осмыслить итоги своей работы. Непризнание своей вины подследственными не смущало. Главное, у него, Белобородова, есть революционное чутье. В папке достаточно показаний и о пьянках, и о грабежах, и о насилиях, и о враждебном отношении к комиссарам. Бандитизм и партизанщина — вот позорные явления, которые разъедают армии всего Кавказского фронта, особенно конницу. Нужно немедля занести карающий меч революции, навести должный порядок.

Но где-то глубоко в сознании точил червь. Странно, никто так не настаивал на аресте Думенко и его штаба, а вот сейчас, когда арест совершился, не дает покоя мысль, что в свидетельских показаниях много нелогичного, концы с концами не сходятся. А между тем судебный процесс необходимо провести безукоризненно, тем более что он показательный. Крайне важно, чтобы состав суда был тщательно подобран, особенно должны быть на высоте общественные обвинители, каждое слово их обвинения должно дышать справедливым гневом и, главное, быть убийственно логичным, доказательным, как того требует чистая революционная

совесть. А для этого надо тщательно провести следствие, хотя и затягивать его не следует.

Размышления Белобородова прервал дежурный: доложил о шифровке, в которой приказывалось штабу армии немедленно перебазироваться из Каменской в Новочеркасск.

Арестованных спешным порядком усадили в классный вагон. В Новочеркасской тюрьме их не допрашивали. Казалось, об арестованных забыли. В середине марта председатель Реввоентрибунала Кавказского фронта Зорин командировал члена РВТ Гремячкина для их перевозки в Ростов.

3

Тюремный врач перевел Думенко из сырого подвального каземата наверх, в сухую светлую камеру — в больничную палату. Тут же, в Богатьяновской тюрьме, первую ночь он провел в общей камере, вместе со всем своим штабом. Ямковой и Носов напали на него: всему виною, мол, твоя жена. Много дано было ей власти, всех принимала и, что хотела, то и делала... Спасибо Абрамову — осадил:

— Чушь несешь, Ямковой. Принимала к самовару, крутила граммофон... Что с того? Не один ты, многие бывали у нее в гостях. Был и Микеладзе.

«Что они напустились на Асю? Стыд какой. А Носов-то, Носов... вот она благодарность...»

Борису страшно захотелось написать хоть два слова жене, хоть чуть-чуть облегчить душу. Перерыл чемодан, нашел огрызок карандаша. Бумаги ни клочка; блокнот забрали вместе с документами. Хотя бы обрывок газеты.

К счастью, разрешили свидание с женой. Сидела Ася рядом с ним эти короткие минуты как чужая. Отрешенно глядела на свой растущий живот. Почему она так? Может, отрекается от него? А может, горе пришибло до полусмерти. Попросил ее, чтобы принесла бумаги. На следующее утро в узелке с отварной картошкой и солеными огурцами оказалась школьная тетрадка; среди исписанных страниц белело несколько чистых листков.

Прежде всего составил телеграмму:

«Я первый поднял Красное Знамя борьбы за идеи трудового народа на Дону и Кубани. Создал не одну добровольческую часть, с которыми разбил гнездо и оплот контрреволюционной банды. Прожженный пулями, пожертвовал всем дорогим, что имел, и теперь вместе со своими добровольцами штаба сижу уже месяц заключенный в тюрьме. Не имея за собой преступления, горько и обидно как честным бойцам-революционерам изнывать в сырой холодной тюрьме. Во имя справедливости прошу Вас отозваться.

Бывший командир Конного корпуса *Думенко*.
21 марта 1920 года, г. Ростов».

Адресовал телеграмму председателю народных комиссаров Ленину, председателю РВС Республики Троцкому, члену ВЦИК Сталину и РВС Кавказского фронта. На отдельном листке черканул сопроводительную с просьбой срочно передать прилагаемую телеграмму по всем означенным адресам.

В тот же день кто-то из сердобольных в трибунале наложил резолюцию: «Срочно отправить». Председатель Зорин, связавшись с Смилгой и Анскиным, членом РВТ Республики, написал свою резолюцию: «Следствие по делу Думенко производится. 25 марта будет предъявлено точное обвинение, и посылка телеграммы Ленину и Троцкому не являются необходимым. Телеграмму не отправлять, а пришить к делу».

Несколько суток жил Думенко надеждой. Надежда бодрила, поддерживала. Пробовал спокойно разобраться в тревожных мыслях о жене, пытался прогнать тяжкие думы о ее отчуждении, заглушить ревность. Странно, раньше если и ревновал, то не так мучительно. Держала она себя слишком вольно с мужчинами. Как мотылек порхала она у огня опасно близко. Вечера не могла пробыть без шума возле самовара и граммофона, одевалась в лучшее, что имела; кокетничала без удержу, до одурения доводила кавалеров в горячей пляске... Все это делалось часто у него, Бориса, на виду. Радовался тогда, одобрительно отвечал движением век, губ на ее зазывные взгляды. Гордился втайне ею, был страшно доволен, что она именно т а к а я. А узнав, что зачала, ошалел от счастья...

Теперь вот гнулся над тетрадкой, умостив чемодан на колени, больше тер переносицу, чем писал, боялся обидеть — ненароком проскочит не то слово.

«Милая крошка Ася!

Здравствуй, моя любимая! Ася, шлю тебе мое наилучшее пожелание в жизни. Ася! Ох, какая скука. Ведь мы друг друга любили до смерти. Ведь я жил одной тобой, и, зная тебя честную совершенно не позволял себе трогать какую-нибудь женщину, чтобы не оскорбить твои ко мне чувства, а теперь совершенно нечего сказать. Прошу, как любимую, которой всю жизнь для тебя отдал, не забывай. Ты это знаешь сама, что я без тебя совершенно жить не могу. И теперь сижу, сама знаешь, что напрасно, и все друзья и приятели отказались.

Буду сидеть, буду терпеть до суда, но прошу тебя, верю, что ты меня не забудешь, меня, заброшенного судьбой революции. А в общем, я теперь, может, уже и не имею права тебе это говорить, но все же думаю, что ты до моей смерти мне не изменишь и будешь мне честна и любима, как была. Ведь все же я думаю, что если только не расстреляют, то это пустяки. Но одно прошу тебя: не забывай нашего малютку. Я очень рад, это горе нас еще более связало, и мы будем крепче любить друг друга. Ася, может,

это к лучшему, что меня арестовали, только одно плохо, что живем в тоске и грустной печали.

Ася, я думаю, что ты мою просьбу выполнишь и мы будем, хотя через несколько месяцев, но вместе.

Ася, ты у меня одна, а если теперь я тебе уже плох...»

Нет, нет. Все это надо написать по-другому. Ткнув тетрадку в чемодан, вышагивал до изнурения от двери до стенки — четыре шага туда, четыре обратно...

Ответа на телеграмму так и не дождался. Зато начались новые допросы, предъявили обвинительное постановление. Прочел заведующий следственной частью Реввоентрибунала Кавказского фронта Фиолетов. Выслушал не перебивая. Пять недель ждал этого часа. Наконец-то ему предъявили здесь, на родном Дону, обвинение. Наружу рвалась обида. Контрреволюционер! Бандит! Грабитель! Проводил юдофобскую политику... Что это еще? И слова-то отродясь такого не слыхал...

Занемог. Так и очутился в больничной камере. Откуда-то достает запах полыни. Неужели из больничного окна? Огляделся и вдруг увидел у изголовья на шатком столике — кувшинчик глиняный с пучком полыни. Удержался — не зарылся в него носом. На бледном лице проступила слабая улыбка. Догадался: Ася! Господи, счастье-то какое, что она есть на свете.

Загремел пудовый засов. В черную щель двери больничной камеры просунулись рыжие усы и гнутый нос.

— Шевкоплясов помер...

Резко сбросил с себя одеяло, успел крикнуть:

— Погоди!

С кулаками яростно набросился на дверь. В железный глазок — испуганный шепот:

— Не шумите...

— Когда умер?

— Ночью...

— Начальника мне своего... Живо!

Натягивая сапоги, остывал: жди уж, дадут проститься с боевым другом. Похоронить бы по-человечески. А то выкинут, как падаль, ни чести, ни памяти, ни могилы. И — кого? Первого организатора и командира манычских краснопартизанских сил. Заслуженного партийца, одного из самых первых орденоносцев на Дону... Нет, нет, не такого конца боевого похода достоин Григорий Шевкопляс. Похоронить нужно как бойца революции...

Взгляд, блуждая, уперся в стену. Мать моя, богатство! Стены оклеены бумагой. Дезинфекторы, наверно, постарались. Страницы какого-то журнала; среди печатных и многочисленных карточек военных с эполетами, крестами попадаются и совсем чистые листы. Попробовал — отдираются. Написал три записки — в трибунал, председателю Донисполкома Знаменскому, сослуживцу по 10-й армии, и коменданту Ростова.

4

Каменной стеной встал перед Думенко вопрос: «З а ч т о?» Мучительно искал ответа. В чем его вина? И так и этак обдумывал выдвинутые обвинения... Контрреволюционер. То есть человек против революции. Малому дитю и то понятно, что революция несет людям волю, дает им землю. А он, Думенко, разве не за это проливал кровь? За что подставлял голову под вражьи шашки? Не за землю? Не за волю? Не за Советскую власть?

Говорят, хотел протянуть руку Деникину... Когда? Где? Не его ли войска от самой Москвы до Новочеркасска и Ростова гнали Деникина? Даже теперь, когда он сам томится за этими решетками, его конники сбрасывают недорубанные остатки деникинцев в Черном море. Довершают без него начатое им дело...

А в чем его бандитизм? В покушении на Захарова? В убийстве Микеладзе? Эх, комиссар, комиссар, в душу успел войти, еще бы немного — и друзья навек. Кто же его порешил? Не было ли так: рубали Микеладзе, а целили в него, Думенко?..

Часами валялся Борис на нарах. Силы покидали с каждым днем; открылась горлом кровь. А тут кончина Григория Шевкопляса... Понимал: не возьмет себя в руки — не протянет до суда и он. Суд, только суд может восстановить ему честное имя... Чтобы отвлечься, скоротать время, переносился мыслями в Казачий, пытался представить себе, как поедут они туда жить с Асей. Думал о Муське и о другом ребенке, который будет...

Еще нашел занятие: подолгу разглядывал портреты казачьих офицеров, генералов на стенках. Оказывается, тюремные дезинфекторы использовали для мора насекомых белоказачий журнал «Донская волна». Имена-то какие: походный атаман Попов, генералы Мамонтов, Шкуро, Кельчевский, Назаров, Денисов, Сидорин, Павлов, Коновалов, Быкадоров, Голубинцев... До черта их! В лицо, пожалуй, кроме Попова, никого не довелось видеть. Курганы они не покидали во время рубки, ловил только их знакомые силуэты в бинокль.

Один из портретов показался страшно знакомым. Захарка! Неужели он? У самой подушки. Разглядывал все дальних... Прочитал: «Есаул Филатов З. К. 19-й год. Лето». Недавний снимок. Разъел шею, как хряк. Но глаза...

Не выдержал. Сорвал лист; не скомкал, осторожно подсунул под тюфяк. Вроде с живым встретился. За два года не свела узкая тропка с личным врагом в широкой степи. Морщась от боли в груди, обегал взглядом странички рядом с опустевшим на стенке местом. Привлек внимание крупный заголовок: «Вожди красных». Попалась своя фамилия. Привстал на локоть.

«Думенко, бывший вахмистр эскадрона, — читал вслух, — со-

стоявший всю кампанию на этой должности в одном из кавалерийских полков, резкий, требовательный в своих отношениях к солдатам в старое время, он оставался таковым и теперь.

Но как человеку своей среды, красноармейцы совершенно легко и безобидно для своего самолюбия сносили грубости, резкости и зачастую привычные для Думенко, старого вахмистра, основательные зуботычины, которыми Думенко не только преисправно наделял простых рядовых бойцов, но отечески благословлял и свой командный состав.

Приходилось красному Стюарту выступать и на митингах, а также на различных совещаниях, где его положение было не из блестящих, ибо даром слова природа его более чем обездолила. «Так что, товарищи, я теперь полагаю, что если защита, то пусть, значит, будем защищаться, а потому, что прикажут, надо делать».

Вот, кстати, образец его красноречия, но в этом же образце есть резкое указание на старую привычку к повиновению, к сознанию того, что в военном деле необходимо идти к одной цели, которую кто-то намечает, которую кто-то приказывает выполнять. Этот конец короткой его безыскусственной речи «ежели прикажут, надо сделать», как нельзя лучше объясняет секрет его успехов.

Думенко в среде большевистских вождей — далеко не заурядная личность, один из немногих самородных талантов, вышедших из среды простого народа, но, к глубокому сожалению, приложивших свои силы не к созиданию народного величия, а к его разрушению...» Под статьей дата — 21 июля 1919 года; подпись — «А. Черноморцев».

— «Преисправно наделял...» Ишь, гнида белая! Об тебя, пожалуй, не марал бы кулак,— усмехнулся Борис добродушно, явно польщенный.— А красный Стюарт? Это еще кто? Из казачьих генералов? Деникинец? Не бил вроде такого...

На другом листке тот же самый писака взахлеб восхищался какой-то из его атак. Обстреливающий из пулемета офицер, выругавшись, сказал: «А идут, мерзавцы, нельзя не похвалить!»

Душила обида: даже враги, кого рубил, и те относятся к нему как-то по-людски...

Ожидая прихода рыжеусого надзирателя с котелком похлебки, Борис написал очередное письмо:

«Милая крошка Ася!

Сегодня увидел тебя, но ведь тебе очень тяжело ходить. Ася, прошу тебя оставить ходить; я думаю, что напрасно ты себя мучаешь.

Милая крошка, побереги себя, ты нужна еще для ребенка, а в общем, так или иначе, меня больше не выпустят. Ася!

Если меня присудят к расстрелу, то все же я умру хотя чест-

но, как честный революционер и только, может, ты короткое время будешь помнить обо мне.

Помни для всего нашего будущего, а покудова целую тебя крепко, крепко.

Борис».

5

Неведомо было Думенко, что многие люди искренне хотели отвести от его головы беду. С месяц добивались Егоров и Сталин заполучить его в свое распоряжение. Бывший член РВС 10-й армии Андрей Знаменский, ныне председатель Донисполкома, член ВЦИКа, больной, прикованный к постели после тифа, возвратного и сыпняка, тоже протянул руку Думенко — вызвался общественным защитником.

Подала голос и Конная армия; тревожным эхом покатился тот голос по войскам от предгорий Кавказа до Днепра. «Где Думенко? Почему посадили Думенко?» Возвращаясь с победой через Ростов из Северного Кавказа, конники, встревоженные, недоумевающие, толпами осаждали тюрьму — добивались свидания с Думенко, грозились разнести крепость по камню...

Как-то после завтрака Борис собрался к врачу. Рыжеусый надзиратель, завозившись с замком, шепнул:

— Пройдите по коридору к верхнему окну...

Подумал, как обычно — Ася. Днями она выстаивает под акациями. Издали услыхал людской гам. Заколотилось сердце: всадники! Запрудили Богатьяновский проулок. Увидали — замахали шапками, картузами, оружием. Обессиленный, он судорожно приник к ржавой решетке. Слезы лились по запавшим щекам. Услыхав тяжелый топот за спиной, крикнул:

— Товарищи... если я чем-либо провинился перед вами за два года, то возьмите и расстреляйте... чтобы абы кто не расстреливал!

Бушевал, кипел ипподром; там, неподалеку от тюрьмы, разместились полки Конной.

Не успела Республика ликвидировать опасность на юге, тучи сгустились на западе: над Киевом развевался белый флаг панской Польши. Конную армию звали новые походы и еще более жестокие бои.

Немалых усилий приложил Реввоенсовет армии, чтобы унять конников. Взбунтовавшиеся полки отклоняли громогласно приказ о выступлении, не покидали Ростова — без Думенко на Польшу не пойдут. Не брали и уговоры. Для этой цели был срочно доставлен из Царицына на паровозе один из первых комиссаров Сальского округа, известный оратор, Иван Павлович Кучеренко. Узнав, что от него хотят, наотрез отказался выступать перед войсками:

— Увольте. Вины за Думенко я не знаю.

Ока Городовиков, начдив 4-й, предложил оставить на суд выборных от каждого эскадрона, команды, батареи.

— Чтобы ни один волос не упал с головы Думенко! — потребовал он.

С ним согласились. Затихшая Конная армия покинула Ростов — походным порядком двинулась на Украину.

Однако ее выборные на суд не попали.

Глава двадцать шестая

1

Судьба комкора Думенко решалась не на Дону — в Москве, на Манежной, в гостинице «Националь», где размещалось военное ведомство, возглавляемое Троцким.

Затянутый в потертый хром, Троцкий неделями разъезжал по фронтам. Возвращался полный самых противоречивых впечатлений и планов. В махровом французском халате, мягких туфлях, утопал в кресле с головной болью, изжогой, с разламывающейся поясницей. Донимала тревога. И дело не только в том, что накопилось слишком много недовольных, смещенных им с командных и политических должностей в армии. Причина для непроходящего чувства тревоги была много существенней.

Гражданская война обрела невиданный размах. К весне 20-го под ружье встало около трех миллионов! И — кого?! Крестьян, мужичья... В этом отношении Троцкий особенно отмечал Южный фронт. Кровная ненависть к казачеству, особенно донскому, перерождалась в страх. Дикая степная вольница никому не хочет подчиняться, никого не признает, кроме своих вожаков. Бесило Троцкого то, что слава их невероятно росла, что становились они неуправляемыми. На Украине — Примаков, Щорс, на Дону и Волге — Думенко, Буденный.

Терпеливо вынашивал Троцкий желание избавиться от них. Упорно искал повод.

Прошлым летом на Украине со Щорсом сошло без особых хлопот... Не заставил себя ждать и Дон. Добрался до непокорной головы Думенко. Все — оставалось вычеркнуть казацкого вожака из блокнота.

Теперь в руках Думенко. Немало попортил крови ему этот конник. С первой же встречи потерял к Думенко доступ. Не сдержан на язык, но боевые дела его заслоняли все. Обхаживал, умасливал, но тот отвечал неблагодарностью.

2

Обычно Троцкий дорожил своим вечерним уединением. Не назначал встреч, не велел связывать себя с непрошенным теле-

фонным звонком. Одной живой душе доступен он в эти часы — ярко-рыжему легавому с позолоченной цепью-ошейником. Друг старый, верный и молчаливый. Думать не мешает; можно и говорить вслух перед трюмо (давняя привычка, с эмиграции — во Франции брал частные уроки ораторского искусства). Свернувшись клубком у ног, легавый дремал, отзываясь на каждый шорох мохнатыми ушами.

Сегодня Троцкий изменил своему порядку. С утра напрашивался Данишевский, председатель Реввоентрибунала. Время для приема нарочно не выкроил за весь день. Поздним вечером вызвал не самого, а заместителя, Розенберга. Лампу не включал. Отдернул тяжелую гардину с балконной стеклянной двери — впустил голубой лунный свет.

Усаживаясь, Розенберг поспешно прикидывал: зачем понадобился в неурочный час? Удивил необычный прием в потемках.

— Данишевский хотел со мной встретиться. Что там?

— Посоветоваться... Смилга тревожится, просит предупредить печать, чтобы не ляпнули чего о подвигах Думенко. Может получиться конфуз. Сам он вызвался сообщить через печать об аресте.

— А Данишевский?

— Сказал, если будет давать такое сообщение, то должен найти мотив, который объяснил бы, как вышло, что поначалу честный красный кавалерист стал впоследствии мятежником, иначе у читателя может возникнуть недоумение.

Тревоги Смилги — пустое по сравнению с тревогой его, Троцкого. И Данишевский, и Смилга, знал он, смотрят разными глазами на предстоящий процесс в Ростове. Председатель Реввоентрибунала настойчиво добивается от следствия фактов соучастия комкора в убийстве комиссара. Только это, по его мнению, дает право на суд. Смилгу, напротив, занимает не скрупулезность в уточнении фактов, которые бы уличали Думенко в кровавых преступлениях, а его склонность к мироновщине, махновщине. Смилга заваливал тревожными докладами. И половине этих докладов он, Троцкий, не верил. Думенко не уведет конницу к белым, хотя Деникин принял бы его с радостью.

Ничто так не пугало Троцкого, как популярность Думенко в войсках. Из всего, о чем докладывал Смилга, верил только выпадам против него. Гм, хам сиволапый! И Буденный не лучше. Подай другого, а этого они, видите ли, не признают. Не слишком ли много развелось деятелей, которые не хотели бы признавать его, Троцкого? В самом Кремле некоторые ждут не дождутся, пока такие вот думенки пошатнут его авторитет. И среди них, очень может быть, ждет подобного положения ОН... Он, на главную роль которого долженствовало бы по праву претендовать ему, Троцкому. Что ж, посмотрим, что будет, но грядущее нельзя ждать, опустив руки, его надо готовить, направлять в свою

пользу... Вот почему, кроме всего прочего, не должно быть пощады всякого рода думенкам...

Заглядевшись на багровый шар луны, зацепившийся за ажурный золотой крест кремлевского собора, Троцкий наконец нарушил молчание:

— Так что тебя, Розенберг, обеспокоило в переговорах Данишевского со Смилгой?

— Волокита вокруг этого дела, Лев Давидович. Затеяли повторный допрос свидетелей...

— М-да...

Сбила с толку Розенберга непонятная рассеянность Троцкого, холодком вкралось сомнение: может, потребовался не за тем? Тогда опасно повел разговор о своем шефе и Смилге.

— Как вам известно, Лев Давидович, судебное разбирательство будет вести РВТ Кавказского фронта. Главным обвинителем выступает Смилга.

— Опыта у Смилги предостаточно...

Да, Троцкий явно намекает на недавний процесс над Мироновым. Прошлой осенью в Балашове Чрезвычайный военный трибунал судил Миронова и его сподвижников. Обвинение поддерживал Смилга. Сам же Смилга сразу после вынесения приговора, не согласовав ни с кем, дал в Кремль телеграмму с ходатайством о помиловании осужденных к расстрелу. Помнит Розенберг: рвал и метал тогда Троцкий.

Политбюро ЦК и ВЦИК помиловали Миронова и даже ввели его в состав Донисполкома. Оценив для себя обстановку, Троцкий тоже голосовал за помилование; однако сумел, как и всегда, сохранить свою обособленность и не изменить прежней политики по отношению к своенравному казаку. Он высказался за то, чтобы Миронова из армии не убирать; используя его популярность среди казачества, предложил послать его в стан Деникина — пусть-де разложит Донскую армию. «Хитро, — сейчас отметил для себя Розенберг,— более чем хитро. Только вот не прошло предложение Троцкого. Не хотел ли он тем самым доконать Миронова? Во всяком случае, многим именно это пришло в голову».

— Каково мнение у РВТР? — спросил Троцкий, нетерпеливо прихлопывая по деревянным подлокотникам кресла. Лунный свет высинил ему лицо; темные провалы глаз, не прикрытые привычными стеклами пенсне, пугали мертвенной пустотой. Что он хочет от него, Розенберга?

— Процесс ожидается не из легких, Лев Давидович. Единственная улика, послужившая для ареста штаба корпуса во главе с комкором... убийство военкома. Предварительное дознание не подтвердило выводов следственной комиссии, созданной Смилгой. За месяц работы РВТ Кавфронта не выяснил фактических обстоятельств убийства. Произошло же убийство в тот момент, когда между Микеладзе и Думенко установились доверительные

взаимоотношения, наладилась политработа и сам военком стал поддерживать Думенко. Навряд ли при такой обстановке у Думенко могла быть какая-либо заинтересованность в убийстве...

— Полагаю, это выводы Данишевского?

— Да. Он и хотел с вами поделиться.

— И Смилга поддерживает его?

— Не сказал бы... Смилга жаждет открытого процесса, громкой обвинительной речи. Его занимают идеи профилактики. Не исключено, что и сейчас, как с Мироновым, он хотел бы нагнать обвиняемым страху, а потом пощадить их головы...

— Гм, Христом-спасителем нравится быть Смилге...

Троцкий трепал за уши кобеля, ткнувшегося ему в колени. С трудом сдерживался; только сейчас в полную меру оценил свое желание принять судью без света. Разговор продумал загодя, но не предполагал, что его так непросто провести, даже с близким человеком. Розенбергу верит как самому себе. Если процесс доверить Смилге — можно все испортить. Нет, хватит с него Миронова!

Со взятия Новочеркасска Смилга добивается отстранения Думенко. Не решался он, Троцкий. Не было оснований. Шепоты, слухи, мелкая возня вокруг комкора, драка в корпусе за первое седло — с этим не пойдешь в Кремль. Знает отношение Ленина к командирам, выдвинутым народом. За Миронова заступился; поддержал его и главный чекист, Дзержинский. Обнадеживала весть: в Конкорпусе преступление — убит военком, не без участия самого Думенко. Это уже дело.

А что же выходит? Даже арест не раскрыл убийцу. Дойдет до войск, до Кремля — неизвестно, чем может обернуться для него, Троцкого. Юго-Западный фронт все добивается взять на поруки Думенко. У Сталина договоренность со Смилгой не вышла, теперь Егоров навалился на главкома Каменева. Без Думенко, мол, без сильной конницы с белополяками не справиться...

— Ну, а твоя точка зрения, Розенберг, личная?

Троцкий погладил кулаком колено. Кобель, поджимая хвост, припал к ковру.

— Не думал, Лев Давидович... Может, создать выездную сессию? Главным обвинителем подойдет Колбановский...

Нет, Розенберг имеет свою точку зрения. Конечно же, выездную сессию! Возглавит ее сам Розенберг. К этому нужен хороший обвинитель; Колбановский... не то. Нужна фигура. А ведь есть... Белобородов! Арест Думенко он провел блестяще. Пусть с таким же блеском и ставит точку на этом деле. Эка досада! Третьего дня только направил Белобородова членом РВС в Конную армию. Изнутри приглядеться... Рога ломать кое-кому и там. После Польши, разумеется. Придется отозвать...

— Подумай,— ответил Троцкий безразлично.— Тогда уж сессию возглавлять тебе самому...

С умыслом Розенберг подлил масла в огонь:

— Донской исполком, нам ведомо, вообще против ареста Думенко. А если уже суд... то открытый.

— Открытый так открытый.

Розенберг понимающе наклонил голову.

3

С этой ночи Розенберг взял в свои руки дело Думенко. Вся почта со штампом Ростова-на-Дону скапливалась у него на просторном столе. Подолгу высиживал в аппаратной, держа на прямом проводе РВТ Кавказского фронта. Часто отзывался и Смилга.

Не подозревая о переменах в военном ведомстве, Смилга упорно готовил процесс. Его не смущала накалявшаяся с каждым часом обстановка: Донисполком, возглавляемый членом ВЦИКа Андреем Знаменским, все настойчивее возвышал голос против ареста, тем более суда над Думенко. Смилга был непреклонен. Но выступить в печати он до сих пор не смог. Не так просто найти мотивы, которые объяснили бы эволюцию Думенко от честного красного кавалериста к мятежнику. В словесной перепалке с донисполкомовцами выходило просто, а брался за перо... Извел ворох бумаги. Фактов?! Фактов?! В душе начинал соглашаться с Данишевским.

Нет, до процесса появляться в печати не следует. Это возбудит у читателя недоумение; донисполкомовцы могут дать тотчас отповедь. Знаменский заявлял, что прибегнет к помощи прессы. Не свали тиф этого человека — замысел свой он бы осуществил. Помогут ответить его помощники. Тогда не бывать суду. А суровый приговор нужен... Вот Миронов! Как шелковый. Встречаются в исполкоме. Здороваются. На рожон, как иные, не лезет в защиту Думенко, но Знаменского, однако, поддерживает...

Сомнениями своими Смилга хотел поделиться с Данишевским; ответил из аппаратной его заместитель, Розенберг. Оказывается, конниками занялся трибунал Республики. Дня три как образована выездная сессия. Его, Смилги, в составе обвинения нет. Что такое, недоверие?! Столько отдал сил и времени... Розенберг, сославшись на мнение «свыше», ушел от объяснений.

Наутро Смилге доставили от Розенберга телеграмму. «Не отвлекаться слишком подробным выяснением всех деталей обстоятельств преступления. Если существенные черты выяснены — закончить следствие, ибо дело имеет высокообщественное значение. Со временем это теряется». Вчитываясь в текст, он понял, какие изменения произошли у него за спиной. Да, ему не доверяли. Судьба Думенко принимает крутой оборот. А может, и лучше устраниться от этого дела...

Потеснив Смилгу, Розенберг накрепко связался с ростовски-

ми трибунальцами. Больше полагался на Колбановского. Вникнув в обстановку, царившую в Ростове вокруг подследственных, он участливо взял за локоть растерявшегося председателя трибунала Дмитрия Зорина. Снабдив его, как члена выездной сессии РВТР, большими полномочиями, подсказал нужные ходы по подготовке процесса. Неспроста адресовал телеграмму Смилге: она остудит не в меру романтичный пыл латыша, зато Зорину послужит директивой.

Расчет оказался верным. Зорин тотчас прекратил бесполезные допросы подсудимых. Однако пожаловался, что окончание следствия зависит от последующих показаний свидетелей. А таковых под руками нет. Всю ночь текла из аппарата лента. Розенберг просил усилить состав свидетелей — подыскать с именем, весом; повторно допросить только тех лиц, кто может дать сведения о противосоветской деятельности Думенко и его штаба.

Связались по телеграфу со Жлобой. Оказалось, Жлоба не может представить суду Пискарева: снял его с должности и отдал под ревтрибунал. Основной свидетель! А интересно, за что? Ведь это именно он обнаружил труп Микеладзе. Толстая папка докладов Пискарева, собранная за полгода, превращалась им самим же в ненужный хлам одной фразой из его телеграммы члену РВС-9: «Комкор ни предать, ни открыть фронт не может, он только способен не более как на мелкие авантюры». А теперь вот еще и угодил под трибунал. Черт знает что такое!

Зорин ухватился за голову. С оторопью выслушал своего зама, Колбановского, предлагавшего в качестве свидетелей допросить РВС Конной армии. Как ни странно, Розенберг одобрил выбор. Спустя неделю он же успокоил, сообщив, что в помощь обвинению на суд прибудет член РВС Конной Белобородов.

4

В Ростов Белобородов вернулся неожиданно. Прибыл поездом, среди ночи. Город встретил слякотью, пронизывающим до костей мокрым ветром. Топая от вокзала в гору по черной, как деготь, Садовой, клял темень, осточертевший уже Дон и свою бездомную жизнь.

С ранней весны завертелось. Помыкают им, как хотят. Сорвали с 9-й армии; приказали заняться шахтами. Не успел вникнуть — новое назначение: прибыть в Конную в качестве члена РВС. Тогда-то и попал в Ростов. Конная, двигаясь на польский фронт, осела в городе. Конники, развалив строй, митинговали, отвергая все приказы командиров; осаждали тюрьму, требуя освободить Думенко. Настоящий бунт. Он, Белобородов, ничем не мог помочь растерявшемуся Реввоенсовету. Мало того, разъяренные толпы кавалеристов наводили страх — ну-ка, шепнет кто

о его причастности к аресту Думенко? Растерзают в клочья. Да и само командование приняло его назначение косо.

Не раз открывался Смилге, просил пересмотреть назначение; тот, ссылаясь на личное указание Троцкого, настойчиво твердил, что место его, Белобородова, в этот час именно в Конной, его задача — быть ближе к ненадежному командованию...

И вот новый приказ: вернуться в 9-ю! Армия после победных боев с остатками деникинцев все еще на Кубани. Вздохнул с облегчением, но в душе был задет. Переставляют будто пешку, кому как вздумается. Обиды добавила телеграфная лента, догнавшая его уже в поезде: задержаться в Ростове, выступить обвинителем на судебном процессе по делу Думенко. Лента из Ростова, подписана Розенбергом. Этот еще, что за черт? Тоже приказывает. Поостыв, собразил: он может быть там Розенбергом, заместителем Данишевского. Выходит, за Думенко взялся трибунал Республики...

Догадка озадачила Белобородова. Дело за давностью потеряло уже остроту. Позабылось порядком. Опять ворочай кипу бумаг, восстанавливая детали, веди нудные допросы.

Узнал черное мрачное здание, гостиницу «Деловой двор». Заспанный дежурный после долгого хлопанья дверями по этажам предоставил свободную койку.

Утром из трибунала подослали к гостинице тачанку. Ехали шагом. Улицы забиты людом. Всюду следы позавчерашнего Первомая — красные полотнища, флаги. Многие горожане еще в праздничных одеждах. Настроение поднялось.

К двери председателя Реввоентрибунала Кавфронта проводил вестовой. Вошел без стука. Комната длинная, не обставленная, как и положено военным учреждениям на колесах. У окна один-единственный стол и два стула для посетителей.

Навстречу ему спешил Зорин.

— Александр Георгиевич, дорогой наш товарищ, знали бы... Света нам прибавили! Иначе ложись и помирай. Вовремя приехали...

Смущенный приемом, Белобородов неловко отвечал на объятия. Сели за стол. Положив руку на пухлую зеленую папку, от праздных слов Зорин перешел к делу:

— Вот, узнаете? Берите, листайте. Возникнут вопросы... Пожалуйста, Колбановский к вашим услугам. А вечерком посовещаемся. Мы с товарищем Розенбергом — в Донисполком. Знаменского утихомирить...

В самом деле, папка знакомая; потолстела заметно — тесемки не сходятся.

— Суд когда?

— Завтра.

Видать, на лице его появилось такое, от чего Зорин у двери приостановился.

— Вас встревожило, Александр Георгиевич?

Взвесил Белобородов на ладонях «Дело».

— Вы что? Когда же мне все это одолеть?

— Нового мало внесло наше следствие,— Зорин пожал плечами.— Повторные допросы подсудимых да кое-какие показания дополнительных свидетелей... И все.

Не удалось даже перелистать папку — застрял на первых страницах. Ново! Показания конников — Ворошилова, Щаденко и Буденного. По одной-две странички. Ворошилов писал собственноручно — узнал мелкий округлый почерк. Два других листа исписаны одинаковыми чернилами и одной рукой, крупно, по-канцелярски. Несомненно, следователь со слов свидетелей. Подписи подлинные.

Окутываясь дымом, прочитал показания. Щаденко напрочь отказался от слов, якобы сказанных им еще зимой: Думенко, мол, предлагал Буденному совместно предъявить ультиматум Центральной власти. Отчеркнул карандашом: «На поставленный мне вопрос, не предлагал ли Думенко Буденному совместно предъявить ультиматум Центральной Советской власти, я отвечаю, что этого я не слышал ни лично, ни от других». Вспомнил, слухи эти некогда сообщил Смилге он, Белобородов; тот их использовал как мотив в отказе Сталину, добивавшемуся освобождения Думенко из-под ареста и откомандирования его в распоряжение Юго-Западного фронта. А кто же сболтнул ему? Конечно, подцепил в Новочеркасске, в январе... Может, Пискарев? Нет, определенно не припомнит.

Показание Буденного. «Со стороны Думенко наблюдались некоторые недовольства к политработникам,— сообщает он следователю,— хотя их было очень мало... Приказы исполнялись Думенко не все аккуратно. По его мнению, не все они были правильными. Недовольство Думенко на высшее командование выливалось только на квартире, но отнюдь не в штабе и не публично». Остальная часть показания — слухи.

Ворошилов не очень-то благоволит к Думенко, но не верит в его способность изменить.

А вот о поездке Думенко в Ростов: «Встретились мы с Думенко и Шевкоплясом как старые боевые товарищи, тепло». Вот вам, пожалуйста, показания Ворошилова ни в коем случае невозможно юридически истолковать против Думенко, как заговорщика и предателя. Кому взбрело в голову привлекать этих людей в свидетели?

Не услышал, как открывалась дверь. Сперва увидал коричневые тупоносые ботинки и краги на медных застежках. Отутюженный френч с накладными карманами уютно сидел на полноплечем теле. Довольством, банной свежестью исходит от него. Румяное лицо, усики и надушенный клок вьющихся темных во-

лос говорят о том, что степного ветра и фронтовой слякоти они не ведают. Подумал: Розенберг.

— Колбановский,— назвался он, протягивая мягким вкрадчивым жестом руку.

Оттащил к окну стул; сел, закинув ногу на ногу, будто показывал всего себя.

— В некотором роде, товарищ Белобородов, вы будете моим помощником на процессе.

Едва не сорвалось у Белобородова: спасибо, мол, за честь. Глубже зарылся в бумаги.

— Да вы, смотрю, всерьез... Прочитать все это за сутки! Освежите в памяти. Моя речь готова. Что-нибудь добавите... Дело не требует долгого разбирательства. С полудня начнем... Где-нибудь поздним вечером все кончится.

Откинувшись на спинку венского стула, Колбановский выжидающе щурил водянистые выпуклые глаза. Наслаждался тем впечатлением, какое произвели на собеседника его слова.

— И свидетели уже прибыли? — сухо спросил Белобородов.

Колбановскому польстило: ему припало сообщить этому знаменитому фавориту наркомвоенмора то, что надлежало сделать по крайней мере Розенбергу. Именно для того и назначено совещание на нынешний вечер.

— Процесс над Думенко нами продуман до тонкостей. Выглядеть он будет несколько необычно, так сказать, с революционными поправками. Открытый. Торжественный. В театре.

Разминая папироску, Белобородов не отозвался.

— Ворошилова, Щаденко... мы не вызывали. И вообще свидетелей на суде не будет.

— То есть как? — Белобородов, не прикурив, задул спичку.— В этом и заключаются новшества, «революционные поправки»? Дело даже не в том, что нет живых свидетелей... Их письменные показания невозможно истолковать как показания против Думенко.

— Достаточно их иметь в деле.

Тонкости, действительно, продуманы. Экий надушенный хлыщ. Судя по всему, пустой, до медного звона. Позер, влюбленный в собственную персону. Ишь, холит ногти... Не выказывая своей оценки «тонкой работы» устроителей судебного процесса, Белобородов вяло продолжал свое.

— Не знаю, как это — суд без свидетелей... Но главного вызвать ведь можно, Пискарева?

— Нет того свидетеля. Жлоба отдал его под Ревтрибунал. Не скажу, что там. Пьянка ли, неподчинение... А кстати, в одной из последних телеграмм на ваше имя Пискарев, как и Ворошилов, тоже не верит в измену Думенко.

Белобородов совсем помрачнел. Уравняв кое-как раздерганную папку, попробовал затянуть тесемки.

— Не мучайтесь с папкой,— посоветовал Колбановский, играя пресс-папье.— Мы все уже пробовали завязывать... А как проходила ваша служба в Конной, товарищ Белобородов?

— Служба есть служба.

— У нас имелось дело о буденовщине... Прислано из 13-й армии. Затребовали в Реввоентрибунал Республики. Обвиняется Буденный как авантюрист. У них тоже кое-что есть на этот счет... Розенберг может поинтересоваться.

Белобородов пожал плечами: мол, если поинтересуется, отвечу.

Объявленное на вечер совещание не состоялось. Вернулись Розенберг с Зориным из Донисполкома поздно, усталые, раздраженные. Возвращаясь в гостиницу, Белобородов вдруг откровенно сознался себе, что на душе у него более чем гадко. С одной стороны, он упорно добивался ареста Думенко, был убежден в его преступных намерениях, сам произвел арест; с другой стороны, ему не хотелось выступать обвинителем на процессе. Почему? Где же логика? Не уверен в предъявленных обвинениях подсудимым? Это было более чем странно. Выходит, уверен. Так в чем же дело?

Плохо подготовлен процесс? А почему? Только ли потому, что готовили его пустые люди? Сколько сразу вопросов. Не отмахнешься от них. В конце концов, он, Белобородов, полагал, что уж такой процесс можно было подготовить безукоризненно. А тут вот доверяют некоему Колбановскому. Неужели не могли догадаться, что для этого надо было назначить человека с боевой славой, чтобы от него самого веяло порохом...

Что ж, эту роль, кажется, предстояло играть ему, Белобородову. Надо в обвинительной речи выделить два самых существенных момента: поражение корпуса на Маныче и убийство военкома Микеладзе. Да, в сражениях на Маныче Думенко исчерпал себя как военачальник, логика разложения привела к краху. Убийство Микеладзе тоже дело его рук. Где доказательства? Что ж, не всегда виновность доказывается прямыми уликами, а косвенных больше чем достаточно.

Белобородов пытался представить лицо Микеладзе, его улыбку, голос. «Мерзавцы. Зверски убили такого человека. За одно это каждого из них надо поставить к стенке».

Распалял себя Белобородов, настраивал на яростно обличительный тон, а на душе было все так же гадко. Вдруг и лицо Думенко представилось в момент ареста. Ждал от него сопротивления, в конце концов брани, оскорблений, а он словно остолбенел в мучительном недоумении. Глаза его, казалось, спрашивали: «Как вы все-таки решились на это? За что?» А по лицу бродила конфузливо-ироническая усмешка. И обижен был, ох как обижен... «Видал ты его, обиделся, ишь ты!» — подумал Белобородов, снова накаляя себя.

Глава двадцать седьмая

1

К зданию театра стекались горожане, военные. Здесь должен был состояться судебный процесс над Думенко и его штабом. Суд именовался открытым, однако в театр пропускали строго по пропускам.

Вот-вот должна подкатить тюремная будка. Объявленное время суда подходило. Толпа волновалась; вкрался слух: доставили, мол, с черного хода, и суд уже идет...

Из облезлой тюремной будки Думенко вылез последним. Смотреть больно от весеннего солнца. Дворик тесный, захламленный деревянными крашеными обломками, рваными полотнами декораций. Мордастый, белоглазый парень в шлеме, начальник охраны, с порожек подавал знаки конвою поторапливаться.

Думенко взглянул поверх ржавой крыши в дурманящую полуденную голубень. Защемило в груди от жалости и обиды; вон той ласточкой — в простор бы... От срама, позора. Третий месяц! А что предстоит еще испытать?..

В узкую дверцу Думенко протиснулся первым; за ним вошел Абрамов, потом Блехерт, Колпаков, Ямковой, Носов; замыкал Кравченко. Поплутав по темным пыльным проходам между кулис, очутились на сцене — месте судилища.

Зал битком. Рябит от кирпично-бронзовых лиц. Не моргают и будто не дышат.

На середине сцены — стол, покрытый красным сукном; три обтрепанных кресла. По бокам столики. Оба уже заняты. За дальним — Белобородов; с ним в паре, тоже в защитном, какой-то сытый, с усиками. За ближним — трое. В военном узнал по худой спине председателя Донисполкома Знаменского; в штатском — защитники, Шик и Бышевский. На днях побывали они у него в камере. Тут же, рукой дотянуться, у приспущенной темной драпировки — длинная крестьянская лавка. Обескураженный, не сразу сообразил, что Знаменский, обернувшись, указывает ему взглядом именно на эту лавку. Болезненное, вымученное в лице своего добровольного защитника кольнуло болью. Знаменский, будто угадав его мысли, шевельнул воспаленными веками: крепись, мол.

Явился суд-тройка. Председательское место занял Розенберг, слева и справа от него члены суда — Зорин и Чуватин; у торца стола пристроился секретарь суда Мисевич.

Председатель, не заглядывая в бумажку, объявил:

— Слушается дело по обвинению бывшего командира Конного корпуса и его штаба в контрреволюционных выступлениях. Свидетелями выступают Жлоба, Буденный, Ворошилов, Щаденко, Лебедев, Жуков, Пискарев. Из названных свидетелей присут-

ствует только Жуков. Со стороны обвинения по этому поводу возражений не имеется...

Поднялся Знаменский. Заговорил негромко, с хрипотцой:

— От имени защиты считаю долгом довести до сведения, что при отсутствии свидетелей заслушать настоящее дело очень трудно. Нужно выяснить причины неявки, иначе...

Розенберг перебил:

— Ввиду данных свидетелями в предварительных сессиях полных и определенных показаний и ввиду трудности доставить их в ближайшее время суд постановляет: дело без свидетелей продолжать. Слово для оглашения обвинительного акта предоставляется члену суда товарищу Зорину.

Думенко слушал Зорина неподвижно, лишь изредка обводя тяжелым взглядом сидящих в зале.

— Подсудимый Думенко, признаете ли вы себя виновным?

Думенко расслышал вопрос, но не сразу воспринял, что это относится к нему. Подтолкнул его Абрамов.

— Нет... не признаю.

— Дайте объяснение, почему вы препятствовали политической работе в Конном корпусе и всячески старались оградить себя от политического контроля?

Бог ты мой, сколько раз он слышал это обвинение! Как, как растолковать этим людям, что горько-прегорько слышать подобные обвинения. Эх, Микеладзе бы сейчас сюда, он бы их вразумил... Казалось, что и у него, Думенко, сколько угодно доказательств, что ему пришивают подобное совсем зря. Но вот пропали слова. Сказал первое, что пришло в голову:

— В политотделе корпуса существовал особый отдел. Каким образом я мог оградить себя от политического контроля, если был военный комиссар корпуса... Никакой антисоветской пропаганды не вел, никакой антикоммунистической агитации в моих частях не было.

Все это говорил он машинально, лишь бы отрицать, отрицать и еще раз отрицать нелепые обвинения.

— Вы устраивали попойки?

— В выпивках не участвовал. Я не пью.— Думенко помолчал, пробегая в памяти слова обвинения. Наворочали, дай бог. Разводя в истинно трагическом недоумении руками, спросил: — Поощрял грабежи, бандитизм? Грабежи и мародерство мною осуждались и карались со всей решительностью. О расстреле пленных. Были случаи, когда корпус заходил в тыл противника... Связи с фронтом мы тогда не имели. И если были расстрелы... Я не считаю то преступлением. Это были боевые операции, это была война, и я, пользуясь властью начальника, должен был для исполнения боевых задач расстрелять тех или иных пленных. Относительно унижения доблести командиров прошу ответить, где и кого унизил. Откомандировывал коммунистов-работников? Ни-

кого я не откомандировывал. Если я откомандировал начальника штаба Качалова, то только потому, что он не умеет работать. Покушался на жизнь Захарова?.. Я Захарова никогда не видал, и о его ранении ничего не знаю.— Все в том же трагическом недоумении задал самый страшный для себя вопрос: — Убил комиссара корпуса Микеладзе? Я не понимаю, кто его убил...

— Вы заявляли, что перейдете к белым. Был такой случай или нет? — спросил Розенберг.

— Такого случая не знаю. Здесь указывается восемнадцатый год, обвинение предъявлено в двадцатом. Эти два года революции я дрался за Советскую власть, мои войска находились на Дону, взяли Новочеркасск...

— Может быть, вспомните?

— Не могу вспомнить того, чего не было.

— Помните случай на станции Крыленко? Вы в разговоре не только ругали того или иного коммуниста лично...

У Думенко возникло ощущение, что его берут за горло, припирают к стенке. Эх, разговоры, разговоры, мало ли, что он мог сболтнуть сдуру. Но главный то разговор он вел саблей, рубил врагам головы. Почему не учитывают? Как же так?

Поборов желание опять широко развести руками, сказал:

— Никогда не говорил против Советской власти.

Розенберг выставил ладонь: сядьте.

— Подсудимый Абрамов, признаете себя виновным в предъявленных обвинениях?

Абрамов встал медленно — весь достоинство. На лице вежливая почтительность к судье и вместе с тем горечь унижения.

— Нет. Борюсь за Советскую власть с первых дней Октябрьской революции, пошел добровольно в Красную Армию. Воевал на Северном и Восточном фронтах, а теперь на Южном меня почему-то сочли контрреволюционером. Не знаю, чем я мог препятствовать политической работе в корпусе...

— Подсудимый Блехерт, признаете вы себя виновным?

Блехерт, отставив хромую ногу, исподлобья затравленно оглядел зал. Во взгляде безмерная усталость обреченного человека, казалось, весь его вид говорил: скорее бы все это кончилось. Ответил вяло, будто уже и сам не верил, что сможет убедить.

— По четвертому пункту признаю... В том, что пил. Никакой антисоветской пропаганды не вел. В антикоммунистической пропаганде не признаю себя виновным, в убийстве Микеладзе — тоже нет.

Розенберг, кивнув Зорину, поднял Носова.

Дороня ощупал пуговицы на френче, не отрывая от пола взгляда. Испуганный, замордованный неразрешимыми противоречиями драматических обстоятельств, в которые поставила его жизнь, он, казалось, готов был упасть на колени, заплакать.

— Вины за собой не имею.

— Где вы работали?

— Организовал военный контроль на станции Ремонтная. Был вызван Ворошиловым и Сталиным и назначен начальником особого отдела по реквизиции и конфискации... Когда в Евпатории у богачей реквизировал тридцать пудов золота и серебра и доставил куда следует, я не был грабителем. А теперь меня зачислили в грабители... Когда Анисимов прибыл в корпус... он меня хорошо знал по совместной работе в Донской области и спросил, как протекает политическая работа в корпусе, я сказал, что не могу лгать, что политработа идет слабо. Анисимов скоро сам убедился, что политработа идет туго, нет хороших политкомов... Анисимов поручил мне следить за товарищем Думенко: не думает ли комкор идти против Советской власти? — Носов глядел на бывшего комкора, и было в его взгляде что-то такое, будто он чему-то ужаснулся. Закончил мысль клятвенно: — Нет, я никогда не слыхал, чтобы Думенко ругал Советскую власть. Никогда. Он с первых дней революции начал бороться...

— Говорите о себе.

— Я кончил.

Почувствовав острый приступ жалости к товарищу по беде, Думенко подумал: «Эх, Дороня, Дороня, так кто же ты мне, враг или друг? Может, и смертный час нам вместе придет, а я так и не пойму, кто ты есть?..»

— Ямковой, признаете вы себя виновным?

Ямковой заговорил сидя. Опираясь на колени, тяжело отрывался от скамьи.

— Меня обвиняют, что я, будучи коммунистом, знал о «преступных замыслах» штаба Думенко и не сообщил куда следует... Я не знаю, кто у нас говорил против Советской власти. Нас в тыловом штабе было восемь коммунистов. Никто не мешал нам работать. Мы всегда старались поддерживать идеи коммунизма и агитировать за них.

Тройка за судейским столом посовещалась. Розенберг пристукнул карандашом.

— Обращаюсь к защите, есть ли у нее какие-нибудь заявления?

Поднялся Знаменский.

— В обвинении имеется указание, что расстреляли пленного генерала Ивановского. В Ростове находится некто Долгополов, который говорит, что он сам расстрелял его. Я полагаю, для разъяснения обстоятельств дела он должен быть доставлен сюда в качестве свидетеля.

Оживились обвинители. Голос подал Колбановский:

— Я возражаю, поскольку Думенко признал, что расстреливал пленных, мотивируя боевой обстановкой. Для этого не нужно свидетелей.

2

Просьбу защиты о вызове свидетеля Долгополова для допроса суд не удовлетворил: убийство генерала Ивановского не выделено в самостоятельное обвинение, а является его частью.

— Не убийство — ликвидация белого генерала,— уточнил Знаменский.

Розенберг, не отозвавшись на поправку, продолжал допрос:

— Думенко, чем вы лично объясняете жалобы на вас политработников?

— Ничем не объясняю. Может быть, за приказы... чтобы все политкомы были всегда впереди своих войск, чтобы они подавали пример храбрости.

— Значит, жалобы вы объясняете строгим отношением к ним?

— Да.

— Вы помните обеды, на которых присутствовал Лебедев? Какие разговоры вели с ним относительно Советской власти?

Думенко в мучительном напряжении поморщил лоб, не в силах найти ответ на самый каверзный вопрос, который все время повторяется в разных формах. Опять про разговоры! Лучше бы и не было у него языка... Ответил уже озлобленно:

— Я первый поднял знамя на Дону и считаю себя с 1917 года революционером...

— Дайте прямой ответ на вопрос.

— Говорю, как революционер, стоящий перед революционным судом... С Лебедевым я совершенно не говорил о Советской власти. Это может подтвердить Абрамов, он присутствовал за обедом. Я взял оружие в руки за рабочий класс, за угнетенных, жертвовал кровью ради Советской власти...

— Может быть, помните поездку к Буденному 10 января?

— Хорошо помню.

— Что это были за тучи, о которых вы говорили?

И опять наморщился лоб Думенко в непосильном напряжении. «Тучи... какие там еще тучи? Ну, говорили про тучи беляков...»

— Разговор был оперативного характера, чтобы вместе разбить белые части. Надвигался на нас противник в большом количестве, двадцать пять тысяч. А у меня в корпусе было всего три с половиной...

Допрос перенял Зорин.

— Почему на одном митинге вы не дали говорить комиссару?

— Это было на совещании...

— Почему вы не ответили на его вопрос: «Признаете ли вы Советскую власть?»

Думенко горестно усмехнулся, с острой досадой поскреб подбородок, хотел сказать, что, мол, это и дураку понятно: раз

воюю за Советскую власть, значит, на деле, а не на словах признаю. Однако унял себя, ответил сдержанно:

— Я ему сказал, что если бы не признавал Советской власти, то не служил бы в Красной Армии.

— Считаете ли вы правильным создание регулярной Красной Армии?

— Да, я сам формировал два корпуса! — изумленно вскинув брови, ответил подсудимый.

— Не говорили ли вы, что жиды засели в тылу и пишут приказы?

Думенко конфузливо понурился. Ответил упавшим голосом, чувствуя себя совершенно беззащитным:

— Когда мне на митинге был задан вопрос, почему с нами нет евреев, я сказал, что они не способны служить в коннице.

— В каких отношениях были с Микеладзе?

Лицо бывшего комкора на миг посветлело, но тут же он скорбно склонил голову:

— В самых лучших.

— Какой вы партии?

— Коммунист.

— В какой организации вы первоначально зарегистрировались?

— Меня зачислил товарищ Микеладзе.

— Вы сейчас же внесли членский взнос или после?

— Нет, после.

Зорин откинулся на спинку кресла.

— Кто поднес вам золотое оружие? — спросил Розенберг.

— Эскадрон.

Поднял руку Белобородов, поблагодарил за предоставленное слово.

— Что вас побудило вступить в партию коммунистов?

Думенко какое-то время разглядывал Белобородова тем отрешенным взглядом, когда взор больше обращен внутрь себя.

— Я признал, что коммунистический строй основан на самом твердом фундаменте, и записался в партию.

— Почему же вы раньше ругали коммунистов?

— Если я поругался с коммунистами Ивановым или Петровым, то это не значит, что я ругал партию,— опять закипая обидой и злостью, ответил подсудимый.

Слово перехватила защита.

— Какие были у вас отношения с Пискаревым? — спросил Шик.

— Когда он был назначен в бригаду и приехал в часть, то напился пьяным. Я не донес на него. А он ложно донес, что я пил с комиссаром Партизанской бригады.

— Производили ли вам экзамен политической грамотности? — спросил защитник Бышевский.

— Нет.

— Много ли вы прочитали книг?

— У меня не было времени читать.

— Пытался кто-нибудь из партизанских комиссаров просветить вас в политическом отношении?

— Нет, так как и им некогда было этим заниматься.

— Говорили ли вам комиссары, что вы сумбурный и способны на все?

— Нет.

— Как вы объясните, что вас полтора года терпели в армии?

— Не знаю... С восемнадцатого года я считался контрреволюционером, но получал ордена, награды и пришел со своей конницей в Новочеркасск.

— Поздравляли ли вас с этим политкомы?

Думенко слабо улыбнулся, ответил не без самодовольства:

— Приезжал член Реввоенсовета и поздравлял. Об этом был даже приказ.

— Вы давно женаты?

— Еще до службы... Моя первая жена умерла в тюрьме у белых.

— Какое количество войск было у вас вначале?

— Две дивизии. В одной было три с половиной тысячи, а в другой шестьсот человек.

— Как вы объясняете неудачу под хутором Веселым?

— Стратегическими условиями, — подавленно, однако с достоинством ответил подсудимый. — Я получил 25 января приказ занять хутор Мечетский... Я занял его, продвинулся дальше, но соседние части не поддержали меня, и я потерпел неудачу.

— Что вас заставило войти в Новочеркасск днем раньше, чем было приказано?

Думенко самолюбиво усмехнулся:

— Куй железо, пока горячо. Если бы я не вошел в Новочеркасск, противник мог бы сгруппироваться и нанести поражение.

— Называли ли вы евреев жидами?

И опять выражение конфузливой беспомощности отразилось на лице Думенко.

— Я так называл не только евреев, но и русских.

Смех в зале обидел и смутил Бориса. Потирая занывшую руку, поймал на себе напряженный взгляд Знаменского. Не понравился смех и Розенбергу. Сердито выстукивая карандашом, он спросил:

— Почему, когда явился Микеладзе, вы говорили, что не признаете, и не принимали его?

— Ничего подобного не было, — поспешно, почти с негодованием отверг подсудимый. — И в приеме не отказывал, и не говорил, что его не признаю.

— Почему вы мешали работать... Не давали работать политическому комиссару?

— Ничего подобного, наоборот...

— Имеет ли защита вопрос?

Знаменский утвердительно кивнул, встал.

— Скажите, подсудимый, в каких отношениях вы были с Микеладзе? — спросил он.

— Когда прибыл Микеладзе, я сразу сказал начальнику штаба Абрамову, что это один из лучших комиссаров, который попал в нашу часть. Микеладзе сказал, что он приехал не контролировать меня, а совместно работать. Никаким доносам, сказал он, верить не буду.

Розенберг, хмуро окидывая гудевший зал, спросил:

— Скажите, у вас в вашей части принимали таких... которые не хотели подчиняться?

— Я принимал дезертиров...

Белобородов все смотрел и смотрел на Думенко, словно прикидывая, с какой стороны к нему вернее всего подступиться, как расценить его поведение. Раскалывается? Не похоже. До сих пор он ни на мгновение не почувствовал себя виноватым. Отчего это? Если он убил Микеладзе — то должно же хоть что-то дрогнуть в его косматой душе. Значит, выходит, настолько черствый, толстокожий, что раскаяние ему неведомо? Может, привык к запаху крови? Смерть человеческая стала настолько привычной, что не вызывает никаких эмоций. А надо, надо, чтобы этот человек, с сердцем, обросшим щетиной, вдруг сам ужаснулся содеянного. Вот тогда бы суд оправдал свое название — показательный.

Уткнувшись белыми кулачками в стол, Белобородов наклонился в сторону подсудимого, спросил:

— Как вы относитесь к Жлобе?

Думенко с усилием потер пятерней лоб, как бы стараясь этим жестом привести все в порядок в затуманенной голове.

— Да как отношусь... Воюет Жлоба. За Советскую власть воюет. И не желаю ему вот такого тяжкого, какое переживаю сейчас сам...

— Как оцениваете его способности военачальника? Почему третировали? Почему отстранили от командования бригадой?

— Командир должен требовать подчинения... иначе какой он командир. Жлоба не всегда подчинялся. Вместо этого сколачивал возле себя недовольных. Надо воевать с Деникиным, а они со мной воюют... Вот и сами посудите, как было все это сносить. Другой раз света белого не хотелось видеть. Обида душила... Я доносов на Жлобу не писал. Антисоветчиком его не оскорблял. Дай бог ему беззаветно воевать за Советскую власть и дальше, как настоящему революционеру.

— А теперь ответьте на такой вопрос...— Белобородов сделал бесконечно долгую паузу.— Как вышло, что Микеладзе из штаба уехал без должной охраны? И почему поиски его были у вас такими неактивными, почему вы сами не назначили немедленно следственную комиссию?

Теперь уже Думенко бесконечно долго молчал, низко опустив голову.

— Подсудимый, я у вас спрашиваю?

И вдруг Думенко круто повернулся к Носову. Тот, вскинув голову, подался на лавке: он понял, что хотел сказать ему Думенко. Да, если бы он, Носов, выполнил приказ комкора — возможно, тяжкого этого суда и не было бы.

Зал и судьи замерли. Думенко почувствовал это. Отвернувшись от Носова, медленно обвел каким-то невидящим взглядом судей, все так же слепо глянул в зал и тихо сказал в пустое пространство перед собою, словно обращался не к тем, кто его допрашивал, а к кому-то другому:

— Башку с меня за это снять мало. Я, я должен был сам...

— Так вы что... признаете себя виновным? — с какой-то неприличной поспешностью, отчего по залу прокатился гул возмущения, спросил Колбановский.

Белобородов едва не выругался вслух: «Болван! Ох, какой болван, все мне испортил. Теперь клещами из Думенко не вытащишь признания после вопроса в лоб...»

А Думенко до болезненности в лице крепко зажмурился, оскалив сжатые зубы, затем медленно опустил голову, ссутулился, словно был уже больше не в силах нести невиданную тяжесть своего трагического недоумения, сказал все так же тихо:

— Эх, граждане судьи, неужели непонятно вам... кто-то рубил, стрелял моего военкома, а метил в меня. А вы вот сейчас дорубываете. Давайте уж поскорей, что ли... — Борис обреченно махнул рукой, хотел было сесть: подкашивались ноги, но устоял.

— Вы оскорбляете суд! — возмущенно воскликнул Колбановский, стремительно, как пику, выбрасывая палец в сторону подсудимого.

Думенко часто-часто мигал скорбными глазами, горестно кривился, уже смутно различая суть вопросов. Начал отвечать невпопад, путано, не замечая, насколько обеспокоил своих защитников.

Да, было видно, что этот человек наконец сломлен, что он почти в прострации, бредет как слепой к тому пределу, за которым уж нет для него никакой надежды.

«А как же он выдержит речи обвинителей?» — с болью думал Знаменский, угрюмо наблюдая за торжествующим Колбановским.

Белобородов не торжествовал. Не такой он ожидал нравственной победы над подсудимым. Судя по реакции зала, Думенко произвел впечатление, что он искренне скорбит по гибели военкома Микеладзе.

Гул нарастал. Розенберг, поднявшись, громко предупредил:

— Кто не может спокойно сидеть, прошу оставить зал.

3

После перерыва первым Розенберг поднял Блехерта.

— Подсудимый Блехерт, вы лично признавали Совет подходящей формой правления или же полагали, что лучше пропорциональное представительство?

Блехерт уязвленно поморщился, ответил в глубоком отчуждении:

— Если бы не признавал, не оставался в Москве, а был бы в армии Деникина.

— Какой партии принадлежите?

— Беспартийный.

— Чем занимались родители?

— Отчим генерал.

— Считали ли Думенко хорошим стратегом?

— Да, я считаю, — с подчеркнутой уважительностью ответил подсудимый.

— И сейчас считаете?

— Да.

Дольше задержались на Абрамове. Допрос его начал Зорин.

— В каком чине вы были в царской армии?

— Штабс-капитан.

— Чем занимались до поступления на службу?

— Народный учитель, — замедленно ответил Абрамов, как бы невольно припоминая те годы, когда он сам задавал вопросы в классе.

— В Красную Армию пошли добровольцем или мобилизованы?

— Доброволец, с первых дней революции, — без особой эффектации, но и не без гордости ответил подсудимый.

— Ваш чин мобилизован. Каким образом вы могли поступить добровольцем?

Абрамов предупредительно наклонился, мол, понимаю, всю резонность этого вопроса.

— Я два раза ранен, один раз контужен, принадлежу к 4-й категории.

— Чем занимались родители?

— Крестьяне.

— Как велик земельный надел?

— Двенадцать десятин.

— Ваша партийность?
— Сочувствующий.
— Зарегистрированы?
— В начале восемнадцатого я зарегистрировался при местных партийных работниках.
— Что заставило вас вступить в армию?
— Я считаю, что мои интересы тесно связаны с Советской Россией.
Впервые подал голос третий член суда, Чуватин.
— Почему конфисковали газету?
— В газете было сказано о взятии 1-й бригадой Новочеркасска, между тем брали и другие части. Все оперативные сводки должны исходить из штаба корпуса. Среди войска, среди бойцов недовольство, когда замалчивают об их заслугах.
— В каких частях до поступления в корпус служили? — спросил Белобородов.
— Был командиром полка, был помнаштаба 3-й дивизии, работал в штабе 10-й армии, был в распоряжении командарма.
Председатель огласил показания отсутствующих свидетелей.
Белобородов всей кожей ощутил гнетущую тишину зала. Да, не в пользу обвинения эти показания, жидковато получается. И это хорошо понимает защита. Не выдержав взгляда защитника Шика, Белобородов внес предложение:
— Я бы просил допросить в качестве свидетеля начальника политотдела Кавфронта...
Розенберг кивком поблагодарил — помощь кстати.
— Защита против этого ничего не имеет? — спросил он.
— Против допроса свидетелей защита вообще не возражает, — со значением ответил Шик.
Суд постановляет допрос допустить.
— Прежде всего допросим Жукова. Свидетель Жуков!
Жукова втолкнули из-за кулис. Крутил овчинную шапку, озираясь и неловко переставляя ноги в грязных сапогах. Обросший, без пояса, в мятом, расхристанном френче.
У Думенко зашлось сердце — что делает неволя с человеком... Исподволь оглядел свои сапоги: нет, еще утром оттирал их полой шинели. «Эх, Жуков, Жуков, разудалый глава моих ординарцев, что же ты сейчас тут скажешь?»
— Свидетель Жуков, в родственных отношениях с подсудимым не находитесь?
Жуков кинул быстрый взгляд на Думенко и ответил не своим голосом, вмиг перехваченным хрипотцой:
— Нет.
— Кто вы, крестьянин, рабочий?
— Казак.
— Что вы знаете по делу? Давали лошадей и сколько?

— Сначала готовил несколько. Но военком отказался. Одну взял себе.

— Ординарец поехал?

— Нет. Военком приказал ему остаться со своими морены-ми лошадьми.

— Хороший человек Микеладзе?

— Хороший.

— Кто его убил?

— Не знаю.

— Политическая работа в штабе велась? — спросил защитник Бышевский.

— Велась.

— Кто занимался политработой?

— Все штабные.

— Во время работы ругали Советскую власть?

— Нет, я ничего не могу сказать.

— Эсеровские лозунги слышали там?

— Нет.

— Замечали, что штабная компания была тесная?

— Нет.

— Замечали, что там какие-то тайны ведутся?

— Все открыто было.

— Слышали, что Думенко призывал красноармейцев к восстанию против Советской власти?

— Нет, не слышал.

— Больше вопросов не имею.

Поднялся Колбановский. Встал против свидетеля, заглядывая ему в глаза.

— Вы знаете, что такое политическая работа?

— Нет.

— Почему вы ответили, что политработа велась?

Жуков пожал плечами, вытер руками вспотевшее лицо, было видно, что он почувствовал себя загнанным в угол. И совсем уже охватило его смятение, когда обвинитель вдруг заявил накаленным от гнева голосом:

— Как видите, свидетель совершенно откровенно покрывает преступников, дело которых мы слушаем. Я предлагаю посадить его вместе с ними на скамью подсудимых!

Жуков, озирая смятенно людей в зале, бросил вопрошающий взгляд в сторону подсудимых, дескать, вы что-нибудь понимаете? Пот заливал ему глаза, и он время от времени тер их огромными, задубелыми кулаками.

Думенко поначалу слушал Жукова оцепенело, выставив в его сторону ухо, как это делают глухие: не наболтает ли этот забубенный казачишка какой-либо бузы, не потрафит ли чем обвинителям? И по мере того, как тот своими односложными ответами приводил в заметное раздражение обвинителей, раско-

вывался, мягчел глазами, совестливо укорял себя: «Это ж надо, плохо так подумал о славном казаке, боялся, иудой повернется. Да нет, какой он иуда. Добрый, честный мужик, дай бог ему здоровья...»

А теперь, после гневных слов обвинителя, Думенко изумленно распахнул глаза: вот это повернул, на всем скаку повернул, того и гляди смахнет голову малому. Да как же так можно?

Наблюдая за смятением Жукова, Борис чувствовал, как что-то осунулось в нем самом, будто камень с вершины горы тронулся, сначала потихоньку, а потом покатился, увлекая за собой другие камни. И это уже похоже на обвал. Нет, надо взять себя в руки, надо остановить обвал, под которым может быть погребенной всякая надежда на более или менее благополучный исход, не может быть, чтобы тут возымели верх только те, у которых такая злая воля. Вон председатель Донисполкома Знаменский. Как-никак большой человек. И уж куда какой коммунист; сам вызвался в защитники.

Изумило заявление обвинителя и защиту. Шик развел руками:

— Просто не могу сообразить, что сказать по этому поводу. Свидетель может не только лгать, свидетель может ошибаться, может многое забыть... Я не представляю себе, чтобы высший суд Республики мог вдруг посадить человека на скамью подсудимых без обвинительного акта, без всяких данных к этому.

Сторону защиты взял Белобородов. Выходка Колбановского его взбесила: «Вот болван! Неужели он не понимает, что показательный революционный суд и тени не должен иметь этакой скорой расправы». Сказал назидательно:

— Если представляется обвинение в яркой и определенной форме, если человек был объединен единой волей, эта воля должна была реализоваться. Тогда он может называться сообщником и соучастником. Но этого не было.

Суд постановил в ходатайстве обвинения отказать. Розенберг вызвал свидетеля Балашова, начполитотдела Кавфронта.

— Что вы знаете по поводу Микеладзе?

— Я его знаю как старого партийного работника. Подвергался он репрессиям, раза три сидел в тюрьме, был на военной службе, участвовал в боях. После, во время революции, работал в Москве, главным образом в учебных заведениях. Был начполитотдела. Он был откомандирован в корпус Думенко, когда здесь потребовались политработники. На него можно было положиться. Мы старались послать человека, который, во всяком случае, не создал бы обостренных отношений, сумел бы вести политработу.

Слова попросил Шик.

— Какую вы должность занимаете?

— Начальник политотдела Кавфронта.

— Вы получали все донесения из штаба Думенко о политработе?

— Никаких докладов не было.

— Доклад о политической работе корпуса должен доходить до вас?

— Должны быть сведения о политработе разных мелких единиц.

— Но ведь эти доклады имеются в деле. Почему они не проходили через политотдел Кавфронта?

— Они проходили через 9-ю армию. Политотдел армии в случае необходимости может представить в политотдел фронта.

— Так что вам не известно, в каком состоянии находилась политработа в корпусе Думенко, хорошо она велась или нет?

— Известно было, что там недостаток политических работников.

— А те, которые были, соответствовали своему назначению?

— Этого, кажется, не было... Потому Микеладзе и был послан... наладить политическую работу.

— Вам известно, что Микеладзе об особом отделе при корпусе Думенко отзывался вполне отрицательно?

— Неизвестно.

— Не знаете, в каких отношениях думал себя держать Микеладзе с Думенко? — опередил Колбановский Шика.

— Он в своей работе решил пойти на ряд уступок по отношению к Думенко.

— Он так и выразился, что необходимы уступки?

— Да, он сказал, если будет обострение... Что он, во всяком случае, пойдет на уступки.

Свидетелем опять завладел Шик.

— Вы располагали сведениями о том, что у Думенко нормально проходит политработа, или были сведения, что комкор чинит препятствия?

— Было впечатление, что он не препятствует политработе.

— А разве вы не могли послать от Кавказского фронта людей чтобы узнать, что там делается? — спросил Бышевский.

— Микеладзе был послан.

После перерыва слово взял Шик.

— Суду предстоит выслушать заявления подсудимых, прения сторон, последнее слово подсудимых. Мы долго уже работаем. Все чувствуем значительную усталость, подсудимые с 12 часов дня ничего не ели. Не в интересах защиты, а исключительно в интересах правосудия я от имени защиты прошу перенести судебное заседание на завтрашний день к 5 часам вечера. Нам предстоит выполнить очень тяжелый долг.

— Поддерживаю требование защиты, — заявил Белобородов.

— Я думаю, судебный процесс в достаточной мере освещен,— возразил Колбановский.— Переносить на завтра, потерять еще один вечер... Я считаю нецелесообразным.

Однако суд удовлетворил ходатайство защиты.

Глава двадцать восьмая

1

На второй день заседание началось, как и было намечено, в 5 часов пополудни. Намного поприбавилось людей: забили проходы, стояли у стен. С напряжением ждали самого главного — прений сторон. Кто осилит: обвинение или защита?

Вчерашний ход Белобородова — вызов из зала начальника политотдела Кавфронта в качестве свидетеля — не дал обвинению желаемого. Напротив, показания Балашова оказались кстати защите. Шик поставил в своем блокноте восклицательный знак. А Знаменский решил по примеру Белобородова тоже выкликнуть из зала свидетеля. Вчера в фойе мелькнуло знакомое лицо военкома, инженера-путейца Клименко, сослуживца по 10-й. Что-то не видать его нынче... Пришел ли? Да. Здесь! У стенки стоит.

На обращение Розенберга, имеет ли обвинение или защита дополнить чем-либо судебный материал, Знаменский с готовностью отозвался:

— В зале находится военком 10-й армии товарищ Клименко. Он может подтвердить факт затребования Думенко политических работников из Реввоенсовета 10-й армии.

Розенберг, обменявшись озабоченным взглядом с Зориным, шевельнул плечами, сказал нехотя:

— Хорошо, пусть свидетель даст показания.

Работая локтями, Клименко выбрался на сцену. Голенастый, сухой, несколько растерянный неожиданным приглашением.

— Что вы можете сказать по поводу затребования бывшим комкором политработников?

— Я получил распоряжение от Реввоенсовета 10-й армии принять в ведение железную дорогу от станции Балашов. На этой линии встретил Думенко с корпусом. Оказал ему содействие в передвижении. Думенко просил сообщить в политотдел, чтоб ему дали политработников. Я не слыхал, чтобы он говорил против Советской власти. Наоборот, Думенко все время боролся за Советскую власть...

— Когда все это было?

— Прошлой осенью.

Председателя заменил Зорин.

— Давно знакомы с Думенко?

— С 1917 года, когда он организовал верблюжью кавалерию.

— Думенко, почему вы не находили возможным обратиться непосредственно к заведующему политотдела 10-й армии Ефремову, а обращались к постороннему лицу?

— Я просил Ефремова, просил комиссаров, обращался в штаб 10-й армии, чтоб мне дали военкомов... Особенно таких... владели бы конем.

Розенберг нервически поморщился:

— Не устраивайте нам тут спектакль, подсудимый Думенко. — Повернул крайне раздосадованное лицо в сторону Клименко: — Что вы еще можете сказать?

Клименко заметно успокоился, овладел голосом:

— Я видел корпус, я чувствовал, красноармейцы горой за Думенко.

— Можете идти на свое место.

Розенберг, все так же нервически морщась, написал записку Зорину. Тот прочел, согласно кивнул. Розенберг встал, расправил плечи, мрачно-торжественный, преисполненный чувства высокого долга, многозначительно прокашлялся и объявил:

— Суд считает следствие законченным. Переходим к прениям. Слово предоставляется председателю обвинения товарищу Колбановскому.

Борис дернул контуженно головой, полез пальцем за ворот френча: колол ворот, будто насыпалась за него сенная труха. Нестерпимо захотелось курить; хотя бы раз-два затянуться — унять с новой силой задрожавшее нутро. Не знал, куда положить занемевшие руки. Обхватить бы рукоятку шашки, уткнуть ножны в пол и опереться всем отяжелевшим телом, как это бывало с ним в минуты смертельной усталости. Нет шашки, не на что опереться. А может, опора вон там, в защитниках? Уставился с вожделенной надеждой на защитников, даже брови скривил как-то умоляюще, боялся упустить что-то важное в их поведении. Не только сознанием, всем существом понял: закончились нудные допросы, скажут сейчас вслух то, что пока таили.

Колбановский долго молчал, подчеркивая всю важность нового этапа в судебном процессе. Картинно вельможный, недоступный, он всем своим видом являл суровую непреклонность. Наконец произнес:

— Товарищи судьи! — И снова какое-то время упивался значительностью своего молчания. — Великая Российская революция создала не только гигантов человеческой мысли, она создала и героев на поле брани: Чапаева, Буденного, Жлобу и так далее. Если бы я не был историческим материалистом-коммунистом, я сказал бы, что красная конница — это дело рук Жлобы и Буденного. Но как исторический материалист и коммунист, я скажу, что трудовое крестьянство создало красную конницу, ко-

торая, в свою очередь, выдвинула Жлобу и Буденного. И среди этих героев есть имя нашего подсудимого Думенко. Кто сомневается, что конница Думенко не хороша, кто сможет... Все скажут, что конница Думенко храбра, и может ли командир такой конницы не быть героем? Имея героическую конницу, начальник всегда является героем. Но, товарищи судьи! Герой герою рознь. Настоящий командир воплощает в себе всю героическую удаль и отвагу своих подчиненных, является образцом революционного военачальника. Но есть герои — история их знает много, которые — их выдвигают массы — не удерживаются на высоте и падают вниз. Назову для примера Бонапарта. Французская революция выдвинула Бонапарта, а когда наступила реакция, этот Бонапарт превратился в Наполеона, то есть в героя реакции. Я говорю о великом герое Бонапарте, но у нас есть более мелкие, и теперь они уже не герои, а пленники судьбы... Посмотрим на нашего подсудимого Думенко. С одной стороны, он много сделал, стоя во главе конницы, но посмотрим на него как на личность, и тут нам многое покажется странным: мы увидим какую-то двойственность его. Корпус, как раньше его дивизия, не знает преград. Его корпус — дитя классовой борьбы, и командир этой конницы является непосредственным символом революции. Кто не знает, что Красная Армия является авангардом рабочего класса, что красная конница является авангардом революционного крестьянства, кто не знает, что армией и конницей руководит Российская коммунистическая партия? Может ли быть сомнение, что наш герой не коммунист? Нет, товарищи судьи, он не коммунист, и только в декабре 1919 года записывается в партию. Чем объяснить это? Почему так поздно и какие условия заставили его записаться в партию? Если он не считал себя коммунистом до декабря, почему теперь счел нужным записаться в партию? Раньше чем ответить на этот вопрос, я хочу указать на некоторые штрихи. Подсудимый Думенко ругает Советскую власть, но продолжает бороться и наступать от имени этой власти. Думенко ругает коммунистов, нападает на отдельные личности и на партию и в то же время защищает идеалы Коммунистической партии. Чем объяснить эту двойственность, я говорил — ругает, нападает, и в этом я глубоко убежден. Мне не нужны живые свидетели, ибо политкомы дали показания, собственноручно написанные, и если они написали что-либо, то отвечают за свои слова. Товарищи, в Думенко находятся два Думенко. Один — это бравый командир, а в этом отношении он герой своей героической конницы. Но есть другой Думенко, как persona individuala, как личность, и эта личность представляется уже не героем революции, а пасынком — самым худшим отбросом революции. В момент, когда в нем берет верх первый Думенко, чувствуется, что это герой. Но задевают его личность, и тут появляется второй Думенко. Когда на его место

назначен Буденный, Думенко нервничает, он оскорблен и ругает уже всех и вся. Не только ругает, но и угрожает. Не только угрожает, но и наступает на тех, кого раньше защищал...

Сначала речь Колбановского еще больше навлекла помрачение на Бориса. Он то вскидывал голову, мучительно силясь вникнуть в смысл его обвинений, то тяжело ронял ее, словно отказываясь понимать убийственную напраслину. Но постепенно напористость обвинителя привела его в чувство. Думенко вдруг ощутил перед собой откровенного врага, который хочет во что бы то ни стало его погубить. Надо все-таки как-то защищаться, а если уж суждено и погибнуть, то пусть поглядят на него, какой он есть, пусть услышат последнее слово. Да, да, ему еще дадут последнее слово, к тому же и защита свое скажет.

А Колбановский уже, казалось, готов был выйти из-за стола, чтобы предстать перед судьями, перед залом, как ему представлялось, во всем великолепии, во всей своей силе непоколебимого хозяина этого сложнейшего положения вещей.

— Как видите, сначала мелкая критика, затем более крупная и, наконец, угрозы — вот чем кончилось падение второго Думенко. Он не подчиняется декретам, входит в конфликт с особым отделом, освобождает арестованных трибуналом. Недопущение политработников — это лишь косвенный признак неподчинения Советской власти. Назревало другое. Почему был ранен Захаров? Потому что знал истинную картину настроения, которое царило в штабе. И, наконец, злодейское убийство военкома Микеладзе. Вы заметили, товарищи судьи, как вел себя подсудимый Думенко, когда у него вдруг... вдруг на мгновение заговорила совесть? Ведь у него, по существу, прозвучало невольное признание, что он виновен в гибели этого беззаветного коммуниста.

Думенко чуть приподнялся, снова сел и только уже после этого вздыбился раненым медведем. Потрясенный, он дико озирался, будто вопрошая: «Неужели вы верите в то, что он говорит?»

Белобородов в эту минуту яростно ненавидел Колбановского. «Жалкий демагог. Неужели он не понимает, как дешево выглядит его заявление о признании Думенко?»

Мазанув размашисто тыльной стороной левой руки по глазам, из которых вдруг покатились слезы, Думенко не сел, а както тяжко осунулся и не шелохнулся больше до самого конца речи Колбановского.

А тот, изо всех сил стараясь не потерять прежнего напора, перешел к характеристике Блехерта.

— Присмотримся к Блехерту; в первый раз он говорил, что не потерпит того, что он против диктатуры пролетариата, что России нужно правительство, пропорционально представлявшее все партии. Вот вам идеология, которую подготовлял Блехерт

для бандитски настроенного штаба. Мы видим здесь заговор, ибо, с одной стороны, налицо настроение бандитов, с другой — желание оформить настроение идеологически. Они идут дальше. Кроме идеологии, они уже выставляют свои силы, когда в присутствии Колпакова кто-то говорит: «Мы Советской власти не боимся, у нас танки». Это уже не заговор, а измена в штабе. Было все приготовлено для измены. Но Блехерт и Абрамов знали, что своей частью ничего не сделаешь, и вот они отправляются к Буденному с целью объясниться.

«Значит, Колбановский и Буденного противопоставляет Жлобе,— с прежним раздражением подумал Белобородов.— Доберемся и до Буденного, но всему свое время. Вот зал гудит от возмущения... Перебор здесь настолько же страшен, как и недобор...»

— К Буденному Блехерт не едет! — потрясал обличительно пальцем Колбановский. — Почему? Да потому, что его душит ненависть к Советам. Он боится не сдержаться, наговорить лишнего, испортить все дело заядлого контрреволюционера.

«Господи! — мысленно взмолился Белобородов. — Да разве можно так строить обвинение? Откровенная демагогия... Кому пришло в голову поручать такое дело этому болвану? Стыд-то какой!»

— Товарищи судьи, мне необходимо коснуться роли каждого подсудимого в деле измены. Но прежде всего я отвечу, почему Думенко вступил в Коммунистическую партию. Он пересолил, ругая Советскую власть, и чувствует, что за ним следят, вот почему он решает вступить в партию. Заявление он подал в декабре, но первый членский взнос сделал только в феврале. Товарищи судьи, вы знаете, что при поступлении в партию надо сейчас же внести деньги. Прошло целых три месяца с момента вступления его в партию до внесения членских взносов. Он сделал это лишь тогда, когда узнал, что комиссия ведет следствие. Это характерный факт.

Теперь посмотрим на нравственный облик Думенко. Он, безусловно, диктатор, не железный, конечно, а такой, которому кажется, что он диктатор. Вы посмотрите его резолюцию на газете «Красная Лава»: «Приказываю доставлять мне на просмотр, иначе арестую». И это он пишет не какой-нибудь обывательской организации, а партийному комитету. Что он груб, это видно из слов: «Встать!», «Молчать!» Товарищи судьи, во время боя говорит первый Думенко, в мирной обстановке — второй Думенко. В конце концов остается второй Думенко.

«Опять вернулся к двум Думенко. Повторяется, толчет воду в ступе», — почти с отчаянием отмечал для себя Белобородов, невольно выверяя свою речь: хватит ли у него самого необходимой логики и безусловности в доказательствах?

— Только из-за своего честолюбия Думенко бросает, не предупредив никого, свою конницу в бой и получает поражение на Маныче. Я уже не говорю о том, что конница после этого не могла называться непобедимой, я говорю о тех сотнях и тысячах людей, которые погибли из-за честолюбия Думенко.

Чтобы ясно установить, что имел место заговор, давайте разберем каждого подсудимого в отдельности. Думенко и Блехерт слишком определенны, и о них много говорить не приходится: они партизаны худшей марки. Кравченко принадлежит к активным членам этого изменнического кружка, он поехал с Захаровым и, безусловно, он ранил его. Кравченко сам подтвердил, что могло случиться то, о чем я говорил. Он ранил Захарова и произнес слова: «Одной сволочью стало меньше». Кравченко был сильно пьян, но в момент, когда пуля попадает в лоб другому, чувствуешь и видишь, что происходит. Теперь о Колпакове. Колпаков не может не быть активным членом этого заговора. Вместе с Думенко и Блехертом Колпаков имеет частые совещания, у них что-то загадочное. Товарищи судьи, я подхожу к Абрамову.

«И это все о преступлениях Колпакова? — с негодованием спрашивал себя Белобородов.— Да что же это за обвинение? Какой же это революционный суд?»

— Когда я читал показания Абрамова, я убедился, что этот человек умный и к нему надо подойти осторожно, во всех этих делах он кажется только тенью. Его трудно поймать. Мне сначала казалось, что он не причастен, но когда я наткнулся на одно объяснение, находящееся на 315-й странице, я понял, что Абрамов является руководителем. Он является силой, а не малой пешкой — это человек своего дела. Именно он едет к Буденному. Это не простое совпадение. В этом убеждает меня тот факт, что у него нашли переписку контрреволюционера Салина. Я спросил Абрамова, где находится сопроводительная бумага, присланная с этой перепиской; он ответил, что не знает; тогда я окончательно понял, что Абрамов является духовным вождем.

«Не много же тебе надо!» — продолжал мысленно глумиться над Колбановским Белобородов, беспокойно перебирая листы своей обвинительной речи.

— Вот, с точки зрения обвинительного акта, главные фигуры подсудимых. Почему-то Носова обвинительный акт почти не затрагивает. Разве он не участвовал во всех попойках, разве он был только молчаливым свидетелем и не исполнял незаконных реквизиций и грабежей? Если он не донес на штаб, то это потому, что он также сотрудничал. Нельзя иметь у себя человека, который не разделяет ваших стремлений. Он называет себя коммунистом с семнадцатого года, и это выяснилось только вчера. Когда его спросили о его политработе в штабе, он ответил, что не выступал на митингах. Он коммунист, но штаб его не стесня-

ется. О чем это говорит? Обвинительный акт явно смягчил вину Носова. Обвинительный акт также отделил и Ямкового; неужели потому, что он тоже коммунист? Верно, что к Ямковому штаб относился подозрительно, но Ямковой, будучи коммунистом, примазывается к штабу. Если он не донес о деятельности штаба, значит, он был вместе с ними. Попойки были началом, объединившим эту семерку. Может быть, перед нами не штаб измены. Верно, что ругать коммунистов и Советскую власть еще не означает измену, но убийство Захарова, убийство Микеладзе — разве ничего не говорят? Прочтите на 375-й странице, где говорится, что буденновцы и другие пленные, попадавшие к Деникину, расстреливались, а думенковцы оставались в живых. Это же рука, протянутая заговорщиками с той стороны фронта. Теперь понятно, почему Думенко и его штаб расстреливали пленных вопреки приказу. Думенко вчера говорил, что боевая обстановка заставляла делать это. Если бы они были окружены со всех сторон и расстреливали пленных, это еще было бы понятно, но они расстреливали их во время наступления. Почему? Потому, что пленные могли рассказать, откуда и кем протянута рука Деникину.

«Но позволительно спросить, — мысленно возражал Белобородов своему незадачливому коллеге, — простили бы или нет деникинцы Думенко расстрел их людей? Не логичнее было бы Думенко щадить деникинцев, как они щадили думенковцев?»

— Чтобы не терять свое влияние на конницу, они поощряли пьянство. Думенко сам не пьет, но спаивает свою часть, чтобы иметь на нее влияние. Товарищи судьи, я общественный обвинитель, и вам известно, что нам приходится переходить иногда от обвинения к защите и наоборот. Я искал, что бы могло смягчить вину подсудимых. И я нашел. Только смягчит ли это их вину. Я не вижу здесь перед собой политических преступников. Я сначала думал, что имею дело с настоящими белогвардейцами, но нет, это не белогвардцейцы. Они то, что называется партизанщиной самой худшей марки. Русская революция справедливо рассматривает подобную партизанщину как бандитизм. Это штаб бандитов. Обвиняя их в бандитизме, я сделаю исключение для двух бывших офицеров: для Абрамова и Блехерта. Они не бандиты. Они только желали воспользоваться бандитским настроением штаба для своих целей. Они действительно изменники и руководители заговора.

Товарищи судьи, когда я думаю о наказании, о том, что делать с этим штабом бандитов, руководимым двумя контрреволюционерами, я начинаю прислушиваться к общественному мнению. Я услыхал несколько дней тому назад мнение нашего ростовского мещанства. Мещане шепчутся, что мы освободили их, что они уже на свободе. Это говорят люди, незнакомые с пролетарским правосудием...

Люди в зале все откровеннее выражали свое неприятие обвинительной речи Колбановского. Думенко это чувствовал, осторожно, будто боялся разувериться в самых потаенных надеждах, поглядывал на защитников. Речь Колбановского, казалось ему, длится уже целую вечность. Но вот обвинитель прокашлялся, помолчал, кинул мрачный взгляд в сторону подсудимых. «Сейчас потребует моей смерти», — подумал Борис, еще не в силах представить себе, что это в конце концов все-таки прозвучит.

— Товарищи судьи, Советская власть применяет высшую меру наказания к стрелочникам — простым красноармейцам; неужели красные генералы, которые виновны по многим пунктам, должны нести меньшее наказание? Ведь нашего приговора ждет обыкновенный труженик, измученный незаконными конфискациями и разгулом партизанщины, вашего приговора ждет партия коммунистов, Красная Армия, которая хочет знать мнение РВТ о партизанщине, сиречь бандитизме. Я уверен в вашем приговоре, товарищи судьи.

Чуть поклонившись в сторону судей, Колбановский сел с видом человека, который исполнил высокий долг до конца, хотя это стоило ему огромной затраты душевных сил. Устало расслабившись, он вытер лоб белоснежным платком и замер в той покойной позе, когда человек уверен: потрудился он на славу.

Когда Думенко услышал, что слово предоставляется общественному обвинителю Белобородову, то испытал что-то похожее на озноб. Уж от этого человека, знал что ожидать: арестовывал он и допрашивал. Да, ничего не скажешь, давний знакомец. А когда-то было и такое, что Белобородов выказывал восхищение его подвигами. Он и сам порой готов был низко склонить голову перед Белобородовым в знак глубокого почтения: шутка сказать, в свое время этот человек поднял руку, чтобы покарать царя-самодержца. Какую отвагу надо было иметь! А уж что-что, отвагу Думенко умел ценить. С другой стороны, особенно в последнее время, после откровенных признаний Носова, понял, что Анисимов во многом в своих действиях направлялся Белобородовым. Что не смог Анисимов, теперь должен сделать Белобородов, а именно: довести его, Думенко, до последней смертной черты.

Прежде чем начать речь, Белобородов помолчал стоя, пытаясь утвердить себя в чувстве полнейшей уверенности, что в своем беспощадном отношении к Думенко и его братии он всегда и безусловно был прав. Он упорно искал встречи взглядом с Думенко, надеясь прочесть в нем нечто такое, что лишний раз подтвердило бы: да, это откровенный, лютый враг и — прочь, прочь всякие сомнения, тем более угрызения совести. Однако Думенко, опустив голову, неподвижно смотрел куда-то себе под ноги, и не было в нем ничего вызывающего, наоборот, был он

как-то угрюмо-нахохленный и тяжко обиженный. И Белобородов почувствовал себя так, будто у него не оказалось искры для запала. Начал он свое выступление, не в пример Колбановскому, без всякой торжественности, тихо.

— Товарищи судьи, на протяжении вчерашнего заседания перед нами прошли самые тяжелые, самые позорные страницы из жизни одной части нашего красного фронта. Потому самые позорные, самые тяжелые, что мы здесь видим не рядовых красноармейцев, не простых исполнителей приказов. Здесь перед нами находятся лица командного состава, здесь перед нами командир конного корпуса, начальники тылового и оперативного штабов, два коменданта, начальник снабжения. Из показаний свидетелей мне стало ясно, как обращались эти лица с политкомиссарами, как они ограждали себя от политконтроля, как они препятствовали политработе в корпусе, как они грабили и расхищали народное состояние. Если эти преступления были бы совершены простыми красноармейцами, их, конечно, можно было объяснить несознательностью, темнотой, неразвитостью. Но когда в этих преступлениях замешан командный состав, ответственные лица, которым вверяют судьбы нашей революции, нельзя признать никаких смягчающих обстоятельств. Когда мы рассматриваем совершенные ими преступления, мы должны, прежде всего, применить здесь суровые законы гражданской войны, которые до сих пор нам способствовали в тяжелой нашей борьбе. Здесь сидят люди, которые нарушали целость и стройность наших рядов, которые вносили дезорганизацию в армию, понижали боеспособность части.

«Вот тебе, получай, Думенко! — мысленно воскликнул Борис и даже покачал головой с трагической укоризной. — Не победы одерживал, а понижал боеспособность частей...»

— Я хочу здесь остановиться на той стороне дела, на тех причинах, которые привели к поражению на Маныче. В результате чего противник мог нас одолеть? Почему войска, прогнавшие Деникина через всю Донобласть, были совершенно дезорганизованы? Мы потерпели поражение, оставили много пленных, оставили много орудий. Какие были причины этого? Очевидно, или противник приобрел большую боеспособность, или наша боеспособность понизилась. Трудно допустить, что деникинские войска, которые терпели столько поражений, вдруг приобрели боеспособность. Остается допустить, что наши солдаты оказались ниже. Это совершенно бесспорно. Почему оказались ниже? Потому что несколько дней стоянки на одном месте, несколько дней отдыха их разложили. В политсводках часто пишется: солдаты утомились, им нужен отдых, нужно ввести резерв. Казалось, что отдых в Новочеркасске должен был оказать плодотворное влияние. Однако красные бойцы побежали от противника. Из заявлений и показаний комиссаров нам ясно, почему это

случилось. Корпус Думенко во время стоянки в Новочеркасске занимался расхищением винных погребов. Думенко должен был издать приказ о том, что всякое расхищение и грабежи должны быть прекращены. Этого сделано не было. Люди в корпусе были голодные, не пившие спиртного в течение нескольких лет. Найдя в Новочеркасске винные погреба, они будто приросли к городу.

Думенко до ломоты в пальцах вцепился в скамейку: «Так я же сам, сам умолял, требовал приказ для боевых действий! — мысленно кричал он, потрясенный тем, что ему не дано пробиться через какую-то непроходимую глухоту его обвинителей. — Не я ли говорил, нельзя нам долго топтаться в Новочеркасске?»

— И когда им пришлось покинуть эти винные погреба, когда им пришлось пойти в бой после двухнедельного пьянства, они дрогнули, побежали от врага. Здесь, на следствии, Блехерт и Колпаков признались в том, что они виноваты по 4-му пункту. Признались, что пили, что были истории с женщинами. Хотели доказать, что они умеют гулять не хуже тех белых офицеров, что находятся в стане Деникина. Если бы они пили в своих казармах, то это было бы полгоря, но они пили в штабе, куда приводили женщин, где устраивались пьяные оргии, пили там, где обыкновенно происходит ответственная работа, которая располагает жизнью людей. И вот как следствие — поражение на Маныче.

Есть еще одно преступление, на котором я хотел бы остановиться, — убийство Микеладзе. Я позволю себе при этом в кратких чертах показать отношение обвиняемых к политработникам. К тем, кого посылает не только Коммунистическая партия, посылает Советская власть. Здесь Думенко заявил, что он относится к политическим комиссарам строго, потому что они любили находиться в тылу. Это, конечно, единственная соломинка, за которую можно ухватиться. Это единственный довод, который можно привести, никаких других доводов у Думенко нет. Этот довод не выдерживает никакой критики. Можно привести, перечислить те потери, которые понес политический состав корпуса. Здесь упомянули, что один ответственный работник корпуса — Ананьин — был ранен в бою. Из других донесений мы знаем, что политические комиссары честно выполняли директивы. Может быть, они в последнее время прониклись сознанием долга, но об этом Думенко ничего не говорил. Раньше он относился к политическим работникам с предубеждением потому, что они трусы.

«Да нет же, нет, нет! — опять мысленно закричал Думенко, едва сдерживая себя, чтобы не вскинуть протестующе кулаки.— Не считал я всех трусами».

— Почему же в последнее время, когда они своей кровью доказали, что могут сражаться, он этого отношения не изменил?

Отношения между штабом и политическими работниками корпуса не носили характера политической вражды. Враждебные отношения были не потому, что они расходились в своих политических убеждениях, не потому, что не разделяли политической программы. Это была вражда бандитов с началом дисциплинированности Советской власти. И в политических комиссарах они видели прежде всего представителей дисциплины и порядка. Политическим комиссарам поручили сложное, ответственное дело создания дисциплинированности в Красной Армии. Когда политические работники в корпусе пробуют осуществить на деле это поручение, их грозят зарубить, обещают «снести котелки» и так далее.

Теперь перехожу к убийству Микеладзе.

И опять Думенко едва не встал, как бы остерегая не прикасаться до его самой кровоточащей раны.

— С приездом Микеладзе Думенко убедился, что сила противника выше его, он увидел ответственного политического работника, занимавшего в городе Москве крупную политическую должность. Думенко начал чувствовать его тяжелую стальную руку. Думенко почувствовал, какую силу представляет из себя этот человек, ставший на его дороге. И вот Микеладзе уезжает с важнейшей миссией к блиновцам. И удивительное дело, комкор не обеспечивает ему охрану. А когда военком куда-то исчезает, он лишь кричит на своих подчиненных, вопрошая: где военком? А надобно не вопрошать, а искать, надо было головой отвечать за его охрану.

Какое-то время Белобородов полагал, что ему удалось обрести естественный обличительный тон, искра пробилась, запал сработал. Но вот кто-то второй в нем вдруг спросил довольно зло и ехидно: «А не сбиваешься ли ты сам на фальшивую ноту Колбановского?» Белобородов даже запнулся. На мгновение-другое умолк. Да имеет ли он право обвинять Думенко в самом тяжком — в смерти Микеладзе?

Еще когда готовился к обвинительной речи, Белобородов решил для себя выделить два момента: поражение на Маныче оказалось не случайным, потому что корпус Думенко по вине его высших командиров достиг критической точки в своем разложении; Микеладзе послали с приказом к блиновцам для виду, чтобы заманить его в ловушку, потому штаб Думенко и не проявил никакого интереса к дальнейшей судьбе приказа, получили его или не получили — никого не беспокоило. Это ли не доказательство, что ловушка такая была подстроена и черное дело совершилось?

И все-таки Белобородов чувствовал всю шаткость этой версии. Ну, а если Думенко был потрясен гибелью военкома настолько, что его больше ничего не интересовало? Могло быть и такое, что он понял, насколько трагические обстоятельства

загнали его в угол, почувствовал, что круг замкнулся, и опустил руки.

И как умный, хитрый Абрамов не мог сделать вида, что его очень интересует судьба приказа? Да и Блехерт тоже? Неужели не могли себе представить, как все против них обернется? А может, они были уверены, что с правосудием Советов не столкнутся, потому что переход к белым, как им представлялось, был делом нескольких часов?

Все это Белобородов напряженно ворочал в голове, когда выстраивал обвинительную речь. Старался убедить себя, что он прав, прав и еще тысячу раз прав в своей оценке личности Думенко и его поступков. Теперь надо было убедить в этом суд и тех, кого пригласили в зал.

А люди в зале, между тем, чувствовали себя все нервознее.

И, собрав все силы, чтобы голос прозвучал как можно убедительнее, Белобородов спросил:

— Что предпринял начальник оперативного отдела Блехерт, что предпринял начальник штаба Абрамов для того, чтобы узнать, получен ли бригадой оперативный приказ о подчинении этой бригады корпусу? Ничего. Совершенно ясно, что этот приказ о подчинении бригады Блинова появляется на свет только для того, чтобы заманить Микеладзе в определенное место. Микеладзе убит. Штабу Думенко совершенно не интересно, пропал ли приказ, попал ли он в руки противника. Им это не важно. Они великолепно знают, что Микеладзе убит, задача блестяще выполнена, следы скрыты. Здесь есть два коммуниста: Носов и Ямковой, сочувствующий Абрамов, четвертый коммунист Думенко. Когда исчезает ответственный работник Коммунистической партии, что эти коммунисты предпринимают, чтобы выяснить его судьбу? Ровно ничего. Что предпринимает Носов, который, по его словам, получил определенные директивы от члена Реввоенсовета Анисимова следить за Думенко? Ничего. Что предпринимает для того, чтобы по долгу совести разыскать ответственного представителя Советской власти, политического комиссара? Тоже ничего. Вот какие коммунисты сидят на скамье подсудимых в этой почетной компании. Здесь, в следственном материале, есть чрезвычайно много показаний и на другие, более мелкие проступки, но я хочу остановиться на важнейшем моменте — на бандитизме штаба, который мешал армии, понижал ее боеспособность, поощрял грабежи и насилия, мешал политической работе комиссаров; эти бандиты разлагали не только свои собственные части, разлагали вместе с тем и другие соседние части. Штаб Думенко, его действия останутся навсегда в истории нашей борьбы как суровый урок. Невероятная тьма, которая была в его корпусе, убийство политического комиссара, ранение другого политического комиссара — все это останется на страницах борьбы Красной Армии. Но мы должны также

занести в историю и свой приговор за преступления, которые совершались ответственными людьми, стоявшими во главе частей Красной Армии. Здесь перед нами не только определенные лица, здесь перед нами не только Думенко и его штаб; перед нами позорное явление, мимо которого не может пройти Революционный трибунал. Всем, кто мешал работать, как Думенко, Блехерт, Абрамов, всем, кто участвовал в этой теплой компании, как Носов и Ямковой, всем, кто пробовал совратить армию, кто вывел армию на путь бандитизма и хулиганства, всем, кто совершил огромное преступление и проступки против Советской власти, — всем им Реввоентрибунал должен вынести приговор, карающий высшей мерой наказания. Этот приговор я требую для всей компании, которая сидит на скамье подсудимых.

Произнес Белобородов последние слова с накалом, стараясь прежде всего в самом себе убить чувство неуверенности. В настороженном, подавленном молчании зала ему чудилось недоумение, будто люди ждали от него чего-то другого, куда более убедительного, весомого. А может, все это кажется? Проклятые нервы. И Колбановский смотрит на него с какой-то непонятной ухмылкой. «Не позволяет ли он себе роскошь думать о моей речи точно то же, что я думал о его краснобайстве?»

Подавляя в себе что-то похожее на чувство стыда, Белобородов глянул на Думенко. По-прежнему бывший комкор смотрит себе под ноги, как бы уже вглядываясь в дно могилы, которую ему здесь так старательно копали, слабо перебирает обескровленными пальцами на коленях, словно неуверенно нащупывает последнюю тончайшую нить, связывающую его с жизнью.

И только когда Розенберг предоставил слово защитнику Шику, Думенко вдруг встрепенулся, на мгновение засветились надеждой его затуманенные глаза.

Шик как-то боком выдвинулся из-за столика, заговорил, разводя смущенно руками:

— Когда размышляешь над превратностью судьбы в период революционных потрясений, невольно вспоминаются слова Мирабо: «От Капитолия до Тарпейской скалы — расстояние очень короткое». Думенко — вождь красной конницы, вчера — торжествующий победитель, сегодня — предатель, протянувший руку врагу. Подсудимый подавлен и потрясен этими обвинениями. Он то путает и впадает в противоречия, то замыкается в себе, молчит и недоумевает. Сказалась душа крестьянина, темного и духовно забитого, боящегося суда пуще смерти. «Суд наедет, отвечай-ка». Храбрый в боях, он смущен в словесной распре. Но это смущение разделяет отчасти и защита в процессе, где почти нет живых людей. Свидетели, перекрестный допрос — не пережитки старого суда, как думает обвинитель, это способ разыскания истины, применимый, пока не упразднены законы логики, в различных политических условиях. Вчера допросили Жукова, и по-

казание его произвело столь сильное впечатление на обвинителя, что он энергично потребовал, чтобы свидетеля немедленно посадили на скамью подсудимых. Заведующий политическим отделом Кавказского фронта Балашов утверждал, что политическая работа даже в маленьких единицах армии ему известна в мельчайших подробностях, а после допроса оказалось, что он не читал докладов политического отдела корпуса, посланных в штаб армии. На этих примерах, схваченных на лету, вы видите, какое значение имеет перекрестный допрос. Но обстоятельства сильнее нас, приходится ограничиваться письменными материалами, документами, применяя с летописным спокойствием способы исторического исследования в разрешении основного вопроса: был ли организован штабом Думенко заговор против Советской власти? Если подсудимые ругали иных комиссаров, смеялись над теми, кто неспособен ездить на коне, рубить шашкой и должен служить в пехоте, то все это — не государственное преступление, которое начинается только с того момента, когда подсудимые, спаянные в тесную группу, стремились использовать вооруженную силу во вред Советской власти.

Думенко напряженно следил за медленными жестами защитника, и пока больше всего вселяло ему надежду именно то, что человек этот какой-то основательный, несуетный. Однако смысл речи его усваивал с огромным трудом, порой даже хотел переспросить нетерпеливо у рядом сидящего Абрамова: дескать, про что он такое говорит? И оттого, что он далеко не все понимал, лицо его было потерянным, трагически обескураженным.

А Шик продолжал глубоко, раздумчиво и как-то очень выстраданно:

— Историческое исследование прежде всего объясняет мифы и критически разбирает устные предания. В настоящем деле много творимых легенд, образующих общий фон и затемняющих подлинную правду событий. Над трупом кружатся вороны, над опальным человеком, переживающим свою славу, проносятся зловещие слухи.

К разряду подозрительных устных сказаний относится рассказ некоего красноармейца о том, что белые расстреливали пленных Буденного и не трогали думенковцев, причем красноармеец «притворился думенковцем» и спас себе жизнь. Кто этот мудро спасшийся, существует ли он в природе вещей или его создала злая молва, так как, если бы это походило на правду, тревожный гул пронесся бы по всей Красной Армии.

Иногда действительное событие, постепенно видоизменяясь в непрерывной передаче, приобретает легендарный оттенок.

От мифов перейдем к фактам. Ананьин, Пискарев и член Военного Совета Белобородов создали дело Думенко. Обвинитель считает их доклады непогрешимыми источниками, но я позволю себе в этом сильно усомниться...

Белобородов, сомкнув руки на груди, выпрямился, чуть запрокинув голову, как бы издали наблюдая за Шиком, внимательно следя за малейшими изгибами его мысли. Да, он, Белобородов, создавал дело Думенко и хотел бы, чтобы оно было доведено до конца со всей добросовестностью. Но вот беда, далеко не все брались за это дело с полной ответственностью, а когда взялись, похоже, оказались не готовы. Как бы защитники не воспользовались этим весьма и весьма печальным обстоятельством. Формально они могли оказаться правы, а воспитательное, профилактическое значение процесса может оказаться подорванным. Надо быть начеку, тем более что надежды на его коллег здесь не очень много.

— «От командира бригады Лысенко, — пишет Ананьин, — я получил известие, что Думенко в присутствии свидетелей приказал меня арестовать и уничтожить. Ввиду этого я организовал эскадрон, сообщил пароли... Впоследствии выяснилось, что Лысенко отказался исполнять приказ о моем аресте. Я переехал в бригаду Жлобы». Ссылка на свидетелей, решительные меры, пароль, явная опасность для жизни, уход под защиту Жлобы — все это при чтении производит впечатление, безусловно, правдивого рассказа, если бы не 2—3 строки в рукописи Лысенко. «Мой разговор с Думенко об аресте Ананьина, — пишет Лысенко, — был шутейный, и раньше он шутил на разные темы». Покушение на комиссара оказывается фальшивой тревогой, ночным страхом, а в донесении — все грозно, все предвещает близость восстания.

Тревогу Ананьина разделяет товарищ Белобородов. Он предлагает политическим работникам быть наготове и застрелить Думенко при первой попытке восстать или открыть фронт. «Шельмование Советской власти, — пишет Белобородов, — было со стороны Думенко столь демонстративным, что Лысенко поставил вопрос, подчиняется ли командир корпуса Советской власти». Можно подумать, что это был страшный вопрос, обращенный верным бойцом к готовому на измену командиру. Но стоит сверить доклад Белобородова с рапортом Лысенко — и сразу тускнеют и слово «шельмование», и торжественный тон вопроса.

На собрании командиров и комиссаров Думенко по своей инициативе поднял вопрос о грабежах, разлагающих отряд, и о необходимости положить этому предел. В этом заседании Думенко резко оборвал Ананьина замечанием: «Будьте ближе ко мне, не признаю тех, кто отходит от меня...» (вероятно, намек на побег к Жлобе). В этом эпизоде Лысенко усмотрел «неуважение к законам страны». «Всякого, — пишет Лысенко в своем рапорте, — надо выслушать и не прерывать. Словами «Признаете ли вы Советскую власть» я хотел подчеркнуть Ваше упущение».

Таким образом, не «шельмование» власти вызвало вопрос, а нарушение парламентского порядка в совещательном собрании. Это столкновение личного характера распалило гнев Ананьина, и перо его задышало ненавистью. Думенко, докладывает он, мнит себя Наполеоном, он — мелкобуржуазный выродок с большим самолюбием, мелким тщеславием, склонный к идеалам эсеровского народоправства.

Третий, Пискарев, тот самый, которого Думенко поймал пьяным, с чайником спирта, рассказывает ужасную историю о двух изнасилованных и расстрелянных сестрах милосердия. Обвинитель создал образ замученных женщин, посвятивших свою жизнь страждущим на полях битвы. Этот негодующий пафос, приподнятый тон сильно раздражают, ибо, прежде чем негодовать, надо убедиться, что действительно в селе Дегтеве ночью совершилось злодейское дело. Были ли там сестры, насиловали ли их — все это излагает Пискарев со слов ординарца Жорникова, уволенного, по его словам, за то, что не мог угодить развратным требованиям штаба. Жорникова никто не допросил, и поэтому над развратом штаба и над добродетелью Жорникова должно поставить знак вопроса. А может, это был подслушанный разговор... Какое сильное впечатление производит сцена, когда Думенко срывает орден Трудового Красного Знамени, бросает его в сторону со словами: «От Троцкого получил, с которым придется воевать». Изображено живо, ярко, с резкими скульптурными очертаниями, а между тем это подслушанный Пискаревым разговор Дронова с Кравченко. Подслушанный разговор, замочная скважина всегда навевают тяжелые думы.

Как известно, заговора без знамени не бывает. Если знамени нет, его надо выдумывать; оно нашлось, и не простое, а с эсеровскими лозунгами, настоящее знамя из красной парчи, с буквами, изображенными свежей краской. Об этом крамольном знамени Пискарев пишет доклад по начальству, а Думенко это знамя с надписью «4 кав. дивизия» везет Буденному по принадлежности. Знамя это было найдено думенковцами в квартире белого генерала Молчанова.

Я полагаю, что случай неправильного описания фактов вполне оправдывает скептическое отношение к донесениям и значительно подрывает веру в их беспристрастие. По-видимому, в высших военных кругах не придавали решающего значения ругани и столкновениям с Ананьиным, ибо доклады не влекли за собой никаких мер реального воздействия. Правда, помимо эсеровских знамен и легенд об изнасиловании сестер в донесениях встречаются указания на бандитизм, на сознательное противодействие работе политических отделов, на отказ в предоставлении подвод для перевозки литературы, но все это малообоснованно и без натяжки может быть объяснено ненормальными условиями походной жизни.

Обвинители говорят: в корпусе были бандиты и разбойники. Безусловно, хищения были, хотя не такие, как в других местах; я не намерен оправдывать их ни прямо, ни косвенно и всецело присоединяюсь к призыву бороться с ними властной рукой. Но Думенко не оставался безмолвным зрителем бесчинства, мы знаем, что он, собрав командный состав, держал речь о необходимости бороться и положить предел грабежам, которые разлагают и позорят корпус. Все, что было в пределах его сил, Думенко, делал, но в ужасах гражданской и всякой иной войны есть своя логика. Вспоминаю эпизод на большой дороге, которая ведет из Польши и Литвы в Москву, на той дороге, на которой ныне свершаются исторические события. Кутузову был представлен доклад о взысканиях за противозаконно взятый овес. Старый генерал закачал головой: «В печку, в огонь... Все эти дела в огонь. Я этого не признаю и не позволю, но и взыскивать не могу...»

Слабое развитие политической пропаганды объясняют противодействием Думенко, замыслившим вооруженное восстание, и проходят мимо ряда фактов, указывающих на другие причины, наводящие на иные размышления. По докладам политотдела, работа в корпусе не заглохла, она шла средним темпом, без особого подъема, но и без явного нерадения. Быстрое передвижение корпуса мешало политической работе, под обстрелом трудно ставить спектакли и читать лекции. Помимо этого, личный состав политических работников не был на высоте. Об этом определенно пишет Микеладзе: «Особый отдел никуда не годится». И, по-видимому, прав Думенко, требуя, чтобы некоторые политические работники были устранены за непригодностью. Если в штабе не давали подвод для перевозки литературы, то это вызывалось военными обстоятельствами, так как не хватало подвод для раненых, которых приходилось за сотни верст на холоде отправлять на обывательских подводах. Вопрос перевозочный стоял очень остро, пришлось даже действовать нагайками на одного председателя станичного исполкома, который скрыл подводы, предназначенные для раненых.

Лицо Думенко постепенно прояснялось. У него было такое ощущение, что ему удалось пробиться через непроходимую чащобу к свету. Да, теперь он все, все понимает, о чем говорит защитник. Это должны понять и все остальные. Это же так ясно, как божий день. Не виноват он, нет, не виноват.

— Я рассмотрел ряд фактов. Некоторые из них могут быть истолкованы как неприличная ругань, роняющая достоинство командира корпуса, как недостаточно напряженное противодействие партизанским навыкам; но каждый факт в отдельности и все вместе не служат доказательством существования организованного заговора. Если штаб был накануне восстания, то его подпольная работа в каких-нибудь формах проявилась бы в вой-

сках, которые заговорщики неминуемо должны были вовлечь в свою работу. Между тем все доклады отмечают доброе и спокойное настроение, а политический отдел считает, что реальная сила Думенко — шестьдесят человек его ординарцев.

Ранение Захарова и убийство Микеладзе обвинители считают особо типичным проявлением существовавшего и уже начавшего реализовываться заговора. Захаров случайно забрел в штаб Думенко и попал на общий завтрак. В беседе была злобная критика особого отдела, и Блехерт возносил личность Думенко до наполеоновского уровня, но в этих речах не было ничего такого, что заставило бы опасаться огласки со стороны Захарова. На завтраке присутствовал Жлоба, нерасположение которого к штабу Думенко было слишком известно, а между тем его не стеснялись и не боялись, а к Захарову, к постороннему, к приезжему, к человеку без особого веса и влияния, вдруг почувствовали смертельную вражду. Обстановка покушения указывает, что все произошло по пьяному делу. Вечером была пирушка с вином, женщинами, и Захаров плясал в халате. После танцев поехали к женщинам. В экипаж сели Кравченко и Захаров, последний настолько охмелевший, что не помнил, с кем и куда он поехал. Что произошло по дороге, неизвестно, но кто-то вытащил Кравченко из экипажа, а в Захарова выстрелил и сказал: «Одной сволочью стало меньше». Захаров слышал только выстрел и эти слова,— что было до этого, что было после, он в пьяном угаре не помнит, не помнит этого и Кравченко, ибо было выпито основательно.

Перехожу к последнему сказанию — загадочному убийству комиссара Микеладзе.

Шик помолчал, сдержанно передохнул. Поерзав нетерпеливо на скамье, Думенко замер, боясь пропустить хоть одно слово защитника по такому бесконечно важному пункту. Сейчас, сейчас он в этом деле все как следует растолкует, всех вразумит. Только бы вот говорил понятными словами, а то, не дай бог, не все его поймут, как не все порой понимает он, Думенко.

— До приезда комиссара в корпусе, по официальным сведениям, было тревожно. 10 января Анисимов телеграфирует Военному Совету, что «Думенко — определенный Махно» и что «поговаривают об его соединении с Буденным». Со дня на день ждут вооруженного выступления и ведут переговоры со Жлобой о ликвидации готового вспыхнуть мятежа. 13 января сообщают в Военный Совет подробности переговоров со Жлобой. Он готов спасти положение, но для этого необходимо или подчинить ему еще одну бригаду, или назначить его командиром корпуса вместо Думенко. Неприязненные отношения Думенко и Жлобы — притча во языцах. Доклады всякий раз отмечают конфликт между ними на почве боевого соперничества и различного отношения к комиссарам, которые боятся Думенко и находят убежище в

бригаде Жлобы. Комиссары характеризуют Думенко как «зарвавшегося пройдоху», а Жлобу превозносят до небес. Он отличился при взятии Новочеркасска (доклад товарища Ананьина), его следует наградить орденом Красного Знамени (доклад политотдела корпуса). Понятно, что Жлоба должен был явиться опорой в последнюю минуту, когда положение обострилось до такой степени, что Белобородов отдал политическим работникам приказ, жертвуя собой, перестрелять штаб Думенко при первой попытке поднять восстание.

В этот момент высшего напряжения появляется в штабе Микеладзе, спокойный, выдержанный. Натиску Думенко противопоставлено размеренное движение. Есть люди, способные с поразительным умением мудро поступать в делах практических. Установленных формул, общих положений они не признают; даже научная, абсолютная истина преломляется в их сознании как переменное, в условиях места и времени, житейское правило. Люди подобной складки рассуждают своеобразно. Прямая линия есть кратчайшее расстояние; положение это, правильное в геометрии, неприменимо к политике; быстрота падения тел одинакова, но противодействие среды должно учитываться точно. Если действовать осторожно и терпеливо, то кривизна выпрямляется и неровные пути становятся гладкими. Эти свойства натуры Микеладзе помогли ему в свое время обойти контрразведку Деникина и спастись в условиях чрезвычайных. Без шума, без излишней суеты, без ссылки на свои права и официальное положение, медленно и постепенно Микеладзе овладевает Думенко и приручает его. В борьбе дипломата с воином побеждает первый. Проходят всего 10—12 дней, и положение улучшается. Из скрытой борьбы Думенко и Жлобы он находит деловой выход: надо удалить некоторых лиц из штаба, а в общем, замечает он, «Думенко идет навстречу, разделяет многие мои предложения и посылает на подпись все приказы».

Отношения наладились к общему благополучию, приказ Белобородова об аресте Думенко не исполняется, предложения Жлобы повисли в воздухе, как вдруг в ночь со 2 на 3 февраля труп Микеладзе находят в овраге.

«Для чего потребовалось убивать — неизвестно», — пишет начальник политического отдела, хорошо осведомленный в делах корпуса. Этот вопрос стоит перед каждым, кто вдумается во внутренний смысл событий. Может быть, спокойствие, наступившее в корпусе, было невыгодно для лиц, имена коих неизвестны. Я не желаю одно предположение заменять другим, но не могу не отметить и не подчеркнуть этой тайны. Может быть, пройдет время, и тайна рассеется, а пока нельзя принимать на веру шаткие гипотезы. Чтобы объяснить неизвестное, предполагают, что Думенко притворился доброжелательным и этим усыпил бдительность Микеладзе. Но Думенко по свойству своего

характера совершенно неспособен извиваться и выдерживать трудную иезуитскую роль. В роковую ночь Микеладзе ушел из штаба с боевым приказом в отряд Блинова, и обвинители подозревают, что приказ был предлогом удалить комиссара. Подозрение это беспочвенно, так как Микеладзе не думал оставаться на ночь в штабе Думенко, а решил уехать к Жлобе. Штаб отряда Блинова был по пути, и дорога шла через тот же овраг. Уликой не служит и то обстоятельство, что штаб не приступил немедленно к следствию и поздно напечатал приказ. Если бы чины штаба были прикосновенны к делу, то они постарались бы взять следствие в свои руки, чтобы замести следы, навеять сомнения и предать дело божьей воле. Они не могли проявить небрежность там, где обстоятельства требовали быстроты и энергии.

Я вначале сказал, что испытываю смущение; оно не покидает меня ни на минуту. Рассматриваешь отдельные обвинения, анализируешь улики, а в голове шевелится тревожная мысль: правильно ли взято направление, не заслоняют ли частности основной идеи процесса? Эта идея, по мнению обвинителей, борьба с партизанщиной. В этом освещении и ругань, и неприязнь к комиссарам характерны как признаки надвигающейся грозы. Партизанство — это не маленький недостаток механизма, это неизбежное свойство корпуса Думенко, объяснимое и личностью командира, и историческими условиями времени.

Политическая мысль, выработанный план, программа, организованный порядок — все это не доходит до сознания Думенко. Он весь во власти инстинкта и порыва, он не солдат революции, а партизан.

И опять смертельно затосковал Борис: «Эх, защитник! Что же ты говоришь?» Он, Думенко, не солдат революции! Как же так?! Этим и гордился безмерно, что считал себя солдатом революции. Может, в чем и прав он насчет партизанщины. Бывало, рубил сплеча не только саблей, но и словом. Думалось: поослабь чуть-чуть вожжи — не то уважать, слушаться перестанут. Не ангелы же сидели на конях в его коннице, нет, не ангелы, иные дьяволы сущие! Но, может, может, когда и перебирал лишку. Промчишься сквозь тысячу смертей, нахлебаешься чужой и своей крови — осатанеешь. Особенно когда тебе еще при этом палку, как собаке, в зубы тычут. Ты сякой, ты растакой, матерки пущаешь! А то и твоих же подчиненных на тебя науськивают. Взять того же Жлобу. Тут надо воевать с Деникиным, а позади пистолет в затылок, пощечины от своих же! Ты ему приказ даешь, а он тебя на мушке держит. А ну-ка обойдись без матерка! Тут волком зубами заклацаешь! Ну как же тут терпеть? Вдумайтесь во все это, граждане судьи! Может, так и сказать в последнем слове? А еще можно было бы сказать и другое. Дайте, мол, свободу, пусть я снова сяду на коня. Рубить беляков буду

так, как не бил еще никогда. И если погибну, то пусть это будет в сече с врагом. Разве мог он, Думенко, стать предателем, перейти к подлым деникинцам? Да сам удушился бы скорее, чем сделал подобное. И со Жлобой помирился бы. Как брата родного обнял бы, только бы объяснили ему: не надо хвост поднимать против Думенко, а уж саблюку и подавно. На волю бы, на коня! Еще тысячу раз доказал бы, что он именно солдат революции. А если и гибель, то пусть бы в бою, пусть бы уж враги изрубили в куски. А от своих смерть принимать — хуже всякой смерти. Неужели суждена ему все-таки смерть от своих? За что?!

В памяти Думенко вдруг зазвучал многотысячный топот коней, земля загудела. Представилось в хищном, стремительном наклоне несметное число краснозвездных конников. Зияют раскрытые рты, сверкают бесчисленными солнечными вспышками сабли, храпят, тяжко дышат, ржут взбешенные, взмыленные кони. И даже запахи явственно донеслись, пронзительные запахи конского пота, ископыченной полыни, взвихренной пыли.

Стучит гулко сердце, измученное обидой, тревогой, тоской, переполненное неизбывной силой надежды на справедливость. Стучит сердце. В воображении Думенко скачет несметная конница. Да, свершилось бы чудо, раздвинулись бы стены, и увидел бы он свое войско хотя бы где-то в бескрайней дали. Нет, зачем же в дали? Пусть бы выхватила его отсюда неукротимая мощь его красной конницы, косматой, неудержимой, неистребимой. И тогда бы снова взыграла у него кровь, налилась бы беспромашная его рука смертельной для врага силой. Он же еще так много смог бы сделать для революции, для России, для народа. Ему же всего тридцать два... А сколько уже за спиной. Пусть, допустим, говорун этот Колбановский, который требует ему смертушки, проживет еще десять своих жизней по сто лет каждую — сумеет ли он уравняться с ним, Думенко, в делах, полезных для революции? За что же он тогда требует ему смерти? За что?!

Кажется, именно это и хочет растолковать защитник. Ах, какая жалость, что слова его не все понятны, мудреные все какие-то слова. А если их плохо понимает не только он, Думенко? А надо, надо же, чтобы каждое слово сейчас, как пуля, стреляло и попадало без промаха в напраслину, в клевету.

Думенко тянется всем своим существом к защитнику, слушает его, кажется, не только ушами, всей плотью, а сам умудряется и про конницу думать, про судьбу свою, воспламененный надеждой, разбушевавшейся страстью к действию, подвигу, ко всему, что вмещается в удивительно короткое, но бездонное слово — жизнь. Нет, не отнимут жизнь у него, не отнимут единственную. По крайней мере здесь не отнимут. А на поле брани, что ж, разве он там щадил свою жизнь?

— Революция после Октября двигалась не по ротам и батальонам, она буйным ветром пронеслась по лицу земли. У Тургенева есть прекрасный рассказ «Призраки». Призрак пронесся над великой русской рекой. В хаосе звуков раздался бурлацкий смех, а за ним послышались лошадиное скаканье, набат, пьяная песнь, яростная ругань, неутешный плач и удалой посвист. Бей, топи, режь... Степан Тимофеевич идет, зашумело вокруг, зажигай со всех концов да в топоры их, белоручек...

Эта стихия между Доном и Волгой в необъятном просторе полей вызвала к жизни крестьянина Думенко. Во главе партизанских отрядов он неустрашим, его сила — натиск, он живет на фронте, и для него глубоко безразлично, что думает тыл и какие там создаются течения. Боевой успех поднял его в собственных глазах на значительную высоту. Он верит в свой зоркий глаз, твердую руку и резко критикует предписания свыше. Ругань носится в воздухе, изумляет своей дьявольской изощренностью, пробегает по прямым проводам Дона и Поволжья и доносится до штаба. «Фронт открою до самой Москвы...» Это не Рубикон, не решение, это хвастливый задор степняка, словесная угроза всем, кто мешает его стремительному бегу. Задор сменяется растерянностью, когда Думенко попадает в среду политических работников. Многого он просто не понимает и кружится по сторонам, будто в метель попал. Комиссары нужны, но только для мобилизованных, а не для него, Думенко, старого партизана; грабеж недопустим, но арестовывать провинившегося бойца без его, Думенко, разрешения нельзя, если боец на фронте с самого начала революции. Его обвиняют в закрытии газеты «Красная лава», то есть во вмешательстве в область политического отдела с целью помешать коммунистической пропаганде. Но в этом вмешательстве нет ничего политического, Думенко напал на печать с военной целью. В газете помещено описание взятия Новочеркасска, в котором он усмотрел желание умалить заслуги корпуса и возвеличить Жлобу. Жлобе приписывают афоризм: «Танки есть ничто». А кто бросил в толпу эту мысль, как не он, Думенко? Не бригада Жлобы брала Новочеркасск, а корпус Думенко. Не стерпело ретивое — и размахнулся, словно саблей, цензорским карандашом. Во всем степная ширь, удаль, недостает такта и выдержки. Прошел Степан Тимофеевич. Вы скажете, миновала пора партизанщины, надо строиться по колоннам. Это правда, можно бороться с партизанами железной рукой, произносить суровые речи, но нельзя переделать натуру Думенко ни словами осуждения, ни сектантскими заклинаниями. Он дик и суров, ему надо странствовать еще сорок лет в пустыне.

Вот какова личность в ее бытовом изображении.

Но быт не оправдывает, говорит обвинитель, идея целесообразности господствует над трибуналом. В речах защитников, выступавших в трибуналах, созданных французской революцией,

замечают историки, были ссылки на вечные законы, за декларацию прав, но не было оценки данного политического момента, злобы дня. Может быть, это особая сторона защиты, а может быть, в этом сказалось несоответствие идей правосудия с интересами политической целесообразности. Я не принадлежу к Коммунистической партии. В последнем воззвании Советского правительства по поводу войны с Польшей в первый раз встречается обращение не только к рабочим и крестьянам, но и ко всем «честным гражданам». Я выражаю думы этих честных граждан, я разделяю их колебания и сомнения. Я знаю, что революция не щадит имен; многие, носившие свои головы высоко и гордо, словно святые дары, сложили их на гильотине. Так было прежде; так бывает и теперь, в смятенные дни. Обвинители требуют «высшей меры наказания». Роковое слово не произносится, оно висит в воздухе, оно означает казнь — смерть. Когда возгорается старый спор с белой Польшей, нужна ли эта жертва, не создаст ли она брожения в умах, не поднимет ли на высоту мученический образ казненного? Звуки, как искры, разлетаются во все стороны. «Слышишь?» — застонал Остап на плахе. «Слышу»,— раздался голос в толпе, а затем отыскался след Тараса. Я думаю, что в вашем приговоре будет призыв к новой, опытом умудренной жизни, а не весть о смерти с ее вечным молчанием.

Шик с достоинством поклонился судьям, задержал долгий, полный откровенного сочувствия взгляд на Думенко и его товарищах и очень тихо, словно боясь вывести из глубокой задумчивости судей и народ в зале, сел на свое место.

Под потолком медленно высветлялась люстра. Думенко вскинул к ней лицо. И было в нем в это мгновение что-то от просветленности верующего, обратившегося в тяжелую минуту с мольбой и верой к иконе: свет люстры сразу после выступления защитника он воспринял как подтверждение надежды на спасение.

И только тогда, когда объявили, что слово имеет защитник Бышевский, Думенко оторвал взгляд от люстры.

— Еще с июля месяца 1918 года в деятельности комкора Думенко стала замечаться, по словам обвинительного акта, контрреволюция, — начал Бышевский тоном человека, которого коробят и возмущают нелепые доводы оппонентов. — Тогда еще примечали, что Думенко сумбурный, вздорный и неумный вахмистр старой дореволюционной армии и что возомнил он себя Наполеоном и решил повести за собой необузданную, темную массу русского народа. Казалось бы, что после таких наблюдений надо было сделать один только вывод: Думенко следует убрать из армии, исключить из списка революционеров. Но происходило совершенно противоположное: Думенко преподносят орден Красного Знамени, Троцкий презентует ему золотые часы и Реввоенсовет дает ему высшую боевую награду — золотое оружие.

Как же это понять? Чем объяснить такое противоречие? Разгадать не трудно, в чем заключается смысл указанной политики в отношении Думенко. Думенко нужен был тогда, когда, не мудрствуя лукаво в политике, просто стоял на страже революции, бил белую гвардию. Но достаточно было ему проявить недоброжелательство к некоторым лицам, стоило ему только несколько раз ругнуться так, чтобы в этой ругани можно было усмотреть желание подорвать авторитет Советской власти и погромную проповедь, и песенка Думенко должна быть спета. Враги Думенко давно ждали случая покончить с ним и его штабом.

«Вот уж что верно, то верно», — подумал Борис, радуясь, что этого защитника он понял с первого слова.

— Случай такой вскорости представился. Произошло покушение на Захарова и убийство военкома корпуса Микеладзе. В этих злодеяниях был заподозрен Думенко со своим штабом. Их заточили в тюрьму и посадили на скамью подсудимых, обвиняя в тяжких преступлениях: и в измене, и в заговоре против Советской власти, и в антисемитизме, и в махновщине, и в бандитизме. Первый защитник, товарищ Шик, достаточно основательно разобрался в деле и подробно разобрал обстоятельства, опровергающие наличие заговора и сильно подрывающие доказательства причастности штаба Думенко к убийству Микеладзе и покушению на Захарова. Смутные предположения могут витать в нашей душе, но когда вы поставите вопрос об убийстве и покушении прямо, то он должен будет стать рядом с другим вопросом: а не замешан ли здесь другой штаб и не было ли покушение делом рук одного пьяного и озверевшего думенковца на почве личных столкновений, до которых ни Думенко, ни штабу не было никакого дела?

Говорят, что Думенко антисемит и вел юдофобскую пропаганду в своем корпусе, и фактов не представляют. Где этому обвинению доказательства? Он бранился, правда, обидными для национального самолюбия словами, но в слова эти никогда не вкладывал человеконенавистнического и погромного смысла. Где на его победоносном пути погромы? Да не ему ли и созданной им коннице суд обязан тем, что теперь спокойно в Ростове судит он Думенко и его штаб? По делу установлено только одно обстоятельство, что у Думенко были какие-то трения, ссоры с отдельными представителями власти. Думенко не против Советской власти. Он был просто недоволен поведением политических работников, среди которых было много невежественных, грубых, невоспитанных не только политически, но и вообще невоспитанных людей. Его возмущал контроль над ним — испытанным революционером, стоящим в рядах борцов за свободу с первых дней Октябрьской революции, контроль тех, кого он считал ниже себя и недостойным быть у власти. На почве каких

ничтожных столкновений между командирами и политкомами образуется глубокая трещина, разделяющая работников в одной и той же области, в сфере интересов, охраняемых Советской властью? Вот, например, политком Фролов пишет: «Я на своей спине испытал прелести красного командира». Речь идет о Думенко. К нему, Фролову, явились ординарцы Думенко и заявили, что занятая им квартира должна быть очищена для штаба Думенко. Вслед за ординарцами появляется и сам Думенко. Кто-то из подчиненных ему комбригов не поднялся при его появлении. Этому неучтивому Думенко крикнул: «Встать, сволочь! Не видишь, кто пришел?» Такая форма обращения старорежимного вахмистра, естественно, раздражала и озлобляла. Думенко требует к себе уважения и подчинения. Это основное правило дисциплины. Сам Думенко, по его словам, старших уважает, а подчиненные ему основ дисциплины не восприняли и после окрика вступили с комкором в пререкания.

В результате — безобразная сцена: комкор Думенко стулом вколачивает понятие дисциплины в комбрига и политкома, И тот и другой в этом посягательстве на их личность, о чем рапортом и сообщают, усматривают посягательства на Советскую власть и ее авторитет. Результатом этого, пишет Фролов, во-первых, может быть восстание, и, во-вторых, он чувствует себя оскорбленным. Лучше бы было ему писать по последнему поводу, а он пугает восстанием. Уличая комкора в антисоветских приемах в обращении с комиссарами, Фролов тут же в рапорте позволяет себе, полагая, что это по-советски, именовать подвиги комкора хулиганскими и требует суда над Думенко. Согласитесь, что такой рапорт мог вызвать у Думенко вполне понятное негодование. С покойным политкомом Микеладзе у Думенко стали налаживаться добрые отношения. Микеладзе был воспитанным и корректным человеком.

Когда по армии пошли слухи, что в корпусе Думенко идет не все ладно, Ананьин отправляется в 3-ю бригаду комбрига Лысенко и там создает эскадрон из коммунистов на предмет подавления беспорядков в корпусе Думенко. Ананьин на собрании коммунистов докладывает, что ему плохо было в корпусе и что Лысенко укрыл и уберег его от преследования Думенко, что он примерный комбриг. Лысенко приветствует Ананьина и хвалит его, в свою очередь. Словом, «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Обо всем этом знает, конечно, Думенко и его штаб. Как вы думаете, мог ли он проникнуться добрым чувством к комиссару и комбригу? Они, кроме того, еще в речах на митингах чуть ли не все победы приписывают себе и замалчивают подвиги тех бригад, которыми непосредственно командует Думенко. А ведь со многими комиссарами у Думенко ничего подобного не случалось, и в контакте с ними он немало одерживал побед. Но об этом почему-то не вспоминают. Какие же переме-

ны в настроении штаба произошли за последнее время? Я не знаю. Очевидно, времена изменились: необходимо стало бороться с бандитизмом, с махновщиной и партизанщиной. Эту необходимость признает и защита, но от нее далеко еще до признания вины во всем Думенко и его штаба. Защита стоит на точке зрения личной ответственности за содеянное преступление, и с этой точки зрения разрешите отметить, что процесс протекает исключительно в тяжелых условиях. Живых свидетелей нет. Никто не явился. Нет Буденного, нет Ворошилова, нет Жлобы. Перед нами мертвый материал: письменные свидетельские показания. Записывали показания следователи, но разве следователь один может уловить и записать все обстоятельства дела, выяснить все недоуменные вопросы, да еще в таком деле, где обвинение построено на косвенных уликах. Может быть, свидетели, представ в Верховном Трибунале Республики перед тремя опытными судьями и под перекрестным допросом сторон, изменили бы свои показания, дополнили бы их и дали бы существенные разъяснения, которые могли пролить свет на все темное, что имело место в штабе и около штаба Думенко. Один из обвинителей говорит, что этим письменным показаниям надо верить, потому что их писали коммунисты со слов коммунистов. Мы хорошо знаем, кем должны быть коммунисты. Они должны быть кристально чистыми людьми, так гласит их программа, так гласят правила РКП. Но заучить правила не трудно. Гораздо труднее выполнить их. Не убий — искони веков написано на религиозных скрижалях. Это правило нравственного поведения человека, но убийство не исчезает с лица земли; больше того, убийства стали практиковаться в массовом масштабе. Заявить себя коммунистом — это легко. А проявить себя в жизни коммунистом — это гораздо труднее. Кто не знает, что у нас в Ростове за одну партийную неделю записалось восемь тысяч коммунистов. Ясно, что среди них есть много примазавшихся; сама партия прекрасно понимает это и старается от них очиститься. Одно звание коммуниста не является гарантией правдивости носителя этого звания. Необходимо признать, что следствие по делу неполно и недостаточно. Мы видели в деле телеграмму, что на мелочах и подробностях останавливаться не следует. При такой торопливости следствия в целях сохранения общественного интереса к делу глубокого исследования, в сущности, нельзя было и ожидать. Недостатки следствия и тяжесть условий для раскрытия истины по делу признают и общественные обвинители. Один из обвинителей высказал негодование по поводу бандитизма, пьянства и разгула, царивших в кавалерийских частях, и призывает осудить эти отрицательные явления в армии. Я также негодую по этому поводу. Но ведь мы судим не явления, а живых людей. Судим вот этих людей, которые сидят на скамье подсудимых. Мы разрешаем вопрос о вине и вопрос о том, носить ли им

свои буйные головы. Кто они, подсудимые? Думенко — простой, малограмотный человек, вахмистр царской службы. Кто в свое время позаботился о его просвещении? Он весь — продукт старого режима. За все время революции он не прочел ни одной путевой книжки. Да где ему было в боях читать книги! Как же вы хотите, чтобы он разобрался в сложных вопросах политической жизни страны, а тем паче в вопросах мировой революции? Если в математике ясно, что дважды два четыре и это есть истина, хотя ловкие гимназисты стараются путем хитрых приемов доказать, что дважды два пять, то в политике таких истин еще нет, и часто люди с высшим образованием становятся в тупик перед тем или другим политическим вопросом. Чего же требовать от Думенко! О гимназии ему не приходилось думать, а университетом была ему донская широкая степь. Думенко степной человек, любит свободу. Он если не орел, то степной коршун. В спертом воздухе старого режима тяжело было ему дышать. Вырвавшись в феврале 1917 года на свободу, он в октябре того же года первым откликнулся на зов Советской власти и пошел защищать вольный трудовой народ: своего брата, угнетенного крестьянина, рабочего и казака. И вот в награду — тюрьма, позорная скамья подсудимых, а над головой угроза смертной казни. Мало судьбой дано было Думенко. А кому мало было дано, с того мало следует взыскать. Больше дано было Блехерту и Абрамову. Они должны были влиять на Думенко и руководить им. Так полагает обвинение, но так ли уж много и их судьба побаловала? И очень ли они влиятельные люди? Это наша русская интеллигенция. Кто только ее не ругает. Скажем по совести только одно: она экзамена по революции не выдержала. Каков был у большинства багаж умственного и нравственного развития? Самый ничтожный. Отсюда непонимание простых вещей, что к старому возврата нет. Они не понимают истории развития человечества, так как не знают простой истины даже по Иловайскому. А уж о материалистическом понимании истории говорить не приходится. Ленин просто смотрит на роль старого офицерства в революции. Он, например, говорил, что в душу к этим людям не следует заглядывать, так как все равно их теперь не перевоспитаешь. Они обладают специальными познаниями, их нужно в этом отношении использовать. Нам говорят, что Блехерт на каких-то совещаниях, о которых никто определенно не знает, говорил о новом правительстве, которое должно состоять из представителей разных партий. Ленин по этому вопросу сказал бы: «Думай как хочешь и о чем хочешь, но если ты активно выступишь, то тебе не поздоровится». Ни Абрамов, ни Блехерт себя активно ни в чем не проявили. Что же остается из предъявленных подсудимым обвинений? Пьянство, реквизиции и конфискации. Но где этого в армии не было? Некоторые из подсудимых себя в этом виноватыми признают. Но сам Ду-

менко не пил, ибо у него вырезано несколько ребер и одно легкое потеряно в боях. Штабные действительно одурманивали себя алкоголем, и к ним можно было бы предъявить серьезное обвинение, если бы они были коммунистами. Они простые люди. Они сознаются, что пили, предавались разгулу. Но повинную голову и меч не сечет. Карайте их только за содеянное и доказанное. При применении кары вы учтите слова Ленина, который указывал на необходимость лечить спецов от старых пороков. «Необходимо их, воспитанных капитализмом и старым режимом, повернуть в нашу сторону». За последнее время суд несет мягкость несчастным и заблудившимся. Применяется досрочное освобождение и условное осуждение. Тюрьма должна стать местом исправления людей. Там их приучают к общественным работам. Я по совести привел вам доказательства невиновности подсудимых в тяжких преступлениях. И если не уловил каких-то обстоятельств дела, говорящих в их пользу, то это объясняется особой быстротой рассмотрения дела. Пусть недочеты моих объяснений не отягчат участи подсудимых. Я прошу отнестись к ним с возможной и в военное время мягкостью и снисходительностью.

Бышевский аккуратно сложил свои листочки, прошел на свое место, сел и только после этого кинул какой-то извинительный взгляд на подсудимых: дескать, это все, что я мог сделать для вас.

Думенко двойственно отнесся к речи Бышевского. Его и обрадовало, что он понятным языком, прямо, без обиняков отметал от него многие обвинения, и в то же время порой оскорбленно вскидывал голову, морщился. «Ишь ты, не орел, а коршун... — самолюбиво отмечал он для себя, — всего только вахмистр царской службы...»

Теперь предстояло выступить последнему защитнику — Знаменскому.

На его речь Думенко возлагал особые надежды. Он видел в нем человека, прошедшего через огневые бури боев, знающего, что значит вести за собой на смерть тысячи людей, как непросто подчинять своей воле тех, кто каждую секунду может повстречать смерть на поле боя. Вглядываясь в лобастое лицо своего защитника с глубоко запавшими глазами, в которых сумрачно светились воля, ум, упрямство своенравного, независимого человека, он дивился тому, как худоба лишь подчеркивала его силу.

А Знаменский еще был очень плох. Кружилась голова, подкашивались ноги. К тому же он был изнурен борьбой за Думенко. Он чувствовал, что судом управляет сильная рука издали, что судьба прославленного конника уже заранее предрешена в ведомствах наркомвоенмора, а суд — это уже простая формальность. И что страшно: как бы он сейчас в своей защитительной речи ни был убедительным — суд не примет во внимание

его доказательства, как и доказательства других защитников. И это возмущало его до глубины души. Он видел во всем этом нарушение элементарных норм революционной законности, он видел расправу, а не суд.

Чувствуя, как от слабости все тело покрывает испарина, Знаменский хотел было попросить, чтобы ему разрешили говорить сидя, но раздумал, лишь повернул стул к себе спинкой, чтобы можно было опереться.

— Товарищи судьи,— начал он, упрямо наклонив вперед лобастую голову, — вам ясно стало из тех показаний, которые вы здесь имели, что определенных данных, доказательств о том, что бывший командир Конно-Сводного корпуса Думенко совершил убийство, в деле не имеется. Судебным следствием было установлено, что штаб корпуса устраивал попойки в Новочеркасске, что подсудимым Колпаковым был избит председатель ревкома за то, что не дал ему подводы, в то время когда Колпаков знал, что подвода у него имеется; но нет в судебном следствии указаний, тех нитей, которые ведут к покойнику товарищу Микеладзе. Крайне скудный материал находится в наших руках, чтобы можно было вынести тяжкое обвинение. Обвинитель не раскрывает перед нами всей правды, обвинение стремится перескочить через все обстоятельства дела, исходит из условных предположений, необходимо ли было Думенко и его штабу убийство Микеладзе. Может быть, здесь была личная месть. Но и это предположение не оправдывается. В момент убийства Думенко был в самых лучших отношениях с Микеладзе. Обвинение не вскрывает всей глубины этого дела, оно ограничивается только обобщениями. Указывается на наличие заговора, измены, но для доказательств приводятся опять-таки факты слишком мелкого свойства. Вступив на путь заговора, измены, Думенко выявляет это тем, что сбрасывает с себя орден Красного Знамени, полученный им от Революционного Военного Совета Республики. Совершенно ясно, что никакой заговорщик так не поступает. Говорят, что заговорщики готовили какие-то эсеровские знамена с тем, чтобы переманить на свою сторону 4-ю кавалерийскую дивизию из 1-й Конной армии Буденного. Но ведь эти знамена были привезены Думенко Буденному как трофей, они были найдены на квартире генерала Молчанова. Затем подсудимому предъявляется еще одно обвинение, что происходило какое-то совещание Думенко с Буденным, и на этом тайном совещании командиром Конного Сводного корпуса было сделано определенное предложение Буденному. Разговор имел место в середине января, речь шла о каких-то черных тучах; как здесь уже говорилось, Буденный не обратил тогда внимания на этот разговор о тучах, он вспомнил об этих «черных тучах» только полтора месяца спустя после получения им сведений, что Думенко арестован. Если нет данных, если нет твердых фактов — каким об-

разом можно было бросить обвинение командиру корпуса, его штабу в том, что они строили какие-то заговоры, что он, Думенко, чуть ли не замышлял измену. Не имея фактических данных, не имея прямых доказательств, обвинитель строит свои выводы на каких-то предположениях. Обвинение настаивает на том, что физическое устранение Микеладзе было завершением линии на развал политической работы в корпусе. Но разве судебное следствие подтвердило наличие того обстоятельства, что бывший командир разрушил работу политической организации в своем корпусе? Разве в показаниях свидетеля, заведующего политотделом Кавказского фронта, было подтверждение тому, что Думенко чинились препятствия в проведении политической работы? Наоборот, свидетель указал, что Думенко неоднократно требовал присылку политработников. Товарищи, вы должны еще помнить, что работники, которые пригодны для пехотных частей, не всегда пригодны для частей кавалерийских; и политработники в кавалерийских частях должны уметь ездить на коне, владеть шашкой и во время боя быть со своими частями. Поэтому в корпусе всегда ощущался недостаток в таких работниках. Недостаток ощущался не только в корпусе Думенко, а и во всех конных частях Красной Армии. Какие же причины могли вызвать у Думенко и его подчиненных такую острую ненависть к политической работе? Оказывается, Думенко был противником потому, что он является партизаном, красным террористом, революционным командиром, не желающим считаться с регулярным строем, с Уставом нашей Красной Армии. Здесь были брошены первым обвинителем слова, что Думенко хотел стать Бонапартом, что обычный его язык — приказываю, что если приказ не будет исполнен — арестую. Но ведь это язык не партизана, а военачальника Красной Армии. Если издан приказ, то он должен быть выполнен.

Думенко все выше поднимал голову, поражаясь тому, что Знаменский будто подслушал его мысли: да, конечно, именно так он и думал обо всем этом. И странно, что председатель суда Розенберг переговаривается с Зориным. А надо же слушать, слушать защитника, каждое слово его принимать во внимание. Думенко даже ловил себя на том, что ему хотелось встать и сказать: «Да послушайте же повнимательней самое главное».

— Здесь приводили и еще одно... Говорили о полном разложении корпуса во время отдыха в Новочеркасске, указывали на случаи невыполнения корпусом приказов. Можно сказать, что некоторые лица приказов, может быть, и не выполняли, можно сказать, что была некоторая деморализация в частях, но конечно, о разложении Конного Сводного корпуса говорить не приходилось. Вы знаете, как поступал Думенко с разложившимися частями: он их распускал. Так не может поступать начальник-партизан. Где доказательства тому, что корпус разложился, что

войска потеряли боеспособность?.. Корпус вписал золотые страницы в историю революционной борьбы. Обвинитель может указать только на бои на Маныче, которые, по его мнению, являются доказательством разложения, понижения боеспособности, дисциплины. Но для разбора военных операций на Маныче требуется гораздо больше данных, а не такие легкие основания, которые приводит обвинитель. Факт этого поражения не является еще доказательством разложения армии. Сегодня победитель, сегодня разбивший войска противника, он завтра может потерпеть поражение. Разве мы это видим только у Думенко, разве мы этого не видим в других конных частях? Теперь предъявляется Думенко еще одно обвинение: убийство Микеладзе. Обвинитель говорит: какая-то таинственность имела место в этом деле; но следствием эта таинственность так и не раскрыта. Пока не указана та рука, которая нанесла смертельный удар, выстрелила из револьвера в Микеладзе, нельзя брать группу лиц на основании каких-то условных соображений, ходячих слухов, что из этой среды шла подготовка убийства. Мы должны согласиться с обвинителями в одном: суд действует в обстановке гражданской войны, подчиняясь ее суровым законам. Все же позволительно задуматься над тем, достигнет ли кара, которую требует здесь обвинитель, той цели, которая лежит в содержании революционного закона? Перед законом стоит лишь один вопрос: требует ли благо революции, требует ли победа рабоче-крестьянского дела снесения головы Думенко и его штаба? Я сказал все.

Вытерев платком покрытое испариной лицо, Знаменский еще какое-то время постоял, потом попытался повернуть стул, на спинку которого опирался. Сил было настолько мало, что сделал он это не сразу. Думенко даже приподнялся, будто пришло ему в голову помочь своему самому дорогому для него защитнику. Шик налил в стакан воды, протянул Знаменскому. Тот поблагодарил кивком, но до воды не притронулся. Было видно, что он все еще во власти своей речи и что он свою борьбу за подсудимых так просто не закончит. Изнеможенное лицо его дышало упорством и верой в свою правоту.

Розенберг объявил перерыв с тяжким чувством, вызванным тем, что защита оказалась на голову выше обвинения.

В перерыве Розенберг уединился с Белобородовым.

— Выправляйте положение, товарищ Белобородов. Как видите, Колбановский явно наших надежд не оправдал. Потому я именно вам предоставлю еще раз слово. Скажу откровенно, Лев Давидович возлагает надежды на вас, о его глубоком уважении к вам...

— Я, конечно, глубоко ценю уважение товарища Троцкого,— раздраженно прервал Белобородов, — но надеюсь, вы не имеете в виду какую-то особую личную заинтересованность товарища Троцкого в этом процессе...

Розенберг выставил перед собой щитом обе ладони:

— Что вы, что вы! Все мы руководствуемся революционной совестью, и Лев Давидович прежде всего...

— Кто и где нашел этого краснобая Колбановского?

— А, не время об этом, — отмахнулся в сердцах Розенберг. — Для объективности дадим слово обвинению и защите. Надеюсь на вашу железную логику и понимание превентивных целей процесса.

Первым повторное слово получил обвинитель Белобородов. Он заговорил громко, с полемической страстностью опытного оратора:

— Товарищи судьи, свой ответ защите я не собираюсь строить ни на Толстом, ни на Колене, ни на каком-нибудь поэте или мыслителе. Для меня совершающаяся в России революция сама по себе достаточна; те грандиозные события, которые ныне совершаются, не нашли выражения ни в одном из наших поэтических произведений. Я подкреплю доводы моего обвинения простыми соображениями представителя Советской власти. Товарищи судьи, какое значение имеет настоящий процесс, когда класс, ставший недавно у власти, строит новые государственные формы, когда отбивается от наседающих на него со всех сторон врагов, когда в невероятных мучениях, изголодавшийся, обнищавший, он пытается создать в своей среде дисциплину, создать порядок, дабы на этих организационных основах, которых не знало старое буржуазное общество, создать новый коммунистический строй. Здесь защита в своем возражении пыталась, разбив каждое доказательство, шаг за шагом доказать нам, что нет фактических данных, подтверждающих преступления лиц, посаженных на скамью подсудимых. Но, товарищи, я хотел бы обратить внимание не на эти отдельные факты, не на эти отдельные частные стороны дела, не на отдельные, взятые из общего положения, доказательства, я хотел бы обратить внимание на значение того развала, который имелся у Думенко. Если мы начнем разбирать отдельные факты, то, может быть, они и будут опровергнуты, но когда мы зададим себе вопрос о том, было ли все то, что было в штабе Думенко, преступлением, есть ли во всем том, что совершал Думенко в штабе, элемент, безусловно, вредный для Советской власти, мы придем к определенному выводу — да, был. Здесь защита апеллировала к совести. Я хотел, товарищи судьи, обратить внимание, что в эпоху диктатуры пролетариата, в эпоху, когда все старые ценности объявляют низложенными, апелляция к совести ничего собой не представляет. Здесь представители класса, осуществляющего свою диктатуру, представители класса, захватившего власть в свои руки, удерживающего эту власть с оружием в руках, удерживающего эту диктатуру путем тяжелой борьбы на фронте, путем борьбы Красной Армии. Представитель этого класса здесь не будет об-

ращать внимание на отдельные какие-нибудь преступления, а обратит внимание на все значение той действительности, которая имела место в штабе Думенко. Процесс Думенко — один из первых процессов, в котором органам пролетарской диктатуры предстоит сказать свое веское авторитетное слово. Здесь хотели внушить мысль о том, что были стихийные силы, с которыми трудно бороться; преступления были и будут одинаковы во все времена революции. Можно, конечно, ругать Советскую власть, здесь старались это представить в виде несоблюдения парламентской формы дискуссии, но дело не в этом. Если мы перечтем страницу за страницей, одно показание за другим, мы устанавливаем: перед нами не враг красных войск, перед нами находится не противник, защитник каких-то противоположных классов, которого мы стараемся в процессе гражданской войны уничтожить, нет, перед нами — командир Красной Армии, член Российской коммунистической партии. Что сам собой такой факт значит? Это значит, что в эпоху тяжелой гражданской войны он вел себя не как подобает вести красному командиру, командиру-революционеру. Он вел себя просто как бандит. Класс, ставший у власти, взявший власть в свои испытанные грубые руки, класс, который требовал от всех, кто идет с ним, кто борется на его стороне, соблюдения величайшего порядка, соблюдения строжайшей дисциплины, этот класс посадил сидящих здесь людей на скамью подсудимых потому, что они не выполнили лежащего на них долга. Как должны вести себя представители Советской власти, каких правил революционного поведения должны придерживаться эти представители? Прежде всего, с уважением относиться к Советской власти, строго соблюдать нормы революционного поведения, стараться удержать более темные, непросвещенные, забитые массы от всего того, что может бросить тень на ее репутацию. И кому как не красному командиру, красному генералу Думенко, нужно было знать о том, что Советская власть строжайше карает за бандитизм, Советская власть строжайше карает всякую партизанщину, всякую распущенность, в особенности в рядах Красной революционной армии. Здесь нам пытались доказать, что у Думенко своеобразная крестьянская душа, что он иначе понимает и подходит к Советской власти. Но разве могут «особые душевные качества» помешать пониманию элементарных революционных истин? Нет, ссылка на своеобразность его натуры не выдерживает критики. Здесь нам защита рассказывает о том, что такое партизанщина, что такое партизанское действие. Мы великолепно различаем партизанские действия от партизанщины. Если войсковая часть выйдет в тыл противника, будет разрушать все средства связи, сообщений — это называется партизанскими действиями. Но когда штаб не соблюдает твердой революционной дисциплины, когда штаб шельмует Советскую власть, когда штаб делает вызов Советской власти,

когда штаб говорит — наплевать мне на Советскую власть, на комиссаров, на коммунистов, когда политические работники в штабе не чувствуют себя в достаточной безопасности, — это будет партизанщина. Здесь говорили о том, что и вся Красная Армия выросла из партизанщины; совершенно верно. Но теперь Красная Армия превратилась в регулярную армию. Командиры, которые были раньше партизанами, теперь представляют собой настоящих дисциплинированных командиров, назову хотя бы два имени — Буденного и Жлобу. Тех, кто был партизаном в первые периоды гражданской войны, мы не собираемся посадить на скамью подсудимых. Не в том суть вопроса, что Красная Армия создалась из партизанских отрядов, а в том, что в Красной Армии есть части, позорящие революцию, что есть красные командиры, позорящие имя красного командира. Мы должны исходить из того, что если есть такие начальники, если есть начальники, совершающие преступления, мы их должны посадить на скамью подсудимых. Защитник говорит, здесь нет живых людей-свидетелей. Совершенно верно. Но ведь мы и без них знаем все то, что было сделано руками людей, сидящих на скамье подсудимых. Теперь, когда враг висит над нами, когда на фронте грохочут пушки, когда решаются наши судьбы, мы должны сказать ясно и определенно, что суровое наказание ждет тех начальников, которые забудут о своем долге. Когда начальник передает оперативные планы — это измена, когда командир не соблюдает дисциплину — это тоже измена, тоже предательство, по существу, никакой разницы нет. Предательство, измена, совершенные нашим бывшим командиром корпуса, должны быть наказаны. Этого требует от Ревтрибунала борющийся пролетариат, этого требует момент, этого требует суровая обстановка борьбы. Защитник здесь говорил о том, что мы как будто бы прикрываем фиговым листком те предложения, которые мы делаем Революционному трибуналу, что мы не расшифровываем слова «высшая мера наказания».

Что ж, назовем требования защиты настоящим именем. Единственно правильной, целесообразной мерой наказания за преступление, совершенное у кровавой черты, должна быть высшая мера наказания — расстрел. Пусть каждый военачальник, каждый командир действительно знает, что от пролетарского Капитолия до Тарпейской скалы один только шаг, и шаг очень маленький.

Думенко все крепче и крепче прижимает судорожно вздрагивающий кулак к груди. Стучит, стучит сердце. Мчится безумно конница. Куда она мчится? Уходит? Покинула? Как же так! «Рас-стрел. Рас-стрел. Рас-стре-е-л?! За что?!»

Вот и Знаменский вроде бы спрашивает: «За что?» Встал на этот раз порывисто, будто в последнюю, решительную схватку кидался.

— Слово для реплики предоставляется защитнику товарищу Знаменскому! — объявил Розенберг.

Знаменский на мгновение закрыл глаза, одолевая головокружение. Кивнув в сторону Белобородова, сказал с откровенным сарказмом:

— Вот уж образец удивительной логики! Обвинитель, построивший первую речь определенным образом, сейчас как будто от этого отказался и обосновал свою вторую речь не на новых данных, раскрытых следствием, а опять на предположениях (уж в этом-то он куда как логичен): дескать, есть ряд вредных явлений, их для торжества рабочей революции надо брать в железо и искоренять огнем и мечом. Кто спорит против этого, кто боится потоков крови, действительно крепящих пролетарское дело? Но советские порядки двадцатого года могут требовать и от представителя обвинения, который счел себя почему-то за представителя Советской власти, несколько логики и расчленения этих вредных явлений на отдельные струйки. А сделав это, необходимо смотреть, кого та или иная струйка захватила. В армии наблюдается разложение, рост партизанщины и махновщины; близость украинской партизанщины может сплести такой кровавый узел, который необходимо будет разрубить. Это верно, но, разрубая узел и снося голову, надо соблюдать предварительные условия, чтобы эти удары имели правильное направление. Без этого условия карательные меры революционного трибунала содержательного значения иметь не могут. Вот почему защите приходится настаивать на том, чтобы обвинение исходило не только из условных положений, но и приводило бы данные, указывающие или на причастность к преступлению, или на причастность к вредным социальным явлениям. Вот почему рассуждение обвинителя о совести точно так же ведется в неправильной плоскости. Первый защитник как раз говорил не об отречении от совести, а о внутреннем убеждении революционного суда. Было бы желательно, если бы здесь руководствовались требованиями не только революционной совести, но и логикой и целесообразностью. Обвинение Думенко и его штаба в действиях, направленных против Советской власти, не было подкреплено вескими доказательствами. Обвинитель настаивает на своем обвинении, подкрепляя его главным образом силою внутреннего убеждения и внешним словесным выражением. Вот почему ему от круга физических данных невольно пришлось перейти в круг политических рассуждений и замкнуться в кругу социально-классового содержания настоящего процесса. Несомненно, что рассмотрение и этого обстоятельства должно иметь место. Каково классовое содержание этого процесса? Нет сомнения, что действия трибунала направлены в сторону торжества рабоче-крестьянского дела и пролетарской революции. И если уж нет возможности фактическими данными, подбором доказа-

тельств установить обвинительные пункты, если действительное содержание процесса остается на совести судей Революционного трибунала, то ему надо прежде всего решить: должны ли для торжества рабоче-крестьянского дела слететь головы Думенко, бывшего начальника Сводного Конного корпуса, и его штаба? И только разрешив этот вопрос, можно подходить к решению других вопросов — какую меру взыскания применить к ним за пьянство, недисциплинированность, партизанщину и так далее. Вот это я и просил бы, товарищи судьи, иметь в виду. Вы должны, вы обязаны иметь это в виду.

Знаменский уважительно, с достоинством слегка поклонился судьям и медленно сел.

Когда поднялся Розенберг, Думенко подумал: «Никак настала пора последнего слова». И опять застучало сердце; едва прикрыл глаза, как в ушах отозвался топот многотысячной конницы. Скачут, скачут, храпят запаленные кони. Да нет же, это сердце колотится, да, колотится сердце перед последним словом. И хотя ждал, когда наконец дадут ему высказаться, вдруг обнаружил, что не готов, не те надо было бы высказать слова, которые почти заучил наизусть. Не те? А почему не те? Только вот воспримут ли их судьи чистой совестью, открытой душой? «Эх, если бы судьи еще хоть чуть-чуть повременили...»

Розенберг уперся недобрым взглядом в Думенко, словно бы еще что-то прикидывая в уме, и после долгого молчания наконец сказал, что прения сторон закончены и подсудимому Думенко предоставляется последнее слово.

— Имеете что сказать?

Еще бы! Он, Думенко, имеет столько сказать, что, пожалуй, и за сутки не выскажешь. Но дай бог, чтобы хватило сил и на пять минут. Колотится где-то уже у самого горла сердце.

Думенко поднялся тяжко, даже ноги как-то поначалу широко расставил, будто поднимал неслыханную тяжесть. Обвел судей невидящим взглядом, а на защитниках все-таки вроде бы прозрел: подбадривают всяк по-своему, сочувствуют.

И Думенко сказал, сам удивляясь тому, что услышал собственный, хотя как будто совсем и не свой голос:

— Я томился семьдесят два дня в заключении, прежде чем предстать перед судом Революционного трибунала. Семьдесят два дня я просидел в тюрьме на родном Дону, где я ждал того, чтобы мне было наконец предъявлено какое-нибудь обвинение. Я в тюрьме получил копию обвинительного акта... Обвиняюсь в том, что я контрреволюционер. Но этот контрреволюционер проливал кровь за русский народ, за то, чтобы он имел землю и волю. В 1920 году я стал контрреволюционером. Когда мои войска сражались с противником, развевая красное знамя, взяли Новочеркасск, я не был контрреволюционером. Думенко ругал Советскую власть, ругал Троцкого. В 1918 году говорил, что он

перейдет на сторону белых, но в 1919 году он получил орден Красного Знамени и золотые часы в боевую заслугу. Не только в 1918, 1919 годах Думенко сражался с противником, он сражался с врагом все время. Думенко сражался за революцию с первых дней ее, и все-таки Думенко бросают такое тяжкое обвинение. Думенко был всегда первым в рядах красных войск, Думенко не раз формировал боевые части, не однажды формировал боевые единицы для того, чтобы разбить зарвавшегося врага. И теперь Думенко является контрреволюционером. Когда ребенок плачет, ему дают соску, но ведь Думенко не ребенок, он соски не просил, а, между тем, за все время своей боевой деятельности он получает награды. Думенко наград не просит, его выдвигает революция. Мои войска все время боролись за революцию, все время они высоко держали и развевали красное знамя, мои войска все время непрерывно занимали города и села. Затем меня еще обвиняют в убийстве военкома. Ко мне пришел Кравченко и что-то шепотом сообщил. Может, он постеснялся громко у меня просить чистую смену белья. Нужно сказать, что мне, как старому революционеру, борющемуся за Советскую власть, было очень больно слышать обвинение в контрреволюции, было больно такое обвинение читать, когда сидел там за решетками, было больно мне смотреть из-за решеток, как мои кони моих всадников уносят на фронт. Я плакал, когда это видел, но я утешал себя, что пролетариат вернет мне честное имя, а армии — солдата. Больше ничего не могу сказать.

«Как, речь моя уже закончилась? — недоуменно спрашивал себя Думенко. — Ничего не могу сказать? Неправда! Могу. Я не сказал еще чего-то самого главного! Слышите, судьи, я еще хочу говорить!..»

Но Розенберг уже обратился к Блехерту:

— Подсудимый Блехерт, что имеете сказать?

Нервически поморщившись, Блехерт слабо махнул рукою, всем своим видом выражая полнейшую обреченность. Но все-таки поднялся, болезненный, словно бы усохший за долгие часы судебного процесса, тихо сказал:

— Из предъявленных мне обвинений видно, что меня считают явным и открытым агентом Деникина, контрреволюционером. С первых же дней Октябрьской революции, когда расформировали царскую армию, я поступил на службу в Московский Совет народного хозяйства. Когда мобилизовали командный состав как специалистов, меня назначили в Конный корпус Думенко. Я знал, что русский народ так же, как комиссары и командиры, относится с недоверием к бывшим золотопогонникам. И вот когда я прибыл в корпус, мне сказали, что я контрреволюционер. Ни один комиссар, ни один политком ко мне не подошел, чтобы узнать мои политические убеждения. Теперь, когда я присутствую перед Высшим Военным Трибуналом Республики, вы

мне бросаете такое обвинение, тем более резкое, что никто ведь моих политических убеждений не знает.

Плохое отношение ко мне Жлобы я понимаю таким образом. Первый раз, когда я встретился со Жлобой, он подошел ко мне и начал рассказывать о своих победах. Я имел неосторожность указать на его боевые ошибки. Указал на то, что, если он не будет оставлять резерв, противник будет бить его. Это сбылось потом... Я Жлобу не обвиняю. Он простой рабочий, с военным делом незнаком, он не знал военно-стратегического положения, но, как человек честолюбивый, был озлоблен против меня. Мы никаких дурных намерений не имели, душой мы чисты...

Погружаясь в забытье, чем-то похожее на то состояние, которое он не один раз испытывал в госпитале, когда жизнь, казалось, совсем угасала в нем, Борис плохо воспринимал речь Блехерта, даже не заметил, когда он закончил ее. Прошли мимо сознания и слово Кравченко, Ямкового, Колпакова. «Никак тиф наваливается, — вдруг пришла догадка, почему-то принося облегчение. — Ну и пусть, лучше уж тиф, чем пуля от своих, только бы уморил побыстрее...»

Розенберг предоставил слово Абрамову.

«Эх, Абрамов, Абрамов, думал ли, гадал ли ты, что так вот путь наш закончится. Ну скажи, скажи им, кто есть мы такие. Ты же умеешь, растолкуй, как следует... Только, брат, ни черта они не поймут, не хотят понимать, вот беда-то, беда какая...» Когда Абрамов заговорил, Думенко мучительно вглядывался в лицо своего, как теперь он себе очень точно представлял, самого верного товарища. Было в этой позе Бориса что-то пронзительно нетерпеливое. Кадык его, резко выступавший на вытянутой шее, судорожно вздрагивал. Абрамов почувствовал обостренный интерес Думенко к своей речи, и это обожгло его нестерпимой жалостью к бывшему комкору. Невольно подумалось: «Мы с Блехертом хоть офицеры, а этот...»

— Подсудимый Абрамов! — раздраженно повторил Розенберг. — У вас есть что сказать?

Абрамов тяжко вздохнул, сказал, сохраняя и в эту драматическую минуту удивительную независимость:

— Да, конечно, имею. Меня обвиняют как контрреволюционера и человека, который имел влияние на какую-то шайку бандитов. Указывают, что я интеллигент и бывший офицер. Да, я бывший офицер. Я народный учитель, сын крестьянина и добровольно пошел в ряды Красной Армии, когда вся интеллигенция и все офицерство говорили, что Советская власть не удержится и что я буду повешен на первом же сучке. Но я был сыном народа и пошел в ряды народной армии. Я был счастлив, что судьба дала возможность мне сражаться плечом к плечу с таким удивительным человеком, воистину народным самородком, как Борис Макеевич Думенко. По-моему, он сделал столько для

революции, для разгрома ее врагов, что имя его в народе надолго останется легендой.

— Нельзя ли без ваших более чем сомнительных пророчеств! — перебил Розенберг.

Абрамов будто и не расслышал реплики председателя суда, продолжал с тем же независимым видом, хотя и отдал себя во власть горьчайшего недоумения. Оно светилось в его глазах, чувствовалось в скорбной складке рта, в голосе:

— В чем же дело? Когда были так скоропостижно переосмыслены несомненные ценности? Почему Думенко теперь судят чуть ли не как сподвижника Деникина? И это после того, когда именно он со своей конницей забил осиновый кол в самое сердце донской контрреволюции, поверг белоказачью столицу — Новочеркасск. Теперь о себе. Я начальник штаба, вместе с бойцами ходил в бой, не щадя жизни. Я пожертвовал семейной жизнью, был два раза ранен, так что не мог сидеть в седле. Говорят, что я укрывал контрреволюционера Салина. Я честный работник и говорю только правду. Мне не страшна смерть, мне страшно бесчестие. Раньше меня награждали, благодарили, а теперь я лишен честного имени солдата. В Камышине контрреволюционеры разорили мою семью, забрали все мои документы, чтобы легче найти меня. Если бы меня судили деникинцы, я бы сказал: «Да, судите меня». Но меня судит Советская власть, и я думаю, что правда не умрет и что революционный суд оставит мне жизнь и вернет мне честное имя солдата революции. И не только мне, а и моим товарищам. И особенно это относится к Борису Макеевичу Думенко.

Абрамов умолк. А Думенко все в той же болезненно-напряженной позе смотрел на него, вытянув шею так, что вздулись вены.

— У вас все? — спросил Розенберг. И не дождавшись ответа, как-то очень поспешно, как бы торопясь закончить до смерти надоевшее дело, объявил: — Суд удаляется на совещание.

2

Когда удалился суд на совещание, была уже полночь. До половины четвертого томились подсудимые, дожидаясь приговора. Не расходились и приглашенные; в их гомоне слышались тревога, неуверенность. Можно было понять, что многих давит постыдное чувство, что они, пожалуй, стали свидетелями откровенной расправы. Впрочем, надо подождать, может, все обернется еще и не так страшно.

Но обернулось страшно. Розенберг перед зачтением приговора бесконечно долго молчал, будто и сам устыдился содеянного. Однако голос его прозвучал с той же мрачной торжественностью, с какой он начал судебный процесс...

...Суд постановил:

Комкора Сводного корпуса Думенко Бориса Макеевича, начальника штаба, бывшего офицера Абрамова Михаила Никифоровича, начальника оперативного отдела, бывшего офицера Блехерта Ивана Францевича, начальника разведки Колпакова Марка Григорьевича и начальника снабжения 2-й бригады Кравченко Сергея Антоновича лишить полученных ими от Советской власти наград, в том числе ордена Красного Знамени, почетного звания красных командиров, и применить к ним высшую меру наказания — расстрелять; комендантов штаба Ямкового Ивана Митрофановича и Носова Дорофея Герасимовича подвергнуть принудительным работам с лишением свободы — Ямкового на десять лет, а Носова на двадцать лет.

3

Трое суток шла борьба за жизнь Думенко. Андрей Знаменский от имени Донисполкома просил суд пересмотреть свой приговор или войти с ходатайством во ВЦИК о помиловании. Розенберг отверг просьбу о пересмотре приговора, но, уступая настойчивости донцов, в тот же день связался по прямому проводу с Москвой — Реввоентрибуналом Республики. В докладе высказался о том, что, по мнению местных ответственных работников, учитывая революционные заслуги Конного корпуса, надлежало бы войти с ходатайством во ВЦИК о замене осужденным расстрела лишением свободы.

Член РВТР Анскин на это ответил:

— Указанные соображения вы должны были принять во внимание при вынесении приговора. Со стороны же Реввоентрибунала Республики в полном согласии с Реввоенсоветом Республики не встречается препятствий в приведении приговора в исполнение. В данном случае нет нужды выжидать сорок восемь часов, приведите приговор в исполнение немедленно.

Три ночи еще провел Борис в своей одиночке. Заглядывая себе в душу, он словно ощупью блуждал в потемках своего трагического недоумения с трепетно-мерцающей свечой очень слабой надежды, что Москва его спасет, только бы пробились туда голоса защитников.

В камере его внимание больше всего привлекала дверь. Казалось, он изучил ее неотступным взглядом до мельчайшей царапинки: ведь это именно через нее он должен уйти туда, к краю уже, поди, выкопанной могилы. Страшно ли ему? Скорее жутко. В этой мертвящей жути на каком-то черном огне переплавлялись в сплошную, ни на шаг не отпускающую боль и лютая обида, и недоумение, и протест против всесокрушительного насилия. Думы об Асе не только не ослабляли боль, а делали ее еще более невыносимой. Любовь к ней разжигала в нем еще не испытанную в

такой степени жажду к жизни, с которой в любую минуту он должен был расстаться, вот как только со скрипом откроется эта дверь — последняя граница между светом и вечной тьмою.

К своему смертному походу Думенко приготовился в первый же час, как только его заключили в камеру после вынесения приговора. Уложил в чемодан вещи, сел писать письмо Асе. Водил карандашом по бумаге так, словно старался переселить в нее весь трепет пока живой его руки, еще совсем недавно так ненасытно ласкавшей тело этой самой для него чудесной женщины на свете. Иногда подносил руку к глазам, представлял себе ее неподвижной, холодной и никак не мог смириться с этим жутким представлением. И опять водил карандашом по бумаге.

«Милая, дорогая моя Ася. Возвращаю чемодан, перчатки, простыню, платок, ложку, чай, вишни, салфетку и шубу. У меня остается подушка, одеяло. Вот тогда можешь взять...»

Написал и замер, прошептав обескровленными губами: «Вот тогда можешь взять...» Когда? Да ясно же, когда исполнят приговор. Знать бы, кто он, который должен всадить в него пулю? Где-то ходит сейчас, дышит и не догадывается, что ему предстоит совершить. Какой он, старый, молодой? И неужели на фуражке его будет красная звезда? Хотя бы снял на ту проклятую минуту. Э, нашел над чем ломать голову...

И, бесконечно тяжело вздохнув, снова склонился над письмом. «А сапоги, френч, шинель и брюки, это, может, тебе уже не попадет. Целую всех крепко и крепко. Борис».

Рука нащупала в кармане флакон. Вспомнил: одеколон вернули утром. Разомкнул чемодан, сунул его туда; в записке на обратной стороне дописал: «Получил в конторе мой одеколон после всего. Говорят, что здесь Григорий Колпаков. Вот пошли его к Бышевскому и пусть скажет, что он от меня. Ну, покудова. Крепко целую. Борис».

Написал последнее, прощальное письмо к семье:

«Я решил вам написать, может, последний раз, чтобы вы что-нибудь предприняли меры к тому, чтобы мне сделали смягчение по суду и говорили ли вы со Знаменским и с Шиком. Не были ли у Колбановского, просили ли пропуск. Возьмите хотя бы попрощаться и пишите что-нибудь этим же человеком на эти вопросы. Зять мой, Исай Петрович, что может принять, покудова не поздно? А то, наверно, в субботу в 2 часа будет конец нашего похода и жизни, но мы умираем как старые революционеры, а посему, наверно, мы уже не нужны для революции трудового народа.

Ася, Муся, Ариша, мама, папа и Исай Петрович, целую крепко и крепко.

Ваш Борис».

Кончил писать, опустил руки на колени и опять уставился неподвижным взглядом на дверь, вслушался всем существом: не гремят ли шаги, не идет ли тот, кто должен сказать: «Ну, идем, последний твой час настал...»

Чтобы уйти взглядом от двери, перечитал заново письмо. Неужели это последние слова, которые суждено оставить ему на бумаге? И опять побрел в потемках иступленной больной мыслью, ища выхода из смертной беды по буеракам опустошенной души, в которой, словно в степи, выдуло ледяным ветром все до последней травинки-былинки, что могло бы заключать хоть малейшую надежду на спасение. А может, все-таки есть на свете бог?

На миг устыдился того, что его толкнуло упасть на колени, прошептать какую-нибудь молитву, запавшую в памяти еще с детства. Сказал вслух, озираясь с суеверным страхом:

— Вот еще чего вздумал...

Собственный голос прозвучал в камере пугающе странно, навевая еще больше суеверного страха. И тогда он поднял руку с карандашом, замер, как бы стараясь через себя прослушать всю вселенную (а может, и есть бог), и только после этого дописал медленно, четко выводя каждую букву: «Попросите разрешить священника, что мы все русские, просим священника и теперь уже не коммунисты».

И почудилось ему, что он и в самом деле от чего-то отрекся. Скомкал письмо, хотел порвать, да остановила мысль: «Это не я отрекся, это от меня отреклись...» Принялся медленно разглаживать письмо на коленке, погружаясь в мутную волну спасительного равнодушия. Шевельнулось в ослабленном непосильной работой сознании: «Какой там бог, был бы он, разве люди так страдали бы? И про священника зря. Не надо, ничего и никого не надо, покоя надо. Скорее бы все кончилось...»

Хотел зачеркнуть слова о священнике, но лишь слабо шевельнул пальцами и опять остановил взгляд немигающих глаз на двери с каким-то неотступным предчувствием, что вот сейчас она распахнется... Сколько шагов от порога до смертной черты? Останется ли хоть какой-то его след на тех бескрайних дорогах, по которым водил он свою конницу? Оставил ли он добрую память в душах людей, в душах красных конников, которые шли за ним так беззаветно? Или заскрипит железом вот эта дверь — на том и кончится память о нем, на том и замолкнет эхо его победных кличей, которыми так часто оглашал бескрайние степи, хутора, города...

Что, что все-таки останется от него, после того как дверь распахнется?

Течет минута за минутой, как последние капли крови из жил. А глаза смертника еще живут, еще ждут чего-то непредвиденного, что может вырвать его из смертного оцепенения, еще

выспрашивают трагическую судьбу: «Ну что, что останется от памяти обо мне в потомках?!»

И дверь распахнулась. И встал Думенко. Встал медленно, словно надеясь, что это еще не для него, не для последнего похода... И ударило солнце в глаза бывшего комкора. Ударило яростно, словно торопясь в остатний раз согреть, обласкать сына степей, а стало быть, в чем-то и его, солнца, сына. И ударили копыта несметной конницы в стонущую землю. Нет, не сердце колотится — конница мчится...

Унеси, унеси, красная конница, в памяти своей имя своего трагического комкора в дальние времена... Пусть эхо последних кличей его не оборвется, перерожденное в жиденький залп при исполнении приговора...

Одного из смертников — Кравченко пощадила пуля, не отняла жизнь. Опамятовавшись, разворошил плечами мертвые тела. Будто сила какая выкинула его наверх... Скатившись клубком в теклину, он пропал в кустарнике...

* * *

17 марта конники-думенковцы ворвались в Екатериноград. Но не здесь, на Кубани, завершился их поход...

Деникин, отгородившись на Тамани донцами и кубанцами, успел морем перебросить Добровольческий корпус Кутепова в Крым. Незадачливому генералу оказалась непосильной должность Верховного главнокомандующего вооруженных сил юга России. Очередным «спасителем России» объявил себя барон Врангель; он возглавил на Крымском полуострове остатки разгромленных белых армий. Из врангелевцев и белополяков маршала Пилсудского Антанта образовала новый фронт.

Летом, в самый сухостой, вспыхнули пожарища в Таврии, на Украине, в Белоруссии; на сотни верст, от Черного до Балтийского моря, развернулись ожесточенные бои. Заиграли тревогу трубачи, призывая конников в седло. 1-я Конная походным порядком двинулась из Майкопа на Украину — на Пилсудского; Конно-Сводный корпус, теперь уже 1-й Конный, был брошен в Таврию — на Врангеля. Щедро обагрились приазовские ковыли людской кровью...

Осуществилось давнее желание Бориса Думенко о переименовании корпуса в армию. 16 июля 1920 года приказом по войскам Юго-Западного фронта было положено начало формированию «2-й Конной армии РСФСР». Кроме 1-го Конного корпуса в нее вошли кавдивизии имени Блинова, 16-я и две кавбригады 40-й стрелковой дивизии. Первым командармом был Ока Городовиков.

Разгромом Врангеля глубокой осенью 1920 года закончилась гражданская война. Оборванная, изголодавшаяся, уставшая, Республика Советов, оставив оружие, бралась за серп и молот...

Эпилог

Через сорок четыре года вышел этот документ:

Верховный Суд Союза ССР
Определение № 3н-0667/64
Военная коллегия Верховного Суда СССР
в составе: председательствующего — генерал-майора
юстиции *Чистякова*
и членов: подполковника юстиции *Федоткина*,
полковника юстиции *Козлова*

рассмотрела в заседании от 27 августа 1964 года протест в порядке надзора Генерального Прокурора Союза ССР на приговор Выездной сессии Реввоентрибунала Республики в городе Ростове-на-Дону от 5—6 мая 1920 года, которым военнослужащие Сводного Конного корпуса 9 армии Кавказского фронта

Думенко Борис Макеевич, 32 лет, командир корпуса, по происхождению из крестьян, бывший вахмистр царской армии, доброволец РККА, член РКП(б) с декабря 1919 года,

Абрамов Михаил Никифорович, 26 лет, начальник штаба корпуса, по происхождению из крестьян, бывший штабс-капитан царской армии, доброволец РККА, беспартийный,

Блехерт Иван Францевич, 26 лет, начальник оперативного отдела штаба корпуса, по происхождению из дворян, бывший штабс-ротмистр царской армии, в РККА по мобилизации, беспартийный,

Колпаков Марк Григорьевич, 23 лет, начальник разведки штаба корпуса, по происхождению из крестьян, доброволец РККА, беспартийный,

Кравченко Сергей Антонович, 29 лет, начальник снабжения 2-й бригады того же корпуса, по происхождению из крестьян, доброволец РККА, беспартийный

осуждены к расстрелу.

Носов Дорофей Герасимович, 28 лет, комендант полевого штаба корпуса, по происхождению из крестьян, доброволец РККА, член РКП(б) с 1917 года осужден к лишению свободы на 20 лет;

Ямковой Иван Митрофанович, 29 лет, комендант тылового штаба корпуса, по происхождению из крестьян, доброволец РККА, член РКП(б) с июня 1918 года осужден к лишению свободы на 10 лет.

Приговор в отношении Думенко, Абрамова, Блехерта и Колпакова приведен в исполнение.

Постановлением распорядительного заседания военной коллегии Верховного Суда Республики от 19 сентября 1923 года

высшая мера наказания Кравченко заменена десятью годами лишения свободы.

Заслушав доклад полковника юстиции Козлова и заключение Главного военного прокурора генерал-лейтенанта юстиции Горного, полагавшего протест удовлетворить и дело производством прекратить, Военная коллегия Верховного Суда СССР установила...

(Далее в этом документе приводятся мотивы приговора Выездной сессии Реввоентрибунала от 5—6 мая 1920 года.)

...В своем протесте на этот приговор Генеральный прокурор Союза ССР ставит вопрос об отмене приговора Реввоентрибунала Республики и прекращении дела в отношении всех осужденных за отсутствием состава преступлений в их действиях по следующим основаниям:

Осужденные как на предварительном следствии, так и в судебном заседании виновными себя не признали, и в деле отсутствуют объективные доказательства виновности осужденных.

Из материалов дела усматривается, что ночью 14 января 1920 года находившийся в состоянии опьянения комиссар связи штаба 9 армии Захаров действительно двумя выстрелами был ранен в лицо.

Захаров на предварительном следствии утверждал, что в него стрелял по политическим мотивам ехавший с ним в повозке Носов с целью убрать его как опасного свидетеля, слышавшего во время выпивки высказывания Блехерта, направленные «против жидов и комиссаров».

В действительности, как установлено следствием, с Захаровым в повозке ехал не Носов, а Кравченко, но и Кравченко не помнит, что с ним произошло, так как был сильно пьян. Кучер повозки по делу не установлен и не допрошен.

Выводы суда о том, что на убийство Захарова покушался Кравченко по указанным выше мотивам также являются несостоятельными и не вытекают из изложенных обстоятельств дела.

Вечером 2-го февраля 1920 года комиссар корпуса Микеладзе выехал из штаба корпуса в подчиненную корпусу бригаду. В одной из балок на пути следования Микеладзе ему были нанесены смертельные огнестрельные и сабельные ранения, от которых он на месте скончался.

Ни исполнители, ни соучастники преступления материалами дела не установлены...

Обвинение Думенко и других осужденных офицеров корпуса в том, что они организовали убийство комиссара Микеладзе, основано только на предположении и аргументировано лишь тем, что осужденные были вообще враждебно настроены против коммунистов и комиссаров.

Однако из имеющихся в деле документов видно, что прибывший 10 января 1920 года на работу в корпус Микеладзе устано-

вил с командиром корпуса Думенко деловой и политический контакт и поддерживал его в необходимости проведения организационных мероприятий в отношении некоторой части непригодных политкомов и работников особого отдела корпуса.

Как видно из материалов дела и дополнительных материалов, добытых при проверке дела в настоящее время, положенные в основу обвинения Думенко и других свидетельские показания ряда командиров и политработников корпуса, несмотря на их противоречивость и неубедительность, в процессе предварительного расследования тщательной и объективной проверке не подвергались.

В судебном заседании свидетельские показания не проверялись, но были положены в основание приговора, хотя выдвинутые против Думенко и других осужденных обвинения носили характер общий и фактами не подтверждались.

Причины конфликта между ним и некоторой частью политработников Думенко объяснял тем, что он требовал от них быть на позициях, а не находиться в тылу.

В материалах дела нет ни одного факта удаления из корпуса кого-либо из политработников. Отсутствуют также факты пьянства Думенко. Сам же Думенко заявлял на суде, что он непьющий. К делу приобщены материалы о том, что отдельные командиры совершали по отношению к населению незаконные действия (Колпаков ударил плетью председателя сельревкома за сокрытие подвод, Носов и Ямковой изымали носильные вещи у населения, имеются жалобы на реквизицию и т. д.).

Однако эти факты не давали оснований для сделанных судом обобщений, т. к. из дела и дополнительных материалов видно, что Думенко, как командир корпуса, проводил борьбу с бесчинствами по отношению к населению.

Несостоятельным является обвинение Думенко и в том, что он препятствовал работе Реввоентрибунала и особого отдела. Доказательств этого обвинения в деле нет.

Проверкой установлено, что вопрос об аресте Абрамова Думенко решал совместно с политкомом штаба корпуса Васильевым, отменен же арест был начальником особого отдела X армии. Что касается освобождения красноармейца Салина, то по делу вообще не установлено, кем и по чьему распоряжению Салин был освобожден.

По ходатайству защиты в судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей начальник политотдела фронта Балашов и военком путей сообщения армии Клименко, которые своими показаниями опровергли собранные в процессе следствия материалы о враждебном отношении Думенко к политработникам и о зажиме политработы в корпусе.

Все осужденные по настоящему делу, за исключением Блехерта, являлись добровольцами РККА и в течение всего периода

гражданской войны боролись за установление Советской власти.

Думенко же является одним из организаторов красной конницы.

В течение 2-х лет он вел героическую борьбу против белых на Юго-Восточном фронте, награжден двумя золотыми часами, именной шашкой и орденом Красного Знамени.

В связи с освобождением станицы Великокняжеской В. И. Ленин 4 апреля 1919 года по телеграфу передал: «Привет герою 10-й армии товарищу Думенко и его отважной кавалерии, покрывшей себя славой».

Рассмотрев материалы уголовного дела и дополнительной проверки, Военная коллегия Верховного Суда СССР находит протест Генерального прокурора СССР правильным и обоснованным. В деле отсутствуют объективные доказательства вины Думенко и других осужденных в заговоре против Советской власти и совершении других преступлений.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 48 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, Военная коллегия Верховного Суда СССР определила: приговор Выездной сессии Революционного военного трибунала Республики от 5—6 мая 1920 года в отношении Думенко Бориса Макеевича, Абрамова Михаила Никифоровича, Блехерта Ивана Францевича, Колпакова Марка Григорьевича, Кравченко Сергея Антоновича, Носова Дорофея Герасимовича и Ямкового Ивана Митрофановича отменить и дело о них в уголовном порядке производством прекратить за отсутствием в их действиях состава преступления.

Подлинное за надлежащими подписями.

Карпенко Владимир Васильевич

КОМКОР ДУМЕНКО

Редактор *Ю. М. Никитин*
Художник *В. К. Бутенко*
Художественный редактор *В. К. Иванов*
Технический редактор *Л. В. Андронова*
Корректоры *Р. Н. Подосян, Н. Н. Попова*

Сдано в набор 2/VII 1975 г. Подп. в печать 17/XII 1975 г. НГ 18956. Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Бум. тип. № 3. Усл.-печ. л. 22. Уч.-изд. л. 23,58. Тираж 100 000. Цена 82 коп.

Приволжское книжное издательство. Саратов, 410760, пл. Революции, 15.

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Саратов, ул. Чернышевского, 59.

Заказ 371.

82 коп.

ПРИВОЛЖСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
САРАТОВ
1976

ВЛАДИМИР
КАРПЕНКО
КОМКОР ДУМЕНКО